95 коп.

Индекс 73276



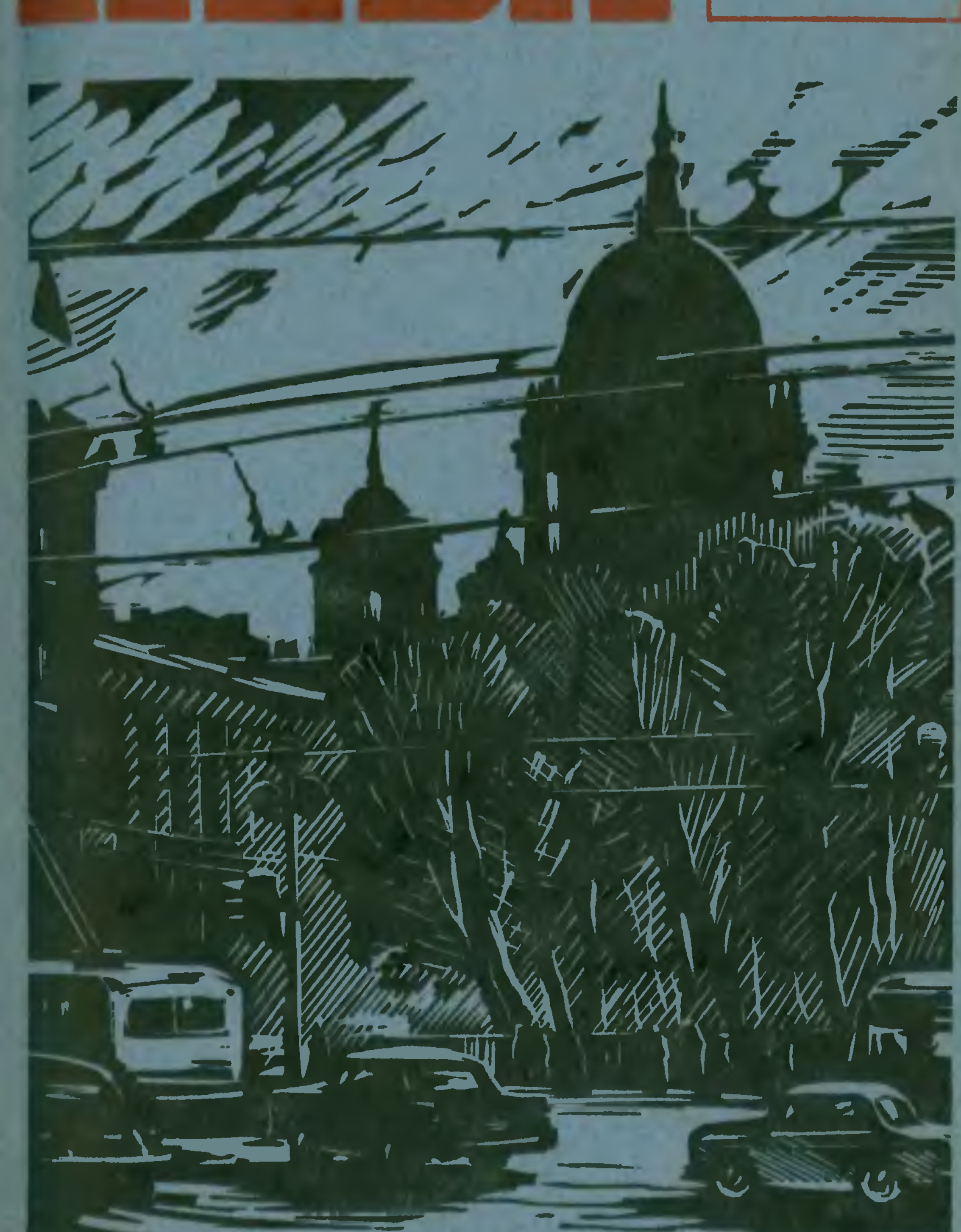
«Нева», 1988, № 2, 1—208

НЕВА 2 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

2 | 1988



НЕВА

Выходит
с апреля
1955
года

2 | 1988

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
иллюстрированный
журнал

Орган
Союза
писателей
РСФСР
и Ленинградской
писательской
организации



Ленинград.
Издательство
„Художественная
литература."
Ленинградское
отделение

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СРЕДИ КНИГ

ИСКУССТВО

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

В номере вклейки: «Новые работы живописцев Ленинграда» и «Заслуженный художник РСФСР Александр ИГНАТЬЕВ».

На обложке: гравюра А. УШИНА «Дворцовая площадь, Адмиралтейский сад».

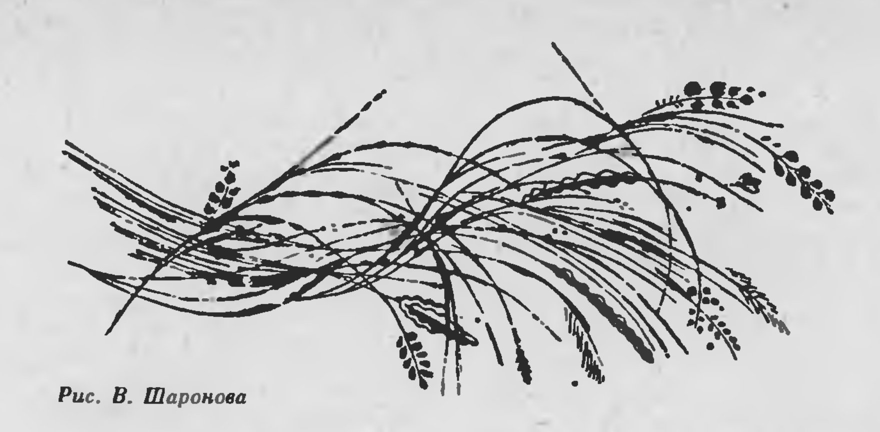


Рис. В. Шаронова

Глеб ГОРБОВСКИЙ

НА ПУСТЫРЕ

Благословенна отчая земля,
любой пустырь, где ясполико
восходят одуванчик, земляника
сквозь мусор века, взгляд мой веселя!

Не созерцать, но трепетно любить
меня зовут бетонные торосы
и эти анемичные березы,
и эти травы, стонущие: пить!

Блуждая в лабиринте вещих книг,
нет, я не в них, но там,
где слезы зреют,
ту истину, что истин всех добрее —
на пустыре излюбленном постиг.

Во зле животрепещущем тесны
границы счастья бытия людского,
как счастья одуванчика простого —
от золота волос до седины...

⊡ ⊡ ⊡

Все постепенно: красота
подспудно зреет в юном лике,
цветок на куполе куста,
тревога в журавлином клике,

всё, всё — внутри нас и вокруг —
заботе внемлет безупречной:
не перестраиваться вдруг,
но — совершенствоваться вечно!

⊡ ⊡ ⊡

Освободясь от ложного стыда,
теперь, когда рассудок вял и тучен,
люблю смотреть, как плачут провода,
что провисают под нависшей тучей.

Еще люблю осенний ветра шум —
не просто слушать — поглощать,
как пищу,
по-стариковски жадно, сморщив ум,
как кожу лба, где притаился прыщик —

вулканчик мысли... Уж который год
я коротаю август у погоста.
Десятка два могил (не выход — вход!)
под сенью сосен — в царство...
Все так просто:

подует ветер — возникает звук.
Я слушаю, предавшись горькой думе.
Не скрежет встреч, но музыку разлук
я различаю в этом шуме...

⊡ ⊡ ⊡

Бессловесна, безвестна, чиста,
словно позднего лета убранство,
тихо тает твоя красота,
постепенно сливаясь с пространством.

Исчезает, как парус — из глаз —
не из памяти — вот она милость!
И хоть солнце зашло, день угас,
а заря еще долго дымилась!

РАЗМОЛВКА

Звенит, звенит меж нами нить
тугая, будто медь...
Необходимо разлюбить,
остыть, окаменеть.

Отринуть с сердца нежный груз,
забыть о Нем (о Ней!),
изжить любовь, воспеть союз!
Он во сто крат прочней.

Остановить на взгляде взгляд,
смертельно побледнеть.
И вдруг заплакать... дружно, в лад.
И сердцем поумнеть.

◘ ◘ ◘

Я дверь открыл и в комнату вошел:
повсюду пыль,
как черный снег фабричный,
останки мух и паутины шелк,
и этот воздух каменный, третичный...

Я сделал шаг, и... выстрелил паркет! —
приветствуя меня тоской дремотной,
как будто я отсутствовал сто лет,
а не какой-то август мимолетный.

Я шляпу снял, потом открыл окно.
Потом обнял предзимним взором книги.
И вдруг — на миг —
мне сделалось смешно...
О, кто бы знал, как горьки эти миги.

◘ ◘ ◘

Шумит за окном затяжной,
брезгливо стучащий по листьям...
опять притащилась за мной
тоска, изгибаясь по-лисьи.

Виляет горячим хвостом,
зовет за собой на болото.
«Ступай,— говорю,— со Христом,
мне нынче не плачется что-то.

Я лучше дровец наколю,
огнем пропитаю поленья!
Я все еще солнце люблю,—
любое его проявленье».

И вот уже пламя внахлест,
и вот уже кто-то у печки,
поджав ослепительный хвост,
свернулся пушистым колечком.

◘ ◘ ◘

Не ведая смутной кручины,
не чуя последней тоски,
румяное дитятко чинно
мудреет у классной доски.

А рядом — не спавший ночами,
познавший все «против» и «за»,
учитель, вкусивший печали,
прикрывший ладонью глаза.

Скажите, кому это надо,
чтоб эти — отвага и страх —
сейчас совместились — два взгляда,
две веры... в бессмертье и крах?

ЕЩЕ...

Глаза в синеве поднебесной купаю.
Остатки любви из груди выскребаю.
Еще мне милы и река, и дорога,
береза и тень от нее до порога.
Еще меня птицы волнуют, и травы,
и люди. Особенно — отчей державы.
Еще меня мысли тревожат средь нощи,
но мягче душа моя с миром, и проще.
Еще меня трогают взоры родные,
но я в них читаю глаза неземные.
Еще меня манят в просторы тропинки,
но что они знают, пески и суглинки?
И песни терзают мне ласкою грудь.
Но я уже вижу
Единственный путь!

УЛЫБКА

Я стал просыпаться с улыбкой.
Внедрилась такая черта.
Все ломкое сделалось гибким:
терпенье, восторг, красота.

Стучит подоконная птица,
пытаясь разрушить мой сон,
а сон, не успев преломиться,
густеет, как благовест-звон!

Наверное, так вот будила
планету, лишенную бед,
улыбка... О, лишь бы хватило
ее на последний рассвет!

ИЗ СТАРОЙ ТЕТРАДИ

1. Памяти Б. Л. Пастернака

В середине двадцатого века
на костер возвели человека
и сжигали его, и палили,
чтоб он стал легковеснее пыли,
чтобы понял, какой он пустяшный...
Он стоял бесшабашный и страшный!
И стихи в голове человека
стали таять сугробами снега.
И огонь стихотворные строчки
загонял ему в сердце и в почки.
Пламенея, трещали поленья...
И плясало вокруг поколенье,
первобытно плясало, пещерно,
и ритмически очень неверно.
А на небе луна помирала...
Поколенье в ракеты играло.

1956

2.

Хочу увидеть короля.
Живого, в праздничном мундире.
Наверно, есть еще земля,
пускай — единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,
принцессы, бледные с лица,
по гроб влюбленные в кого-то...
Ведь где-то есть!
А, может,— нет?
Скорей всего — король задушен.
Дворец пошел под сельсовет
или, по пьянке, был разрушен.
Смекнула стража, что к чему,
ушла в пожарники... А девы...
Так до сих пор и не пойму:
принцессы глупенькие, где вы?

1960

3. Баллада о квартирном поэте

На кухню вызвали поэта,
и подбоченились жильцы.
Соседка пепельного цвета
взяла поэта под уздцы,
затем на спину взгромоздилась,
затем — пришпорила бока!
Отцы-самцы заходят с тыла,
как безысходная тоска.
«Вы что же, милый, в туалете
не сполоснули унитаз,
и на общественном паркете —
дежурство ваше — ваша грязь!
У вас дебоши каждодневно,
поют, стихами говорят!»
Жильцы притоптывают гневно,
кусить десною норовят.
«Па-ет! Рифмач! Наверно — контра!
Небось — похабщина?! Смотрри!»
Поэт отрезал руку бодро
свою... Отдал соседке: жри.
Оттяпал ногу по колено
и протянул отцу-самцу.
Затем чугунно-вдохновенно
себя ударил по лицу.
И голова тугим арбузом
упала в мерзкое ведро...
Жильцы ушли с набитым пузом,
их богатырское нутро
не поглотило только — красный
расплавленный комок в груди...
О, как прекрасно-безобразно
маячит слава впереди!

1957

УШЕДШИЕ

Вас было больше, чем листвы
на этих тополях.
Бурьян-травой накрылись вы,
землею съеден прах.

Живым сегодня не до вас.
Но иногда во мгле
вдруг наступает скорбный час,—
час мертвых на земле.

...Я вижу, как за валом вал,—
дым без костей, без жил,—
неспешно входят в степь, как в зал,
все те, кто прежде жил.

Всю ночь, как дикие цветы,
колышется их строй.
И шум посмертной суеты
доносится порой.

И я, очнувшись от тоски,
стою над бездной всей...
И две своих живых руки
целую, как друзей.

Зоя ЖУРАВЛЕВА

РОМАН С ГЕРОЕМ -КОНГРУЭНТНО- РОМАН С СОБОЙ

И вдруг мне всё опостылело...

Эта фраза, пробившаяся из глубины, для начала годится. Есть в ней упругая сила Начала. Есть краткий вдох — «и». Как пригнуться — перед прыжком. И пружинная энергия взрыва — чернильно-синее до черноты: «вдруг» — раскручивающаяся потом неостановимо и вольно: «е-е-о-о-ы-е-о». Это как бы песня кочевника в ковыльной степи, состоящая из одной только фразы, которая, повторяясь, с каждым витком, однако, наращивает — непонятно как — силу свою, и смысл, и душевную информацию. Вроде бы мягкая, безвольная даже фраза, где одно только «эр» и избыточно много «зл», два «эл» — в конце. Кажется, что ее легко должна глушить ночь. И легко сбивать ветром. Но в ритмике этой фразы как раз кроется упрямая пространственная протяженность, перед которой прогибается ветер, а черная ковыльная ночь — горячими толчками — передает ее дальше, дальше, все дальше...

Это слишком литая и слишком энергично ритмически организованная фраза, чтобы передавать бессилие. Возможно, что она способна передать временный спад — перед подъемом. Выгодная для меня фраза, заметим в скобках.

Когда исчезнут вещи и дела, и даже след цивилизаций, вдруг прорастут из Времени — Слова, осмыслив жадное Пространство. Всё, что копили миллионы лет, Слова вдруг явят, запах свой и цвет, и форму, без которой слова — нет. Ведь только Человек, сам вырвавший Слова из немоты, как джина — из бутылки тесной, внушил себе, что слово — бестелесно, что можно им распоряжаться кое-как, бросать на ветер как пустяк и ставить запросто — на место, лишь Человек наивный, так уж вышло, бесстрашно их лишает смысла. Слова — до времени — дают с собой играть, свою скрывая власть, но расщепленный атом содрогнется — от зависти,— когда терпенье это оборвется. Хоть можем долго мы еще бездумно жить, и мелочность свою в слова рядить, и мелкостью своей словам вредить, и говорить, и городить. Им — некуда спешить, у Слов — в отличие от нас — в запасе Вечность.

Часто нет ничего более бездоказательного, чем фраза, вырванная из контекста, именно поэтому цитаты порой обессмысливают критическую статью, где — вроде бы — есть концепция. Но бывают фразы самодостаточные, умри — лучше не скажешь:

«Я с ним контактируюсь по этому вопросу».— «Что делает завуч в плане подготовки, но в плане организаторском мы первые в этом вопросе».— «Если бы у нас в школах было благополучно с этим вопросом, у нас сейчас, честно говоря, и вопросов было бы меньше. Мы не обсуждаем этот вопрос, это для нас догма».— «А что будет, если этот вопрос мы пустим сейчас на самотек?» — «Нами отобраны лучшие в этом направлении».— «Мне, например, часто приходится выходить на школы».— «Директора нацелены на эту работу, но кто-то вовремя не вышел с инициативой».— «Необходимо обратить внимание на необходимость усиления в этом вопросе».— «У нас состоялся по этому вопросу аппарат. Работа предстоит серьезная — надо выйти на учащихся, выйти на родителей, возможно, придется выйти на вышестоящие инстанции, компетентные в этом вопросе...»

Еще куда выйти, дура ты стоеросовая? Но никто не спросит. В чистое поле бы с этим выйти, от людей подальше, где никто не слышит. Ну, цветы бы завяли, ну, травы бы полегли. А это ведь не колония слабоумных, а совещание «на уровне роно», где зал полон, и глаза у многих, рта не раскрывших, блестят мыслью. Как объясняться нормальным людям с людьми, в сознании которых закреплены подобные языковые связи? Как они разговаривают дома, с близкими, с друзьями, со своими детьми? И как же их подпускать к чужим детям?

В школе могут работать лишь те, кто умеет сказать человеческим языком, остальных надо гнать. В младших классах надо изучать логику, ибо косноязычие — дефект мыслительного аппарата, тут не в запасе слов дело...

Как кто-то правильно подметил, на нас идет пещерный ветер, уж тянет шкурами и дымом, уж пахнет жареным давно, а мы живем упорно — мимо, а мы спешим неисцелимо на пляж, на службу и в кино. Как стрелы первобытных прерий, отпели прежние дуэли во имя нравственных высот...

Ну, и писала бы себе детские книжки, раз получается. Он, например, взахлеб читал куски из моей последней на всех родительских собраниях. Он верит в печатное слово наивно и свято, как неандерталец. Он верит, что если написать идиллию, то подвигаешь мир к лучшему, к идиллии же. Я пишу идиллии. Понимая вокруг опустошенно и трагедийно, я пишу пасторали. Умные светлые дети с огромными глазами задают в моих книжках чистые и глубокие вопросы своим умным и чистым родителям. Мама любит папу. Папа любит маму. Или они не любят друг друга так мучительно, самозабвенно и чисто, что это — та же любовь. Только с отрицательным знаком. Все идут к прекрасному в себе через муки, которые красиво осознаны яростным детским восприятием. На самом деле, естественно,— моим, но якобы детским. Никто никогда не делает подлостей и мелкостей. Мир вокруг яростно пахнет, распахивается, бесконечно раскручивается цветными полотнищами, как небо над тундрой, звенит своими красками и завлекает жить высоко, бескомпромиссно и чисто. И за всем этим стоит возвышающая душу грусть, когда все слишком хороши для этой жизни и потому эту жизнь непременно сделают достойной себя.

Ага, я свято исповедую детскую веру, что каждый делает свою жизнь сам, что самое удивительное и высокое — человек, и что быть порядочным и хорошим гораздо проще, экономичнее и приятней, чем быть дурным. Он, кстати, то же самое исповедует в своей педагогической деятельности, поэтому мои писания Ему так близки. Но почему же меня-то от них вдруг тошнит? Если я пишу с наслаждением и другого наслаждения, кроме работы, по сути — не знаю?

Мысль, серенькую как лесная птаха, вдруг выразить нарядными словами — моя всегдашняя забота и печаль, и в этом деле я поднаторела, ища для серого — блестящие оттенки. Осталось неразгаданным: зачем? Что заставляет душу вращать мучительно словесный вал? Так океан бездонными валами ворочает... А в результате — ракушками поросший старый остов рыбачьей лодки, прядь травы увядшей иль просто камень выкинут на берег, каких кругом полно на берегу. Затем так сладостно смещать понятья, когда важней — понять их? Тайный смысл лишь ускользает в ворохе созвучий. И остается лишь мгновенный всплеск, как будто рыба, прохладная и скользкая как мысль, ударив плавниками круто в волны, плеснула... И канула в безвестные глубины. И почему такое наслажденье мне доставляет этот труд души? Такое

По просьбе автора в тексте сохраняются некоторые особенности авторской орфографии и пунктуации.

полное, чистое блаженство, что заглушает все другие чувства, вдруг делая слепой, беззвучной и счастливой? Какое это к Вам имеет отношенье? И почему — имеет, вот вопрос...

Если вещество — с позиций современной физики — можно рассматривать как возмущение пространства-времени, то слово, по-видимому, можно рассматривать как возмущение высокоорганизованного вещества, что суть — мы. Интересно только, почему это вдруг делает Слово более понятным мне и родным?

Вдруг ощутила валунную безоглядность и прозрачную необходимость белого стиха — это прозрачный пейзаж покинутого ложа северной реки. Сглаженная — спокойная — валунность и неостановимость его не имеет поверхностных ориентиров, безоглядность не дробится на рифмы, как бы не нуждаясь в этих эмоциональных точках, как базальт — в шлифовке, текучая вздыбленность свободна от внешней симметрии, как бы вобрав ее в себя. А, возможно, рифмы и зеркальная симметрия такого карельского пейзажа попросту где-нибудь в Канаде, как рифмы и симметрия чьей-то души, затерянной в Мордовии, бродят по Аризоне. Белый стих — это неделимая протяженность души, себя выражающей, это медлительное и неостановимое, как истечение вечности, скольжение лавы вдоль пологого склона вулкана, белый стих ближе всего — к песне кочевника, где повторяется одна только строчка и, безудержно повторяясь (поздравляю себя, далась мне эта «песня»!), она — непонятно как — с каждым витком наращивает в тебе настроение-информацию, постепенно освобождает тебя от тебя самого и одновременно сливает тебя как бы со всем миром, даже если он неведом уму. С этой завораживающей и иррациональной протяженности так трудно поэтому соскочить, попав вдруг на белый стих, мы с Машкой неделями не можем потом отделаться от него: что значит — ритм вечности. Белый стих — это непрерывность, а рифмованные стихи — это разрыв непрерывности, это скачки, толчковые шумы сердца, слепительные взрывы души. (Бред, ибо рифмы только усиливают как раз слияние с вечностью — именно прорывом.) Проза же вбирает в себя и то, и другое, поэтому она всегда — объемная геометрическая фигура, проза — обязательно и прежде всего — объем.

Прошла стеклянная девочка, при каждом ее соприкосновении с тротуаром слышался слабый и четкий звон, как бы вздрагивание легкой люстры при небольшом землетрясении, балла два — два с половиной. Я боялась, что кто-нибудь неосторожно заденет ее сумкой и разобьет. Но она благополучно достигла автобусной остановки. Я была почти уверена, что ее разобьют при посадке, ведь был час пик. Но она благополучно опять возникла уже в автобусе. Непонятно как — оставаясь стеклянной — она даже переменила позу. Теперь она сидела на заднем сиденье, в углу. И слабый четкий звон слышался всякий раз, когда она случайно касалась острым локтем соседа, чугунного старичка...

Художник, по-видимому, структура типа вулкан, где-то внизу и в глуши себя клокочут силы необоримые и ищут выхода вверх. Но канал этот, выводящий наружу и являющий себя в виде кратера или хотя бы фумаролы, мученически непробиваем. Если нет постоянного тренажа, что и есть органическая графомания писателя, этот канал замусоривается бытовыми подробностями и страстями, заиливается случайным и мелким, закаменевает. Пробить его трудно, будто его вовсе нет. Хочется взять стальной дрын и проткнуть. Но проткнуть можно только изнутри, вот в чем беда. И, значит, только собственным мощно энергетическим потоком. Для этого и приходится, как я для себя определяю, наращивать в себе одиночество. Нужно нарастить такое, когда всё, кроме этой жаждущей прорыва магмы внутри, уже не имеет значения, звуки обыденного мира глохнут вокруг и лица кругом сливаются в пятна, время в тебе сгущается, будто мед, и свертывается до сингулярности (ух, вот оно — это слово, больно уж слово трансцендентальное), а пространство закручивается вокруг как кокон, в котором свободно и неотрывно только кваркам души.

Тогда — в какой-то единственный миг — происходит прорыв. Мысль вдруг блестяща и выпукла, слова хлынут, как лава, чувства организованно и бесстрашно подчинены тебе, ассоциации, их неисчислимая бесконечность, все время требующая динамического выбора, отбора и полного перебора, больше уже не страшит, а — наоборот — вдруг делает тебя как-то трубно вольным, словно венценосного журавля. Видимо, для художника тут-то и наступает миг минимума энтропии и миг этот — собственно творческий процесс. И коли состояние это достигнуто и возникло, можно уже не бояться внешних помех, все внешнее идет уже как шумы в теории информации, их легко и без особого напряжения души отсекаешь, отодвигаешь на потом, запоминаешь периферийным каким-то сознанием, чтобы после, когда вернешься из глубинного своего и главного мига, разобраться. Это состояние, как я понимаю, и есть счастье.

Послать, что ли, Ему телеграмму: «Высокочтимый сэр восклицательный знак Что делать если ничего не понимаешь вопросительный знак Ученик точка». Но Он даже не заподозрит меня, вот в чем скука. Его настоящие ученики присылают и не такое. А этот вопрос Ему задали безымянной запиской на лекции в Областном институте усовершенствования учителей, где Он толковал о математических и педагогических перспективах в свете своих прозрений. Аудитория же была разношерстна, устала и коварна в силу своей иногородности и простого, как тензор Риччи, желания сразу после лекции успеть пробежаться по магазинам. Эту аудиторию Он все-таки возжег, и красиво и длинно горел потом на моих глазах в пышном костре коллективного единения.

Жирный шмяк велосипеда по луже, бурые листья возле обочин, бурый вереск под соснами, фиолетовость лишайников на сосновых стволах, синий отблеск берез в заходящем солнце. Папоротники умирают, как человек, закинув сжатые сухие кулачки и выгибаясь грудью вперед. Умирают — будто простреленные. Высоко в соснах сквалыжничают вороны, тягуче, как дворцовые двери. Занимая всю ширину дороги, выступают три тетки в малиновых синтетических папахах (если папаха — шляпа), в волосатых, даже, пожалуй,— хищно волосатых, пальто, четырехугольные и на сваях. Сваи — в стороны, сваи — внутрь, и просто — прямые жерди в высоких сапогах. Средняя держит веточку бузины, далеко и неловко от себя, будто ядовитый анчар. Тянется сплошной серый забор, и в щели его далеко, сиротливо, покинуто мелькает в глубине дача. Далеко и грустно донесся собачий лай...

У тёмных елей черная хвоя, и черные — углом — ложатся тени. Душа моя — ты черная ладья, летящая в слепом кипеньи. Не видно и не слышно берегов. Фарватер узок. И страшна стремнина. Тяжелая вода черна, как кровь из раны, что — неисцелима. Меж облаков ударил глаз луны. И вспух, сверкнул и растворился камень. В ушах гудит от черной тишины, которая — мы сами. А черных гор давящая гряда угрюмой сводит судорогой спину. Душа моя — ты черная беда, которая ни с кем неразделима.

Ух какая чернуха, черная чернять!

А ведь честью могу поклясться и призвать орлана-белохвоста в свидетели, что в тот миг, когда в виске у меня разгульно стукнуло — «душа моя, ты черная ладья!», сердце мое исполнено было только исступленного восторга. Мы спускались с верхов, за спиной был Урал, еще — близко, с гор летел ветер, там, над горами, шли чернильные — до густоты — снежные заряды, царственно и вечно, шеренгой, но нам они уже были не страшны. Мы неслись через Обормот, это перекат на верхней Печоре, где плес метров под девяносто вширь, а фарватер узок и гибок, как толедская сталь, лодке тут и на метр нельзя ошибиться. Были сумерки, черная еловая тайга зубчато и остро падала в воду с крутого берега, где блестела синим скала Обормот, впереди нас, прямо по курсу, долго и обреченно молотил лапами по воде выводок крохалей, черно-белой утки, пока догадался нырнуть, я стояла на носу перегруженной лодки, зажимая у горла суконную куртку, а куртка хотела лететь и звенела от ветра.

Владька Шмагин сидел на корме, у «Вихря», и свитер его похож был на бабочку-траурницу, ярко-коричневый с бледно-коричнево-серой каемкой понизу. Владька сидел изящно, как бабочка, «Вихрь» ревел и держал обороты, мы мчались теперь уже поперек Печоры на свисающую прямо к воде клепину, а любое гнутое, кажется, это было ольхой, тут зовут «клепина». И в этот момент над нами плавно и низко пролетел орлан-белохвост. Он был неожиданно короткий в полете, будто обрублен сзади, что не мешало величию, он был в обычном своем старом пледе с бахромой, размах пледа — под два метра, а взвесь орлана голенького — едва четыре с половиной кэгэ, но кому придет в голову ощипать величие, словно курицу. И Владька крикнул мне через всю разделяющую нас пространственность лодки — гортанно, небрежно и властно, как всегда: «Белохвост! Семга пошла!». Потому что орлан-белохвост появляется тут вместе с семгой, чуть раньше семги, патрулирует реку, выжидает в могучем своем лёте туда-обратно, и он первым знает, что семга уже пошла на нерест. Чем занимается орлан-белохвост в остальное время года — великая его тайна, мне неведомая.

Владька крикнул, и тут же что-то мощно ударило в тихой яме под берегом, справа от нас, как глубинная бомба. Тихая вода свилась в тугой сиреневый жгут, жгут этот выгнулся горбом, блеснул изнутри и рассыпался темными искрами. В опавшей тишине вдруг выкатилась огромная луна, перевалив через горы. Все разом сменило цвет и форму, берег на мгновение исчез, слившись с блистающим мерцанием воды и неба. «Вихрь» взревел и затих. Стало оглушительно тихо, только вянущий шорох воды, разрезаемой носом лодки. «Луна под руку вылезла,— сказал Владька. И засмеялся гортанно и властно.— Чуть не сели...»

Ночью вдруг стукнуло: человек — это память. Хоть по любимой моей второй теореме Гёделя мы никогда не сможем определить, что же такое — Человек, не сможем дать исчерпывающее определение. Мы можем только всю жизнь думать над этим, ходить — кругами — вокруг самих себя, присматриваться и вслушиваться, постигать частности, удивляться им или ужасаться, создавать схемы, чтобы было легче, и отказываться от них, чтобы стать шире и идти вперед. В нас изначально нет и не может быть — опять же по Геделю, но, может, как раз в этот миг уже родился другой Гедель, который найдет выход и все переиначит,— такого иерархического уровня языка, такого метаязыка, чтобы самих себя исчерпывающе определить. Жизнь это память. Не больше, но и не меньше. Любовь — только память. Недаром, если она родится мгновенно, возникает тысяча объясняющих пристроек: «Я тебя будто всю жизнь знаю», «Я тебя уже знал когда-то», «Лет сорок ты мне снилась, а встретилась вчера», или как там в песне...

А память (следовательно — человек) — это актуальная бесконечность, где заданы только начало — дата рождения и конец — дата смерти, как цифры — единица, например, и двойка. Между ними вмещается всё — весь мир и вечность, и число дроблений, то есть собственных возможностей, зависит уже только от собственной неутомимости. Наверное, это единственная эмоционально доступная и ощутимая человеком бесконечность — собственная память: загляни в себя — обретешь. А реализация этой бесконечности, извлечение ее из себя, раскручивание ее вовне, и есть любой вид человеческой деятельности — искусство, наука, техника, производство, отношения с ближними. Неисчерпаемо увлекательно и даже как-то знобко черпать из бесконечного. Важно только — как можно больше успеть зачерпнуть, извлечь оттуда, добыть, осмыслить и претворить, уложившись в отпущенные пределы. Пределы тогда уже не страшны, они лишь стимулируют интенсивность.

Человеку, сознательно владеющему столь бесценным даром — бесконечностью, а значит — вечностью, не может быть скучно с самим собой, он самодостаточен и гармоничен уже по природе своей. От него самого зависит — какой пласт своей бесконечности он разработает и как далеко зайдет вширь и вглубь. Одно ясно: овладение этой бесконечностью и означает — учиться. А неостановимый этот процесс — учиться — предполагает и предопределяет не только вопрос — чему? — но и обязательный — у кого? Он предопределяет и предполагает наличие Учителя как важнейшей и авторитетнейшей фигуры Общества.

Время — одинаково всем отмерено, лишь протекает по-разному, кто-то занимается дрязгами, а кто-то наращивает высоты, как уж кому охота.

Если великие люди, как и великие события, действительно отбрасывают впереди себя тень, как бессмертно сказано, то Владислав Васильевич Шмагин — истинно великий человек. Его плотную, струящуюся и исполненную загадок тень я ощутила еще на центральной усадьбе заповедника, где до самого Шмагина около двухсот километров вверх по Печоре. Первое дуновение этой тени коснулось меня в местной бане, куда я пошла, как в клуб. Бани я не люблю никакие, кроме душа, мне в них слишком много неорганизованного мяса, которое парит себя и лелеет, и как бы даже кичится своим несовершенством. Красивые моются быстро и уходят. (Господи, кому, спрашивается, интересны интимные мои отношения с баней?)

Но здесь в бане, где тень великого Шмагина впервые многоцветно коснулась меня, о торжестве тела не было и помину. Тут было ристалище интеллектов. Звяк шаек, утробное урчание кранов, шлепанье босых ног и разгоряченная прель деревянных лавок — все было как бы между прочим, второстепенные декорации. Шел кульминационный момент бытовой драмы под условным названием «Страсти кордона „Выдра плачет"». Это отдаленный кордон в верховьях реки Ылыч, в предгорьях Урала, местное название его я забыла, но в приблизительном переводе не то с манси, не то с урду — звучит примерно так. Ко всеобщему удовольствию выясняли свои жизненные позиции и личные отношения жена лесника Матвеева (она же — помощник лесника) и жена лесника Бурлагина (по зарплаточным ведомостям — тоже помощник). На «Выдре», кроме двух этих семейств, проживал, как я поняла, еще третий лесник, молодой, холостой и нейтральный в интересующем всех аспекте, так что он, по-видимому, был занят сейчас работой — расчищал просеки, выходил на радиосвязь, вел учет водоплавающих и обходил подведомственную тайгу на предмет пожаров. Как ни странно, всегда находится некто, кто занят основной работой, как высоко ни взлетали бы изнуряющие страсти,— вот что странно.

Страсти кордона «Выдра плачет», вылезшие сейчас наружу, были такие. Жена лесника Бурлагина с оказией передала по большой воде пакет главному лесничему заповедника, где был бобровый хвост и записка без знаков препинания: «Данилыч посылаю хвост Матвеева вот до чего паразитство доходит». Бобры, как известно, наивны и беззащитны, словно стеллеровы коровы. Совершенно непонятно, почему они живы до сих пор. Так что дело это подсудное, чреватое — уж во всяком случае — немедленным вышибом из лесников и вещественной уликой — в лице хвоста — сразу и безусловно доказанное. Все действующие лица и их исполнители были поэтому вызваны сейчас на ковер к директору заповедника.

Сам Матвеев, мужчина хваткий в тайге, но среди людей робкий, отнесся к повороту своей судьбы с фатальной покорностью, вину свою, говорят, уже признал, сразу написал заявление по собственному желанию и просил только, чтоб дело не передали в суд. Да кому это выгодно — передавать, выносить некрасивый сор из заповедной избы,— никто и не собирался. Мужики, Матвеев с Бурлагиным, даже, говорят, выпили вдвоем крепко и, возможно,— на мужской половине бани кто-то из них сейчас шпарил другому спину жестким веником. Но жена лесника Бурлагина, упоенная гражданской своей правотой, недооценила силу духа, мощь и осведомленность бывшей своей подруги Матвеевой.

Ведь лет пять, весь заповедник помнит, Бурлагины да Матвеевы жили на своем кордоне добрососедски мирно, даже дружили, а года три как уже враждуют. Теперь трудно разобраться, с чего началось. То ли молодой бык Матвеевой вдруг отказался крыть пожилую, но сильно удоистую и славную по всей округе жирностью молока корову Бурлагиной. То ли, наоборот, ушлый теленок Бурлагиной пристрастился сосать желчную, прельстительную на вид, но

как раз доившую слабо и без того, корову Матвеевой, а Бурлагина наотрез отказывалась надеть на наглого своего телка плетеный намордник, который Матвеева ей швырнула прямо через забор под бесстыжие ноги, и матвеевская корова так день за днем и возвращалась домой пустая, только травы — тугое брюхо. Разве теперь все вспомнишь, как оно покатилось...

А только, как вылезло дело о хвосте, жена лесника Матвеева, считай уже — бывшего лесника, сказала, говорят: «Вместях на „Выдру" пришли, вместях и уйдем. „Выдра" пущай травой зарастет, а Бурлагихе мало не будет!». И тут же вывалила на стол перед директором, замом по науке и главным лесничим целую гору стреляных гильз, закрученных в мужской носовой платок. «Это еще зачем?» — ошарашились все трое, хотя кадры свои они знают и привыкли ждать из-за угла. «А затем, что весной на линии снегозамеров собрала,— объяснила Матвеева.— Бурлагин охотился по-за кордоном, его калибр».— «Ну, это никто не видел, что ты и где подняла»,— осторожно отвел директор. «А что хвост — наш, ты видел? — взвилась Матвеева.— Может, это бурлагинский хвост! Она за своего мужика горой да камнем, а он штаны впереду рукой держит, застегивать лень. Он на снегозамерах охотился, вот и весь сказ. Мой возле дома стрелять не станет, скотину пугать, а всю зиму — „бух", „бух", думала — лед пупырится, вот и лед: Бурлагин!..» Она долго и всласть еще кричала, никто и не останавливал, надо ж где-то человеку и покричать, на кордоне неделями, бывает, молчишь, муж в тайге, дети — далеко, в интернате, снег до крыши и выше.

Директор катал по ладони гильзы, калибр бурлагинский, точно, и по характеру тоже — похоже, Бурлагин давно уж был на примете. Зам по науке вроде смотрел куда-то мимо, в окно, а главный лесничий, откинувшись на спинку казенного стула, протянул впереди и далеко от себя длинные свои ноги и вроде игрался ими, как младенец — пальцами, лениво вычерчивал по ковру ногами какие-то, ему только ведомые, фигуры и на половине — бросал. Матвеева уже устала кричать и, пожалуй, даже хотела бы, чтобы ее остановили. Тогда бы она еще что-нибудь крикнула, краткое, из последних сил, уж нашла бы. И хорошо бы шваркнула дверью, чтоб знали. И тогда бы последнее слово было за ней, это всегда легче. Но все трое молчали, как про́клятые. Они же — все трое — грустно и объединенно молчали об одном: что кордон «Выдра плачет», самый отдаленный и северный, с предгорьями и труднопроходимой тайгой, куда все чаще налетают браконьеры на вертолетах из окрестных экспедиций, теперь ведь и такое есть браконьерство, останется, кажется, вовсе без опытных людей, один молодой-холостой, как ни крути, не потянет, надо кого-то туда перебрасывать, а это все равно, что перекладывать из кармана в карман, когда во всех только слабо бренчит медная мелочь, значит — в другом месте будет дыра, ибо кадров не хватает и по другим кордонам, хоть контора заповедника завалена письмами из разных концов Союза и письма эти все — с предложениями себя в качестве драгоценной рабсилы.

Даже отвечать на эти письма уныло, до того они однотипны. Пишут сплошь городские люди, зачастую — впрочем — биологи по образованию, но все равно. Они красочно и с придыханием повествуют, как любят они природу и как больно им, что эта природа гибнет (приводятся близкие им примеры в подтверждение основательности их взгляда). Иногда далее доверительно излагаются обстоятельства незадавшейся жизни (тут — возможны варианты). И наконец следует конструктивная часть, которая инвариантна: они устали от города, от вечной спешки, толкотни и общей невнятицы своей жизни, а потому хотят дышать чистым воздухом, кушать натуральный продукт, видеть вокруг себя естественные и простые отношения и мечтают внести свой вклад в великое дело охраны окружающей среды, то есть природы. Лучше заповедника, так они поняли, им места не найти — для приложения их усталых, но пока — богатырских, сил. И заповеднику — не найти лучше них, поскольку желания их высоки и чисты. Порой еще спрашивают про заработок и жилищные условия, порой — ничего не спрашивают, ибо суть не в этом, а превыше этого. Иногда сообщают, что все умеют — стрелять, грести, ходить по лесу. Иногда извещают, что не умеют решительно ничего, но всему научатся...

Милые, наивные люди — как хочется им выпрыгнуть из своей жизни изящным спасительным прыжком и какое же неудобное, необоримое место они для себя по наивности выбирают! Они же на дачу просятся, на природу, как ленивый студент на пенсию. А местная природа прекрасна, конечно, кто понимает, но она беспощадна. Чтобы просто выжить на кордоне «Выдра плачет» (не зря же она плачет, черт возьми!), нужно сплавить по реке лес, вытягать его на берег, разделать, самому сложить баню, избу, сарай, уметь сделать лодку, сани и лыжи, починить мотор, объездить лошадь, вылечить мастит у овцы или понос у пчел, провалиться в сорокаградусный мороз на быстрине в ледяную воду по шею, суметь выскочить, развести костер, раздеться донага, высушиться и не заболеть, месяцами ждать писем от близких, сложить печь, испечь хлеб, ужиться с соседом, которого ты не выбирал, это здесь не легче, чем в коммунальной квартире, в полной отрезанности от прочего мира отношения обострены, как бы — заострены, либо — лютая дружба, либо — лютая ненависть, всякое неточное слово тут чревато. Нужно еще противостоять соблазнам — даровой пушнине, что сама на тебя, бывает, бежит, при теперешней-то моде на мех, даровой рыбе — при теперешнем-то на нее спросе и тяге...

Так, пошла публицистика. Чего, значит, надо еще уметь, чтобы выжить? Да все надо, все, остановись. А еще надо, чуть не забыла,— работать, платят-то между прочим — за работу...

Так пусто мне без Вас, как будто из камня высосана твердь, из солнца — свет, и сок желудочный — из самого желудка. Так можно, не заметив, помереть, сойти на нет. Душе моей так ново — зависимости чувство сознавать от голоса чужого. Так тускло мне без Вас, как будто хрустким пеплом мир покрыло, как — помню — на Курилах, когда извергся Тятя, было, теплый пепел коровы втягивали жадными ноздрями, он проступал на теплых их губах, а в их глазах качалась, словно баржа на волнах, печаль непониманья. Так серо мне без Вас, как будто — из глаза вынут взгляд, рассвет из утра, как будто из фламинго вдруг перья выдраны, где билась тайна жизни, ее кричащая багряность. Так скучно мне без Вас. Как будто — кругом чужая пьеса, в ней смысл, возможно, есть, я — тоже персонаж. Но нет ни сил, ни интереса — ее понять, хотя б — прочесть, тем более — войти в ее кураж.

Кстати, последнее — ценное, что Тятя на Кунашире успел свершить, когда роскошно извергся, был горячий ошметок, коим он запустил мне в спину. Но промахнулся и попал в рюкзак. А мы потом перебирались на Шикотан, и с борта сейнера «Старательный» я видала в море зеленое солнце. Может, бывалые моряки видают это каждый вечер, может, им это зеленое солнце давно уж осточертело, надо бы спросить Виктора Конецкого. Но мне удалось подглядеть это только один раз в жизни, а единственное — запоминается.

Был длинный миг заката. Солнце почти уже коснулось воды, оно садилось как ему и положено, расплющенно и багрово, но вдруг — над самой уже водой — странно полыхнуло и сделалось чисто ярко-зеленым, без намека на красноту. И таким — зеленым и чистым — сгинуло в море. Море сразу же лихорадочно засветилось из глубины, круглые — зеленые — огни искрами заскользили вдруг вдоль бортов и за кормой. Красные кальмары бесшумно пронеслись по зеленым огням. И скрылись, как видения. Резные медузы, словно узорчатый мороз на стекле, проступили в зеленой воде. И колыхнулись на пологой волне...

Неотправленное письмо: «Досточтимый сэр! Входит ли теоретическая физика (в частности — квантовая механика) в круг Ваших интересов? Ощущая Вас как узкого гения, подозреваю, что — нет. Клянусь точкой — как мельчайшей и неделимой единицей любого множества — Вы много потеряли. Как Вы считаете, что лучше — абсолютное знание или любознательное невежество? На первый взгляд кажется, что абсолютное знание не в пример лучше. Но, как нам с Вами известно, это не так. Ибо: что может быть выше и совер-

шеннее абсолютного знания? Ничего. А любознательное невежество все-таки, согласитесь, живее и больше, чем ничего. Значит, любознательное невежество лучше, чем абсолютное знание, которое нам, увы, все равно не дано.

Узнаёте стиль? Прямая аналогия, стр. 202, Рэймонд М. Смаллиан. Вы же любите эту книжку, правда? Я помню, что на лекциях для учителей Вы неоднократно и беспроигрышно возбуждали умственную энергию зала незатейливой загадкой именно из нее — насчет пятнадцати копеек двумя монетками, если одна — не пятак, то какие же это монетки? Речь, как обычно в Ваших лекциях, шла о творческой атмосфере урока и раскрепощении личности ребенка на ниве школьной математики. Усталые взрослые бледнели и суетились лицом в напряжении мысли. В Вашем уважаемом пятом „А“, в „Б“ — тоже, на разгадку уходит четверть секунды. Кстати, ровно столько же требуется кобре или гюрзе где-нибудь в районе Кушки (подозреваю, что в других местах — тоже), чтобы сосредоточиться и всадить Вам в руку ядовитый зуб. Достаточно — и одного зуба; Богу угоден нечет, учит Коран и пифагорейцы.

На своих лекциях в Институте усовершенствования учителей Вы, на мой взгляд, совершенно напрасно опускаете одно — первое — звено. Взрослым было бы гораздо легче, если бы свои лекции Вы начинали с дружелюбного гипнотического сеанса, с которого начинаете изучение математики в четвертом классе. Пусть бы все сперва красиво написали на чистом листе: „Я — хороший, я — очень способный, мне легко дается математика, математика — легкая наука, я буду хорошо учиться“. Мне сдается, что именно взрослые — как никто — нуждаются в этих словах. Возможно, им давно уже никто не говорил, что они — способные. Может, им, кроме Вас, этого уже вообще никто не скажет. А ведь именно взрослым так необходима вера в себя и в свои силы! Они бы, по-моему, сразу раскрепостились. Возможно, раскрепостившись, они даже справились бы с первой творческой задачей, с которой Вы начинаете опять же в своем четвертом: начертить в тетради линию. Я вдруг бесстрашно верую, что некоторые взрослые начертили бы вдруг даже и не прямую линию, вдруг залезали бы за поля, вдруг да наделали бы Вам вольных извилистых загогулин на целый лист, кривых или свободно изломанных, то есть вдруг явили бы себя свободными и незакомплексованными творцами и, как какой-нибудь Ваш четвертый „А“, вдруг да не упустили бы единственный в жизни шанс — загнуть такую линию, что даже и Вы бы ахнули. Честное слово, я почему-то верю в потенцию взрослых: они погрязли в условностях, но они еще могут. И Вы тоже верите, знаю, иначе бы у Вас так не блистали глаза.

Впрочем — я не об этом. А вот как Вы считаете, существует ли квант понимания, дорогой сэр? По-моему — да. По-моему, в понимании, к которому так стремятся люди, есть своя — непереходимая — мера, этакая постоянная Планка, ближе которой взаимопонимания быть не может, иначе уже было бы слияние душ. Например, моей — с Вашей, чего, как известно, не происходит. Не знаю, как Вы, а я переношу недостаток взаимопонимания чрезвычайно болезненно, мне всегда понимания мало, мне всегда надо больше, и только теоретическая физика, в которой я так счастлива последнее время, как-то примиряет меня с существующим положением вещей и способна укротить мои неистовые порывы к душам себе подобных.

Потому что теоретической физике я верю. Я в ней, по-видимому, стихийный антропоморфист, впрочем — это просто еще одно определение, которое ровным счетом ничего не определяет. Но мы же так любим определения. Определить для нас — значит понять. Меня же просто волнуют ее философские принципы, нахально распространяемые мною на психологию, на отношения с ближними и с собой, на творческий процесс и бешеное биение чистой мысли, беспрестанно отторгающей и даже отрицающей самое себя, чтобы к самой же себе придти на новом — более высоком — витке. Я брежу в теоретической физике — нюхом, от идеи к идее, обмирая от наслаждения, тут нет для меня штампов, тут ветрено и свежо, тут идею, чуть только к ней привыкнешь, уже вышибают рывком из-под ног, как табуретку, а следующая идея совсем уж блистательна и все по-новому открывает. А ее опять вышибают — блестящим рывком. И в то же время, в неостановимом и вроде бы таком головокружительно противоречивом этом движении, вдруг прорезаются простые и вечные

истины, которые вдруг непонятным даже образом многое легко объясняют и как-то объединяют тебя, единственного, с другими, единственными, с миром и вечностью...

О, достохвальный сэр, бесстрашно и неутолимо мое невежество, смело признаюсь я Вам. Я в нем купаюсь, как глухарь в теплой осенней пыли. Физики, если они, как и Вы — тоже узкие гении, может, убили бы меня за мои пронзительные прозрения. Но ведь и я нашла бы за что их убить, я же не мешаю им наслаждаться литературой и толковать ее вкривь и вкось. Мне отважно сдается, что нюх мой за последнее время развился и утончился. Я даже чувствую себя — лайкой, а физику — глухарем, как охотники выражаются: глухарь под собакой сидит. В отличие, будто от рябчика, который сидеть и не думает, хоть рябчик, к Вашему сведению, по вкусу несравнимо нежнее глухаря, особенно — задняя его часть. Знаменитый „пупок“, что есть — желудок рябчика, мне, по чести, не нравится. Не знаю, как Вы относитесь к „пупку“.

И верите ли Вы в постижение помимо формул? Я теперь — верую. Я же не замахиваюсь — пока! — на сложный математический аппарат, что есть основа и плоть всякой теории. Я не посягаю пока даже на преобразования Лоренца, оставляю их Вам. Честно говоря, я наизусть твердо знаю только две формулы: формулу конца света („свет“ здесь в смысле „мир“) специальной теории относительности — $E = mc^2$ и еще одну — $Н = (К + Р/2) \cdot 4$, где „Ка“ — корм, а „Пэ“ — подстилка, причем „Аш“, видимо, следует читать как „Эн“, ибо это формула жидкого навоза, если она с тех пор не изменилась. Этой формуле меня обучили на четвертом курсе университета в спецкурсе „Основы зоотехнии“, не то „Основы агрономии“. С детства я питаю тайную слабость к Римановой геометрии и, вообще, к геометрии поверхностей. Но это — чисто эстетическая привязанность. Домотканая свежесть моих физических постижений от этого не становится для меня менее упоительной. Понятно ли Вам это? Мне зачастую — нет. Ах, зачем Вы не физик, дорогой сэр?!

Вы бы так чистосердечно плевались, имея дело со мной. Но так уж вышло, поскольку мысль, по сути — фотон, у нее нет массы покоя, чем она и пленительна. Коль уж она разбужена, движение ее в человеке неостановимо. Иначе зачем Вы так тщитесь разбудить мысль в Ваших учениках? Интересуюсь — попутно,— как Вы относитесь к идее спина, применительно к человеку. По-моему, это конструктивная идея. Спин, собственный момент импульса, этакий внутренний волчок, наверное, и есть личностная инвариантность, именно он позволяет сохранить свое „я“ независимо от любых внешних влияний, импульсов и вращений среды. Спин позволял Морозову плодотворно работать в крепости, сохранял в Пущине доброту и он же побудил Сократа отказаться от побега. Именно спин не дает человеку предать самого себя.

Поскольку творческая личность, по определению, нуждается в изначальной, структурно заложенной, максимальной самосохранности, иначе она просто не сможет себя реализовать в этом мире, человеку с творческим потенциалом свойственен, видимо, полуцелый спин („видимо“ — тут непонятный мне же самой экивок вежливости и якобы трудных раздумий, в то время как я, наоборот, убеждена в истинности и строгой логичности вывода) и относится он к фермионам (к ним же относится, как известно, протон, даже отдаленное родство с которым — уже захватывающе лестно, ибо протон — как, впрочем, и творческая личность, напрямую связан с вечностью, стабильность его и самосохранность беспрецедентны, период распада протона — это десять в тридцать второй степени лет,а может, он и вовсе не распадается, это еще вопрос). А самое главное — художник относится к фермионам и, следовательно, для него обязателен принцип запрета Паули, то есть невозможно существование даже двух творческих людей на одном и том же энергетическом уровне. Каждый, к примеру,— в искусстве, существует лишь на своем — единственном и на качественно отличном от других. На педагогику, как Вы понимаете, высокочтимый сэр, принцип Паули распространяется столь же тотально, как и на любое другое творчество.

Любопытно — следствие. Помните, Вы как-то обронили на факультативе: „Решая задачку векторным методом, часто получаешь больше, чем ждешь“.

Вы-то, конечно, не помните, за Вас давно уже помню я. Неважно. Любопытно только, что в силу запрета Паули в том же искусстве, хоть бы — и в литературе, не может быть зависти, соперничества, дележа призовых мест, наивного желания перебежать кому-то дорогу и смешного опасения, как бы тебе не перебежали, никто не может никого повторить, ни одна тема никогда не может быть „закрыта", ибо хоть все семь тысяч членов Союза писателей сразу напиши вроде бы об одном и том же, а все будет разное, зато открыть новое может каждый и даже не открыть никак невозможно, поскольку нет двух одинаковых энергетических уровней. Никакие мелкие чувства на ниве невозможны в принципе: по Паули, вот ведь прелесть в чем, могучий был человек и могуча наука физика. Может, я даже неправильно выводила принадлежность творческой личности к фермионам, очень может быть. Возможно, выводить нужно было именно из принципа запрета Паули, который несомненно краеуголен для творчества, и никакого творчества без него нет и быть не может.

Кстати, о затронутых мелких чувствах. По-моему, самое из них скучное — зависть, как Вы считаете? Рептильное. Хотя сомневаюсь, чтобы даже гадюка завидовала другой гадюке, жизнь ведь и для них слишком блестяща и неисчерпаемо многообразна по собственным возможностям, чтобы предаваться столь унылому чувству. Я к змеям отношусь с уважительной приязнью. Они красивы. Пластика их совершенна, только птицы в полете так же совершенны, как змеи — в движении. Не знаю, как Вы к ним относитесь. На уроках, на факультативе и даже на кружке Вы почему-то не сказали о змеях ни слова. Что такое белая зависть? Случалось ли Вам ее испытывать? На Ваших уроках она меня посещает.

Однако вернемся к искусству. Помните, Резерфорд писал Бору из Манчестера: «Было бы лучше, если бы каждую свою фразу Вы не начинали со слова „однако"». (Прекрасно понимаю, что Вы этого не помните, видимо, хочу Вас таким образом унизить, вот рептильность натуры!) А ведь не в том, по-моему, дело, что Бор тогда еще недостаточно владел английским. Настойчивые повторы слова, вдруг — как бы настаивание на отдельном слове шли у Нильса Бора, по-моему, от другого. Нильс Бор, этот с раннего детства якобы тугодум, всю жизнь, в каждой своей строчке, беспощадно и страстно, как-то даже — приговоренно, искал кратчайшее расстояние между мыслью и словом, этот ускользающий перпендикуляр: мысль — слово, добивался почти что слияния их — до кванта. (Опять квант, скажете Вы! Но он, родимый, наверное, есть во всем, думаю, существует и квант смысла, почему — нет?) И поэтому он так и писал — мучительно, медленно — для себя и прозрачно в итоге — для других. Он же сам как-то сформулировал: «Когда я говорю, я хочу выразить словами то, чего сам еще не знаю». За точность цитаты не ручаюсь, точность я проверять ленива, но за смысл — головой. Стиль Бора, как редко чей, позволяет почти физически следить рождение мысли, почти участвовать в этом процессе. Удивительно, что на Ваших уроках я ощущаю приблизительно то же — Вы будто шарите нарождающимся, еще только проклевывающимся словом за гранью неведомого, будто проползаете там на брюхе — в слепоте, глухоте, одержимости и обжигающем предчувствии понимания — и постепенно, обдираясь в кровь и клочья, вытягиваете оттуда нечто, облеченное в единственно точные слова, нечто, чего там, вроде, и не было, но такое притягательно новорожденное и блистательное, что теперь оно доступно даже профану. Это — всегда мысль. Тут — одна неясность. Ведь этот подробнейший и увлекательнейший процесс извлечения истины на наших глазах, формулы или теоремы, он же лишь имитация открытия? Невозможно же предположить, что до урока в четвертом „Б" Вы не предполагали о существовании простой дроби, а до встречи с девятым „А" сроду не видели в глаза интеграла. Но почему же так насмерть и взахлеб веришь каждый раз в сиюминутность открытия? Это, видимо, и есть искусство.

Чтобы не было так изнуряюще возвышенно, спешу заодно сообщить, что благодаря Вам во мне прочно засела теперь куча ерунды: корень из двух, число „Пи" до семнадцатого, приблизительно, знака, Канторовская мощность множества (эта уже даже пару раз снилась), теорема о трех перпендикулярах, тангенс угла в сто тридцать почему-то градусов, функция — как волнующая таковая, гравитационный радиус Шварцшильда, предел Роша для двойных звезд (извиняюсь, валю на Вас лишнее, последние — как раз услада души) и даже двенадцать в квадрате, не говоря о дифференциальных уравнениях третьего порядка. Вы же любите повторять: „Каждый интеллигентный человек знает, что, к примеру, число пять в шестой степени дает число пятнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре". Ну, и запоминаешь. Всякому лестно почувствовать себя интеллигентом столь необременительным способом.

А знаете ли Вы, что тот бессчетный набор, который я выше уже столь изящно определила как „кучу ерунды", таковой, то есть „кучей ерунды", для меня не является? Это скорее сейчас для меня корень жизни, женьшень моего сердца, который я трепетно откапываю и окапываю, чтобы не повредить. И уж во всяком случае все это для меня сейчас куда существеннее, чем, например (о, кощунственное признание, Вы бы мне его вовек не простили!), очередной душевный кризис единственной дочери, в силу коего она снова вторую неделю не ходит в школу, чем лишает себя бесценной возможности — слушать Вас. Кажется, ее зовут Машка. А то, что сейчас я пытаюсь Вам смутно и так необоснованно втолковать (как математику Вам, естественно, требуется логически строгое и исчерпывающе полное доказательство, но душа моя — мои потемки), в искусстве прекрасно выразил Франсуа Вийон, введя, так сказать, понятие „обязательность необязательного": без обязательного — жить можно, без необязательного — нет.

В мой личностный спин это входит в качестве фундаментальной константы. Машке нужно обязательно ходить в школу, но можно прожить и без этого, а вот я, к примеру, не знаю, почему Больцман покончил с собой в возрасте шестидесяти двух лет, что за дурацкий возраст для самоубийства, и еще при такой голове! Да второе начало термодинамики, распространенное им на вероятностные системы и объявшее таким образом все, должно было обессмертить его у всех на глазах, самое ненасытное честолюбие — утолить, самый несносный характер — примирить с собой. Не утолило. Не примирило. Он ушел сам. И никто его не остановил. Почему же мы, черт возьми, не умеем никого вовремя остановить? Вроде бы это и не обязательно понять, но жить, не поняв, невозможно.

Вы не знаете обстоятельств гибели Больцмана? Ощущая Вас как узколобого гения, подозреваю, что — нет. Но тогда, может, Вы объясните мне, почему Гаусс, например, с собой, наоборот, не покончил? И даже никогда и не собирался. А ведь на совести у него был молодой Бояи, а ведь в душе у него была геометрия Лобачевского, и — подозреваю — даже четырехмерное пространство Минковского, и все это он в себе таскал. И не задохнулся. Гаусс был так мудр и так осторожен, что именно ему, по-моему, должно было в один прекрасный день все это в конце концов окончательно и бесповоротно опостылеть. Ведь мудрость и осторожность, вкупе возведенные в такую степень, должны, мне кажется, изнашивать душу быстрее буйств и явных пороков. Или как Вы полагаете, досточтимый сэр?..»

Душа моя на цыпочках стоит, все тянется к чему-то там высокому, и у нее всегда усталый вид, такая белая, немая, одинокая, и вечно что-нибудь не понимает, возможно, дура, может быть — святая... Ух, как она мне надоела, ей — что угодно, только бы — не дело!

Резко ударил прожектор на носу судна. Прожектор, пять киловатт (идиотская привычка к цифрам, это-то зачем?), греб сейчас светом, как веслами, нагоняя на себя рыбу из черноты моря, высоко и призывно задирая луч — впереди и отвесно и повелительно снижая — к левому борту, словно заговаривал сайру пронзительным своим светом, словно лживо заклиная сейчас своим блеском, что свет — это всегда добро, что тернистый путь сладок, а гибель в таком блистании — только радость, «это не больно, это — как уснешь» (Машка любит так успокаивать Айшу, когда хочет ей сделать гадость, например, почистить ее пылесосом, небось из какого-нибудь мультфильма). В рыбьей крови сайры неутолимо дрожит художественная жилка, то ли Гоген, то ли Матисс, перед ярким сайра бессильна. В блеске прожектора она кипит

и неистовствует, выпрыгивает из воды, голубоватая, словно с белыми крыльями. И тут сайра больше похожа на птиц, невозможно представить ее себе — в банке, кощунственно, как котлеты из орла.

Меж тем, пока сайра табунится у левого борта, завлекаемая прожектором, где горят уже ей на радость восемь сильных люстр — голубовато и мертвенно, как предчувствие несчастья, с правого борта — в слабом шуршании лебедки — воровски, беззвучно, по-черному в черноту моря скользит, спускаясь все неотвратимей и глубже (на сорок пять метров вглубь, если уж без этого не можешь, это раньше так было, сейчас, может, сайру давно уж подманивают свистом или она сама валит валом, к примеру, на полотно Ильи Глазунова, натянутое вдоль борта), будущая сайровая погибель — ловушка. Вот уже все готово. Резко свистит наводящий, люстры по левому борту гаснут, в дотошной предрешенности — от кормы к носу, вдоль правого борта загораются, сайра, взбивая море, самнамбулически перетекает к свету, огибая нос сейнера, вся она теперь бьется справа, голубовато и призрачно, уже над ловушкой. Снова свисток. Вдруг обрушивается мгновенная темнота, как черный мешок на голову. И внезапно — режущий красный свет, удар красным светом по голове. В красном сайра шалеет, неистовы ее броски вверх, безумны ее удары плашмя об воду, извив ее тела — экстаз, бушующее ее токование в красном зареве — оргия. Что сайре этот свет? Что она себе думает рыбьими своими мозгами? Что ей за праздник в разрушительно-красном этом блистании? Почему она наскакивает друг на друга, будто бьется за это место под красным солнцем, и ни одна, даже самая умная, не свернет в спасительный мрак, который вокруг и везде? Нет, она вся торчит тут, как раз над ловушкой. А ведь ловушка давно уже ползет вверх, я слышу предательский шурш лебедки...

Стоп, говорю я себе. Есть что-то разрушительное для человеческой психики в столь дотошно детализированном описании безвинной ловли рыбы, что есть — простой производственный процесс, сама же потом из банки ем. Но что-то вдруг в этом описании возникает будто безнравственное, словно призываю лопать одну крапиву. Но ведь и с точки зрения крапивы можно взглянуть, как теперь уже доказано — и крапиве больно. Чушь какая-то. А может, как раз возникает — нравственное? Возможно, исконный наш антропоморфизм, повинуясь которому крокодила и волка мы невольно измеряем своею же мерою, заложен в нас как предостережение, чтобы не зарывались своею силой, хоть сознанием — вроде бы — и наделенной. Ибо, как справедливо сказал поэт по совершенно другому, правда, поводу: «Много зла от радости в убийцах». И зло это возбуждающе заразительно и как-то безудержно переливается в торжество удачи, уже бесконтрольное, даже если сидишь под ветлою над тихой речкой и только дергаешь плотву на крючок. Дети, как всегда, правы, когда потом с ревом вытаскивают этот крючок и пускают плотву обратно в реку...

Зацепившись сейчас за это в себе (глупо — почему-то от сайры, вернее даже — от собственного тщедушного сопереживания ее последним минутам), я вдруг медлительным и тупым удивлением осознаю, что слишком много раз в жизни видела, как человек убивает кого-то. Счастье ведь — не людей. (Поразительно, что люди, прошедшие войну, могут потом думать о чем-то другом, суетиться вокруг мелкого, Василь Быков — наоборот — норма.) Но будто я ничего другого не видела. Будто я только это и видела. Кричит до сих пор зайчонок, которого семнадцать лет назад неловко подстрелили в Кара-Кумах возле колодца Газаплы прямо с вездехода. Была ночь, я зайчонка не видела, слабо светился только огромный белый саксаул. А до сих пор — пусть даже вижу я саксаул где-нибудь на слайде — слышу крик зайчонка. Слышу обожженное, словно бы с хрустким присвистом трескающейся от жара, иссохшейся кожи, дыхание морских котиков на острове Тюлений, гонимых загонщиками по узкому, такому солнечно-светлому песку берега на забойщиков, их тяжелую одышливо-задыхающуюся перевалку не то бега, не то ползка на отказывающих уже ластах. И глуховатый какой-то, как через ватное одеяло, шмяк дубинки забойщика — котику в лоб. Этому тоже ведь уже более десяти лет. А в ветеринарной поликлинике мраморный дог, которого только что с трудом оторвали от хозяина, едва-едва — втроем — втащили на стол и, наконец, привязали — для последнего в жизни укола, этот дог все равно был уже не жилец, вдруг бессильно укусил своего хозяина за руку и, привязанный, отвернулся.

И еще я почему-то очень помню голову щитомордника. Вполне отделенная от туловища, она все никак не закрывала холодные и злые глаза, все выбрасывала и выбрасывала далеко вперед длинный узкий язык и даже как будто скалилась. А змеиное тело долго еще выгибалось красиво и мощно, даже делало словно бы сознательные броски, мы шарахались. Этот щитомордник привадился отдыхать в спальнике аспирантки Нели, другого выхода не было, как его убрать, спальник был на собачьем меху, ярко алый, небось единственный в то лето на весь Тянь-Шань, мы в нем спали по очереди, чтоб красота принадлежала одинаково всему коллективу и, возможно, тот щитомордник, как и сайра, просто не лишен был художественного чувства, но мы не смогли объяснить ему идею очереди, что его в конце концов и погубило.

Это все я, по крайней мере, видала сама. Сама и помню. А вот уже эффект чистого слова — как такового, эмоциональная энергия слова, называй как хочешь. В тетрадке Умида Аджиева (у меня осталась его тетрадка, где он записывал для себя, я про Умида сейчас не буду) есть запись: «Не забыть, как умирала ящерица». Чем она меня держит? Вокруг этой записи я кручусь уже двадцать шестой год, иногда она неделями сидит у меня в голове, как штырь в гипсовом болване, вроде — она меня держит. Потом проваливается надолго. И снова всплывает. Разве у меня нет об чем важнее подумать? Иногда я вдруг ловлю себя на мысли, что — мысленно — пропустила душой день гибели Умида. Даже такое уже бывает. Как говорит мой дружок-художник: жизнь слишком длинна для любого чувства. Я всегда возражаю. Но вдруг спохватываюсь, что неделю назад был день рождения Умида и я не вспомнила. А вот насчет этой фразы я давно поняла — мне не отделаться от нее никогда.

Это самая загадочная для меня запись, потому что я вовек не узнаю, что за ней для него стояло. Ведь я на самом деле Умида не забываю, это просто ушло куда-то вглубь, как военный осколок. Можно забыть живого. Того, кого потерял, даже если когда терял, не знал, кого для себя теряешь, забыть невозможно. В этом сила ушедших — их не забудешь. Но что же мне эта фраза? Что за ней было? Какая сила в ней меня держит? Как я ни копайся в такой короткой, и все короче для меня — с возрастом, жизни Умида, этого мне не узнать никогда. Да и в чем копаться? У меня осталось так мало: эта тетрадка, его записная книжка, два письма, одна-единственная телеграмма, но она — фототелеграмма, сколько-то фотографий, фотографии всегда для меня мертвы — в сравнении с памятью, не понимаю я фотографий, да тоненькая канцелярская папка с материалами его последней практики в городе Измаиле. Среди прочих тайн, которые Умид унес с собой и о которых не осталось даже намека, он унес с собою и эту, крохотную, на которую успел намекнуть. Тайны эти, конечно, несопоставимы; что в нем вообще было, как я, может, только уже и помню, что в нем было дано в возможностях и потенции, что ни мне, ни ему самому было тогда неведомо, и эта, такая, вроде бы, мизерная: «Не забыть, как умирала ящерица». Но я уцепилась за нее на всю жизнь. И как же она разрослась во мне за эти годы.

А поскольку во мне начисто нет смирения, я никогда не смогу примириться с тем, что даже этого мне так и не узнать, как эта ящерица умирала и чем потрясла тогда Умида, который вырос ведь в Ташкенте и ящериц — небось — успел повидать. Что он почувствовал, почему записал это особо? Вдруг узнал для себя? Вдруг пронзительно понял? То же — что я понимаю теперь? Значит — он понял это так рано? Что есть только жизнь и только смерть, а больше нет — ничего? И что именно поэтому жизнь прекрасна, и если наполнить ее, так осмысленно наполнить, как я теперь знаю (а он знал тогда?), то радиус ее стремится к бесконечности и достигает ее, а радиус смерти стремится к нулю и обращается таким образом в ничто? (Гм, насчет радиуса — похоже на плагиат, ибо каждому интеллигентному человеку знакомы, конечно, слова Гильберта: «Иногда случается, что кругозор человека становится все уже и уже, и,

когда его радиус стремится к нулю, он сводится к одной точке. Тогда она становится его точкой зрения».)

А иногда мне вдруг кажется, что у этой ящерицы была какая-то особая, то ли геройски-блистательная (нет, тогда было бы: «как умерла», упор был не на длительность процесса — «умирала», форма «у-ми-ра-ла», выбранная Умидом, скорее намекает на мученичество), то ли изуверски-мучительная (во, это вернее) кончина. По-моему, я и Кара-Кумы-то пересекала направо и налево, чтобы этой тайне найти для себя хоть какую-то удовлетворившую бы меня разгадку. Кызыл-Кумы — тоже. По крайней мере, эта фраза Умида была для меня толчком, чтобы попасть в пустыню впервые. Позже выяснилось, что мне там легко и спокойно, что это — мое, сама небось была когда-то ящерицей, сидеть где-нибудь на потрескавшемся и чистом такыре, дышать настоявшимся полынным духом и вечно и ненасытно глядеть остановившимися глазами, как неутомимые томзоки ловкими задними лапами гонят верблюжий шарик. Это уже нечто египетски-вечное, вроде сфинкса, недаром томзок — скарабей. Или стоять где-нибудь на янтарном бархане и бесстрашно следить, как со всех сторон бегут на тебя, как на законную дичь, неутомимо карабкаются по крутому песчаному слому, срываются и снова штурмуют бархан красные пустынные клещи на высоких ногах. Я где-то читала, что они бегут прямиком на биотоки мозга и сбить их с пути может только бронированный шлем со щитком на весь лоб.

Ящериц я видала всяких. Они стояли на ветках кандыма и спасались тем от жары, а может, им, как и мне, нравится запах цветущего кандыма, один из самых насладительных запахов моей жизни. Они мелькали, как бабочки, едва успеваешь засечь их тень. Они мгновенно растворялись в песке, вибрируя всем телом, как перфоратор, но беззвучно. Ни от кого в жизни я, пожалуй, не удирала в такой панике, как от ушастой круглоголовки, о которой тогда ничего не знала. Я, главное, сидела. Она сама подошла, такая маленькая, и задорно загнутый вверх полосатый хвостик. У нее было узкое доброжелательно-индифферентное лицо и она глядела так кротко. Я — по наивности — протянула к ней руку. Такой стремительной метаморфозы я не видала сроду. Я потянулась к милому созданию, а передо мной уже была фурия. Она стала, во-первых, ровно вдвое выше, у нее оказалась мощная грудь и она пошла прямо на меня этой грудью, широко и крепко расставив лапы, полосатый хвост угрожающе вздрагивал, загибаясь к спине, а узенькое лицо — вдруг, у меня на глазах — превратилось в огромную морду и эта морда — тут же, у меня на глазах — начала багроветь, потом лиловеть, потом фиолетоветь, потом — не помню еще чего, но этой феерии красок и ярости их не было конца. Потом я сбежала. Мне кажется, она преследовала меня. Во всяком случае, я бежала долго и долго не могла заставить себя оглянуться. Овцы возле колодца, когда я туда, наконец, добежала, разом подняли на меня глаза и все сразу прекратили пить, а умная старая коза, которая была у них предводитель, даже понюхала меня и ее аж перекосило. От меня пахло страхом.

Но я так ни разу и не видала, как умирает ящерица...

Луна вдруг вылезла, как пес большой и рыжий. Опять не вышло ни пшена. Уж две недели зря пролетели. Все погубил серьез. Напыжась — нельзя писать. Открытьям несть числа. Ужель не знаю ремесла? Коль точность дадена, так выбивай мишени. Душа — как ссадина в колене — нытьем своим стесняет лишь движенья. Я распоясаться желаю, как розовых скворцов грохочущая стая взрывает куст, что был и тих, и пуст. Желаю — прянуть ввысь. Давай, прядай! Гляди — не расшибись об потолок, он — невысок. Чего, Луна? Я подаю по средам, а нынче — вторник, вроде бы, с обеда.

Недурно бы такую еще послать телеграмму: «Как лучше узнать духовный мир учителя вопросительный знак». Помнится, этот вопрос Ему подкинули в форме записки без подписи в девятом «Б», когда шло оргсобрание по подготовке внутришкольной математической олимпиады, что по престижности — Олимпийские игры, и Он собирал письменные предложения-идеи. Но в авторстве Он опять же меня не заподозрит.

Смотрите — сиреневый суслик сидит среди сумасшедших сугробов, сонливо свисая своею стеклянной стотонной ногой...

Тут вся прелесть — именно в перебиве, когда уже привыкаешь к плавному скольжению «эс» и внезапное «ногой» — как удар под коленку. Главное — точно почувствовать длину скольжения перед ударом. Ощутить, поймать и не пропустить. Дети получают свое эстетическое наслаждение, обычно — смеются, именно от точно рассчитанной внезапности. Взрослые от этого же частенько раздражаются, у них другое по плотности внутреннее время. Взрослые — бессознательно — жаждут как раз ожиданного, чтобы соотнести с собой, им ведь всего важнее — перенести на себя, чем прямее, тем им комфортнее, или слегка, самую чуточку, неожиданного, чтобы, так сказать, расшириться, не сильно при этом напрягаясь. Взрослые внутренне отяжелели (кг взрослого весит больше, чем кг ребенка, это всегда надо помнить), им трудно даются скачки.

Каждое слово в детской книжке — удар цветным мячом об светлую и звонкую стенку. Мяч обязательно должен стукнуться в стенку несколько раз, иногда — много, детям — для проживания до обыденности и приживания слова к себе — обязательно нужны повторы. Важно уловить миг, когда энергия восприятия максимально высока, мускулы души напряжены и разгорячены, а усталости еще нет, но она вот-вот может возникнуть. Тут-то и нужен поворот, эдакий поддых. От поворота на всем скаку — рывком меняется угол зрения, снимается подступившая было усталость и вспыхивает радость новизны, по крайней мере — у детей так, они еще не замусорены штампами.

Во взрослую стену колотиться, видимо, следует медленнее по ритму, чтоб сразу не спугнуть, им нужно длительное вступление. Потом уже — ревче, короче. Многократные повторы мяча-слова тяготят взрослых, ибо в повторе они видят лишь повторение и тут же подозревают, что их умственные способности автор недооценил. Слишком хорошо знают точный (вернее — точечный, максимально вероятностный) смысл слова и мало чувствительны к полутонам, к теням, цвету, запаху, расширяющейся — в частности от повторов — глубине и игривой переливчатости, вообще — к полю слова. Слово же всегда двуедино: частица-волна. Мячик во взрослой прозе лучше брать тугой и поменьше, желательно однотонный, но выпукло очертанный цветом, например, черный. Многоцветье радуги часто воспринимают как радужный мыльный пузырь. А стенка, как правило, лучше, если очень спокойных тонов, серо-голубых, светло-салатных, вроде — привычной кухни...

Страшна, как выпь, кричащая в ночи, от собственного крика я проснулась. Его боюсь сегодня увидать.

Не бойся, Он и не заметит. А выпь на Украине недаром зовут «бугай». Крик ее в ночной глухоте — то ли низкое, сотрясающее мир, тяжелое мычание, то ли буханье огромных легких в глухое ведро. Поставит клюв вверх, вся пружинно вытянется назад, в камыши, один клюв вверх торчит — камыш и камыш. Клюв у выпи бледный, с серою зеленью, длиной с указательный палец, шея — от локтя моего, приблизительно, до ладони. Мясо — по вкусу — вполне обыкновенное, даже мягкое в лапшовом супе с картошкой и луком. Эта выпь на рассвете летела высоко. «Хочешь поближе глянуть?» — «Хочу!» — хищно сказала я. И выпь сразу убили. Как же, однако, совместить мою ликующую хищность с моими же, вышеизложенными, вегетарианскими слюнями насчет бедной сайры? Видимо, исключительно посредством возлюбленного моего Принципа дополнительности Бора: две этих точки зрения, взаимно исключающие друг друга, одновременно восприняты быть не могут, с возникновением одной информации, другая, наоборот, начисто утрачивается, хоть все равно существует же, но только обе они — вкупе и в дополнительности друг к другу — позволяют получить посильно доступное и посильно физически объективное представление о многогранности моей личности.

Тоска была шаром. Этот шар был слоистым, пожалуй — кокон. Внутри

кокона был тепловатый, истлевающий собственной безысходностью воздух. И душа моя неловко ворочалась в нем, как ребенок под одеялом, ища уютное и спокойное место, чтобы заснуть. Но места такого ей не было, потому что боль была всюду и боль эта была замкнута сама на себя, как шар. О, могущество геометрических фигур, из которых нет выхода! Все это уже было у меня — такыр, тамдыр, маразм, энтузиазм, изысканный запах цветущего кандыма, уже от него воротит, а ушастую круглоголовку, небось, давно воротит от меня, не было разве что пустынных клещей да овсяных щей. Разве об этом надо писать? Это все разлитая по блюдцу бессильная любознательность заместо серной кислоты, моча же белки-летяги прожигает волчью шкуру (постла́тую, правда, на пол), вот это концентрация.

Как этот кризис долог и угрюм. Какая впадина. Неужто будут горы? Бессилие повторов и безотвязность дум ужель дадут подъем? Когда? Потом. Потом и нищий на углу подаст, и за любой Ассоль придет баркас, и Мальчик-с-Пальчик будет ростом с нас. Потом, потом. Потом — и Бог воздаст. А что сейчас?

Предположим, я раньше была скалярная величина (вес, объем, длина, все как скаляру положено), а теперь я — вектор. Но ведь раньше я что-то писала, и Он, повторяю, находит, что весьма недурно. Скаляр — камень, вектор — оперенная и звенящая собою стрела. Только почему же, чем далее — тем сильнее, я ощущаю себя как «мятущийся» вектор? Есть ли в великой математике, где столь краеугольна полнота исчерпывания, такое понятие? Боюсь, что это уже скорее из области метеорологии, нечто вроде «розы ветров». А любое свершение требует жесткой узости и строгой организованности векторной силы. Именно поэтому Он — узкий гений, это не издевательство, а комплимент, чтоб Он знал.

Мы с капитаном сейнера «Старательный» ступили, наконец, на землю Шикотана. Мне нравился в капитане его буйный, неистребимый коллективизм, в море, когда сайры не было, он всегда твердил: «К толпе надо бежать (это — где другие сейнеры), к толпе, среди толпы и рыбка сбивается в косяк, толпа толпу тянет». Нравилась его независтливость: «Видала? Витька красный зажег, молодец — нашел, будет Витьке рыбка. Много!..» И долго еще тянул это «о-о-о...», заклинательно для Витьки. Нравилось его негаснущее умение радоваться простому: «Компот? О, компоту попьем, угодил нам кок, прямо в душу глянул». Кок был замедленный, как девушка, принимающая на почте неинтересные ей телеграммы, даже вроде бы — оскорбительные для нее самим фактом подачи, веки у него были красноватые — с пересыпу и равнодушия, какой породы рыбу ловили, он, по-моему, просто не знал, не удостоил узнать. Компот, правда, был каждый день. Еще в капитане напрочь отсутствовала жадность, самую даже мелкую удачу ему сразу хотелось разделить, хотя план и у него горел, чуть маленько забрезжило, можно, вроде, ловушку мочить, он сперва радисту кричит: «„Активного“ вызывай! „Активный“ без рыбки у нас опух, пускай сюда шурует!» Оптимизм его нравился: «Эка деловто нету на эхолоте, не хочет нам рыбку писать. Нету, а мы все равно возьмем, хоть кошке на ужин да возьмем, и кошке хочется кушать».

С открытой нежностью, что и не на сейнере — редкость, он говорил о жене: «Людмила у меня — аналитический ум, бухгалтер в порту, так что с этим у нас в порту полный порядок». Ему явно импонировало редкое в походных условиях слово «аналитический». А я сразу и безоглядно верю людям, хорошо живущим в своем дому. Мне все кажется, что им известна какая-то тайная тайна — как быть просто счастливым. Если ж у человека собственная семья не задалась или он позволяет себе трогать словами самых своих близких — так, что ли, выразимся — недостаточно деликатно, этот человек у меня, по крайней мере — сначала и достаточно долго — под большим подозрением, мне все кажется, что у него у самого внутри что-то не так, не стопроцентно.

Тут бы мне лучше помолчать, ибо сама, как в официальных бумагах пишут, разведена. Но я же не о себе, я — о капитане. А в его домовито-сиротской каюте, узкой, не шагнуть шагу, висят — как праздник — выходные штаны, нефлотские просто брюки, и всегдашняя его забота — чтобы брюки эти не смялись. Это, как я ощутила, вроде бы символ будущей встречи и неразрывной связи с семейным берегом, куда нужно прибыть наглаженным и красивым в любой непредсказуемо внезапный момент. Когда я думаю о капитане, я так себе это и представляю. Его жена Людмила, белотелая и спокойнолицая, «аналитический ум», стоит на высокой сопке в городе Холмске, должны же там быть сопки, придерживает на груди полушалок величавой своей рукой, словечко-то какое явилось — «полушалок», в нем для меня, значит, есть трепетание сердца, и трепетность ожидания как извечного женского начала, и трепет ветрового порыва, который полушалок немножко треплет. Жена Людмила стоит там вечно. И смотрит в море пристальными серыми глазами. А сейнер «Старательный» уже приник старательным своим бортом к родному порту, а мой капитан уже шагнул на родной причал, и он уже поднимается все выше в сопку, навстречу своей Людмиле, такой прекрасный и в немятых брюках, хоть я эти священные штаны раз восемь смахнула случайно на пол, но мы их дружно потом трясли, и оглаживали от пыли ладошкой, и водружали на почетное место, чтоб головой невозможно было не задеть. И вот, наконец, Людмила видит своего-моего капитана, и тут ей отказывает аналитический ум, а мне — перо и воображение.

А пока мы еще идем с капитаном по гулким деревянным тротуарам Мало-Курильска, минуем единственную тут монументальную скульптуру, исполненную в гипсе, этот монументальный мужик, очень толстый, лихо крутит свой гипсовый штурвал, между нами — скульптура, ваятель которой мне неизвестен, именуется в местном фольклоре «Половая зрелость», и мне нечасто приходилось видеть, чтобы название так гармонировало с произведением, минуем Дом культуры «Океан», где окна, к сожалению, не все, имитируют иллюминаторы, чтобы, видимо, и во время киносеанса ощутимо было присутствие моря, и приближаемся к рыбзаводу, крышу его ковром обсели чайки, и плотной крышей завис над нами чаячий крик. Там мы с капитаном должны расстаться навеки, хотя я не понимаю — почему. Я так привыкла к нему, мне с ним надежно, уютно и уже свойски, а за круглыми сопками, возле мыса «Край света» (заманчивые там будут щиты вдоль тропки: «До Края света — один километр», «До Края света — пятьсот метров», двести, сто, «Край света», сердце ухнет, но ведь щиты обманут, никакого-такого края там нет, есть скала, взрослые кайры сталкивают оттуда своих детей в море, чтобы птенцы на лету мужали, вереща от страха, и окунались в пенящуюся гущу жизни, худенький сын маячника собирает в расщелинах чаячьи яйца, корзина у него сбоку, как для грибов, в маячник, бывает, бьет под скалой молодых бакланов; заглянув за Край света, убедишься только, что свет — бесконечен, и увидишь опять лишь море, самовлюбленно перекатывающее себя самого в собственных волнах) меня поджидает всего-навсего еще один маяк и неведомые мне люди, которые вовсе меня не ждут и, может, мне тоже неинтересны. Почему же я должна нестись туда сейчас сломя голову и бросив своего капитана? Никогда и никому не могла я внятно ответить на этот вопрос — зачем всю сознательную свою жизнь я меняю людей, профессии и места обитания. Чувствую: пора, иначе умру. И меняю. Эйнштейн, правда, на этот вопрос давно за меня ответил, но не будешь же всех подряд отсылать к Эйнштейну.

Возле рыбзавода стоят в солнце и рыбьем запахе женщины. Их очень много. Они приехали сюда со всего Союза, как тут недурно выражаются — «по гербовке», на путину, и они уже достаточно долго здесь. Они стоят сейчас неподвижно и даже как бы оцепенело, но как-то так глядят на моего капитана, что — боюсь — этот их уперто-впитывающий взгляд не понравился бы жене Людмиле. Мне он тоже не нравится, довести бы уж капитана в целости до заводоуправления, вот что я начинаю думать. Капитан же идет беспечно, как сайра, рассказывает, как ловил на Камчатке крабов, какая красивая это страна — Камчатка, смеется. А женщины, не делая ни единого движения и, по-моему, даже не моргая, все глядят на моего капитана как-то так, что уже безнравственно и вморально, как Некто любит выразиться, даже просто глядеть — как они глядят...

Дался мне этот капитан! Обратно пусть его провожает директор завода или он сам перепрыгивает прямо из цеха на свой сейнер «Старательный». И чего он опять у меня такой стерильный, этот капитан? Он, может, ангел? Во сне же он страшно мычал, как глухонемой перед казнью. Во сне из него с клекотом вырывались слова, каковые на Руси издавна передают невозможность и переполнение души. И он же ударил того матроса, когда рыба шла валом, мы долго стояли в очереди на сдачу, тайком бегали к водопаду — заправиться даровой водой, опоздали в свою очередь и рыбу у нас не приняли, комбинат уже не справлялся. Матроса я в тот день видала, глаз у него заплыл. Но, может, ударил и не капитан, а тихоня-стармех, этот — мог. А скорее всего — капитан, так говорили. Значит, я в своем капитане ничего не поняла, он меня в свою конфликтную душу не допустил, да я не больно-то и рвалась, переполненная чисто художественными впечатлениями вокруг, он мне был — между нами — скучен своим внешнестерильным приятием любых обстоятельств мира и готовой цельнокроенностью суждений, лень было продираться сквозь все это — вглубь. Так и прохлопала капитана.

Тоска какая! Вышел дух из шарика любви. Я лишь безводный акведук в бесчувственной пыли. В развалинах моих аркад лишь ветры душные крутят прожаренный песок. И тамариска узкий лист среди камней моих повис печально и легко. И только горстка черепах, заблудших душ пустыни, сухими коготками лап еще царапает мой прах, такой бездушный ныне...

В чем прелесть: пока тоска в тебе нагнетается, дабы облечься в слова и их ищет, сама она (тоска то есть) почему-то рассеивается. Сказав, освобождаешься, попугаю понятно. Уже тоски нету.

Какими упорными репьями впились в меня, однако, Его словечки: «Это безнравственно и аморально — решать задачу по геометрии в измятой тетради», «Это безнравственно и аморально — слышать только себя, кричать всем сразу и не давать Мишке Репецкому вставить слово», «Это безнравственно и аморально — быть столь чудовищно невнимательными на уроке алгебры, чтобы не заметить, что учитель сделал ошибку во втором примере, для кого же я ее делал?» Это безнравственно и аморально — думать только о Нем, на Шпицбергене, в Кызыл-Кумах и на Курилах, когда есть (возможно, но невероятно) и другие люди, того заслуживающие, ходить за Ним по пятам, следить за Ним издалека (Он такого права мне не давал), дышать за Его плечом (тоже мне, Азраил!). Что за навязчивая идея, будто мне нужно Его понять, и, только поняв Его, я пойму что-то глубинное в себе? Что, освободившись таким способом — от Него, я освобожусь от себя, себе мешающей? Словно Он все время требует от меня чего-то, чего я дать не могу. Он — ничего не требует. Он и знать не знает.

Надпись на детской книжке, которая не была вручена: *«Я помню, что больна была недугом — быть Вашим другом. О, как смутны те времена и как далеки, когда я так смешно была больна, а Вы — глубоки.*
AB ≠ BA».

Ну, это бы Он не понял, соотношение неопределенностей Вернера Гейзенберга, тайные мои радости. А книжка с этой надписью не вручена, потому что тут — ложь. Времена, может, и отдалились, но мельче Он не стал, Он — глубок. За Полярным кругом бурят, с привлечением всех новейших технических средств, тщась добраться куда-то, может, до слоя Мохоровичича. Он же — в одиночку и с первобытным кайлом — вгрызается, покушаясь достичь ядра, что для Него — настоящий Учитель в высокой своей первозданности, как Он это понимает. С такими не дружат, таких изучают как явление. Дружба все же требует сил, гибкости, отвлечений, с кайлом же не отвлечешься...

Воображение, значит,— виртуальные миры. Умение ориентироваться в них, выделить, осмыслить, удержать и передать другим обычными словами,

необычно расставленными, наверное, и есть художественное творчество. Душа творящего — это многоцветно и неостановимо флуктуирующий вакуум (вакуум, оказывается, вообще фрукт), где образы и слова родятся из якобы пустоты и создают постоянно-напряженное поле внутреннего пространства-времени, кривизну которого в каждой точке определяет уровень дарования и общей культуры личности. Выходит: если я часами сижу тупо, как утюг, решительно ни о чем не думаю и ни на что не реагирую, кроме разве что — копытом овна в переносицу, а лицо у меня такое, что Айша взвизгивает ни с того ни с сего, и мухи брезгуют на меня садиться, то как раз в это самое время во мне бушуют виртуальные миры, пронзительные и прекрасные в своей мгновенности, так сказать, художественно-вероятностные миры. Они проносятся и беснуются решительно в каждом, вот ведь — утешение, уж эти-то в беде не покинут. Осталась малая малость — ухватить за холку, выдернуть и предъявить людям, перепечатав для красоты на машинке. Есть, конечно, риск — не за тот виртуальный мир уцепиться, вытащить нежизнеспособную хилоту, которая тут же и скончается в страшных судорогах, опозориться перед коллективом и добить в себе же, единственном, последнюю веру в себя. Но риск есть в любом деле, даже, наверное, в одиночной охоте за амебой с маузером. Никто не может зато отнять насладительность процесса, вот в чем бессмертная притягательность профессии.

«Вир» — ввинчивающееся нечто, «туа» — поворот, резкий виток в пространстве-времени, «эль...» — мягкое ускользание, но «ту-аль-ные» — уже длительность и мгновенность изгиба одновременно, как бы — длинный и ловкий хвост с размытым, глохнущим в пространстве, концом, а все вместе — мощный и плавный вираж: «виртуальные», пример виртуальной частицы — любая, если она виртуальна, то есть существует только в промежуточных состояниях и потому не может быть зарегистрирована, однако именно она, виртуальная, и является переносчиком любого взаимодействия, без этой самой виртуальности ни одна мысль сроду не перешла бы в другую, мы бы сидели на ней — как на застылом колу всю жизнь, ни один образ в другой бы не перетек, некому было бы передать другому образу же его энергию, порушив, естественно, импульс, как тут не любить физику!

На черном валуне сижу у пристани, лишайники узорчатые трогаю, а по реке гуляет солнце искрами, а по реке волна идет пологая. Паром вот-вот отвалится от берега, на нем машина тычется в козу, паромщик удалой в беретке беленькой кричит: «Эй, на земле, перевезу!» Я головой качаю неразборчиво, так скучно объяснять свои дела, мне не нужны любые перевозчики, хотела бы — давно переплыла. Мне нравится сидеть у этой пристани, бревенчатые нравятся дома, и думать размягченно и неистово, что адреса Ему я не дала. Лишайники на метр, примерно, выросли, уж вечность я сижу на валуне, а от реки приятной тянет сыростью, а солнце подбирается ко мне...

Всю жизнь интересует меня, что видит, читая, человек, который ничего не видел? Родился, живет и вырос, к примеру, в Москве? Что он представляет себе — внутри себя, пробегая глазами ну хоть «лишайники узорчатые»? Если он никогда не держал в руках коричневые перчаточки дактилины, никогда не зарывался лицом в голубоватые купы альпестриса, не вздрагивал в сумерках от вспыхнувшей под ногой ярко-красной точки кладонии плеуроте, не прикасался осторожно к вялым и вроде бы серовато-безжизненным, с высосанным каким-то цветом, палочкам тамнолии в тундре, где они так вечны и неистребимы, ни разу не удивился сам даже сфагнуму, неутолимой и бесконечной его напоенности холодной, чистой и свежей болотной влагой,— что же он видит перед собой, читая? Какие дивные ассоциации испытывает такой человек? Ну, о лишайнике, положим, можно и ничего не думать, невелика птица. Хотя — как раз неправда,— в лишайниках и мхах (тут затесался сфагнум, по великому моему перед ним почтительному удивлению, а сфагнум — это мох) тайны и заводящей далеко вечности поболее, чем во многих сильно крупных и волнующих души предметах. А с другой стороны — представляю же я себе бизона, хоть никогда не встречалась с ним лично. Но как? Да, по чести сказать, никак,

вроде переводной картинки на кафельной стенке ванной, у меня с ним, беднягой, так мало связано. Он мне — по количеству душевно-информативных связей — чужой. Значит, слово бессильно? Для чего ж тогда все стараются?..

Змеиный суп я ложечкой мешаю, он голубой, но вроде — жидковат. Любовь свою, как схему, разбираю по памяти. Искрит. Плохой контакт. А может, слишком много вольт. Пора, пожалуй, ставить трансформатор в мою же замкнутую цепь. А супчик — ничего. Конечно — жидковато, но можно есть.

Вялый стишок.

Лучшие в моей жизни стихи мне писал Валя Вайнкопф, механик Камчатского пароходства. Мы с ним встретились на пыльной дороге возле Бахчисарайской турбазы и — как не раз у меня бывало — через три минуты поняли, что жить друг без друга не можем. На Бахчисарайскую турбазу мы вступили уже как брат с сестрой, объединив в Валином кармане штормовки деньги и документы, поскольку оба соображали, что человек в одиночку слаб, а, объединившись ради высокой цели, он тем самым возводит свои силы в энную степень. У нас же была высокая цель — без путевок примазаться к туристской группе и облазить Крым. В официальной стороне нашего объединения крылись некоторые трудности, чисто формальные: разные фамилии (пришлось стать — двоюродными, что было недостойной нас отдаленностью родства), Валя был черный, курчавый и красивый, старше меня на семь лет, я же была белобрыса и прямоволоса, некрасива, даже страшна в откровенной неказистости, и закончила тогда третий курс университета (пришлось выбрать родство по материнской линии и строго отработать «легенду», как принято у шпионов и разведчиков). Мы с Валей отменно справились с этой задачей, ибо наше взаимопонимание с полувзгляда и совместные — со множеством интимных подробностей — воспоминания детства, которые из нас прямо перли, вызвали безусловное доверие. Меня через день уже стали спрашивать, как мы с братом зимой обходимся друг без друга, так как всем было известно, что он плавает на Дальнем Востоке, а я сижу в своем Ленинграде. Объясняли исключительно — силой нашей воли.

Когда Валя вечером убегал на свидания (а он пользовался большим успехом), вся наша комната, человек десять, бессонно лежала и бессонно ждала хоть до какого часу. Потому что когда-нибудь в коридоре, наконец, возникали быстрые Валины шаги, торопливые — шаркающие — вслед за ним шаги дежурной и все ближе и громче разгоралась привычная уже, но никогда не теряющая новизны, беседа. «Куда? Уже ночь! Тут женская комната!» — «Я знаю, я к сестре». — «Как — сестра? Утром, молодой человек, уже ночь!» — «Она не заснет, если я ее на ночь не поцелую! Я всегда свою сестру перед сном целую!» — «А ну, молодой человек, пройдите к себе, я кому сказала!» — «Я сейчас такую девушку встретил, если б вы знали!» — «Девушку ему! Ночь, сейчас коменданту крикну». — «Вы меня не поняли. Я такую девушку сейчас встретил — я ж до утра не доживу, если сейчас же не расскажу сестренке...» — «Ничего, доживешь — здоровый. Стой, сказала!» — «Мы с сестренкой всю жизнь всё друг другу рассказываем, понимаете? Стою я, стою! Вы мою сестру видели?» — «Делов у меня нету других: его — сестру!» — «У меня ж такая замечательная сестренка! У нее голова вечером болела. Может, плачет сейчас, я только взгляну».— «Плачет, придумаешь. Ну а плачет, так ты ей — мама?» — «Я ей старший брат, за нее отвечаю». — «Утром вот и ответишь, сказано — нельзя...» — уже вовсю громко, возвышаясь от полушепота, звучал все ближе голос дежурной.

Но он уже теплел, дежурная всегда была женщина и не могла она устоять перед такой вот привязанностью брата к сестре, у нее, в конце концов, тоже были дети и она им такого бы еще как желала. Валю всегда пускали. Он влетал черным вихрем, обрушивался на пол возле моей постели, быстро и красочно излагал про прелестную девушку Милу (Тату, Олю), с которой случайно встретился на набережной (в горах, на волейбольной площадке, в кустах за турбазой), умолял меня завтра на нее обязательно поглядеть, потому что, как я решу, так и будет, может, Мила (Тата, Оля) — его судьба; и не простудилась

ли я — самое главное, он же поклялся моей маме, тете Марусе, что доставит меня обратно цветущим ребенком и слово свое он сдержит, ему не помешают все девушки мира, даже такие совершенные, как Мила (Тата, Оля). Тут Валя громко целовал меня в щеку, успевая при этом беззвучно дунуть мне в ухо. И исчезал, как вихрь. Оставив народ вокруг в обалдении и зависти.

Первые красавицы турбазы заискивали передо мной, светлое было время. По вечерам вскипали киношные страсти. Валя не пускал меня на сеанс в девять пятьдесят, уверял, что для меня это — слишком поздно, он обещал моей маме, тете Марусе, что я буду ложиться в одиннадцать. Вся группа его умоляла, чтоб он смягчился. Я молчала скорбно, слово брата — закон. Валя, наконец, царственно разрешал. Я прыгала от счастья и все вокруг ликовали. Еще он любил рассказывать, в ужасных подробностях, что, когда я была маленькая, мне было месяцев семь,— но я тогда была прыткая и уже очень четко выкрикивала красивое слово «канява», потому что была вундеркинд и развита не по годам, сейчас я — наоборот — явно отстаю в умственном развитии,— так вот: Валя меня, этакую шуструю крошку-горошку, уронил тогда на пол и я сильно стукнулась затылком об тумбочку, отчего у меня всю жизнь болит голова, иногда я даже теряю сознание, только это тайная тайна, исключительно — между нами, никто не должен знать, иначе меня спишут с маршрута. Он рассказывал это всем, по-моему, даже директору турбазы, который наотрез отказал нам в путевках.

Особенно Вале удавалось в этой душещипательной истории описание личных своих страданий по поводу моей пожизненной головной боли, что он никогда себе не простит, как это уронил ребенка, он мается этим ежесекундно и вскакивает среди ночи в виноватом поту. Я, честно, думала, что он даже переигрывает. Но однажды вечером собственными ушами услышала бранчливый перешепот семейной пары из Риги: «Я же тебе всегда говорила, Петечку со Светкой нельзя оставлять, уронит, будет потом всю жизнь мучиться, как Валентин!» — «Ты только вслушайся, чего ты сейчас сказала! Мучиться, как Валентин! А что Светуля будет всю жизнь за голову держаться, это тебе плевать? Лишь бы Петьке было удобно, ты в этом вся!» Так они делили детей, кто кого больше любит, но всерьез апеллировали — только к нам. Ей-богу, я никогда больше не была столь высоким и чистым эталоном!

Группа нам с Валей попалась на редкость бесталанная и разобщенная, слуха ни у кого не было, песен не знали, никто не рвался сплясать у костра, даже смеялись немного и как-то нехотя, будто каждый посмеивался сам себе, вдобавок — было несколько семейных пар, замкнутых только друг на друге и как-то уныло замкнутых, словно они давно и прочно обрыдли друг другу, но навеки прикованы, ибо остров необитаем. Чтоб обеспечить себе здоровый и спаянный коллектив на будущий почти месяц жизни, мы с Валей на Бахчисарайской почте, пока стояли в очереди, накатали на телеграфных бланках сценарий концерта, перед выходом в пеший поход каждая группа давала на турбазе отвальный концерт. Исходя из отсутствия дарований и собственной специфики, мы написали сценарий-пародию, где чем хуже, к примеру, поешь — тем смешнее и лучше. Действие раскручивалось в местном музее — вокруг Бахчисарайского фонтана, где ночью оживали и бесчинствовали экспонаты: хан Гирей, его обильный, коммунальный, гарем, его трепетная возлюбленная и злодейская былая любовь, аппетитные евнухи в женском, правда, обличьи, у нас был избыток женского персонала, как обычно в плановых тургруппах, и даже почему-то роскошный и язвительный павлин хана Гирея, одновременно — шут, ведущий и комментатор типа «греческий хор».

Быстро выяснилось, что скрытые таланты имели место. Молчаливый и никлый — по первости — конструктор из Воркуты оказался саркастической язвой и так кричал павлином, что прямой потомок эмирского павлина, я его позже видала под Бухарой, сдох бы от зависти. Гарем был блистательно-коммунален, неистощим в бытовых подробностях кухни, ночи напролет дописывал себе тексты, извел на себя всю косметику, припасенную на столичную Ялту, и вообще не знал удержу. В процессе бессонных репетиций гарем разошелся до того, что правдами и неправдами втирался в дома и души коренных жительниц Бахчисарая на предмет вымаливания у них дешевых

и ярких драгоценностей, чтобы явить себя в час спектакля совсем уж в неописуемой роскоши.

Народу собралась уйма, ибо циркулировали слухи. Съехались на ослах невозмутимоликие старики, по-моему,— из караимов и даже, кажется, спустились с гор первобытно-пещерные люди Чуфут-кале, которых в этих пещерах сроду никто живьем не видел. Вечер прошел с блеском, старики и пещерные люди визжали от удовольствия, мы стяжали не просто успех, но славу, на маршруте в нас потом тыкали пальцем, что это — мы, группа сразу же гордо и неразрывно сплотилась, отныне любой пустяк понимался с полуслова и вызывал элитарно-демократический хохот всего коллектива.

Вершиной славы, несомненно, явилось то обстоятельство, что во втором часу ночи турбазовская кастелянша по прозвищу «Змейский глаз», рыдая от зрительского потрясения, всей нашей группе поменяла постельное белье — на чистое и прованое. А в семь утра мы уже покидали турбазу навеки. Директор — среди ночи — вызвал нас с Валей к себе в кабинет и вдруг продал нам путевки, которых не было, а потом еще долго упрашивал — на следующее лето поработать под его чутким руководством массовиками-культурниками. И даже ничуть не обиделся, когда мы с Валей вежливо отказались, ссылаясь на общую занятость, директор понимающе покивал, он сам сознавал, что замахивается на невозможное. Такого успеха мне не стяжать уже в жизни никогда, как нельзя войти в одну реку дважды. Да дважды этого и не перенести.

Попутно мы с Валей писали друг другу стихи. Он писал — лучше. Стихи его были, само собой, пародийного свойства, анализировали, в основном, мои скромные умственные способности на грани кретинизма, возвышали его — как мыслителя и брата, в них было много живых деталей походного быта и иронического пейзажа окрест; Крым я до сих пор ощущаю — по Валиным стихам, как кто-то, может, по картинкам Волошина; еще там присутствовали, конечно,— как вечный фон — милые подробности общего нашего детства и даже сквозистая печаль, что есть всегда мерило истинности художественного произведения,— что времечко это прошло.

Я и сейчас помню многие Валины стишки. Меня пленяла в них легкость интонации и открытая сиюминутность выраженного чувства. Дня через два после нашей встречи Валя уже отгрохал из Бахчисарая телеграмму моим родителям, которые наивно отдыхали в санатории на Кавказе и знать не знали о его братском существовании. Телеграмма дошла без эфирных искажений, только текст был дополнен бдительными пометками телеграфного ведомства: «так верно так». Валин текст был таков: «Родители нежась в Цхалтубах Сочах под сенями фиг и пальм не забывайте о дочерях заблудших в глухую даль не каждой из них по пути в интернат такой попадется брат а если б не было его тогда благодаря кого?»

Папа всю жизнь любил меня слепой любовью и доверял абсолютно, а мама, как всегда, забеспокоилась, поскольку всю жизнь не могла понять, с кем и как я дружу и хорошо это или вдруг, может, плохо. Мама — как более традиционная, исконное женское начало русской поэзии,— склонялась, видимо, к мысли, что лучше бы — как у людей. Я же достаточно редко давала ее душе такой отдых. «Благодаря кого» было тогда любимое Валино выражение, оно сразу вошло в наш код — как изыск и средство мгновенного опознавания душ, если б тела наши вдруг мгновенно и неузнаваемо переменились, мы все равно безошибочно опознали бы друг друга по этому знаку. В растущих отношениях, любви ли, дружбы, всегда заложены эти тайные, глупенькие порою — со стороны, языковые знаки, они будто сгущают душевную теплоту, их грамматическая или иная какая неправильность придают им особую прелесть, открытую лишь посвященным. Недаром с кодовыми словами я помню даже целые куски из Валиных писем. Или вот открытка: «Седой Камчатки старожил остановил у почты нарты, сестре открытку опустил, поздравил с Днем Восьмого марта. Напрасно говорят о нас, что невоспитанны и грýбы, благодаря кого сейчас улыбкой ты скривила губы?» Можете мне поверить, ни единой больше открытки в моей памяти нет, хоть ненужного хламу там полно.

Помню, как через несколько лет, уже в Мурманске, меня в третьем часу ночи поднял междугородний звонок. Звонила родная моя тетя Аля, папина сестра, безвыездно проживавшая на углу Литейного и улицы Некрасова с другой моей тетей, тетей Любой, в отдельной двухкомнатной квартире, и страшным голосом сообщила, что дозванивается уже который час, связи нету, а к ним в квартиру с вечера еще ломится какой-то черный мужик, они глядели в «глазок» — волосатый и полон рот ровных белых зубов, молодой, требует, чтоб ему немедленно открыли, потому что он — Раечкин, то есть — мой, родной старший брат. На робкие уверения теток, что у Раечки, как им доподлинно известно, никаких братьев нет, даже двоюродных, все в блокаду погибли, черный мужик смеется, говорит, что он лучше знает, несет вовсе уж несусветную чушь, будто он уронил меня куда-то из колыбели и вовек себе этого не простит, интересуется, как их и мое здоровье...

Тетки у меня были робкие, старозаветные. Папа их еще в юности перетащил за собой в Ленинград, как только сам — после детдома — поступил на рабфак, всю жизнь они проработали на заводе Козицкого, тетя Аля была «кладовщица», слово это в ее устах звучало гордо, значительно, с намеком на клад, пережили блокаду, потеряли детей, братьев, мужей, чудом сами не померли, спасла «хряпа», тетя Люба в ту зиму работала на санэпидстанции, ее туда «бросили», и имела к этой хряпе какой-то доступ, она и нас хряпой вытянула, это — гнилые, самые наружные листья на капустном кочне, я их до сих пор люблю обгрызать, а Машка кричит: «Мам, опять ты всякую гадость в рот тащишь!» Но за всю свою взрослую жизнь тетки мои так и не привыкли к городу. Приспособились, конечно, даже полюбили, но так и не смогли привыкнуть. Говорили: «У вас тут в городе...» — это могло быть как угодно, порой — сомнительно. И — «у нас в Конаково», это всегда было отменно, сомнению не подлежало.

«У нас в Конаково» привольно текла река Волга, в ней утонула старшая сестра, Лизавета, красавица и умница, не «улица» называлась, а «слобода», в каждом доме родилось много детей, у каждого от рождения были в дому свои обязанности; крепко стоял завод, в заводе (всегда — «в»!) работали по наследству и с измальства, пропусков не было, вход в завод был свободный, воровства не водилось, в заводе делали красивую, на радость людям, посуду, фаянсовую — чуть отдающую в благородную желтизну, ее сразу на взгляд узнаешь, и из фарфора — знаменитые «кузнецовские» сервизы (тогда еще было «Кузнецово», но тетки всегда говорили: «Конаково») с яркой росписью по трафарету. Им нравилось звучное слово «трафарет», особенно — тете Але, она в заводе училась на художницу по посуде, была способная к этому, каким-то везением сохранился в доме петух, которого тетя Аля сама расписывала «по трафарету», он и сейчас стоит у меня на столе, все его замечают, есть в нем особенная, неведомая ширпотребу, молодцеватая удаль позы и веселящая сердце непредсказуемость красок, будто — небрежность их, кинутых по всему петуху кое-как, с бесшабашною волею.

Когда тетя Аля училась в заводе, у них был мастер по росписи, Бахмутьев, он был талант, но «большой охальник», ругался на учеников (да, «у нас в Конаково» скверных слов не употребляли, крепких напитков почти не пили, разве что — под праздник и то слегка, только для бодрости), так этому Бахмутьеву, чтоб его одернуть, как-то прямо на стул налили скипидару, он сел, посидел, потом вскочил и молча, держась за штаны, выбежал из цеха. Меньше после того ругался. Тетя Аля сама лила скипидар, это, видимо, было самое отъявленное злодейство в ее кроткой жизни, рассказывая о нем, она всякий раз розовела, что-то изнутри ее вспыхивало и обдавало шею жаром, глаза делались круглые, темнели и морщинки от них уходили. Тетя Люба, всякий раз следящая эти перемены, тут всегда вздрагивала, трижды плевалась в сторону, аккуратно — без слюны, и говорила с чувством: «Ты, Алька, чистый бес! Как это можно, живому человеку скипидару в штаны, небось, штанов-то у него не сто было?» Тетя Аля загадочно улыбалась: «А что было, Люба, то было, это уж не воротишь».

«У нас в Конаково» ведрами носили бруснику, грибы, клюкву, сами ловили рыбу, мясо ели редко, затем оно, корова была — кормилица, и звали ее «Бутуля», когда у ней умер первый теленок (вдруг выпил белила), Бутуля

плакала слезами, как человек, растили пшеницу, пекли блины, много смеялись, пели, круглый год ходили босые, веселые, все любили друг дружку и никогда не ссорились. «У нас в Конаково» рано «умер чахоткой» папаша (в заводе все умирали легко, чахоткой), лежал на горячей печке, молчал, глаза были огромные и сухие, все ушли на покос и папаша тихо умер, самая младшая сестра, Клава, она и сейчас в Конаково, была еще в «зыбке» и сосала ногу. Мамаша, ей тридцати еще не было, повязала на голову тугой черный платок, больше его уже не сняла, и четверо суток лежала на папашиной могиле, плакать она не умела. Потом сгорел дом, Бутулю успели вывести, а поросенок сгорел, в заводе сделали добровольный сбор, много денег собрали, все же — осталось шестеро сирот, мамаша, хоть она ни одной буквы не знала, сама все просчитала в уме, как строить, сколько куда кирпичей и как выводить печку, все Конаково строило новый дом, он вышел «справный», будто картинка, очень теплый.

Жизнь — вроде — снова наладилась, только мамаша никогда больше не пела и никто, кроме детей, больше не видел ее косы́, знаменитой своей раскошностью и чисто-пепельным светом по всему Конаково. Старший — Петр — уже работал в заводе, не гулял, не женился, все деньги приносил в дом, он погиб еще в первую войну — отравился газами, сестра Таиса, она всю семью обшивала, влюбилась в инженера и вышла за него замуж, это был брак, конечно, неравный, инженер — высоко, голову не задрать — «инженер», а мы — где, но даже мамаша Таиску отговорить не смогла, Таиска была упрямая, рыжая — ни в кого. «Как это — ни в кого? — посмеивалась мамаша, когда бабы ахали на Таискину рыжину.— Ай забыли? А пастух был — краснее подсолнуха, вот — в него».

Инженер оказался «винченный», нервный, был уже в возрасте и мать у него — тайно — любила водочку, жадная до вещей, и Таиску шпыняла почем зря. Все они в двадцать четвертом году погибли от тифа, а тетитаисын сын — Васька, золотые руки, вернулся после Победы без одной ноги, работал паромщиком на перевозе, близко от Конаково, и паромом его и придавило по пьяному делу, вот где бабкина кровь явила себя. Младшенькая — тетя Клава, которая до двух лет почему-то не ходила, но быстро-быстро ползала по всему дому на попе, отталкиваясь руками,— тетя Аля показывала, как Клашка ползала, тетя Люба плевалась и отворачивалась, как она бесстыже показывает,— тоже выправилась, прилипла к лошадям, с парнями гоняла уже в ночное, и добрый конь Куксик вдруг — старый уже и бессильный по слабости ума — ударил ее копытом, тетя Клава и до сих пор прихрамывает.

А как-то поздно вечером к мамаше вдруг сама пришла конаковская учительница, Анастасия Степановна, строгая, безулыбчивая, мужики ей первые кланялись за версту и первой на все Конаково завозили дрова, она пришла сама и строго сказала мамаше, что, чего бы это ни стоило, Саню (это был мой папа) в завод отдавать нельзя, Саню надо обязательно выучить, у него — сказала оробевшей мамаше учительница Анастасия Степановна — светлая голова и такую голову никак невозможно загубить, Анастасия Степановна даром с ним будет заниматься, это ее учительский долг — подготовить Саню в гимназию. Мамаша, уже справившись с волнением высокого визита, отвечала гордо, что свой долг перед своими детьми она сама знает, но спасибо на хорошем слове. В ту ночь мамаша, впервые после папашиной смерти, открыто распустила пепельные волосы, сама, без всякой Таиски, сшила для Сани рубаху, вне семейной очереди в одежде, и даже, как уверяет тетя Аля, пела вполголоса. Но тетя Люба говорит, что «Алька, чистый бес,— врет». Мамаша, по словам тети Любы, не пела, а только тихо-тихо себе вроде мурлыкала. «Нет, пела»,— настаивает тетя Аля и даже розовеет от своей правды. «И чего она пела? — щурится тетя Люба.— Скажи тогда, какие слова!» — «Слова не помню, не буду врать,— розовеет тетя Аля.— А что пела, я своими ушами слышала, не глухая».— «Никто не помнит, а ты все почему-то помнишь»,— поддразнивает ее тетя Люба. И тут они всегда замолкают надолго, слышно, как бродят на стенке старые ходики: ту́та-сю́та, ту́та-сю́та.

Я знаю, почему они замолкают. Ровно через неделю после того, как учительница Анастасия Степановна приходила к ним в дом, мамаша внезапно

скончалась, не от болезни, ни от чего, кровь у нее хлынула горлом, мамаша вдруг захрипела, упала лицом на стол и умерла, это было сразу после обеда, в воскресенье, все были дома, никто ничего не успел. «Тоже, значит, была чахотка»,— осторожно вставляю я. Который уж раз говорю себе, что не буду вставлять, но тетки молчат так длинно, так далеко от меня и так скорбносродненно, что, как всегда, не удерживаюсь. «Нет,— обе они одинаково качают головой, тута-сюта, тута-сюта,— нет, нет, нет, Раечка, это папаша ее позвал, бабы так прямо на кладбище и говорили, папаша ее позвал и она за ним пошла, она от любви умерла...»

Но Саня все равно выучился и теперь — «профессор», слово это для моих теток исполнено мистического восторга: «Что вы, что вы, мы сегодня никак не можем, мы с братом-профессором идем в кино на последний сеанс», «Наш брат-профессор считает, что зима нынче будет холодная», «Только потише, пожалуйста, брат прилег отдохнуть, он у нас профессор, забежал на минутку и вот прилег». Для меня это слово, как и любые звания вообще, ничего такого не значит, даже жалко, потеряна какая-то трепетность авторитетов, я выросла уже в той среде, где все — естественно и неотвратимо — защищаются, или почему-то не защищаются, что уже все равно, для меня это как бы идиома, когда я слышу глагол «защитить» я невольно дополняю: «диссертацию»...

Папа всю жизнь переводил деньги в Конаково с каждой зарплаты, много — сразу нельзя, народ гордый, обидятся, чего доброго еще и вернут, будто бы такой случай однажды был, отправляла мама — как ей показалось, чтобы — сразу побольше и не думать, а тетя Клава вернула с припиской, что не надо ее осчастливливать, она и так счастливая, у ней уродилась картошка. А пенсии «у нас в Конаково» маленькие, они — на пределе жизни, таких теперь и не назначают. Сколько я себя помню, всегда в Конаково собирали «посылку», словно бы — одну, бесконечную: шерстяные кофты («джемпер», как уважительно называла тетя Аля), сахар, чай, макароны, трико (никогда — не «штаны», уж тем более — не легкомысленные «трусы»), сорочки (не майки же, черт подери, которые мы с Машкой только и носим), сухое молоко, позже — сгущенку, чулки — обязательно, «у нас в Конаково» колготок, естественно, никто не наденет...

Где только меня не носило, но «у нас в Конаково» я, считай, не бывала, маленькую возили — на погляденье, ничего не помню; я была, как тетя Аля с чувством расписывает, «румяная, как кукла, волос сам вился, красивая», представляю, этот предмет, нельзя было, конечно, не показать. А давно уже — чем дальше, тем больше — я как-то боюсь в Конаково ехать, боюсь, вдруг это окажется просто — город, где все не так уже беззаветно любят друг друга, берегу в себе святыню. В ту же мистическую и вечную посылку тетя Аля, помню, укладывала поверх мою первую книжку, до первых-то тетки еще дожили, оборачивала ее раз в десять целлофаном, хоть разлиться там нечему было, я и к книжкам отношусь по-дурацки просто, как к степени, вышла — значит уже от души отпала, чего о ней помнить, она уже позади, а впереди опять страх, сможешь ли дальше, об этом и думаешь. И когда тетя Аля столь бережно пеленала, обертывала да обвязывала красивой лентой, как коробку с шоколадом, я, может, единственный раз в жизни вдруг дрогнула — что, надо же, моя все-таки книжка, сама, значит, так прямо и написала, и «у нас в Конаково» ее тоже прочтут.

Книжки мои тетя Аля почтительно называла «статьи», видимо, по привычке уже к папиным научным работам: «А Раечка у нас еще статью написала, напечатано в книжке и обложка — толстый кардон». И читала она ритуально: стол — предварительно — накрывался чистой праздничной скатертью, книжка плавно и осторожно, чтоб чего не помять, хрусткой складки на скатерти или странички, ложилась поверх, долго искались по всей квартире и, наконец, торжественно возносились на нос парадные очки, возжигалась настольная лампа в матерчатом абажуре, где цветы и райские птицы, тетя Аля, сосредоточенно-отстраненная, чужая шумам и утехам этого мира, садилась на жесткий и высокий стул, только чтоб — не на мягкое, мягкое отвлекает и расслабляет, и начинала читать, шевеля губами на каждом слове, надолго останавливаясь на точках, будто трудно и навсегда вживаясь в небогатую мою

мысль, опять возвращаясь — губами, глазами — куда-то назад, передыхая, розовая щеками, шеей и всем лицом, прислушиваясь словно бы к чему-то в себе и во мне, мне даже вдруг делалось страшно, как бы она чего лишнего не услышала, что я от всех таю, но она уже двигалась дальше, по тексту, слабо шелестнула страница, опять пошло медленное и упорное впитывание, это уже и чтением не назовешь, не знаю, как это называется, даже смотреть сбоку — была напряженная работа. Вдруг очки падали, тетя Аля оборачивала ко мне слепое и будто издалека лицо, слезы проступали у нее на глазах, хоть, где она читала, было, мне казалось, смешно, и она говорила всегда одно и то же: «Как в жизни, Раечка, прямо, как в жизни...»

«А где он сейчас?» — заорала я среди ночи из Мурманска. «На лестничной клетке»,— донесся из междугороднего далека виноватый теткин голос, она уж по крику моему поняла, что волосатый мужик — не чужой, сразу надо было его пускать-обиходить. «Он же, небось, с ног валится? Знаешь, он откуда летел? Он спит, что ли, на лестничной клетке?» (Тетки мои никогда не говорили — «на площадке».) — «Зачем — спит? — обиделся робкий голос.— Он сейчас кушает бутерброд с докторской колбасой и пьет кофий».— «Да откуда же он кофий взял на вашей дремучей клетке? Да еще с колбасой! Умеют люди устраиваться! — бурно обрадовалась я.— Из термоса, небось, пьет?» — «Из твоей синей кружки,— сообщила тетя Аля, радуясь, что они с тетей Любой не совсем еще пропали в моих глазах, кое-что все-таки произвели, как надо.— Я ему через цепку подала».— «Через цепку! — восхитилась я.— А если бы он, бандит, ее оборвал?» — «Меня Люба так и предупреждала. Но цепка крепкая, я тянула. А человек все же не уходит, стоит».— «Этот — не уйдет»,— пообещала я. И представила, как она тянула за цепь, а тетя Люба, вовсе пугливая, оттягивала ее за рукав, но чайник сразу включила. «А он, Раечка, кто?» — все же осмелилась спросить тетя Аля. «Он? Он — мой старший брат, он же русским языком объяснил. Отпирайте!» — «Сейчас, Раечка, бегу!» — облегченно охнуло в трубке и сразу пошли частые гудки.

Кто только из бессчетных моих друзей-приятелей не живал у моих теток на Литейном. Они были добрые. Но неодолимо боязно для них было открыть входную дверь незнакомому человеку, потому что город — не лес. Боязливые мои тетки так, по-моему, и не смогли обучиться до конца своей жизни — считать городскую квартиру настоящим своим домом, где у них все права, надежным — собственным — убежищем души и тела. «У нас в Конаково» был дом, хоть его давно нет, тут же была казенная квартира, отдельная, вроде бы, и исправно за нее платишь, но в тетках, вопреки всему этому, сидело неистребимо-тревожное ощущение, что вдруг кто-то войдет, начальственно оглядит чистые углы, ветхую тумбочку под телефоном, диван с «думками», старательно вышитыми руками тети Али, тетилюбину металлическую кровать с довоенными шишечками и крахмальным подзором, телевизор «Рекорд» и мягко желтеющие конаковские тарелки в старом серванте, оглядит, строго прищурится и скажет, чтоб тетки выметались отсюда. И они сразу выметутся. И они даже сочтут это справедливым, ибо до конца дней они, по-моему, чувствовали себя случайными в городе, в то время как «у нас в Конаково» похоронены старшая сестра Лизавета, красавица и умница, папаша, мамаша, деды, дядья и куча всякой родни, и за могилами ходит кто-то другой, а не тетя Аля и не тетя Люба.

Никого в жизни сроду не предав, они будто всю жизнь несли вину за предательство. И потому любое лицо, зашедшее в их квартиру по служебному поводу — сантехник ли, маляр ли из ЖЭКа насчет протечки на потолке, любое лицо воспринимали они как облеченное таинственными и всесильными полномочиями, от которого их утлая жизнь сразу и навсегда зависит. И совсем мои тетки не умели совать кому-то рубли либо копейки, и копеек-то лишних никогда не было, да и моды тогда еще такой не было — чтоб непременно и всем подряд совать, но тут уж тетя Аля, как наиболее бесстрашная, сразу зажимала в потной ладошке сколько-нибудь — рубль, копейку, и в конце посещения должностного лица это ему неукоснительно и с неизвестно за что извинениями вручалось. Это у них был откуп — от судьбы, плата за страх, неведомо перед

чем, и благодарность судьбе же, что вот ничего не случилось ни с кем худого, проверили в уборной трубу, всюду чисто, они, тетки, никому не мешают и должностной человек ушел по другим делам. За ним, безвинным, всегда с радостным облегчением накидывалась в двери «цепка».

Не помню, почему они Валю до того случая не знали в лицо и по характеру, все уж мои, по-моему, его знали. Он появлялся всегда внезапно — как с неба падал, так скопа падает в реку на налима, сложит крылья, как бабочка, и бултых. И мы с ним сразу же начинали рваться, например на премьеру в БДТ (они, как правило, совпадали — Валя и премьера в БДТ), билетов, само собой, нигде не было, билеты спрашивали уже на Невском, возле театра бродили жаждущие и отчаявшиеся толпы, человека с лишним билетом тут же разрывали в куски, он потом до конца спектакля не мог очиуться, вполне реальным, кстати, было бы — потрясти перед администратором Валиным морским документом, но никогда мы до этого не унизились, ловили так азартно, удачливо и бесстыдно, с такой непрошибаемой верой в везуху, что, случалось, выуживали на полном безрыбьи и по нескольку билетов, еще их нахально меняли, на поближе, еще их за так (Валя же тогда плавал) отдавали скромным провинциалам, которые даже и надеяться не осмеливались — попасть, просто робко стояли в сторонке и благоговели перед столичной жизнью.

Потом, в зале и при хороших билетах, мы с Валей садились обязательно на пустые места, не далее пятого ряда, на заведомо чужие, ясное дело. И исключительно редко бывало, чтоб — хоть как зал набит — на эти места кто-нибудь приходил. Нам даже нравилось, чтобы нас согнали, так сказать — попросили, тут бы мы еще поломались, Валя удивительно умел это делать — предельно вежливо и так смешно, что никто не сердился, не обижался, а законный владелец даже стеснялся сесть и, вроде, уже готов был взять нас к себе на колени. Но сгоняли нас до обидного редко. У Вали был дар — безошибочно определить в зале место, куда никто не придет. Во мне после Валиных отъездов даже некоторое время держалось это чутье на свободные места и нюх на лишний билет, но потом — проходило, так жаль.

Еще, когда он прилетал, мы носились по магазинам. Я этого не люблю, он этого не любил, но поскольку у него всегда были какие-то поручения с Дальнего Востока и обязательные покупки, то из магазинов мы тоже научились делать цирк и получали там свое наслаждение. Тут, главное — выдвинуть бредовую идею и неукоснительно, не отступая перед трудностями торговли, ей следовать. Идея, к примеру: у Вали есть друг, маячник, он желает иметь кремовый пиджак, бельгийский или португальский, на одной пуговице, с узкими отворотами и приталенный, карманов — не надо, маячник все носит в рюкзаке. Легенда-обоснование: ураган «Жоржетта», страшные его подробности, Валино судно гибнет, единственная шлюпка, которая чудом уцелела, выбрасывается на скалы, больше ей некуда, кругом скалы, пена, дикий рев океана и лохнесские чудовища, пожирающие людей на лету, шлюпка — в щепки, но славный маячник, очутившийся на скале случайно, вышел пройтись с ружьишком за мамонтом,— спасает всех, рискуя собственной жизнью.

Для такого человека не грех побегать по лавкам за кремовым пиджаком на одной пуговице. Мы с Валей и бегаем. Продавщицы мрут от сопереживания, таскают нам пиджаки, даже — из-под прилавка; размер? — приблизительно Валин, Валя при форме и у него такие правдивые, коричневые глаза. Разве они не слыхали об урагане «Жоржетта?» Было во всех газетах, по радио. Нет, они пропустили. А как называлось Валино судно? Оно называлось «Лошадь Пржевальского», корабли же сериями идут, была целая серия — кони великих людей. Они и этого даже не знают! Какой ужас, и все погибли? Кроме этой шлюпки. А сколько же в шлюпке? А есть ли у маячника дети? Может, детям что-нибудь надо? Нет, мы детям купили уже ящик игрушек и меховые шапки с помпонами. Кто-то говорит, что кремовые пиджаки есть на Лиговке. А вдруг — не на одной пуговице? Почему бы нам не взять для маячника этот серый костюм? Нет, мы хотим, как он хочет, он все равно ничего не понимает...

Попутно мы все время звонили из автоматов. У Вали в Ленинграде жила любимая женщина, он поэтому часто и прилетал, так никогда и не женился, как

я теперь понимаю — при всех своих свиданиях с прекрасными девушками — брат мой был однолюб. Я набирала номер любимой женщины, там был еще муж — вот в чем загвоздка, и еще ребенок, я набирала и передавала Вале трубку, у него садился голос; Ксана (так звали любимую женщину моего старшего брата) то приезжала, куда он просил, то не приезжала, то плакала в телефон, то бросала трубку, у нее был высокий капризный голос, из тех, что впиваются в бетонные стены и не стираются ни с какой магнитофонной ленты.

Валя мучился, глянцевая его смуглота делалась будто мучнистой, черные волосы свивались в тугие жгуты, он переставал ночью спать и играл мне на гитаре в темной кухне. Я ненавидела эту Ксану, что он так мучается, но так ни разу ее и не увидела, пока Валя был жив, он мне не раз предлагал познакомиться, я не хотела, мне казалось, что, несмотря на противный голос, любимая женщина столь, наверное, невыносимо прекрасна, что, поглядев на нее, я уже просто не смогу пережить собственное несовершенство. На рассвете Валя вдруг падал на пол и показывал, как он умирает от любви. Это было всегда так неожиданно и по-новому, что я хохотала, как безумная, и почему-то мгновенно и пылко начинала эту Ксану любить. Выходил папа в полосатом халате, он вставал очень рано, спокойно взирал, как мы оба, задыхаясь от смеха, валяемся по полу, говорил добродушно: «Играете? Так и не ложились?» И уходил обратно к себе, уже работать.

Мне потом не раз приходилось — в разъездах своих и всяких профессиональных страстях — жить «по легенде», это так спасительно для литератора, никто тебя не чурается, не ждет от тебя ни подвоха, ни славы, а главное — сам ты освобожден от утомительных и ненужных вопросов и, слава богу, не отвечаешь вдруг в одиночку и перед каждым за состояние искусства на современном и на любом другом этапе. Мне часто приходилось спасаться «легендой», но никогда больше я не встречала, кроме своей дочери Машки, человека со столь азартным игровым началом и таким мгновенно включающимся творческим воображением на любую выдумку, как Валя Вайнкопф...

«Как скопа — на налима» — это уже не из той оперы, перебор, надо глядеть за собой получше.

Перечитала киплинговского «Слоненка» и сразу поняла, почему Он находит эту сказку «ужасной и отвратительной». Чем попусту ломать голову, давно нужно было взять и перечитать, все кажется — что-то помнишь, нет. Он считает ее «ужасной и отвратительной», потому что там учат через боль и страдание, вот в чем дело. Там нет Доброго Учителя, это Ему непереносимо. И еще. Педагогический эксперимент со Слоненком у Киплинга доведен до логического конца, то есть как учили — то и получили. Слоненка учили страданием и болью и, обретя силы, он сеет вокруг тоже боль и страдание, колошматит старую тетку Бегемотиху, двоюродного дядю Гиббона или кого там, и даже колотит папеньку с маменькой, от чего детишки славно смеются, но Он, конечно, должен приходить в ужас, поскольку Он впрямую это переносит на школу и на плоды трудов своих.

Он слышит в сказке лишь торжество зверской педагогики. Дети ощущают что-то помимо и шире, ритм, фактуру, Африку, наконец, они сразу выделяют для себя состраданием положительного героя — Слоненка, переживают уже только с ним и за него, и в конце он для детей не распоясавшийся от дурной методики обучения хулиган, а герой, победивший обстоятельства, он не папу с мамой колотит, они их в таком качестве и не воспринимают, а — наоборот — Добро, ранее обиженное, теперь торжествует, бедный Слоненок теперь может всё: окатить себя водой, сорвать ветку, ну и, так скажем, дать сдачи, если полезут. Его восприятие — чисто взрослое, узкое и, как всегда, чисто Его. И — как всегда — что-то в нем есть, в упёртом Его прочтении.

Вдруг поймала себя на мысли, перечитав с Его позиций, что мне вся эта история тоже как будто вроде уже сомнительна. А ведь — одна из самых любимых сказок, вот что значит соваться с алгеброй, даже мне впечатление испортил, сумел.

Между нами — час на электричке, а приехать не могу, потому как что-то сильно личное растеряю на бегу, что-то очень личное — рабочее, для чего торчу тут столько дней. А увидеть Вас ужасно хочется, все острей. Голос Ваш доносит расстояние, как ольховый хруст, Ваши интонации — случайные, голос пуст, я не слышу главного — молчания Ваших уст. Это ж надо — полюбить молчание, немоту наполнить полнотой, чтобы так бездарно и отчаянно тосковать тоской, чтоб завидовать своей же дочери, и собаке именем Айша — им котлеты носите и прочее, мне же — ни шиша. Накурюсь «Фениксом» до голода, растворю балкон, от залива синим тянет холодом, да сосновый звон, почки бузины, как пушки, бухают, прорываясь в лист, и, прочерчен первой тощей мухою, воздух чист. Нежностью ударит, будто обухом,— мир так тонок, был бы жив-здоров, другое — по боку. Будьте, гипертоник!

Письмо неотправленное и незаконченное: «Многоуважаемый сэр! Я бы с большим удовольствием поделилась своими соображениями с Вольфгангом Паули, чей язвительный и проникающий ум так мне близок (видимо, именно язвительностью, ибо соображаю я, в отличие от Паули, как раз медленно, скорее — „допираю"), и вообще он мне сильно нравится, мне постоянно слышится в ночи скрип его стула на Блегдамсвей в Копенгагене, и в Геттингене — тоже (в отличие от Вас, Паули был, как известно, „сова", что нас с ним роднит), мне определенно нравится, что он раскачивался на стуле, когда думал, а приборы вокруг, меж тем, выходили из строя от напряженности его мысли, именно в этом, по-моему, простенькая разгадка „эффекта Паули" — такая концентрация мысли, что аппаратура уже не выдерживает, его интеллектуальное поле и должно было деформировать предметы (при мне, например, на Итурупе раза три ломались сейсмографы, чем я теперь горжусь, а тогда — ужас как огорчалась). Паули, возможно, мгновенно и легко, двумя пальцами, поставил бы меня на место.

Еще я с наслаждением поговорила бы по интересующему меня вопросу с Паулем Эренфестом, он для меня — образец Учителя, недаром юный Крониг — больно ударившись об сарказм того же Паули — не рискнул выступить с идеей спина, а юные же Уленбек с Гаудсмитом, поддержанные педагогическим — добрым — даром Эренфеста, бесстрашно выступили, чем и обессмертили свое имя (я даже думала, что им дали Нобелевскую премию, не поленилась проверить — нет, не дали, да это и несущественно, „открытие новой истины само является величайшим счастьем; признание почти ничего не может добавить к этому", как справедливо заметил Франц Нейман, и не он один). Эренфест, бесспорно, задумывался над тем, о чем я хотела бы с ним потолковать, и даже, возможно, знал ответ. Гордость и гордыня Учителя — быть превзойденным своими учениками (я не об этом хочу, нет, нет, это — ясно) и уж, во всяком случае, не бояться их буйного движения вперед, а всегда — ему радоваться, не мне Вам это объяснять.

Я, наоборот, восхищаюсь, что высший балл Вы при любых обстоятельствах (хоть на открытом, хоть на закрытом уроке) и любому ученику (будь у него даже сплошные „колы" по всем предметам, чего теперь не бывает) ставите за толково сформулированный вопрос, даже — за попытку вопроса (только вопрос стимулирует мысль), за возражение, за опровержение Вашей мысли, за умение подметить нечеткость или вдруг недостаточность Вашего доказательства, уловить слабое место в ходе Ваших рассуждений. Вы постоянно тренируете мыслительный аппарат своих подопечных. Мозги же — без тренировки — атрофируются, в любом — причем — возрасте, быстрее, чем мышцы, но про мышцы помнят даже футболисты, а о мозгах порой забывают даже ученые мужи.

В тренаже своем Вы к ученикам беспощадны, добрым Учителем Вас ни в жизнь не назовешь. Но если знания, сам процесс познания,— это уже само по себе Добро (это уже имеет отношение к тому, о чем я бы хотела поговорить с Паули и Эренфестом), то Вы несомненно добряк из добряков. Мне только любопытно, как вы градируете свои отметки, каковых у Вас на каждого ученика, по-моему, сотни, я глядела Ваши листочки с повседневными оценками по классам, китайская грамота — блекнет. Видимо, в Вас заложено счетно-

нюансирующее устройство типа последних моделей ЭВМ — любопытно, квантованный ли это у Вас процесс или возможности Вашей нюансировки вокруг одной-единственной (5, 3, любой) отметки в Вас безграничны, бесконечны и не подчинены известным физическим законам?

Я пока что видала пять с семью минусами, не сомневаюсь, что каждый минус для Вас исполнен сакрального значения. Как ни странно, шесть из них Машка мне даже объяснила, она была этой своей пятеркой горда чрезвычайно. Минусы, как я поняла, как бы только углубляли оценку, ибо свидетельствовали — для Машки — о значительности Ваших тайных и сокровенных связей, которые открыты лишь Вам, Машке и Математике. За последнюю самостоятельную работу она принесла, наоборот, двойку с четырьмя плюсами. И вовсе была переполнена гордыней. Повертев перед моим носом этим своим почтенным трудом, сказала: „Четыре плюса, заметь! Это даром не дается, только — кровью!" Прибила кнопкой труд к стенке, чтобы, значит, не сразу расстаться с ним, и ушла, превеселая и отчаянно виляя крупом от высокого тонуса души, к себе в комнату. Как я потом дополнительно выяснила, особенно Машку порадовал Ваш плюс-3 (третий при двойке), он был, как она мне любезно расшифровала, за „изящное, но неправильное решение шестого примера, неверно — ну, просто там отсвечивало, понимаешь? — списанного с доски".

Но не о Машке же я хотела сейчас поговорить с Вольфгангом Паули, Бернгардом Риманом, Полем Дираком, Николаем Лобачевским, Норбертом Винером, Давидом Гильбертом, Нильсом Бором, Анри Пуанкаре, Германом Минковским, Вильгельмом Конрадом Рентгеном, Энрико Ферми, Германом Вейлем, Абдусом Саламом (ныне здравствующим), Марри Гелл-Маном (тоже — здравствующим) и многими другими заинтересованными лицами. Их всех, увы, под рукою нету, хоть они всегда рядом, а Вы — есть, хоть Вас — во плоти — тоже рядом нет почему-то. Рискну все же поговорить с Вами.

В хрестоматийном примере насчет того, что в стакане чая, который мы собираемся сейчас выпить, содержится около тысячи молекул воды из чаши с ядом, что поднесли когда-то Сократу, если даже считать содержимое этой чаши по настоящий момент рассеянным в атмосфере и по всем океанам, есть для меня тоже момент сакральный, как для Вас — в оценках. Я страстно желаю извлечь из этого факта информацию вот какого рода. Но если этот стакан (сейчас) и ту чашу (тогда) объединяет такое количество молекулярных связей, пусть — не связей, просто — молекул, но тех же ведь самых, неповторимых, неповторенных, то сколько же во мне (целиком) — от Сократа (как системы: человек, как структуры, хоть и ветвящейся, с неизбывным числом всяких связей)? В Вас — от Сократа? В Машке — от Сократа? И не только же — от него.

Были ли мы в тот далекий момент — более — теми, кто подносил эту чашу или мы — более и безусловно — выпили ее вместе с Сократом? И как это на нас, теперешних, отразилось и отразилось ли вообще? Вот что меня терзает. Мне мучительно хочется обнаружить в науке, в развитии интеллекта, исходя из совершенства его как явления высокого духа, изначально заложенный в нем самом нравственный аспект. (Здесь есть, конечно, некое логическое жульничество, лихой перескок от молекул к Сократу, а от него — к развитию интеллекта, но мне сдается, что именно этот скачок и делает мою мысль наглядной и убедительной в своей тревожности.)

Я все ищу в самом движении интеллекта — во времени, в индивидууме ли — безусловный и непреложный нравственный критерий. Мне хочется, чтоб он был. Мне даже все время кажется, что он есть. Но, однако, он не дается пока — ни мне, никому другому. И все-таки высокий интеллектуальный уровень не прикладного, а чистого — познающего и осознающего себя — разума должен его иметь. Косвенным свидетельством можно считать хотя бы то, что — как постоянно, настойчиво повторяют все выдающиеся ученые, Вы сами это отлично знаете и сами, не ленясь повторяться, все долбите и долбите на каждом уроке,— именно красивое решение как правило оказывается истинным, красота, значит, каким-то непонятным (непонятым пока?) образом влияет на совершенство смысла или сам смысл, независимо от себя, оборачивается скорее изяществом, чем безобразием.

Следовательно: если поступок красив (то есть благороден), то он — получается — более свойственен самой природе интеллекта. Если человек высок, это для интеллекта — естественно. Для меня сейчас, к примеру, Нильс Бор, я человек ограниченный и верный. Но есть же Швейцер, Амундсен, Николай Вавилов и другие. Но более чем достаточно примеров — увы! — и противоположных. Если же нравственный критерий все-таки в природе самого интеллекта не заложен, то искусство, впрямую воздействующее на самое в человеке уязвимое — на эмоции,— выходит для человека выше, чем любая наука, во всяком случае — человечнее. Ибо важно, кто спорит, решить задачку на движение или на работу, уметь сладить синхрофазотрон (слово-то какое скульптурное, чувствуете?), проткнуть буровую на шельфе и, может, воздвигнуть атомную электростанцию на приливах-отливах (это еще пускай биологи скажут, хорошо ли), но как бы нам не обидеть ребенка (вечная — *Достоевская* — боль), не толкнуть старика, не затюкать доброго, не затереть даровитого, не лишиться последнего леса да чистой реки, курицу-птицу не извести, как реликт, и чтоб не плакали женщины и мужчины в расцвете лет, не валились с инфарктом.

К глупости, само собою, пришла: выше, ниже, что за убогие счеты с вечностью и с душой. Как бы это нам с Вами, неизбывный сэр,— с Вашей математикой и моей бы, все же, литературой — как бы так справно и гармонично совместить и чтобы был бы от этого и другому кому хоть какой-нибудь прок? Да знаю я, знаю, что „последние твои дела выше первых", знаю, что мы стараемся и сколь мало довольны мы плодами стараний своих, все я знаю, сэр...»

Мы спросили у крота: «Что принять от живота?» Долго думал старый крот. А потом сказал: «Компот».

Глупость всегда освежает.

Да, был еще момент в моей жизни, когда Валя Вайнкопф меня, может, спас, во всяком случае — удержал от шага, который неизвестно к чему бы привел. После гибели Умида я провела (третье октября, пятый курс) зиму в безжизненном отупении, официально это именовалось „академический отпуск", с университетом для меня окончательно не было еще решено, брошу или вернусь. К весне я помаленьку отошла, спáла по всему телу крапивница, держалась теперь только на ногах, это — не видно, музыка от соседей через стенку уже не так шарахала меня по голове, от громкого и веселого голоса я уже не бледнела, если двое стояли в сквере, обнявшись, соображала, что это просто парень и просто девушка, а не черные скелеты сцепились костями, как мне первые месяцы виделось, и, когда рядом со мной смеялись на улице, я уже понимала, что это не оскорбительное для Умида, для того, что его — нет, нигде больше нет, кощунство, за которое сразу ненавидишь, а просто — чья-то чужая радость.

В тот момент я случайно познакомилась с кем-то из пароходства, не помню уж, кто он был, и этот некто обронил фразу, что на суда, которые перегоняют из Ленинграда на Камчатку Северным морским путем, требуются буфетчицы, они же — уборщицы и посудомойки, команда невелика, харч прост, обязанности — доступные для человека с неполным высшим образованием, никаких характеристик не нужно, берут, кто просится. Я сразу попросилась. Я тогда свято верила в перемену мест, эта иллюзия преследовала меня долго, превыше всего ценила для себя заповедь Авиценны, что «не от долгой жизни зреет ум, а от частых путешествий». Даже внеплановую курсовую на четвертом курсе писала почему-то по стилистике Авиценны («Канон врачебной науки») и по Ферсману («Воспоминания о камне»), понятия не имею, как они для меня тогда связывались, почему, руководитель был умный, поощрял мои бредни и даже пытался толковать со мной насчет будущей аспирантуры, что, мол, не вредно бы побольше заниматься наукой, а не только кипеть в общественной деятельности факультета, мама моя очень с ним соглашалась, она считала аспирантуру естественным путем развития нормального человека, мне даже слушать про это было скучно. Я, лично, хотела тогда — узнать жизнь. Извечное это заблуждение молодости, что жизнь можно постичь крупным махом —

быстро и глубоко, бухнуться в самую гущу — и сразу узнать, словно можно прожить ее, безотвязную, и так и не узнать. Для ее постижения, как я теперь понимаю, более годится другое восточное речение, оно же — мудрость: нырнувши в воду, не спрашивай, виден ли зад. Тогда же — мне показалось, что перегонное судно очень даже подходящая гуща.

Меня познакомили с капитаном-перегонщиком. Капитан был веснушчатый, моложавый, простецкий, он мне понравился, мы — в принципе — сговорились, прельстительное место буфетчицы у них пустовало, скоро надо было уже уходить, капитан даже сказал, что если не успею спешно оформиться, то смогу догнать их в Архангельске, он место подержит, все равно ему некого брать. Я пошла глядеть место службы, ничего на судне не помню, что за типа был этот линкор — не знаю, запомнился только тугó свитый в узких каютах воздух, мятые брызги на круглом окошке да запах краски, вроде — эмаль. По судну сопровождал меня добродушно-неряшливый толстяк, как теперь прикидываю — не вполне чтобы трезвый, мама вовремя не отвела его к логопеду и это очень чувствовалось. Он неторопливо отворял мне каюты, с признаками уже чьего-то жилья, и все объяснял, как и кому застилать надо койку, у него к этому слову был явный крен. Интересно, что вблизи этого слова его логопедические дефекты как бы сглаживались, дикция вдруг обретала четкость, а непосредственно вокруг «койки» голос вовсе твердел и словно бы выпирал четким горбом, образуя ощутимую загогулину.

Это была типичная дифракция, сейчас я бы сразу насторожилась, а в те смутные времена даже слова такого не знала, хоть окончила школу с медалью, явно зависили мои познания. Дифракция — меж тем — прелюбопытнейшее языково-психологическое явление, слова́ наиболее важные и родные для организма очертываются четким контуром, иногда — цветным, это уже зависит от степени эмоциональности индивида, и всегда из речи торчат, по одной-двум фразам, таким образом, можно кое-что про человека понять. У эгоцентриста, к примеру, обычно крутой изгиб вокруг «я» и глаголов, связанных с «я» напрямую; для бабника характерна выпуклая полусфера в районе слова «женщина» и, само собой, «баба», кто как любит выразиться. Занятную дифракцию не раз удавалось мне наблюдать в окрестностях слова «супруга», это либо почтительно-вежливый прогиб перед культурной значительностью столь элегантного наименования, либо — наоборот — некоторое, с трудом скрываемое за отстраненностью термина, насмешливое презрение: «супруга моя предпочитает...», что́ — несущественно. Иногда слово вдруг приобретает такую авторитарность, что дифракция, им вызываемая, становится тотальной и всеохватной. Блистательно дифракцирует сейчас слово «достать» и все его модуляции: я достала, ты достала, он-она-оно достало, достать бы, достану, об достать. Глагол этот отчасти даже мистический, ибо подразумевает — достать все что угодно (дирижабль с верандой, ночную сорочку снежного человека, стельки для сапог или перо жар-птицы) и — фактически — ниоткуда (слева, справа, у одной знакомой, из вакуума). Слово «купить» проходит сейчас — наоборот — скромненько, без намека на дифракцию, разве что — у малых детей, выклянчивающих у своей глухой прабабушки мороженое на углу...

Деревня называется «Вязок», хоть вязов нет, давно, наверно, сгнили, автобус на ухабах, как возок, подпрыгивает, наглотавшись пыли, а возле кладбища, где стертые кресты, где стерты временем и надписи, и плиты, дрожат печальные и голые кусты. Как будто богом и людьми забыты и церковь, и могилы, и дома, прижавшиеся кое-как вдоль речки. Безлюдная недвижна тишина, а в ней как будто притаилось нечто и ждет своей минуты. Бредет корова, будто бы сама — себя доившая. И круто дорога повернула вбок, пошел цветистый — смешанный — лесок, и навсегда исчез Вязок — как сгинул, оставив в памяти лишь имя, такое теплое — «Вязок», хоть вязов нет давно в помине...

В нашем с неряшливым толстяком тогдашнем непонимании друг друга повинна была еще аберрация, лучи-смыслы, исходившие от него, не собирались во мне, как в одной точке, а, начисто минуя меня, размазывались по всему судну, по палубе и полубакам, соскальзывали за борт и даже, подозреваю, тонули в невской воде. То же, по-видимому, происходило и с моими скромными вопросами: благодаря аберрации, они не сходились в одну точку в толстяке с логопедическим отливом, хоть он был довольно крупный. Смысл — естественно — искажался, даже утрачивался. Контакта не возникало. Вообще, когда взаимопонимание затруднено, следует — в первую голову — вспомнить об аберрации, то есть сразу поискать такое место в пространстве, чтоб лучи интересующего субъекта очень точно сходились именно в тебе, а не где-то там сбоку или сзади, и быстро становиться на это место. Думаю, учет эффекта аберрации и овладение оным свели бы на нет многие семейные ссоры, известным препятствием можно, пожалуй, счесть лишь некоторую камерность жилплощади, которая не всегда позволяет так далеко разбежаться, как требует аберрация. Но и это ценнейшее понятие было тогда мне неведомо.

Дома я честно выложила родителям про гущу жизни, перегонное судно и мое твердое решение пройтись на нем Северным морским путем в качестве буфетчицы. Мама как генетический пессимист сразу сказала: «Ты яйца сварить не умеешь!» Причем тут яйцо? Речь для меня шла о смысле жизни.

Родители мои были люди неробкие, особенно — папа. Маму несколько подкашивал пессимизм, она очень уж в себя не верила, удачно завершившийся опыт расценивала всегда как счастливую случайность, хотя сама же его придумала и поставила, а значит — подспудно — рассчитывала же на положительный результат, неудача никогда не вызывала у мамы боевого азарта, повергала сразу во мрак и была — даже как бы лично — предрешена для нее, докторскую она и писать не стала — по пессимизму, была вечным доцентом на своей кафедре физиологии растений. А папа, как и не я (это Машка любит так вывернуться), верил в доброе, чистое, из-за поворота ждал обычно скорее радости, хотя — в отличие от мамы — был весьма сдержан в проявлении чувств, говорил немного и суховато.

Кстати, еще о дифракции. Года два назад я как-то разговорилась с одним конструктором, он был ведущим в крупном кабэ, при имени и регалиях. В недрах его кабэ как раз народилась одна идея, требующая срочного пересмотра уже запланированного проекта, вообще — далеко идущая, но пока встречающая лишь препоны и непонимание. Конструктор собирался в Москву, чтоб на самом высоком уровне отстоять и продвинуть эту идею, выбить на нее дополнительные средства, приостановить пока плановый проект, много чего. Об этом он и рассказывал. Рассказывая о трудностях предстоящей битвы, он часто вставлял сразу заинтриговавшее меня словцо «законопослушный». «Я, сами понимаете, человек законопослушный, проект, сами понимаете, утвержден, но тем более...»

Словцо это звучало нарочито-небрежно, но с чуть заметным для посвященных вкусовым привкусом, будто конфета-грильяж — незаметно для общества — проворачивается, всасываясь и растекаясь ореховой горечью под языком. Сие должно было означать, как я быстро смекнула, что именно в законопослушнике дремлет исконно бунтарское начало, спасительное для общества и взрывоопасное для себя, себя законопослушняк, конечно, не пожалеет, положит живот на алтарь, сгорит синим пламенем, когда придет его час. Но не в этом же мизерном случае, о котором сейчас идет речь, сами же понимаете. Но речь шла вроде бы не о пустяке — об идее. Из-под ломких век кидался быстрый, нарочито-небрежный взгляд, который, как я поняла, по правилам хорошего тона надлежало поймать быстрой, постигающей суть улыбкой. После чего плавный ручеек беседы легко — но уже дополнительно насыщенно — утекал бы в несущественные камыши деталей предстоящей борьбы или в болотистые топи социальных прозрений типа: «разучились по-настоящему делать свое основное дело» или «никто почему-то не хочет взять на себя настоящую ответственность за».

Все это было по-человечески понятно. Беспокоила дифракция. Вокруг главного слова «идея» наблюдался лишь слабенький, блеклый почти до полной бесцветности, словно бы пунктирный контур, вдобавок еще — мерцающий, иногда он вовсе как бы пропадал, но снова, правда, всегда являлся,

однако и тогда в каждом отдельном штришке этого контура виделись мне будто бы шаткость и дополнительное дрожание. Слово же — «законопослушный», абсолютно неглавное в нашем разговоре,— дифракцировало мощно, создавая вокруг себя яркий и четкий овал, почти полную сферу. Сфера эта до того была полнозвучной, что — в самый кульминационный момент беседы — я вдруг подумала, что вряд ли этот ведущий конструктор, с именем и регалиями, там, в верхах и в Москве, сможет отстоять и пробить идею, народившуюся в его кабэ. Мне вдруг показалось, что он может с этой идеей вообще даже не выступить. Но я сразу одернула себя, ибо нельзя же физическому эффекту доверять больше, чем человеку. Однако дифракция блистательно себя подтвердила. Как мне потом рассказывали очевидцы, конструктор — действительно — высунулся было с идеей, на него не так глянули сквозь графин, и он быстренько ретировался в кусты, защищать идею даже и не пытался. Идея-то, к счастью, не погибла, другие ее, перспективную, защитили. Но дифракцию я теперь чту. У моего папы, как я теперь — задним числом — понимаю, была очень четкая, нравственно-несбиваемая, дифракция.

В сорок восьмом году, после печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ, в папином институте, как и везде, должно было состояться общее собрание, папа был биохимик растений. Он мог бы на это собрание не идти, поскольку был на больничном, у него не кончилась еще пневмония, мама просто умоляла на это собрание не ходить. Но папа пришел. Зал был набит, но все как-то глядели мимо друг друга, будто никого кругом не было. Никто на этом собрании, в отличие от обычных, не ерзал, не кашлял и соседу ничего не шептал. На трибуне, сменяя друг друга, каялись и били себя в грудь. Но вполне можно было не выступать. Тут папа выступил. Говорят, его выступление было самым в тот день коротким. Он сказал, что много думал в последние дни, самым внимательнейшим образом (папа любил это словосочетание: «Я самым внимательнейшим образом, Раюша, обдумал твой поступок — по-моему, он неблаговиден, галоши нужно было надеть, чтобы мама понапрасну не волновалась».) изучал все материалы сессии, еще раз перечитал Менделя и считает его работы — классическими. Папа всегда говорил суховато.

Когда больничный закрыли, папа остался без работы, что удивило только моих теток, которые всё гордились, что у них брат — профессор, недавно с таким блеском защитил докторскую диссертацию, и ни одного «черного шара» даже не было при тайном голосовании. На последнее обстоятельство особенно напирала тетя Аля, лицо ее при этом горделиво розовело и взгляд делался горделиво отсутствующим; думаю, эти шары ей виделись маленькими, вроде биллиардных, блестящими, крепкими, разных цветов, ученый совет долго гонялся за ними с палкой и загонял упрямые шары в огромную лузу, типа биллиардной, но, конечно, больше, и в папиной лузе потом не оказалось ни одного черного, хоть в других лузах их было просто навалом, вот такой у них способный и удачливый брат.

Папа на следующее утро после собрания позвонил своему близкому другу, еще со студенческих времен, тоже — профессору, хотел, наверное, убедиться — со стороны, достаточно ли четко он выразил мысль в своем выступлении, папа не выносил двусмысленности. Его близкий друг сразу снял трубку, сказал неторопливым баском: «Я Вас слушаю», но, узнав папин голос, вдруг закричал: «Саша, прости, я не могу сейчас с тобой разговаривать, у меня жена рожает». И бросил трубку. А его жена, сухопарая дама, часто у нас бывавшая, не была, насколько было известно, даже беременна. Папа ужасно развеселился, маму из коридора призвал: «Мусенька, Димитрий сошел с ума, знаешь, он что мне сейчас брякнул с перепугу по телефону?» Пересказал маме. Потом этот случай вспоминали всегда смеясь, но тогда мама сказала: «Он-то как раз с ума не сошел, не бойся».— «Временно, Мусенька, временно»,— настаивал папа на своем. Но еще кое-кто с ним все-таки перестал здороваться, будто читает газету или задумался над большой проблемой науки прямо на лестнице. А старая лаборантка — Юлия Филипповна, которой весь сектор чрезвычайно дорожил, ей год всего оставался до пенсии, вдруг написала заявление об уходе и, когда все ее уговаривали остаться, громко сказала, говорят, что за Александром Михайловичем она готова бесплатно пробирки мыть, а за остальными — не хочет и не будет, ей приятнее мыть грязную посуду в любой столовой по месту жительства. И ушла.

Мы вскоре уехали под Вологду, в совхоз, папа работал там агрономом, был доволен, говорил, что наконец-то делает настоящее дело и ругался с директором совхоза, что дело надо делать не так; мне под Вологдой очень нравилось, кругом был лес, посреди совхоза стояла новая школа, в один — длинный — этаж, школа пахла свежим, теплым, струганым деревом, под окном росла высокая мягкая трава и, когда школьные науки нас утомляли, мы прыгали из класса через окно прямо в эту траву. Неподалеку ходил на длинной цепи бык Мордун, лучший в совхозе производитель. Занятость по основной специальности была у Мордуна скорее сезонная, чем ежедневная, поэтому Мордун скучал и ревел на цепи. Мы дразнили его, размахивая перед бычачьим носом, но с безопасного расстояния, красным галстуком. Мордун ярился, ревел еще пуще, вставал на задних ногах, как конь, и бешено бил оводов хвостом. Лишь значительно позже я узнала, что не так надо было махать и что сам красный цвет был Мордуну, в общем-то, безразличен. Тогда я этого, по счастью, не знала. Было страшно, смело и хорошо. У меня был в совхозе друг — Игорь Ильменев, он почему-то до сих пор меня не нашел и ко мне еще не приехал, что — странно, все ведь находятся.

Был ещё Алик Кичаев, нас с ним сразу посадили на одну парту, в угол. Это был, может быть, самый нежный человек — из всех, кого я встречала в жизни, он звал меня только «Раечка», что достаточно уже редко в этом возрасте, третий класс, открыто носил за мной мой портфель из школы и продуктовую сумку из магазина. Мы с Аликом в жаркие дни ловили лягушек и набивали друг другу в майки, чтоб майки хорошо вспузырились, тогда — объясняли мы любознательным — телу прохладно и голову не печет. Но девчонки боялись лягушек, а мальчишки презрительно сплевывали. Моего кота Персика мы с Аликом учили нырять в бочке с дождевой водой и однажды Персик по нашему недосмотру чуть не захлебнулся всерьез, у него уже глаза вылезли. Алик жил на хуторе, километрах в двух через лес, по вечерам мы завешивали окно шерстяным одеялом, чтобы еще темнее, садились в кромешной темноте на пол, и Алик шепотом рассказывал мне страшные сказки, которые сам выдумывал. Чтобы не умереть со страху, я держала Алика за руку.

Иногда, в самый жуткий момент, окно под одеялом вдруг дребезжало и цвинькало, извне и отовсюду раздавался дикий гогот, вскрики и дребезги, если палкой лупили, например, по консервной банке. Это не ленились добежать до хутора совхозные мальчишки, чтоб показать нам, что они помнят, где мы сидим и имеют к этому свое — прежнее, нам известное,— отношение. И, не различая слов, понятно было, что там кричат, нам с Аликом кричали всегда одно и то же: «Жених и невеста!» Алик в темноте осторожно вынимал из моей свою руку, замолкал, добродушно прислушиваясь, потом говорил беззлобно, он вообще не сердился никогда: «Додражжят, так и пожженимся, налипли, как вар к сандалю...» Он говорил всегда пленительно неправильно, ни одного слова не умел не исковеркать, больше я такой речи ни у кого потом не встречала, даже в слове из одного-единственного слога ближайший мой друг Алик Кичаев умудрялся сделать неправильное ударение, но зато чужих и заемных слов он никогда не употреблял.

С хутора Алик провожал меня через черный лес до самого крыльца и еще, подождав, стучал осторожно в наше окно: «Раечка, ты где?» — «Здесь она»,— отвечала обычно мама и махала ему рукой, как отмахивалась. Маме не сильно нравилась наша дружба, но она стеснялась сказать мне об этом открыто, чтоб не давить на ребенка. Кое-что иногда все-таки прорывалось. «Алик, оказывается, ругается»,— вдруг между прочим сообщала мама, вернувшись из магазина. «И как?» — интересовался папа. «Ну, я сама не слышала,— смущалась несколько мама.— Рассказывают...» «Ааа,— говорил папа.— Я думал — ты знаешь, и мы с Раюшей подучимся».— «Как ты можешь так говорить при ребенке?!» — сердилась мама. Но даже я понимала, что она сердится не поэтому, а оттого, что ей неловко объяснять нам с папой, почему мама бы предпочла, чтобы я дружила с кем угодно другим, но лучше бы не с Аликом. У Алика была неблагополучная семья, а на такие темы у нас дома

никогда впрямую не говорилось, чтоб не травмировать чистую душу ребенка.

Мама на этот счет предпочитала эвфемизмы, лет так до двадцати я поэтому считала, что дети заводятся от поцелуев и в моих отношениях с людьми была колоссальная и заразительная сила неведения. Потому — в частности, думаю я теперь, я никогда не улавливаю смысла анекдотов определенного типа, хоть сколько мне такой анекдот повтори, и хоть по слогам. Видимо, из-за полного лада в нашем доме у меня в развитии, где-то там в переходном, из чего-то а чего-то возрасте, начисто был пропущен тот единственный момент, когда небогатая, но волнующая прелесть понимания такого сорта, могла бы структурно войти в организм. Но она тогда не вошла. А будучи взрослым, мне кажется, включить в себя столь заведомо неинтересный аспект постижения, видимо, уже невозможно, всё ведь следует делать в свое время.

Мать Алика шила, она шила прекрасно, обшивала совхозных дам и всегда была нарасхват, дамы перед ней даже заискивали. Но за глаза те же дамы говорили о ней как-то понимающе посмеиваясь между собой и словно бы — с «фигурой умалчивания», что невозможно было не заметить. Отца у Алика не было, он не погиб на войне, как у других, он не умер, как умер, например, в местной больнице от аппендицита отец Игоря Ильменева, о нем просто никогда не упоминалось. Отца не было. А мать Алика мне очень нравилась. Она была стриженая, как девчонка, с блестящими пушистыми волосами, тоненькая, молодая, быстрая, весело стучала на своей швейной машинке «Зингер», отрываясь от шитья, бурно обнимала нас с Аликом, причем — одинаково бурно его и меня: у нас дома так открыто не умели обниматься, мне, видимо, при всей любви не хватало открытой ласки (думаю по наследству ее всю жизнь не хватает и моей Машке). Она так смешно и доверчиво спрашивала меня: «Тебе, праада, нрааится мой сын-двоечник?» Я говорила, что — да. Она радовалась. «Такой обалдуй, весь — в меня». И звонко целовала Алика.

Алик Кичаев был единственный круглый двоечник, с которым я за свою жизнь дружила, он был даже второгодник. Собственно, я до сих пор не понимаю, как его вообще переводили в следующий класс, читать он, по-моему, не умел, при письме в каждом слове делал столько ошибок, сколько в слове — букв, сам процесс выведения букв на бумаге был для него мучителен, и некоторые буквы получались не в ту сторону, задачки — решал мгновенно, но никогда не мог объяснить — как и был совершенно неспособен придумывать там, в середке, какие-то вопросы, чтобы потом уж решать. Когда Алика вызывали в классе к доске, я готова была от стыда провалиться сквозь пол, и наша добрая учительница Анна Семеновна даже иногда на это время посылала меня в учительскую, будто за мелом...

Года четыре назад раздался обычный телефонный звонок. «Если можно, позовите, пожалуйста, Горелову, Раису, простите, я не знаю отчества...» — «И знать не надо,— не больно-то вежливо ответила я.— Александровна, я и так откликаюсь. В чем дело?» — «Даже не знаю, с чего начать...» Голос был абсолютно незнакомый, но ничего тревожного от него, вроде, не исходило, хорошего наполнения, светло-коричневый. «Вы меня, конечно, не помните, Раиса Александровна. Мы когда-то вместе учились, недолго и не в Ленинграде, моя фамилия Кичаев...» — «Алик, ты где?» — заорала я. С тех пор, как мы уехали из совхоза, что произошло миллионы лет назад и в самом начале четвертого класса, я никогда, ни от кого и ничего не слыхала об Алике Кичаеве. «Я? Я, Раечка, на Московском вокзале, в будке»,— повеселев, доложил незнакомый голос и на «Раечке» что-то словно взблеснуло мне из глубины миллионов лет. «А как ты меня нашел? Ты в командировку?» — «Нет, я к тебе...» — «Навсегда?!» — обрадовалась я. «А ты бы хотела, чтоб — навсегда?» — «А то — нет,— заорала я, незнакомый голос стал уже темно-темно-коричневый и от него исходило стойкое тепло.— Дай только, я на тебя посмотрю, какой ты есть».— «Я для этого, собственно, и приехал в Ленинград, только не знаю, Раечка, как от вокзала добраться...» Он — даже в шутку — не бросил мне в ответ, что и ему не мешает сперва взглянуть, что из меня сотворило время и какая я есть. Похоже, это действительно был Алик Кичаев и больше никто.

Он был седой, седина ему шла, седина была не обрюзглая, а молодая, будто ему так нравится и он ее выбрал из всех других цветов. Я была крашеная, но — не от руки, как когда-то бывало, а опытным мастером, асом этого дела, и в естественный тон, когда Машка выросла, я вдруг стала обращать на это внимание, вдруг для меня это оказалось — серьезный стимул, чтоб молодо выглядеть и чтоб Машке было непротивно идти со мной рядом по улице и хоть куда, мне нравится, если Машка оглядывает меня, как ушлый цыган — лошадь, и довольно цокает языком, я даже заметила, что когда она особенно одобрительно цокает, то мне в такие дни просто везет, смешно упускать возможность легкой удачи, поленившись сходить в парикмахерскую и принять утром холодный душ, мне удачи за просто так на голову не сыпались, я не из везучих. Так что я не ленюсь. Алик был моложавый, спортивный, занимается греблей, я тоже — спортивная, много езжу и лезу, куда меня не просят.

Машка, маленькая, быстро научилась сама читать, чтобы первой, первей меня, узнавать про всякие события в мире и прятать от меня те газеты, где про эти события сообщается. Я вхожу домой вечером, а Машка бежит навстречу, кричит: «Мам, тебе на Памир ехать не надо, там совсем маленькое землетрясение было, никто даже не погиб!» Или говорит: «Ты в Чили, случайно, не собираешься?» — «Случайно — нет»,— смеюсь я. «Правда? — не верит Машка.— Там совершенно нечего делать, самую чуточку один вулканчик извергся, маленький, вот такусенький, даже лавы нету». Машка тогда верила в мое всемогущество и считала, что мать может улететь-уехать-ускакать куда угодно и в любой миг. Большая радость, однако, такая мать, в которой ребенок не чувствует никакой надежности. Я перед Машкой виновата, всю жизнь приходилось выбирать между Машкой и работой. И всегда — в пользу работы, так уж получалось...

Мы с Аликом Кичаевым, молодые, красивые, сильно пожившие и ни на йоту не изменившиеся с третьего класса, сидели целую ночь друг против друга у меня на кухне и не могли друг на друга насмотреться. «Я несколько раз пробовал через Центральный адресный стол искать, но никак не мог вспомнить, как твоего папу звали, Николай — мне казалось, Петр — почему-то. Дурак, сам же — Александр».— «Ты? Я была уверена, что ты какой-нибудь — Олег. А как ты бланк бы заполнял? Ты — что же? — научился писать?» — «Ага. Я даже техникум с отличием кончил. Не веришь?» — «Нет! А читать?» — «И читать, Раечка, и читать. Я у нас в Пущино возглавляю Клуб книголюбов, честное слово».— «А ты в Пущино? Ты, может, физик?» У меня в Пущино есть приятель, физик, один из немногих, кто без видимого омерзения выслушивает мой антропоморфический бред и даже присылает мне умные книжки, недостижимые для моих мозгов, но я все равно их читаю. «Какой я физик? Я, Раечка, токарь по металлу, делаю разные хитрые штучки».— «Представляю. А как же ты меня все-таки нашел?» — «Земля тесная, Раечка. Я всех, кого в жизни встречу, всегда спрашивал — вдруг кто знает. И недавно мне один человек (и сразу назвал моего приятеля, тесная земля, это точно, особенно, если на ней не сидеть как брюква) вдруг отвечает — да, встречались, и сразу дал адрес. А у тебя какая профессия, все хочу спросить?» О, мои приятели мои законы блюдут, секретность номер один. «Я биолог. А что?» — привычно солгала я, мне только нужно знать специальности вокруг, чтобы варьироваться в широких пределах, поймать меня можно врасплох и только узкому знатоку. «Ничего,— мягко улыбнулся седой Алик Кичаев и осторожно взял меня за руку, подержал, чтобы я ничего не боялась в своей жизни. Потом уважительно тронул ракушку на столе, морской гребешок.— Я так и думал, что ты что-нибудь необыкновенное выберешь».

Мне сделалось гадко, что я и ему соврала, что за несчастное мое свойство — стесняться своего дела, ведь не ворую же, не говорю же, что я — Лев Толстой или Валентин Распутин, и ничего же такого — не считаю, ну, не писателем назовись, если язык не поворачивается, пусть — литератор, хорошее слово, профессиональное и без претензий, это уже какая-то гордыня навыворот, как у школьного моего любимого гения.

Но Он-то как раз гордо и сразу докладывает: «Я — школьный учитель». Помню, в аптеке на Владимирской площади он спросил капли от насморка,

а я, как всегда, тут же скрывалась, в народной гуще и за его спиной, я же за ним хожу, как чужая тень, не знающая покоя. И девочка за прилавком, видимо, перепутала «Час учителя», в котором Он недавно страстно высказывался, и очередной многосерийник насчет майора Пронина, ее безжизненно-правильное личико вдруг расцвело и сделалось даже милым. «Ой, я вас узнала,— сообщила она, ликуя, и ликующим взором осаживая остальную толпу.— Я вас по телевизору видела».— «Может быть,— он ничуть не удивился. Он же по тупости считает, что все смотрят исключительно «Час учителя».— А санорина у вас нету?» — «Сейчас найду,— и она сразу ему достала из ящика.— Простите, а вы в каком фильме сейчас снимаетесь?» — «В фильме? — небрежно переспросил он, ничуть даже не заинтересовался.— Нет, я школьный учитель».

И с каким же великолепным величием Он принял от девочки вышеупомянутый санорин, протянутый уже без всякого пиетета и даже с оскорбленным, еще бы — так ошибиться! — и, следовательно, оскорбительным небрежением. Я прямо от зависти дрогнула в народной гуще, так царственно Он этот санорин принял. Интересно, доходили ли до Него когда-нибудь слухи насчет падения престижности этой профессии, достигали ли они мудрых Его ушей, столь чуждых обывательской мишуре, касались ли они леденящими своими перстами Его ранимого сердца?..

Когда я обращаюсь к Вам на «Вы», мне слышится торжественность органа, тревожно заполняющая высь прохладного и призрачного Храма...

«Все, что я, Раечка, рассказываю, я могу подтвердить документально»,— сказал ближе к рассвету Алик Кичаев. И раскрыл свой портфель. В этом портфеле могло быть что угодно, бегемот средних размеров и хорошей упитанности там бы вполне поместился. В портфеле и было что угодно: диплом об окончании техникума (Алика), диплом об окончании педагогического института (жены Алика), свидетельство об окончании средней школы (старшего сына Алика), грамоты за длинные прыжки в длину и за бег на короткую дистанцию (младшего сына Алика), свидетельства об окончании разнообразных курсов (Алика, жены Алика и старшего сына Алика), авторские свидетельства на изобретения (много, опять же — Алика), семейные фотографии (Алик всюду смеется,), медали — первое место Москвы и области (собака Алика, она — боксер), копия приказа о назначении жены Алика директором неполной средней школы, похвальная грамота за третий класс (младшего сына Алика), чугунный бюст неизвестного, до боли знакомого, лица (приз Алика на состязаниях по гребле) и настоящая медаль (Алика, за трудовые успехи). От обилия доказательств я даже сомлела.

«Слушай, зачем ты все это притащил?» — «Не знаю,— уклончиво сказал Алик, подержал меня осторожно за руку, чтобы я ничего не боялась в своей жизни, и отпустил.— Мне казалось — пусть ты посмотришь».— «Да зачем?» — «Наверное, чтобы ты знала, как я живу...» Он же это — всерьез, вдруг поняла я, у него же просто юмора нет, отсутствует начисто, бывают же люди без юмора, я с ними обычно — не могу. Но выходит, что если к тебе так относятся через миллионы лет, то и без юмора — хорошо, так, что ли? «Я всегда представлял, как я все тебе покажу и ты увидишь...» Голос у Алика стал теперь совсем темно-темно-темно-темно-коричневый и все еще мягко темнел, будто решил вобрать в себя всю коричневую бесконечность, это для меня всегда цвет покоя. Я вдруг — мягким уколом — ощутила, что, возможно, живу не зря, иначе кому бы Алик Кичаев вывалил сейчас свой безумный портфель. «А если б я давно померла?» — «Ты никогда не помрешь»,— мгновенно и твердо пообещал Алик. Нет, юмор у него был, куда он денется. «А я все тебе наврала. Я никакой не биолог. Книжки пишу».— «Какие?» — вежливо поинтересовался Алик. Вот уж кому, по-моему, безразличны мои занятия, у меня тут другая миссия, я же «Раечка» из глубины вечности. «Детские, про добро — с большой буквы».— «Я всегда думал, что ты выберешь что-нибудь невероятное...» — «Да чего тут — невероятного?» — «Самое невероятное, Раечка,— делать то, чего нет, по себе знаю. Книжки же — нет, а ты ее сделаешь...» Как же он научился говорить — этот Алик, когда он только успел! А если я, например, ее не сделаю? Ну, это мы обсуждать не будем. «А добро — есть?» — «Есть,— сказал Алик серьезно.— Отец в пятьдесят седьмом году возвратился и сказал, что добро — есть, иначе бы он — не выжил».— «У тебя, значит, был отец?» — «Был,— улыбнулся Алик.— И есть. Плоховато стал слышать, а так еще ничего, держится».— «Хорошенькое добро»,— сказала я.

Из-под Вологды моих родителей через год швырнуло под Пензу...

Был — Он, такой коричневый и юный, все так же эти скулы — лу́нны, внезапен — смех, движения — хрупки́, как бы руки́ легчайшим жестом Он причинять мог боль явленьям и вещам и занимал в пространстве мало места, способность эту за собою зная сам. Но Он уже не причинял мне боли — Он был чужой, как в школе. О горе, горе! Мое уж биополе Его не держит боле! Румянец пониманья уже лица Его не оживлял и точных черт не красил, был так невозмутим Его овал, вопросов Он не задавал, закрытый для меня, как тайна мирозданья для папуаса. Ужели Он со мной скучал? О горе, горе! Его уж биополе меня не держит боле! Сквозь Него — как сквозь стекло — весь мир просвечивал, не изменяя ни форм, ни цвета, и предметы быта стояли на полу — как влито, не деформируясь и не струясь. Какая пошлая и крепкая в них связь! Зачем же слово «сила» я к имени Его навечно пригвоздила, как бы к кресту прибила? С креста Вас снять?..

Фраза Бабеля — система закрытая, она дает, вернее, являет, сразу результат процесса — образ, к которому автор позаботился, чтоб ключа нигде рядом не было, это, так сказать, «чистое» преступление — без оставленных улик. Фраза толстовская есть становление образа на твоих глазах, отсюда обязательность сложноподчиненных и прочих сложных предложений, уточнения, возвраты, бесконечно дробимая дискретность движения мысли, логическое — как оборотная сторона обязательного алогизма в самом устройстве фразы, это всегда — система открытая, куда тебя тянет и тянет глядеть — в смешной надежде, что вдруг поймешь секрет, куда тянет и тянет глядеть, как в бездну, где всё — все равно никогда не разглядишь, это отважное преступление, где улики раскиданы в изобилии, но без самого Толстого никто никакого преступления все равно не сложит.

Мы сидели с Его выпускницей. Ясные глаза, чистое лицо, понятная судьба, пятый курс, только что вернулась с Кольского, геолог, привезла мне приветы. О Нем, что ли,— мы собирались? У нас было о чем говорить и без Него. Но говорили все равно только о Нем. И это было хоть уже и привычно, но странно. Почему обязательно возникал Он, когда бы ни кончилась школа, сколько бы лет ни прошло после выпускного вечера? Почему так навязчиво и конфликтно помнился Он всем, с кем сводила Его учительская судьба? И почему в разговорах этих никогда не было покоя и даже как бы некоей, что ли, решенности прожитого уже куска жизни, а всегда ощущалось царапающее беспокойство и неудовлетворенность? То ли Он был кругом в чем-то виноват, то ли все они, очень разного уже возраста, навсегда ощущали свою перед Ним виноватость, хоть не могли или не умели назвать — за что, в чем. Зачастую они уже плохо помнили то, что я считала незабываемым,— Его уроки.

Нет, уроков как таковых они уж не помнили, и не математика (Он бы умер, если б узнал) волновала их через годы, а нечто, делающее Его отличимо единственным в их судьбе — бескомпромиссность Его, порою — до тупости, столь странная в наш век угловатость среди сглаженных отношений, неуемность его критериев и настырная безотвязность Его оценок, которую Он не хотел или не умел скрывать на протяжении каждого прожитого ими совместно дня. От этого возникала изнуряющая непростота отношений, особенно между Ним и Его же классом, где Он был классный руководитель, между Ним и — самыми старшими, к десятому, и невозможность порой отделить мелочи от крупного. И от этого же оставалась внутри дрожащая нота неудовлетворенности, как бы — недоговоренности, и этот нескончаемый спор с Ним, будто Он все время стоит за спиной и до сих пор рассматривает и прикидывает каждый их шаг.

Утомительный этот взгляд, оценивающий по стобалльной шкале и непрощающий, заставлял их снова и снова возвращаться к Нему, снова и снова прокручивая внутри все когда-то бывшие случаи, происшествия, разговоры, и словно искать опору внутри себя — против Него, себя-теперешнего против Него тогдашнего и вечного, несгибаемого, хотя непрерывно говорилось, что Он хотел только добра и как многим, если не всем, ему обязаны...

«Понимаете, он же нас с пятого класса вел и держал очень близко, а мы потом — так уже не могли, мы рвались. Почему все должны любить только оперу? А я, может, джаз хочу! Или поп-музыку? Почему все должны писать сочинение «Пятый постулат Эвклида и ария Мельника из „Русалки"»? А если мне уже все равно — пересекутся параллельные прямые или сроду не пересекутся? Я, может, про другое хочу подумать? Не о математике! Люська Сысоева в девятом классе с „Травиаты" сбежала, так он ей никогда не простил. Сказал: „Раз человек предпочитает вместо прямого и честного объяснения своей позиции сделать что-то тайком и втихомолку, мне такой человек сомнителен". А Люська просто не выдержала! Если бы она стала тогда ему свои позиции объяснять, эти объяснения до сих бы пор не кончились. Раз он чего-нибудь не понимает, он же никогда не поймет, поймите. Вернее, если уж не принимает, то никогда не примет. Он забывать не умеет, вот, по-моему, главное. Может, так и нужно, не знаю, но мы тогда уже не выдерживали, рвались, как с цепи.

С пятого класса нас вел, а на выпускной вечер не пришел. Это же нам на всю жизнь, что он — не пришел. Мальчишки бегали к нему домой, звонили в дверь, записки совали. Он не открыл. Представляете? Девочки плакали. Ну, отношения были у нас с ним в десятом тяжелые, совсем вдруг друг друга не понимали, мы виноваты, я знаю, мы тоже всем этим тогда заразились — баллы считали для аттестата, десятые, сотые, смех вспомнить. Я, например, географию даже хотела пересдавать, у меня там „трояк" был, по глупости, единственный „трояк". В девятом, когда все кругом объясняли, было плевать, а тут — вдруг. К директору даже ходила, хорошо — хоть не разрешили. Ну, и другие все. Родители нас еще подзавели. Ага. Как я теперь понимаю, мы к весне совсем уж не соответствовали его представлениям о нас, он в нас разочаровался. Он нам даже как-то на классном часе сказал: „Я в вас больше не верю". Ну, не верь, не до того было.

Но не настолько же! Ведь как перед письменной математикой вышло? Что нам этот экзамен, сами знаете,— семечки. Когда он нас с пятого класса вел! Да, ходили по городу варианты, да, звонили друг другу, это — в других школах, ночью решали, радовались. Сроду не поверю, чтоб у нас в классе хоть один человек унизился — выслушивать даже эти варианты. Нам это просто не надо было! Никому. У нас даже Славка Логинов в ЛЭТИ математику на пятерку сдал. А уж Славка Логинов! И готовиться, понятное дело, нечего было. Мы историю в эти дни зубрили.

Он такой праздничный на экзамен пришел, в новом костюме, шутил и нас все успокаивал. Он даже на контрольных всегда волнуется, знаете же. И вдруг — стал туча. И больше на нас даже не смотрит. Мы сразу-то и не поняли, экзамен все-таки, надо что-то писать. А потом глядим, чего это с ним? У меня мама в родительском комитете, рассказала, до сих пор голову бы ломали. В комиссии новая математичка была, второй год в нашей школе, что она понимает. Она видит — Васильев волнуется. И как ему ляпнет, утешить, видно, решила: „Юрий Сергеич, вы напрасно переживаете, они же все варианты ночью еще приготовили, нечего и переживать." — „Как — ночью?" Он сперва не понял, еще нераспечатанный конверт в руках держит. А она смеется: „Утечка информации. Сейчас все заранее знают, что и в каком районе будет". Ну не дура, а?

Он понял. И окаменел. Я думаю, он про такое и не слышал. Он же некоторых элементарных вещей, даже первоклашкам известных, не знает начисто. Не видал, не слыхал. Ему не надо. Откуда он такую глупость может узнать? Только от новой математички. „Ну, Юрий Сергеич, как будто вы сами не понимаете?! Черняк, может, заранее и не решал, а уж какая-нибудь Сысоева — наверняка подготовилась". Андрюша Черняк у нас первым шел, ладно. А она — на грех — Люську Сысоеву приплела. И он на Люське сломался: „А вы откуда знаете?" — так говорит, уже по слогам. Она головой мотнула: „Знаю". Просто — ляпнула, чего она могла знать!

Мы пишем, пустяки, конечно, для нас в этом конверте. Пишем, на него взглядываем, можно ли сразу сдать или соблюсти видимость трудности. А он мимо глядит. Ну, сидим, проверяем на всякий случай. Он вышел, сразу несколько человек работы сдали. А он вниз спустился, в буфет. Родители чего там только не натащили — пирожки, торты. Разлетелись к нему: „Юрий Сергеевич, а вот это, пожалуйста..." Мама рассказывала. Он пирожки локтем отодвинул: „Сами пекли? Нет, спасибо. У меня бутерброды с собой". И собственный бутерброд с сыром сжевал, до всякой их снеди и не дотронулся. Родители обмерли.

У нас родители были уже ученые. Они еще в седьмом классе раз и навсегда выучились, когда в конце года купили ему часы с кукушкой, додумались. Мы к седьмому так упивались математикой, так в ней блистали, на городских олимпиадах и всюду, так на него смотрели, чего бы нам во имя любви еще совершить, родители себя потеряли от благодарности. Подарок, подарок, как это теперь принято. Отыскали по большому блату эти часы. Да хоть бы они авторучку за семьдесят копеек ему поднесли или ЭВМ — все равно. Все равно — подкуп, значит, безнравственно и аморально, вы же понимаете. Он как услышал: „А сейчас, дорогой Юрий Сергеевич, мы, родители, от всего сердца..." И как папа-Черняк с коробкой поднялся... Представляю, что было! Он тут же пошел к директору и официально отказался от классного руководства, считаю бессмысленным, мол, воспитывать детей, отданных в полную власть таким родителям...»

Она говорила и говорила, не могла остановиться. А я не столько слушала, сколько смотрела, как легко соскальзывают с ее лица ее небольшие пока что годы. Взрослые молодеют рывком, будто вдруг проваливаются лет на десять-двадцать назад. А тут шло стремительное мелькание к детству, словно включилась автоматическая справка на вокзале, когда нажмешь нужную клавишу, какой-нибудь Воронеж или Чимкент. Мелькание дошло приблизительно до шестого класса и явило все данные искомого пункта — круглые доверчивые глаза, будто тугие косички за ушами, глянцево чистый лобик, незамутненную доверительность и открытость взгляда, припухшие губы и доверительно-вопрошающий поворот тонкой шеи ко мне, мудрой и взрослой: «А почему он этой математичке сразу поверил? Ведь он же нас знал! А вот вы бы могли не придти на выпускной вечер к своему классу?» — «Не знаю»,— сказала я. Хотя твердо знала, что не могла бы, я — сентиментальна. Он, кстати, тоже сентиментален, но как-то по-другому. «Он необыкновенный человек, да?» — «Очень даже обыкновенный»,— сказала я злобно.

Он виделся мне сейчас недобрым. Он вдруг виделся мне сейчас по-крупному несчастливым в жестком и бескомпромиссном своем схематизме и даже в самозабвенной суетности счастливых своих откровений в процессе уроков. И сами эти уроки были сейчас мне странны, ибо их полетная легкость так не ложилась в этот характер, начисто лишенный легкости и сотканный будто нарочно из тончайшей сетки самозапретов и самопринципов. «Нет, он, может, и обыкновенный человек, но он сделал себя необыкновенным...»

В который уж раз я отметила, что Его ученики обладают реликтовым по нынешним временам свойством — они умеют четко формулировать мысль, держат свою мысль в разговоре, не сбиваются от возражений, не подменяют предмет рассуждений и с интересом выслушивают собеседника, не теряя при этом своей логической нити. С ними можно спорить, не договариваясь предварительно и утомительно о терминах. Узнаю знакомый почерк: смотрите в задаче на неизвестное, во все глаза смотрите на условия задачи, особенно — на неиспользованные пока данные, все — решительно — должно идти в дело, не спешите воспользоваться знакомым алгоритмом, ищите решение простое и неожиданное, прикиньте для себя обратную задачу, какие более широкие выводы тут можно сделать, на что из старого опереться и куда скакнуть, каковы возможные следствия. Еще раз убедилась, что осмысленное владение математическим аппаратом, хотя бы — основами его, благотворно организует процесс мышления, невольно заставляет искать точные слова и, значит, остав-

ляет еще человечеству надежду, что живое общение — вопреки любым массовым средствам связи — может быть насладительным, информативным и незаменимым. А то иной раз кажется — вовсе с друг другом разговаривать разучились: болтаем да токуем. Болтаем обо всем на свете, не уточняя и не вдаваясь, благо само носится в воздухе, а токуем, известное дело,— о себе.

Как памятник — корова на скале, не знаю, как она туда попала, взлетела разве что на помеле. Дома растут на скалах. А на веревке, неясно — как натянутой меж скал, цветное сушится белье. И ветер верткий в нем путается, дразнит покрывало, а полотенце он уже сорвал. Мшистые сараи брусничником окружены, и ягоды, как виноград, крупны. Деревьев мало. Деревья богом тут загнетены, как — походя — старушка мне сказала, что от реки тащила бак воды и с легкостью по валунам скакала. По звонким деревянным тротуарам бегут девчонки на высоких каблуках, у них в глазах восторженно и нежно бьется страх — не прозевать того, что жизнь послала. Не знаешь наперед, еще вопрос — что им судьба пошлет, мне, например, она Его послала...

Белый лист ощущаю чаще всего как независимое от меня «поле сознания», фатально связанное почему-то именно со мной. Ни я, ни белый лист этого даже и не хотим, я его боюсь, его от меня воротит. Но именно в нем, тихом и белоснежном, уже заложено и уже объективно существует все, что я когда-нибудь думала, что когда-нибудь чувствовала, видела и пережила, даже то, что прочно и навсегда будто бы забыла или словно бы никогда не знала. Он для меня как бы зримый, опасный и притягательный вход в безбрежное «поле сознания», как, к примеру, слабый разболтанный краник в кухонной газовой плите вход в могучий газопровод, пересекающий пол-Союза и напрямую связанный с земными недрами. Я только не понимаю, как мне к этому «полю» подключиться. Что надо делать, чтобы это свершилось? Сидеть, сжавшись в комок, или бежать на лыжах среди совершенных до отвращения сосен? Есть в три глотки или морить себя голодом? Разговаривать с умными людьми или забиваться на чердак в паутину? Пытаться заснуть или ночью бегать по крышам? Непонятность этих отношений с белым листом, который так кротко торчит из пишущей машинки, изматывает, как опоясывающий лишай. Начинаешь себя ненавидеть. Начинаешь страстно завидовать человеку, метущему улицу, потому что он свое дело умеет делать, вон какую пыль поднял. И тогда, наконец, в единственный какой-то момент эмоционально-интеллектуальной готовности внутри срабатывает некий триггер, все отмыкающий.

С белого листа вдруг попрет на тебя такое количество событий, людей, ситуаций и слов, что уже не знаешь — как сладить с этим потоком, как за ним успеть и как с ним просто физически справиться. Кабы слабых физических сил хватило, чтоб не есть, не спать и не отвлекаться, этот разверзшийся лист можно бы размотать и на тысячу, и на бесконечность. Но сил на столь титанический порыв, увы, не хватает. Отваливаешься от работы, как упившийся клещ, упоенный, сытый и ослабевший исключительно от сытости, больше уже не можешь. И какое-то время в тебе еще победно дрожит удовлетворенность всевластия...

Беда в том, что наутро уже опять ничего не знаешь. Белый лист молчалив и тих, ты же — вяло пуст, истощен вчерашней борьбой и слабые блики бродят где-то по дальней периферии сознания. Опять нужно себя собрать в мощный комок — нервов, эмоций, мыслей и образов. Вся беда в том, что никак этот единственный миг логически не засечешь, не поймаешь умелым разумом — миг, который все отмыкает. Этим, единственным, алгоритмом бы овладеть, цены б тебе не было.

На рассвете — как черный и цикличный ветер — охватывает ужас несвершенья...

Продолжение следует

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РСФСР
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВ



Анна Ахматова. Мемориальный барельеф. Мрамор

Задачей критики, видимо, должна быть не раздача эпитетов и степеней сравнения, а четкое обоснование того, имеем мы дело с настоящим художником или с более-менее умелым имитатором. Художник обогащает публику новым, незнакомым доселе взглядом на мир; имитатор облегчает неподготовленным зрителям восприятие мира, уже открытого художником. Не следует только путать ш к о л у, то есть общность взглядов, мировоззрения, — и бездумное или даже корыстное использование чужих достижений.

В пластике заслуженного художника РСФСР Александра Михайловича Игнатьева ш к о л а несомненна. Он гордится тем, что был и остается учеником замечательного русского советского скульптора А. Г. Матвеева. Можно, наверное, говорить и о некотором влиянии на его творчество крупнейших западноевропейских мастеров, особенно Майоля. Но это определяет прежде всего истоки его собственного пути в искусстве. Игнатьев знает своих предшественников, опирается на их опыт, однако взгляд на мир у него самостоятельный и органичный.

Вот два портрета поэтов: древний, как его земля, Джамбул и строгая, классически ясная Ахматова. Как тонко чувствует Игнатьев возможности материала, как умело мыслит пластикой! Глядя на бронзового Джамбула мы думаем о сыпучих песках бескрайних казахских пустынь, а розовый камень барельефа А. А. Ахматовой напомнит нам античную камею...

Смотрите! Вы прежде не знали мира, который открывает вам скульптор Александр Михайлович Игнатьев.

Евгений ПРИЦКЕР



Джамбул на коне. Бронза



Мальчики. Мрамор



Александр Михайлович Игнатьев в мастерской

Фото Ильи Колгуна



Академик И. В. Курчатов. Дерево



Народный артист СССР Николай Симонов. Мрамор



Марк КАБАКОВ

ГЕРОЙ

Попытка баллады

Последний выстрел треснул,
Последний грянул залп —
И Саша Маринеско
Все сделал, все сказал.

Теперь он ходит, Саша,
От радости хмельной,
Теперь он будет, Саша,
Наверное, Герой.

Ведь он свою подлодку —
Аж к черту на рога!
Ведь он схватил за глотку
Коварного врага!

Но бабы заграничной
Герою не простят,
Ему на почве личной
Все подвиги скостят.

И двинет национальный,
Отчаянный герой,
Дорогой магистральной
И рядышком — конвой.

И удивятся зэки,
И воинский состав,
В худющем человеке
Героя опознав.

Ударная работа,
Искуплена вина.
И Маринеско вот он!
— Здорово, старина,—

Ушаночка — что надо,
Тулупчик первый сорт.
А то, что нет награды,
Так это ж не курорт.

А что слаба дыхалка
И в сердце перекос —
Конечно, парня жалко,
Но в этом ли вопрос?..

. . . .

Лежал во гробе «парень»
Пятидесяти лет.
Посмертно легендарен,
При жизни — не воспет.

◻ ◻ ◻

Вечнозеленые деревья
Увы, не вечны на земле,
Как наши древние кочевья
Неразличимые во мгле.

И караванною тропою,
Которой двигались века,
Не пропылит, спеша к Узбою,
Арба лихого степняка.

Не пропоют в дорогу трубы,
Мудрец не встретится босой...
Безглазый череп скалит зубы
Под самой взлетной полосой.

◻ ◻ ◻

Я все-таки на палубу взойду,
Как всходят альпинисты на вершины.
С такою же надеждой одержимых
Я все-таки на палубу взойду.

Пусть, что угодно говорят вослед —
На сходню я ступлю не пассажиром,
А тем же беззастенчивым транжиром
Дарованных судьбой последних лет.

У бездны океанской на виду,
С командой на подвахту поднимаясь,
Когда на горизонте солнца завязь...
Я все-таки на палубу взойду.

* * *

Женщине с ребенком на руках
что-то на вопросы отвечаю,—
время на вокзале коротаю...
Воздух потной сыростью пропах.

В шубке подпоясанной, в платке,
девочка уснула, как старушка...

Ей теперь плечо мое—подушка,
шевельнуться боязно руке.

Льется мокрый шорох за стеной.
Женщина умолкла и вздохнула.
Между этой женщиной и мной
девочка доверчиво уснула...

* * *

Медлю, как будто в запасе
неисчислимые дни.
Солнце уже на закате,
вспыхнули в окнах огни.

Может, оно разобьется
там, где леса и жнивье?
Вместо единого солнца —
в каждой квартире свое.

Вскрикнула черная птаха
и не спешит улететь...
Без удивленья и страха
мы научились глядеть,

как оно падает с неба,
осиротив небосвод,
Думаем мудро и слепо:
«Завтра взойдет!».

* * *

Капли падают с мокрой стрехи.
Жизнь последние годы итожит.
Если вдруг не помогут стихи,
то никто мне уже не поможет.

Бесполезно молить: «Сохрани!»—
вечных правил и я не нарушу.

А стихи? Может, вправду они
облекают в бессмертие душу.

Может, вправду пребудет жива,
хоть об этом душа не мечтала,—
если в них остаются слова
только те, что она подсказала.

* * *

Опять собой все беды заслоня,
так восхищенно смотришь на меня.

Порог переступив, стоишь в дверях —
и столько нежной радости в глазах.

Но я-то знаю, сколько есть во мне
и гордости с гордыней наравне.

И страха, и бессильного стыда,
который не исчезнет никогда.

Я улыбаюсь, думаю, молчу
и показаться лучшим не хочу.

Таков, как есть... И все-таки боюсь
вдруг оказаться хуже, чем кажусь.

* * *

Увидеть всю страну в безвестном городке
и думать со внезапными слезами:
не вся вода, что в этой вот реке,
не вся земля, что здесь перед глазами.

Но в речке отраженные леса,
которые ты знаешь и не знаешь,

но так печально стынут небеса,
что слез уже совсем не ощущаешь.

Здесь ног твоих касается река
так ласково, что если не лукавить,—
без этой речки и без городка
тебе своей Отчизны не представить.

* * *

Устанут все от разговора,—
и хлынет сонно тишина.
А я усну еще не скоро
на верхней полке у окна.

А я смотреть Россию буду:
поселки, села, города...
А я задумаюсь, забуду,
откуда еду и куда.

Опять за дамбою со склона
стекает лунная вода...

И медленно в окне вагона
горит высокая звезда.

Меж гор и рощицей зеленой,
прощая, радуясь, виня,
душа за далью заоконной
летит отдельно от меня.

Себе не чувствуя предела,
полет немыслимый верша,—
не может быть, чтоб не прозрела
и не очистилась душа.

Софья Петровна

Повесть

Рис. М. Майофиса

1

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла, как это она раньше жила без службы. Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова — но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой — как бы заведующей машинописным бюро. Распределять работу, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы — все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством, немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя.

— Будет готово через двадцать пять минут,— говорила Софья Петровна, взглянув на большие часы.— Ровно. Нет, ровно через двадцать пять, не раньше,— и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы — если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой, светлой комнате сидят миловидные девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны и во время примерки занимает светской беседой элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше, как-то значительнее. Софье Петровне зачастую теперь доводилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведе-

ние советской литературы — повесть или роман,— и, хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви, она все-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике — но зато в воротничке из старых настоящих кружев — с остро очиненным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала в перерыве с теми из них, которые писали старательно и грамотно,— беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, а с теми, кто писал «репитиция» и «коликтив», держала себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглую горничную, служившую у них когда-то в старое время. Горничную звали Фани, она грубила Софье Петровне и флиртовала с Федором Ивановичем... И за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная, некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось, будто и на бумаге написана она какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные,— а весь секрет, подумать только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ, и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми. Миновали какие-нибудь две недели, и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный, лысый, но моложавый бухгалтер; оказывается, он узнал Софью Петровну — когда-то, лет двадцать тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западно-европейскими танцами, и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство в собственной машине. Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. «Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки — самые справедливые судьи. Право,— сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы,— они судят непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики или редакторы». Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну — с ним приходил завхоз,— Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрна Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом; как объяснили Софье Петровне, она была «засекречена», и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве — и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техредов, курьерш. В конце первого месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола — глубокие мягкие кресла, а на столе — целых три телефона. Директор оказался молодым человеком, лет тридцати пяти, не более, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером

костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды звонил телефон, и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так добра остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк»,— сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспитанный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдвиженец — и действительно руки у него, кажется, грубые,— но в остальном...

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем «форде». После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он не умел. Между двумя фразами он замолкал так прочно, что, казалось, никогда не заговорит опять. «Мы должны кон-стан-тировать...» — скучно говорил он и умолкал. «Наш производственный пóртфель...»

Потом выступила председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она произнесла, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок истерическим голосом она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых надо добиваться, зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива — не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки.

— Впрочем,— сказал он,— надо признать, что машинописное бюро под руководством товарищ Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью.

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась, наконец, посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

2

Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени становилось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того — заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну «мама-общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве

ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды, в коридоре, к Софье Петровне подошел хмурый парторг.

— Партийная организация совместно с месткомом,— сказал он, глядя по обыкновению в пол,— наметила тебя...— он поправился: — Вас... давать обещание от имени беспартийных активистов.

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало всё какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем, как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать.

— Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? — спрашивала Софья Петровна.— А еще носит камею, завивается. Лучше бы руки почаще мыла... Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая... И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его...

Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгодика. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе как-то не о чем было рассказывать — ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица...» — думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в семнадцатом году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но, когда она подала заявление в комсомол, ее не приняли.— Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно,— говорила Наташа, щурясь.— С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно...

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости — двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах — сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косоворотке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как завороженная, смотрела она не отрывая глаз на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как ее учили в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи.

— От имени беспартийных работников,— сказала она дрожащим голосом, и потом дальше все свое обещание о повышении производительности труда, все что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все

вечера проводил у своего любимого товарища Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус.

— Какая жалость, что вы не служите,— сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду.— Столько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно, если ваша служба имеет касательство к литературе.

Наконец Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку щей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как... «Знаешь, мама,— сказал он,— я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро». Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал.— «Сашка Ярцев — этакий старорежимный балбес...» («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься»,— перебила Софья Петровна.) «Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!»

Поужинав, Коля сразу лег спать и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. «Правда, мама, гениально?» — и когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец»,— сказал Коля и сейчас же заснул.

3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне всё не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает, наконец, всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дроби машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить, наконец, на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск наконец наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна, по служебной привычке, все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в ВУЗ, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала его. Изредка наведывалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Весь редакционный сектор собрался... «Неужели кому-нибудь может не понравиться? — всплескивала руками Софья Петровна.— Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно-полезного труда. Да и все, что говорил Коля, все, что писали в газетах, казалось ей теперь вполне естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой — семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок.

— Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо? Скажи! —

строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир.

И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль только, что жена Дегтяренко такая грязнуха, даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открыть боится, как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они всё еще пишут с ошибками. В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электроэнергию с той же аккуратностью, с какой на службе собирала членские профсоюзные взносы. Она регулярно ходила на собрания квартуполномоченных в жакте и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее в общем хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну на кухню попробовать, довольно ли сахара. Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне — посоветоваться с Колей, что бы такое придумать, чтобы близнецы, не дай бог, снова не остались на второй год, и посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре.

— Этакой милосердной сестрице попадись только, она тебя разом на тот свет отправит! — говорила жена Дегтяренко.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками «а я ей как дам!», «а мне наплевать!» — и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крючок. Она была из дворянок, брызгала в коридоре одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни получки Валя начинала клянчить у матери денег на новые туфли.

— Ты не воображай, кобыла,— ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы не слышать продолжения,— в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину все те ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но в общем квартира 46 была благополучной, тихой квартирой, не то, что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку, накануне выходного, случались настоящие побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали туда составлять протокол вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся — между кухней и комнатой — и кончился, к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Летнего сада, вдавленные в грязь каблуками, и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в десять часов, облегченно вздохнув, вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, щелкала, закрываясь и открываясь, дверца; Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она вклеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она по-прежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, по-прежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше, но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно, и уже не стесняясь громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они, на радостях, решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооружали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей все же дешевле, чем буер. Окончив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимою кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату — и не то, что подметать пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна оттеснили обеденный стол к стене, диван — к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петровна по сто раз в день спотыкалась о них. Однако все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно, как если бы они привели в дом слона. Они строгали, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере невежда, и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расставила вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили всю комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию, и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретение. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала салфеточки и воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками, и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем, это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан Кай-Ши; она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, чтобы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон или «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке,— «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

Восьмое марта тысяча девятьсот тридцать четвертого года было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице Софье Петровне Липатовой поздравление в день 8 Марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на Колин письменный стол, под полку с Собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку: теперь она получала уже не двести пятьдесят, а триста семьдесят пять. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструктор-

ском бюро — чертили. Ко дню рождения Софьи Петровны Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне — какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да и не все ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый: сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чистоплотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работящий, но где уж ему до Коли? Отец его — переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о нем: локти заплатанные, сапоги худые. Сам он щупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коле пошел уже двадцать первый год, а у него все еще нету отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием Колиной личной жизни?

— Коля, кажется, там, в институте, влюбился в кого-то? — она искусно допрашивала Алика — в кого? как ее зовут? сколько ей лет? хорошо ли она учится? кто ее родители?

Но Алик отвечал уклончиво, и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Петровна выпытала у него только имя: Ната. Но все равно, как бы ее там ни звали, и серьезная ли это любовь или только увлечение — все равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да... безусловно... конечно... Николаю Федоровичу лучше было бы в отдельной комнате... но впрочем... вот живет же она одна... без матери... и что же? Ничего!.. Наташа сбилась и замолчала, и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две, и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы, Николая Липатова и Александра Финкельштейна, по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на Уралмаш, мастерами. Там не хватало итеэровцев. Институт же им предоставляли возможность кончить заочно.

— Ты не беспокойся, мама,— сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую руку Софьи Петровны,— ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем... Нам обещают комнату в общежитии... да Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь... и... знаешь, что? ты будешь нам посылки посылать.

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать Колино белье в комоде, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый чемодан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист «Нивы», которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с длинным шлейфом, с высокой прической поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и аккуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его отчетливым почерком, и сам зашил в пояс свой комсомольский билет. День отъезда все был через неделю и вдруг оказался завтра.

— Коля, ты уже готов, Коля? — спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами.— Что?

Новая куртка топорщилась у него на спине, кончики воротничка загибались. Коля большими шагами подошел к своему чемодану и поднял его так легко, будто он был пустой. Всю дорогу на вокзал он чуть ли не размахивал чемоданом, а бедный Алик еле волочил свой сундучок, отдуваясь и рукавом куртки отирая со лба пот. Коротконогий, большеголовый, он казался Софье Петровне похожим на комический персонаж мультипликационного фильма. Тетка Алика не потрудилась, разумеется, приехать на вокзал проводить его, и они втроем — Коля, Софья Петровна и Алик — чинно прохаживались по платформе, в сырой мгле вокзала. Коля и Алик с азартом обсуждали вопрос, какая машина выносливее и легче — «фиат» или «паккард». И только за пять минут до отхода поезда Софья Петровна вспомнила, что она ничего, ничего не сказала мальчикам ни о ворах в дороге, ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо непременно считать его и записывать... И ни под каким видом не есть в столовых винегрет: он часто бывает вчерашний, несвежий и легко можно заболеть брюшным тифом. Она отвела Алика в сторону и вцепилась ему в плечо.

— Алик, голубчик,— говорила она,— уж вы позаботьтесь, голубчик, о Коле...

Алик смотрел на нее сквозь очки большими добрыми глазами.

— Разве мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать за Николаем. А что же?

Пора было в вагон. Коля и Алик через минуту появились у окна. Коля — высокий, Алик ему по плечо. Коля сказал что-то Софье Петровне, но сквозь стекло было не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и обвел купе возбужденным, веселым взглядом. Алик показывал Софье Петровне буквы пальцами. «Не»... разобрала она и замахала на него рукой, догадавшись: «не беспокойтесь»... Боже мой, ведь совсем дети едут!

Через минуту она шла по перрону назад, одна в толпе людей, все быстрее и быстрее, не замечая дороги и пальцами вытирая глаза.

5

После Колиного отъезда Софья Петровна еще меньше времени проводила дома. Сверхурочной работы в бюро всегда было вдоволь, и она чуть ли не каждый вечер оставалась работать, прикапливая деньги Коле на костюм: молодой инженер должен одеваться прилично.

В свободные вечера она приводила к себе Наташу пить чай. Они вместе заходили в гастроном на углу и выбирали себе два пирожных. Софья Петровна заваривала чай в чайничке с квадратами и включала радио. Наташа брала свое вышивание. В последнее время, по совету Софьи Петровны, она усердно пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее не становился лучше.

В один из таких вечеров, уходя домой от Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила подарить ей Колину последнюю карточку.

— А то у меня в комнате только мамина карточка и больше ничья,— объяснила она.

Софья Петровна подарила ей Колю, красивого, глазастого, в галстуке и воротничке. Фотограф удивительно схватил его улыбку.

Однажды, возвращаясь с работы, они зашли в кино — и с тех пор кино сделалось их любимым развлечением. Им обеим сильно нравились фильмы о летчиках и пограничниках. Белозубые летчики, совершавшие подвиги, казались Софье Петровне похожими на Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие с экранов, особенно «Спасибо, сердце!» и «Если скажет страна — будь героем», нравилось слово «родина». От этого слова, написанного с большой буквы, у нее становилось сладко и торжественно на душе. А когда самый лучший летчик или самый мужественный пограничник падал навзничь, сраженный пулей врага, Софья Петровна хватала Наташину руку, как в дни молодости хватала руку Федора Ивановича, когда Вера Холодная внезапно вытаскивала маленький дамский револьвер из широкой муфты и, медленно его поднимая, целила в лоб подлецу.

Наташа снова подала заявление в комсомол, и ее снова не приняли. Софья

Петровна очень сочувствовала Наташиному горю: бедная девушка так нуждалась в обществе! Да и почему, собственно, ее не принимают? Девушка трудящаяся и вполне предана советской власти. Работает прекрасно, прямо-таки лучше всех — это раз. Политически грамотная — это два. Она не то, что Софья Петровна, она дня не пропустит, чтобы не прочитать «Правду» от слова до слова. Наташа во всем разбирается не хуже Коли и Алика: и в международном положении, и в стройках пятилетки. А как она волновалась, когда льды раздавили «Челюскина», от радио не отходила. Из всех газет вырезывала фотографии капитана Воронина, лагерь Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили о первых спасенных, она заплакала у себя за машинкой, слезы капали на бумагу, от счастья она испортила два листа. «Не дадут, не дадут погибнуть людям»,— повторяла она, вытирая слезы. Такая искренняя, сердечная девушка! И вот теперь ее опять не приняли в комсомол. Это несправедливо. Софья Петровна даже Коле написала о несправедливости, постигшей Наташу. Но Коля ответил, что несправедливость — понятие классовое и бдительность необходима. Все-таки Наташа из буржуазно-помещичьей семьи. Подлые фашистские наймиты, убившие товарища Кирова, не выкорчеваны еще по всей стране. Классовые бои продолжаются, и потому при приеме в партию и в комсомол необходим строжайший отбор. Тут же он писал, что через несколько лет Наташу, наверное, примут, и сильно советовал ей конспектировать произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгéльса.

— Через несколько лет! — горько улыбнулась Наташа.— Николай Федорович забывает, что мне уже скоро двадцать четыре.

— Тогда вас примут прямо в партию,— сказала ей Софья Петровна в утешение.— И что такое двадцать четыре года? Первая молодость.

Наташа ничего не ответила, но, уходя домой в этот вечер, взяла у Софьи Петровны том Колиного Ленина.

Письма от Коли получались регулярно, раз в шестидневку, накануне выходного дня. Какой он прекрасный сын — не забывает, что мама беспокоится, а мало ли у него там дела! Возвращаясь со службы домой, Софья Петровна еще на лестнице, в самом низу, доставала из сумочки ключик, шла по лестнице быстро и, добежав, наконец, до четвертого этажа, задыхаясь, отворяла голубой почтовый ящик. Письмо в желтом конверте уже ждало ее. Не снимая пальто, она садилась у окна и расправляла аккуратно сложенные листки блокнота. «Здравствуй, мама! — начиналось каждое письмо.— Надеюсь, что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка на нашем заводе за последнюю шестидневку достигла...» Письма были длинные, но все больше о заводе, о росте стахановского движения, а о себе, о своей жизни — ни слова. «Ты подумай только,— писал Коля в первом письме,— и червячные, и фрезы, и даже броши — всё у нас еще заграничное, за всё золотом расплачиваемся с капиталистами, а сами никак не можем освоить». Но Софью Петровну не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как они там питаются с Аликом, добросовестная ли у них прачка? хватает ли у них денег? И когда же они занимаются? по ночам, что ли? На все эти вопросы Коля отвечал крайне бегло и невразумительно. Софье Петровне так хотелось представить себе их комнату, их быт, их обед, что она, по совету Наташи, написала письмо Алику.

Ответ пришел через несколько дней.

«Уважаемая Софья Петровна! — писал Алик.— Извините мою смелость, но вы напрасно беспокоитесь о здоровье Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с вечера закупаю колбасу и утром сам зажариваю ее на сливочном масле. Обедаем мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо. Варенье, вами нам присланное, мы решили пить только с вечерним чаем и таким путем его нам хватит надолго. Белье я тоже сдаю прачке по счету. Для занятий мы выделили специальные часы каждый день. Вы можете мне вполне поверить, что я все делаю для Николая как его друг и товарищ, и стараюсь все для него».

Письмо кончалось так:

«Николай успешно разрабатывает метод изготовления долбяков Феллоу в нашем инструментальном цехе. Про него в парткоме на заводе говорят, что это будущий восходящий орел».

Конечно, восходит светило, а не орел, и Софья Петровна решительно не

понимала, что такое долбяки Феллоу,— и все же эти строки наполнили ее сердце гордостью и восхищением.

Колины письма Софья Петровна аккуратно складывала в коробку из-под писчей бумаги. Там у нее хранились жениховские письма Федора Ивановича, фотографии маленького Коли и фотография малютки Карины, родившейся на «Челюскине». Туда же Софья Петровна положила и письмо Алика. Она испытывала нежность к Алику: он несомненно был предан Коле и так умел понять его!

Однажды, уже месяцев через десять после Колиного отъезда, Софья Петровна получила по почте внушительный фанерный ящик. Из Свердловска. От Коли. Ящик был такой тяжелый, что почтальон с трудом внес его в комнату и потребовал рубль на чай. «Швейная машина? — размышляла Софья Петровна.— Вот бы хорошо!» Свою она продала в трудные годы. Почтальон ушел. Софья Петровна взяла молоток и нож и вскрыла ящик. В ящике оказался черный стальной непонятный предмет. Он был заботливо засыпан стружками. Колесо не колесо, дуло не дуло, бог знает, что такое. Наконец на черной спине непонятного предмета Софья Петровна обнаружила ярлык, написанный Колиной рукой: «Мамочка, посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную долбяком Феллоу, изготовленным на нашем заводе по моему методу». Софья Петровна засмеялась, похлопала шестеренку по спине и, пыхтя, отнесла ее на подоконник. Каждый раз, как она взглядывала на нее, ей становилось весело.

Через несколько дней, утром, когда Софья Петровна допивала чай, торопясь на службу, в ее комнату внезапно влетела Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были растрепаны, один ботик расстегнут. Она протянула Софье Петровне мокрую газету.

— Смотрите... Я сейчас на углу купила... читаю просто так... и вдруг вижу: Николай Федорович. Коля.

На первой странице «Правды» Софья Петровна увидела Колино улыбающееся белозубое лицо. Фотография изменила и немного состарила его, но без всякого сомнения это он, ее сын, Коля. Под портретом было написано: «Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе».

Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала ее в щеку.

— Софья Петровна, милая,— умоляюще сказала она,— пожалуйста, пошлемте ему телеграмму!

Софья Петровна никогда еще не видела Наташу такой возбужденной. Да у нее и у самой тряслись руки, и она никак не могла найти свой портфель. Телеграмму они сочинили на службе, во время обеденного перерыва, и отправили после работы. Все поздравляли Софью Петровну; на службе ее поздравила с таким сыном даже Эрна Семеновна, а дома — даже медицинская сестра. Вечером, ложась в постель, счастливая и усталая, Софья Петровна впервые подумала, что Наташа, наверное, влюблена в Колю. Как это она раньше не догадалась! Хорошая девушка, воспитанная, работящая, только очень уж некрасивая и старше его. Засыпая, Софья Петровна старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая станет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми волосами — очень похожую на английскую открытку, только со значком КИМ'а на груди. Ната? Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.

6

Приближался новый, тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Местком принял решение устроить елку для детей служащих издательства. Организация праздника была поручена Софье Петровне. Она кооптировала себе в помощницы Наташу, и работа у них закипела. Они звонили по телефонам на квартиры служащих, узнавая имена и возраст ребят; отстукивали на машинке приглашения; бегали по магазинам, закупая пастилу, пряники, стеклянные шары и хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег. Самое важное и самое трудное было решить, какой подарок сделать кому из ребят так, чтобы не выйти из

лимита и в то же время чтобы все были довольны. Из-за подарка девочке директора Софья Петровна и Наташа даже немного поссорились. Софья Петровна хотела купить ей большую куклу — побольше, чем другим девочкам, а Наташа находила, что это будет бестактно. Помирились на хорошенькой дудочке с пушистой кисточкой. Наконец осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими, густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. Марья Ивановна развлекала их рассказами о жене директора; про самого директора она говорила, как в старое время: «они». Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящики, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги, и она уселась в кресло и, сидя, вкладывала в пакетики с конфетами записочки: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Украшать продолжала одна Наташа. У нее были умелые руки и бездна вкуса: Деда Мороза укрепила она удивительно эффектно. Потом Софья Петровна вклеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой красной пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки — и все было закончено. Они сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим — Сталин сидит с девочкой на коленях. Это был любимый портрет Софьи Петровны.

Три часа. Пора домой — полежать немного, пообедать и переодеться перед праздником.

Праздник удался на славу. Явились все ребята и почти все папы и мамы. Жена директора не приехала, но директор приехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную крошку с белокурыми волосиками. Дети радовались подаркам, родители громко восхищались елкой. Только Анна Григорьевна, председательница месткома, обиделась, что сыну ее подарили барабан, а не оловянных солдатиков, как сыну парторга; солдатики стоили дороже. Она была в зеленом шелковом платье и даже декольте. Сын ее, долговязый, неприятный мальчик, присвистнул, демонстративно ткнул барабан кулаком и прорвал его. Но все остальные были довольны. Дочка директора без устали трубила в свою трубу, подпрыгивая между колен отца, упираясь маленькой пухлой рукой в его колено и запрокидывая голову назад, чтобы видеть елку.

Софья Петровна чувствовала себя настоящей хозяйкой бала. Она заводила патефон, включала радио, показывала лифтерше глазами, кому поднести блюдо с пастилой. Ей было жаль Наташу, которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей нарядной, новой, собственноручно вышитой блузке. Директор, согнувшись, водил девочку вокруг елки и пугал ее Дедом Морозом. Софья Петровна с умилением смотрела на эту сцену; ей хотелось, чтобы Коля во всем походил на директора. Кто знает, быть может, годика через два и у нее будет такая же милая внучка. Или внук. Она уговорит Колю внука назвать Владлен — очень красивое имя! — а внучку — Нинель — имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получается Ленин.

Софья Петровна, усталая, опустилась в кресло. Пора бы уж и домой, у нее начиналась мигрень. К ней подошел представительный бухгалтер и, любезно нагнувшись, поведал странную новость: в городе арестовано множество врачей. Бухгалтер был лично знаком со всеми медицинскими светилами города: экзема его не поддавалась ничьему лечению, один только покойный Федор Иванович умел согнать ее. («Да, вот это был врач! Другие всё присыпают, мажут, а толку никакого...») Среди арестованных бухгалтер назвал доктора Кипарисова, сослуживца Федора Ивановича, Колиного крестного.

— Как? Доктор Кипарисов?.. Не может быть! И что случилось? Разве опять какое-нибудь... несчастье?..— спросила Софья Петровна, не решаясь произнести «убийство».

Бухгалтер возвел очи горé и отошел, ступая почему-то на цыпочках. Два года назад, после убийства Кирова (о! какие это были мрачные дни! по улицам ходили патрули... а когда ждали товарища Сталина — вокзальная площадь оцеплена войсками... улицы, переулки перекрыты... ни пройти, ни проехать), после убийства Кирова тоже было много арестов, но тогда сначала брали каких-то оппозиционеров, а потом «бывших», всяких там «фон баронов». А теперь вот врачей. После убийства Кирова выслали как дворянку m-me Неженцеву, старинную приятельницу Софьи Петровны,— они в гимназии вместе учились. Софья Петровна была поражена, какое отношение m-me Неженцева могла иметь к убийству. Преподает в школе французский язык и живет как все. Но Коля объяснил, что Ленинград необходимо очистить от ненадежного элемента. А кто такая, собственно говоря, эта твоя m-me Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама, что она не признавала Маяковского и говорила всегда, что в старое время все было дешевле. Она — не советский человек... Ну хорошо, а врачи? Они чем провинились? Подумать только — Иван Игнатьевич Кипарисов! Такой почтенный врач!

Ребята шумели в раздевалке. Софья Петровна, в качестве хозяйки, помогала родителям разыскивать рейтузы и ботики. Директор с девочкой на руках подошел к ней проститься. Он поблагодарил местком за прекрасный праздник.

— Я видел в «Правде» портрет вашего сына,— сказал он ей, улыбаясь.— Хорошая у нас смена подросла...

Софья Петровна смотрела на него с обожанием. Ей хотелось сказать ему, что он еще никакого права не имеет говорить о смене. Что такое тридцать пять лет? Первая молодость! Но она не решилась. Он сам одел девочку и поверх шубки закутал ее в белый пушистый платок. Как он все умеет. Мать может спокойно отпускать с ним ребенка. Сразу видно — прекрасный семьянин.

7

В газетах ничего не писали про врачей и про доктора Кипарисова. Софья Петровна собиралась зайти к m-me Кипарисовой и все не могла собраться. Времени не было, да и неловко как-то. Она не видала Кипарисову года три уже. Как это она ни с того, ни с сего вдруг зайдет?

В январе начали появляться в газетах статьи о новом предстоящем процессе. Процесс Каменева и Зиновьева сильно поразил воображение Софьи Петровны, но она с непривычки к газетам не следила за ним изо дня в день. А на этот раз Наташа втянула ее в чтение газет, и они ежедневно прочитывали вместе все статьи о новом процессе. Очень уж упорно заговорили вокруг о фашистских шпионах, о террористах, об арестах... Подумать только, эти негодяи хотели убить родного Сталина. Это они, оказывается, убили Кирова. Они устраивали взрывы в шахтах. Пускали поезда под откос. И чуть ли не в каждом учреждении были у них свои ставленники.

Одна машинистка в бюро, только что вернувшаяся из дома отдыха, рассказала, что в соседней с нею комнате жил молодой инженер, она даже иногда с ним по парку гуляла. Один раз ночью вдруг приехала машина и его арестовали: он оказался вредителем. А на вид такой приличный — и не узнаешь.

В доме Софьи Петровны, в квартире 45, напротив, тоже кого-то арестовали — коммуниста какого-то. Комнату его запечатали красными печатями. Софье Петровне рассказал управдом.

Софья Петровна по вечерам надевала очки — у нее в последнее время развилась дальнозоркость — и читала вслух газету Наташе. Скатерть была уже кончена; Наташа вышивала теперь накидку Софье Петровне на постель. Они говорили о том, как, наверное, возмущен сейчас Коля. Да и не только Коля — возмущены все честные люди. Ведь в поездах, пущенных под откос вредителями, могли быть маленькие дети! Какое бессердечие! Изверги! Недаром троцкисты тесно связаны с гестапо; они и в самом деле не лучше фашистов, которые в Испании убивают детей. И неужели, неужели доктор Кипарисов участвовал в их бандитской шайке? Его не раз приглашали на консилиумы вместе с Федором Ивановичем. После консилиума Федор Иванович привозил его домой попить чайку, посидеть. Софья Петровна видела его совсем близко — вот как сейчас Наташу видит. И теперь он вступил в бандитскую шайку! Кто бы мог ожидать? Такой почтенный старик.

Однажды вечером, прочитав в газете перечень преступлений, совершенных подсудимыми, прослушав тот же перечень по радио, они с Наташей так ясно

представили себе оторванные руки и ноги, горы изуродованных трупов, что Софье Петровне сделалось страшно остаться одной у себя в комнате, а Наташе страшно одной идти по улице. В эту ночь Наташа ночевала у нее на диване.

Всюду, на всех предприятиях, во всех учреждениях собирались митинги, и в их издательстве тоже состоялся митинг, посвященный процессу. Предместкома заранее обошла все комнаты и предупредила, что если есть такие несознательные, которые хотят уйти до собрания, то пусть имеют в виду: выходная дверь заперта. На собрание явились поголовно все, даже работники редакционного сектора, которые обыкновенно манкировали. Выступил директор и кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения. После него говорил парторг, товарищ Тимофеев. Останавливаясь после каждых двух слов, он сказал, что враги народа орудуют повсюду, что они могут проникнуть и в наше учреждение и потому всем честным работникам необходимо неустанно повышать свою политическую бдительность. Затем слово было предоставлено председательнице месткома, Анне Григорьевне.

— Товарищи! — произнесла она, опустила веки и смолкла.— Товарищи! — она сжала тонкие пальцы с длинными ногтями.— Подлый враг протянул свою грязную лапу и к нашему учреждению.— Все замерли. Камея опускалась и поднималась на полной груди Анны Григорьевны.— Предыдущей ночью арестован бывший заведующий нашей типографией, ныне разоблаченный враг народа Герасимов. Он оказался родным племянником московского Герасимова, разоблаченного месяц назад. При попустительстве нашей партийной организации, страдающей, по меткому выражению товарища Сталина, идиотской болезнью беспечности, Герасимов продолжал, с позволения сказать, «работать» в нашей типографии уже после разоблачения его родного дяди, московского Герасимова.

Она села. Грудь ее поднималась и опускалась.

— Вопросов нет? — осведомился директор, председательствовавший на этом собрании.

— А что они... сделали... в типографии? — робко спросила Наташа.

Директор кивнул предместкома.

— Что сделали? — высоким голосом отозвалась она, поднявшись со стула.— Я, кажется, товарищ Фроленко, ясно, русским языком объяснила здесь, что наш бывший заведующий типографией Герасимов, оказался родным племянником того, московского, Герасимова. Он осуществлял повседневную родственную связь со своим дядей... разваливал в типографии стахановское движение... срывал план... по указаниям родственника. При преступном попустительстве нашей партийной организации.

Наташа больше не спрашивала.

Вернувшись после собрания домой, Софья Петровна села писать письмо Коле. Она написала ему, что у них в типографии открылись враги. А на Уралмаше? Все ли там благополучно? Как честный комсомолец Коля обязан быть бдительным. В издательстве явственно ощущалось какое-то странное беспокойство. Директора ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый парторг то и дело входил в бюро, отпирая дверь собственным французским ключом, и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть. Вежливый бухгалтер, которому откуда-то всегда все было известно, рассказал Софье Петровне, что партийная организация заседает теперь каждый вечер.

— Милые бранятся,— сказал он, многозначительно усмехаясь.— Анна Григорьевна во всем обвиняет парторга, а парторг — директора. Насколько я понимаю, предстоит смена кабинета.

— В чем обвиняет? — спросила Софья Петровна.

— Да вот... никак договориться не могут, кто из них Герасимова проглядел.

Софья Петровна ничего толком не поняла и в этот день ушла из издательства в какой-то смутной тревоге. На улице она обратила внимание на высокую старуху, в платке поверх шапки, в валенках, в калошах и с палкой в руке. Старуха шла, выискивая палкой, где не скользко. Лицо ее показалось Софье Петровне знакомым. Да это Кипарисова! Неужели она? Боже, как она изменилась!

— Мария Эрастовна! — окликнула ее Софья Петровна.

Кипарисова остановилась, подняла большие черные глаза и с видимым усилием изобразила на лице приветливую улыбку.

— Здравствуйте, Софья Петровна! Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш, верно, взрослый уже? — Она стояла, держа Софью Петровну за руку, но не глядя ей в лицо. Огромные глаза ее в смятении бегали по сторонам.

— Мария Эрастовна,— сердечно сказала Софья Петровна.— Я так рада, что встретила вас. Я слышала, у вас неприятности... с Иваном Игнатьевичем... Послушайте, мы ведь с вами друзья... Иван Игнатьевич Колю крестил... конечно, это теперь не считается, но мы-то ведь с вами старые люди. Скажите, Ивана Игнатьевича обвиняют в чем-нибудь серьезном? Неужели эти обвинения имеют под собой какую-нибудь почву? Я просто не могу, не могу поверить. Такой прекрасный, такой почтенный врач! Муж всегда уважал его и как клинициста ставил выше себя.

— Иван Игнатьевич ничего не сделал против советской власти,— угрюмо сказала Кипарисова.

— Я так и думала! — воскликнула Софья Петровна.— Я ни минуты в этом не сомневалась, я так всем и говорила...

Кипарисова мрачно смотрела на нее черными огромными глазами.

— До свиданья, Софья Петровна,— сказала она без улыбки.

— Когда Иван Игнатьевич вернется, зовите меня на пирог,— проговорила Софья Петровна.— Да что вы, право, такая расстроенная? Раз Иван Игнатьевич не виноват, значит, все будет хорошо. В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться. Просто недоразумение. Смотрите же, будьте молодцом... Пришли бы когда-нибудь чайку выпить!

Кипарисова зашагала по панели, постукивая палкой о лед.

«Неужели и я так же постарела? — думала Софья Петровна.— Лицо черное, все в морщинах. Да нет, не может быть, я еще не такая. Она просто распустилась уж очень: валенки, палка, платок... Для женщины много значит не распускаться, следить за собой. Ну, кто теперь носит валенки? Не восемнадцатый год. Вот и выглядит на шестьдесят пять, а ведь ей не больше пятидесяти... Хорошо, что Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена знает. Я так и думала, что это просто недоразумение и ничего больше».

8

На следующий день машинописное бюро спешно кончало полугодовой отчет. Все знали, что ночью, со «стрелой», директор выедет в Москву, чтобы завтра доложить о полугодовой работе издательства в Отделе печати ЦК партии. Софья Петровна торопила машинисток. Наташа писала не отрываясь весь обеденный перерыв.

В три часа отчет в четырех экземплярах лежал уже перед Софьей Петровной, и она аккуратно раскладывала его по четырем копиям. Не жалея зажимок, она ровненько скалывала листы.

А секретарша директора все не шла за отчетом. Софья Петровна решила сама отнести его в кабинет.

У полуоткрытых дверей директорского кабинета она столкнулась с парторгом.

— Туда нельзя! — сказал он ей не поклонившись и, хромая, прошел в другую комнату. Вид у него был встрепанный.

Софья Петровна заглянула в полуоткрытую дверь. Перед письменным столом на коленях стоял незнакомый мужчина и вынимал из тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете был усыпан бумагами.

— В котором часу будет сегодня товарищ Захаров? — спросила Софья Петровна у пожилой секретарши.

— Он арестован,— одними губами, без голоса, ответила ей секретарша.— Сегодня ночью.

Губы у нее были голубые.

Софья Петровна понесла отчет обратно в бюро. Когда она дошла до дверей

бюро, она почувствовала, что у нее слабеют колени. Грохот машинок оглушил ее. Знают они уже или не знают? Они стучали, как будто ничего не случилось. Если бы ей сообщили, что директор умер, она была бы менее поражена. Она села на свое место и начала машинально снимать зажимки с листов. Вошел Тимофеев, открыв дверь собственным ключом. Софья Петровна впервые заметила, что, несмотря на хромоту, парторг держится очень прямо и походка у него мерная. «Простите!» — сказала она испуганно, когда он, проходя мимо, нечаянно задел ее плечом.

В половине пятого раздался, наконец, звонок. Софья Петровна молча сошла с лестницы, молча оделась и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна остановилась перед лужей, сосредоточенно обдумывая, как бы ее обойти. К ней подошла Наташа. Наташа уже знала: ей сказала Эрна Семеновна.

— Наташа,— начала Софья Петровна, когда они дошли до угла, где обыкновенно прощались.— Наташа, вы верите, что Захаров виноват в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха... Наташа, ведь мы-то знаем...

Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свою уверенность. Захаров — большевик, их директор, которого они видели каждый день, Захаров — вредитель! Это была невозможность, чепуха, *реникса*, как говорил когда-то Федор Иванович. Недоразумение? Но ведь он такой видный партиец, его знали и в Смольном, и в Москве, его не могли арестовать по ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!

Наташа молчала.

— Зайдемте к вам, я вам сейчас все объясню,— сказала вдруг Наташа с необычайной торжественностью.

Они пошли. Молча разделись. Наташа вынула из своего старенького портфельчика аккуратно сложенную газету. Она развернула газету перед Софьей Петровной и указала ей подвал на вкладной странице.

Софья Петровна надела очки.

— Понимаете, дорогая, его могли завлечь,— шепотом сказала Наташа.— Женщина...

Софья Петровна принялась читать.

В статье рассказывалось о некоем советском гражданине А., честном партийце, который был командирован советским правительством в Германию с целью освоить применение недавно изобретенного химического препарата. В Германии он честно исполнял свой долг, но вскоре увлекся некоей С., элегантной молодой женщиной, сочувствовавшей якобы Советскому Союзу. С. нередко навещала гражданина А. у него на квартире. И вот однажды гражданин А. обнаружил пропажу из бюро серьезных политических документов. Квартирная хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество немедленно порвать связь с С., но сообщить о пропаже документов товарищам мужества у него не хватило. Он уехал обратно в СССР, надеясь честной работой советского инженера загладить свое преступление перед Родиной. Целый год он работал спокойно и начал уже забывать о своем преступлении. Однако замаскированные агенты гестапо, проникшие в нашу страну, начали его шантажировать. Запуганный ими А. выдал им секретные планы того завода, на котором работал. Доблестные чекисты разоблачили окопавшихся агентов фашизма, нити следствия привели к несчастному А.

— Вы понимаете? — шепотом спросила Наташа.— Нити следствия... Наш директор, конечно, хороший человек, честный партиец. Но ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был сначала честным партийцем... Всякого честного партийца может опутать смазливая женщина.

Наташа терпеть не могла смазливых женщин. Она признавала только строгую красоту и не находила ее ни в ком.

— Говорят, наш директор бывал за границей,— вспомнила Наташа.— Тоже в командировке. Помните, лифтерша Марья Ивановна рассказывала, что он привез своей жене из Берлина голубой вязаный костюм?

Статья сильно смутила Софью Петровну, и все-таки ей еще не верилось. То какой-то А., а то их Захаров. Выдержанный партиец, сам докладывал о процессе. И при нем издательство всегда выполняло план с превышением.

— Наташа, ведь мы же знаем,— устало сказала Софья Петровна.

— Что мы знаем? — с азартом заговорила Наташа.— Мы знаем, что он был директором нашего издательства, а больше ничего мы, собственно, не знаем. Разве вам известна вся его жизнь? Разве вы можете за него поручиться?

И в самом деле Софья Петровна не имела ни малейшего представления о том, чем был занят товарищ Захаров, когда не председательствовал на издательских собраниях и не водил девочку под елкой. Мужчины — все, все до единого, страшно любят смазливых женщин. Какая-нибудь наглая горничная и та может прибрать к рукам любого мужчину, даже порядочного. Если бы Софья Петровна не выгнала Фани вовремя, еще неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание с Федором Ивановичем.

— Давайте чай пить,— сказала Софья Петровна.

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог успеть.

Они пили пустой чай. Обе были так утомлены, что поленились спуститься в магазин за булкой или пирожными. «Завтра будет тяжело в издательстве,— думала Софья Петровна.— Словно покойник в доме. Что ни говори, а жаль директора». Она вспомнила полуоткрытую дверь кабинета и мужчину на коленях перед столом. Она только теперь поняла, что это был обыск.

Наташа собралась уходить. Она аккуратно сложила газету и спрятала ее в портфель. Потом налила себе в стакан кипятку и на прощание стала греть о стакан свои большие красные руки. Они у нее были отморожены в детстве и всегда мерзли.

Вдруг раздался звонок. И второй. Софья Петровна пошла отворять. Два звонка — это к ней. Кто бы это так поздно?

За дверьми стоял Алик Финкельштейн.

Видеть Алика одного, без Коли, было противоестественно.

— Коля!? — вскрикнула Софья Петровна, схватив Алика за висящий конец его шарфа.— Брюшной тиф?

Алик, не глядя на нее, медленно снимал калоши.

— Тс-с-с! — выговорил он, наконец.— Пройдемте к вам.

И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги.

Софья Петровна, не помня себя, шла за ним.

— Вы только не пугайтесь, ради бога, Софья Петровна,— сказал он, когда она притворила дверь,— спокойненько, пожалуйста, Софья Петровна, пугаться, право, не стоит. Ничего страшного нет. Поза-поза-позавчера... Или когда это? Ну, перед тем выходным... Колю арестовали...

Он сел на диван, двумя рывками развязал шарф, бросил его на пол и заплакал.

9

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт.. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась? Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

— Ключи? Вы оставили там ключи? — закричала она, подступая к Алику.— Вы оставили кому-нибудь ключи?

— Ключи? Какие ключи? — оторопел Алик.

— Боже, какой же вы глупый! — выговорила Софья Петровна, и вдруг

заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи.— Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей.

Ведь он... ведь его...— говорила Софья Петровна, отстраняя стакан,— ведь его... уже, наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щека и подушка стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее болело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна.

— Вот что,— сказал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами,— мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихонечку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули... или что-нибудь еще... что у вас ночью угар был... я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Натата поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями озаряли комнату. Белый квадрат света, как согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и на потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю под конвоем приводят к следователю. Следователь — красивый военный, весь в ремнях и карманах. «— Вы Николай Фомич Липатов?» — спрашивает Колю военный. «Я — Николай Федорович Липатов»,— с достоинством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. «— Ба! — говорит он.— Как я сразу не узнал вас? Да ведь вы — тот молодой инженер, портрет которого я недавно видел в „Правде“! Простите, пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов,— троцкист, фашистский наймит, вредитель...»

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общежитие, и узнав, что Алик выехал в Ленинград, Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в шесть утра, когда уже снова задребезжали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу — в полумглу. По-прежнему оттепель, но за ночь лужи подернулись легким ледком.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, следует идти?

Алик говорил: в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А расспрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

— В девять часов пускать будут,— сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

— Тут ходить нельзя, гражданка,— сказал часовой.



Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкую снежную пустыню Невы.

Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. «Наверное, сюда снег свозят со всего города»,— подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин посреди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки, и почти все в валенках и в калошах. Они притопывали ногами и дули на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли,— размышляла от нечего делать Софья Петровна,— а мороза-то нет, снова тает». У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ожидали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого толпились женщины,— дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ожидают? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые женщины. От нечего делать Софья Петровна прошлась раза два сквозь толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, повязанного шарфом крест-накрест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые. Может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

Вам список? — спросила старушка дружелюбно.— В парадной 28.

— Какой список?

— На «эл» и «эм»... Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже об арестованном.

— Да, о сыне...— с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей проницательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, за чем пришла она, смутно зашевелилась в ее душе. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах, да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную — роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном без одного крыла. На первой ступеньке величественной лестницы, подложив под спину газету, а под голову — заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

— Записываться? — спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

— Да я, собственно, не знаю,— растерянно произнесла Софья Петровна.— Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске... Понимаете ли, просто как однофамильца...

— Говорите, пожалуйста, тише,— с раздражением оборвала ее женщина. У нее было интеллигентное усталое лицо. Списки отбирают, и вообще... Как фамилия?

— Липатов,— робко ответила Софья Петровна.

— 344,— сказала женщина, записывая.— Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

— 344,— повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа все росла. «Ваш какой номер?» — то и дело спрашивали Софью Петровну. «Ну, вам сегодня не попасть,— сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски.— Мы-то еще с вечера записавшись...» — «Список где?» — шепотом спрашивали другие... Было уже светло: наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, повязанный шарфом. У него были кривые ножки и он еле поспевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софья Петровна издали увидала, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта.

Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке толпились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали вороты, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий и последующий номер. А сзади все напирали и напирали люди. Софью Петровну крутило, как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб. Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера: 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 — сгорбленная, древняя старуха. «Ваш муж тоже латыш?» — спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза. «Нет, почему же? — ответила Софья Петровна.— Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский».

— Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть путевка? — спросила у Софьи Петровны старушка-еврейка с серебряными волосами, та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежащая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом чужом городе. Странно было думать, что в тридцати минутах ходьбы — ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке...

Отыскав своих соседей, люди стояли спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохоньких туфельках — это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины — матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина — муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. «Воображаю, какое это несчастье для матери — узнать, что сын ее вредитель»,— думала Софья Петровна.

Изредка, по скрипучей узкой лесенке, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина. «Передала?» — спрашивали ее внизу. «Передала»,— она показывала розовую бумажку. А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила — выслан! — и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери. Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах. «Тише! — зашикали на нее со всех сторон.— Он шуму не любит, закроет окно и все. Тише!»

Молочница поправила платок и ушла со слезами на щеках.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые — узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему. «Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть»,— сказал ей мужчина. «До двух? Неужели до двух здесь стоять? — с тоской подумала Софья Петровна.— Ведь сейчас не больше десяти».

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие, немногословные разговоры. «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж третий месяц пошел».— «А моего — две недели».— «Скажите, вы не знаете, где еще можно навести справки?» — «В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего».— «А вы на Чайковского были? А на Герцена?» — «На Герцена военная».— «Вашего-то когда взяли?» — «У меня дочка».— «А на Арсенальной, говорят, белье принимают».— «Вы кто, латыши будете?» — «Нет, мы поляки».— «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж полгода».— «А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи, боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошедший раз аккурат в два захлопнул!»

Софья Петровна повторяла про себя, что́ она спросит: привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью — или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна, следом за древней старухой, вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три — в первую комнату. Через четыре — во вторую и через пять — следом за извивающейся очередью — снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошечке широкие плечи и большие руки тучного мужчины. Было три часа. Софья Петровна сосчитала — перед ней еще пятьдесят девять человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. «Ну, уж я-то с ним поговорю,— нетерпеливо думала Софья Петровна.— Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору или к кому там... Как много еще у нас в быту некультурности! Духота, вентиляцию не могут устроить. Надо бы написать письмо в „Ленинградскую правду“».

И вот, наконец, перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко тридцать рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо стала на место старухи. Она увидела молодого тучного человека, с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками.

— Я хотела бы узнать,— начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо человека за окошечком,— здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке...

— Фамилия? — перебил ее человек.

— Липатов. Его арестовали по ошибке, и вот уже несколько дней я не знаю...

— Помолчите, гражданка,— сказал ей человек, наклоняясь над ящиком с карточками.— Л*и*патов или Л*е*патов?

— Л*и*патов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить...

— Буквы?

Софья Петровна не поняла.

— Звать-то его как?

— Ах, инициалы? Эн, эф.

— Нэ или мэ?

— Эн, Николай.

— Липатов, Николай Федорович,— сказал человек, вынимая из ящика карточку.— Здесь.

— Я хотела бы узнать...

— Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий!

Софья Петровна поспешно протянула в окошечко тридцать рублей.

— Ему не разрешо́но,— сказал человек, отстраняя бумажку.— Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

— Уходите! — шептали Софье Петровне сзади.— А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустилась на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован и когда можно будет получить с ним свидание.

10

Софья Петровна взяла в издательстве двухнедельный отпуск за свой счет. Пока Коля сидит в тюрьме, разве может она думать о каких-то бумагах, об Эрне Семеновне! Да и не поспеешь служить: с утра до ночи и с ночи до утра надо стоять в очередях. Она подала заявление хромому парторгу: после ареста Захарова он был назначен временно исполняющим обязанности директора. Он сидел в том же кабинете, где раньше сидел Захаров, за тем же большим столом

с телефонами; носил он уже не косоворотку, а серенький костюмчик из Ленинградодежды, галстучек, воротничок — и все-таки казался невзрачным. Софья Петровна сказала, что отпуск ей нужен по домашним обстоятельствам. Не глядя на нее, Тимофеев долго писал резолюцию красными чернилами. Он сказал Софье Петровне, что замещать ее на этот раз будет Эрна Семеновна, и приказал сдать ей дела. «А почему не Фроленко? — удивилась Софья Петровна.— Ведь Эрна Семеновна малограмотна и пишет с ошибками...» Товарищ Тимофеев ничего не ответил и встал. Ах, не все ли равно! Софья Петровна вышла из кабинета. Она торопилась в очередь.

Дни и ночи ее проходили теперь не дома и не на службе, а в каком-то новом мире — в очереди. Она стояла на набережной Невы, или на Чайковской — там скамейки, можно присесть,— или в огромном зале Большого дома, или на лестнице в прокуратуре. Уходила домой поесть или поспать она только тогда, когда Наташа или Алик сменяли ее. (Алика директор отпустил в Ленинград всего только на одну шестидневку, но он со дня на день откладывал свой отъезд в Свердловск, надеясь вернуться вместе с Колей.) Многое узнала Софья Петровна за эти две недели — она узнала, что записываться в очередь следует с вечера, с одиннадцати или двенадцати, и каждые два часа являться на перекличку, но лучше не уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть; что непременно надо брать с собой теплый платок, надевать валенки, потому что даже в оттепель с трех часов ночи и до шести утра будут мерзнуть ноги и все тело охватит мелкая дрожь; она узнала, что списки отнимают сотрудники НКВД и того, кто записывает, уводят в милицию; что в прокуратуру надо ходить в первый день шестидневки и там принимают не по буквам, а всех, а на Шпалерной ее буква седьмого и двадцатого (в первый раз она попала в свой день каким-то чудом), что семьи осужденных высылают из Ленинграда и путевка — это направление не в санаторий, а в ссылку; что на Чайковской справки выдает краснолицый старик с пушистыми, как у кота, усами, а в прокуратуре — мелкозавитая, остроносая барышня; что на Чайковской надо предъявлять паспорт, а на Шпалерной нет; узнала, что среди разоблаченных врагов много латышей и поляков — и вот почему в очереди так много латышек и полек. Она научилась с первого взгляда догадываться, кто на Чайковской не прохожий вовсе, а стоит в очереди, она даже в трамвае по глазам узнавала, кто из женщин едет к железным воротам тюрьмы. Она научилась ориентироваться во всех парадных и черных лестницах набережной и с легкостью находила женщину со списком, где бы та ни пряталась. Она знала уже, выходя из дому после краткого сна, что на улице, на лестнице, в коридоре, в зале — на Чайковской, на набережной, в прокуратуре будут женщины, женщины, женщины: старые и молодые, в платках и в шляпах, с грудными детьми, и с трехлетними, и без детей — плачущие от усталости дети и тихие, испуганные, немногословные женщины; и как когда-то в детстве, после путешествия в лес, закрыв глаза, она видела ягоды, ягоды, ягоды, так теперь, когда она закрывала глаза, она видела лица, лица, лица...

Одного только она не узнала за эти две недели: из-за чего Коля арестован? И кто и когда будет его судить? И в чем его обвиняют? И когда же, наконец, кончится это глупое недоразумение и он вернется домой? В справочном бюро на Чайковской краснолицый старик с пушистыми усами смотрел в ее паспорт, спрашивал: «Как имя вашего сына? Вы мать? а почему жена не пришла? не женат? Липатов, Николай? следствие ведется»,— и выкидывал из окошечка паспорт, и прежде чем Софья Петровна успевала открыть рот, механическая дверца окошечка с треском падала сверху вниз и раздавался звонок, означающий: «следующий!». С дверцей Софье Петровне разговаривать было не о чем, и, постояв секунду, она уходила. В прокуратуре мелкозавитая остроносая барышня, высовываясь из окошечка, говорила скороговоркой: «Липатов? Николай Федорович? Дело в прокуратуру еще не поступало. Справьтесь через две недели». На Шпалерной тучный, сонный мужчина неизменно отстранял ее деньги и произносил: «Ему не разрешо́но». Это было все, что она знала о Коле; другим деньги разрешо́ны, а ему почему-то не разрешоны. Почему? Но она уже понимала, что расспрашивать человека в окошечке — тщетно.

Зато она с жадностью расспрашивала Алика про то, как это было, как

уводили Колю. И Алик покорно рассказывал опять и опять, что они уже спали, что вдруг раздался стук в дверь и вошел заведующий общежитием, а за ним комендант, а за ним кто-то в штатском и один военный.— Который был час? — спрашивала Софья Петровна.— Так, примерно, полвторого,— отвечал Алик и рассказывал дальше: — Комендант зажег свет, а штатский спросил: — Кто тут Липатов, Николай? — Коля испугался? — тревожно перебивала Софья Петровна.— Ни капельки, отвечал Алик.— Он надел белье, костюм и просил меня завтра передать на заводе, что его по недоразумению задержали и он, может быть, несколько дней прогуляет... Так пусть на участке заменит его Яша Ройтман, это у нас комсомолец такой... — И неужели он ничего-ничего не взял с собою! — всплескивала руками Софья Петровна. Алик объяснял ей, что Коля ни за что не хотел взять с собой ни смены белья, ни полотенца, хотя прачка только-только принесла. «Зачем мне? Ведь я завтра-послезавтра вернусь».— «Сильно советую взять»,— сказал военный. Но Коля и ему повторил, что незачем: он завтра вернется.

— Вот что значит чистая совесть! — с умилением говорила Софья Петровна.— Но дадут ли ему там полотенце?

Алик послушно ждал Колю и день, и два, и три и только на четвертый решился ехать в Ленинград — выяснять обстоятельства. Он соврал директору, будто у него мамаша при смерти. И директор — парень свой, хороший — отпустил.

Софья Петровна осторожно выспрашивала Алика, не поссорился ли там Коля с начальниками; не нагрубил ли кому; не водился ли с кем-нибудь, кто потом оказался вредителем; или женщина, быть может, во что-нибудь его впутала.

— Ну, какая там женщина! — с легким раздражением отвечал Алик.— Да и впутаешь разве Николая? Не знаете вы его, что ли? Про него директор так прямо и говорил, что это будущий мировой инженер...

Ах, конечно, конечно, Коля ни на что дурное не способен. Уж Софье ли Петровне не знать, что это за сердце, какая голова, как он предан советской власти и партии. Но ведь и без причины ничего не бывает. Коля еще молод, не жил один на свете. Восстановил там кого-нибудь против себя. Надо уметь обходиться с людьми. И Софья Петровна с неприязнью взглядывала на Алика: недосмотрел. Вот если бы Коля остался в Ленинграде, у матери на глазах, ничего бы с ним не случилось. Не надо было отпускать его в Свердловск.

Но и так, и так ничего не может худого случиться, уговаривала себя Софья Петровна. Каждый час, каждую минуту ждала она Колю домой. Уходя в очередь, она всегда оставляла ключ от своей комнаты в коридоре, на полочке, в старом, условленном месте. Она даже суп горячий оставляла для него в духовке. И, возвращаясь, поднималась по лестнице торопливо, без передышек, как когда-то навстречу письму; вот она сейчас войдет в свою комнату, а Коля, оказывается, дома, и никак не может понять, куда же запропастилась мама?

Одна женщина — в очереди — говорила прошлой ночью другой (Софья Петровна слышала): «Жди его, вернется! Кто сюда попал — не вернется». Софья Петровна хотела было ее оборвать, но не стала связываться. У нас невиновных не держат. Да еще таких патриотов советских, как Коля. Разберутся и выпустят.

Однажды вечером Алик, уговорив Софью Петровну полежать хоть часок, надел уже свою куртку, обмотал шею шарфом и простился; было 19-ое, он шел занимать очередь на Шпалерной. «Я приду не позже двух»,— сказала ему Софья Петровна с кровати слабым голосом. «Софья Петровна, хоть в пять»,— ответил он бодро и вышел за дверь. Но почему-то вернулся. Он подошел к Наташе, сидевшей у окна с вязаньем в руках.

— Как вы себе мыслите, Наталья Сергеевна,— спросил он, прямо глядя на нее из-под очков блестящими глазами,— там, в тюрьме, все такие же виноватые, как Коля? Что-то в очереди все мамаши сильно смахивают на Софью Петровну.

— Не знаю,— ответила, по своему новому обыкновению, Наташа.

Наташа и прежде была молчалива, но с тех пор, как арестовали Колю, она почти что совсем лишилась дара речи. На вопросы она отвечала «да», «нет»

или «не знаю». Казалось, спроси ее, как ее зовут, и она тоже ответит «не знаю». Свободное от службы время она проводила у Софьи Петровны — стряпала обед, мыла посуду, подавала воду с валерьянкой — или в очереди. И все это не открывая рта.

— Что вы, Алик,— тихо сказала Софья Петровна.— Как вы можете сравнивать! Ведь Колю-то арестовали по недоразумению, а других... Вы что, газет не читаете?

— Э, что газеты,— ответил Алик и вышел.

В газетах как раз появились признания подсудимых на суде. Вчера в очереди Софья Петровна прочла целый лист из-за плеча стоящего перед ней мужчины. У нее болели ноги, ныло сердце, но газета была такая интересная, что, вытянув шею, она прочла ее всю. Подсудимые подробно рассказывали про убийства, про отравления, про взрывы — и Софья Петровна была возмущена вместе с прокурором. «Это как называется?» — со сдержанным негодованием спрашивал у подсудимого прокурор. «Подлость!» — сокрушенно отвечал подсудимый.

Нет, Софья Петровна недаром сторонилась своих соседок в очередях. Жалко их, конечно, по-человечеству, особенно жалко ребят, а все-таки честному человеку следует помнить, что все эти женщины — жены и матери отравителей, шпионов и убийц.

11

Прошло две недели. Алик уехал обратно в Свердловск на завод. Софья Петровна приступила к работе в издательстве, так ничего и не разузнав о Коле.

Женщины в очереди объяснили ей, что дело, по всей вероятности, в конце концов поступит в прокуратуру, а когда дело поступит в прокуратуру, можно будет пройти к прокурору. Он принимает не через окошечко, а за столом, и ему можно все рассказать.

А пока что оставалось одно — ходить на службу, подсчитывать строчки, улыбаться, распределять работу и под стук и звон машинок неустанно думать о Коле. Коля сидит в тюрьме, Коля в тюрьме. Среди бандитов, шпионов и убийц. В камере. На запоре.

Стараясь представить себе тюрьму и Колю в тюрьме, она неизменно представляла себе картину, изображающую княжну Тараканову: темная стена, девушка с растрепанными волосами прижимается к стене, вода на полу, крысы... Но в советской тюрьме всё, конечно, совсем не так.

Алик, на прощание, посоветовал ей никому не говорить о Колином аресте. «Мне нечего стыдиться Коли!» — начала было гневно Софья Петровна, но потом согласилась с Аликом: другие-то ведь не знают Колю и могут невесть что вообразить. И ни на службе, ни в квартире она никому ничего не рассказала, только жене Дегтяренко, которая однажды застала ее плачущей в ванной. Жена Дегтяренко сочувственно вздохнула. «Что ж плакать-то, может, еще и вернется,— сказала она.— То-то, я смотрю, вы и днем и ночью бегаете, лица на вас нет».

Прошло пять месяцев со дня ареста Коли; зима уже сменилась весною и весна беспощадно жарким июнем — а Коли все не было. Софья Петровна изнемогала от жары, от ожидания, от ночных очередей. Пять месяцев, три недели, и четыре дня, и пять дней, и шесть дней... пять месяцев и четыре недели. А Коля все не возвращался, деньги ему все были «не разрешóны», и на службе у Софьи Петровны вдруг начались неприятности. Неприятности — одна за другой.

Виновницей неприятностей была Эрна Семеновна.

Когда Софья Петровна вернулась на службу после двухнедельного отпуска, Эрну Семеновну оставили при ней помощницей — вычитывать переписанные рукописи. Софья Петровна полагала, что помощи от нее никакой: сама неграмотна! как она чужие ошибки исправит? Но против распоряжения Тимофеева не пойдешь. И Эрна Семеновна вычитывала, а Софья Петровна молчала.

И вот однажды хмурый товарищ Тимофеев, позванивая ключами — он

теперь всегда носил при себе все ключи от всех столов и от всех комнат,— остановил Софью Петровну в коридоре и попросил ее послать к нему после работы Фроленко. Софья Петровна послала Наташу к нему в кабинет, а сама осталась ждать ее в раздевалке, недоумевая, что бы могло товарищу Тимофееву понадобиться от Наташи.

Наташа вернулась довольно скоро. Серое лицо ее было бесстрастно, только губы будто немного дрожали. «Меня уволили»,— сказала она, когда они вышли на улицу.

Софья Петровна остановилась.

— Эрна Семеновна показала парторгу мою вчерашнюю работу. Помните, большая статья о Красной Армии. У меня в одном месте написано «Крысная» Армия вместо Красная.

— Но позвольте,— сказала Софья Петровна,— ведь это простая описка. С чего вы взяли, что вас завтра уволят? Всем известно, что вы лучшая машинистка в бюро.

— Он сказал: уволят за отсутствие бдительности.— Наташа пошла вперед. Солнце било ей прямо в глаза, но она не опускала глаз.

Софья Петровна привела ее к себе, напоила чаем. Коли не было. Раньше, когда Коля жил благополучно в Свердловске, Софья Петровна не мучилась от того, что его с ней не было. Так, скучала немножко. А теперь каждая вещь в комнате вопила Софье Петровне в лицо, что Коли нету. На подоконнике одиноко чернела его шестеренка.

— Завтра я еще приду в издательство, но в последний раз,— сказала Наташа, прощаясь.

— Не говорите глупостей! — прикрикнула на нее Софья Петровна.— Не может этого быть.

Но оказалось, что может. На следующий день на стене, в коридоре, висел приказ об увольнении Н. Фроленко и Е. Григорьевой — бывшей секретарши директора. Мотивировкой увольнения Фроленко служило отсутствие политической бдительности, увольнения секретарши — связь с разоблаченным врагом народа, бывшим директором Захаровым.

Рядом с приказом висел большой плакат, извещающий, что сегодня, в пять часов дня, состоится общее собрание всех работников издательства. Повестка дня: 1) Доклад товарища Тимофеева о вредительстве на издательском фронте; 2) Разное. Явка обязательна.

Наташа, собрав свой портфельчик, сразу после звонка ушла, сказав всем вместе «до свидания». «Всего хорошего»,— хором ответили ей машинистки, одна только Эрна Семеновна не ответила: она поправляла прическу, ловя свое отражение в стекле окна. У Софьи Петровны было тяжело на душе. Она проводила Наташу до самой раздевалки.

— Приходите вечером,— сказала она ей на прощанье.

Предместкома уже созывала всех в кабинет директора. Лифтерша Марья Ивановна вносила стулья. Софья Петровна вошла и села в первом ряду. Она чувствовала себя испуганной и одинокой. Зажгли верхний свет, задернули тяжелые шторы. Входили и рассаживались служащие. На всех лицах приметно было какое-то жадное и тревожное любопытство.

— Что же вам, товарищи, особое приглашение посылать надо, что ли? — кричала в редакционном секторе предместкома.

Тимофеев стоял у стола, сосредоточенно перебирая бумаги.

Предместкома объявила собрание открытым. Лениво поднимая руки, ее единогласно выбрали председательницей. Товарищ Тимофеев откашлялся.

— Мы, товарищи, собрались сегодня для важного дела,— начал он,— для того, чтобы кон-стан-тировать в нашем издательстве преступное притупление бдительности и сообща обдумать, как нам ликвидировать его последствия. (Он говорил на этот раз уверенно, гладко, он даже почти не запинался.) — В течение целых пяти лет тут у нас, перед самым носом, если можно так выразиться, у нашей общественности подвизался ныне разоблаченный враг народа, злостный бандит, террорист и вредитель, бывший директор Захаров. Захаров уже лишен возможности вредить. Но в свое время он привел с собою целый хвост своих людишек, свою, с позволения сказать, свиту, которая вместе с ним

образовала тут плотное гнездо и всячески способствовала ему в его грязных троцкистских махинациях. К стыду нашей общественности, захаровская свита не ликвидирована до сих пор. Вот тут передо мной,— он развернул бумаги,— вот тут передо мной находятся документальные данные, которые документально подтвердят вам об их грязном контрреволюционном деле.

Тимофеев замолчал и налил себе воды.

— Что показывают эти докýменты? — начал он снова, утерев рот ладонью.— Вот этот докýмент неопровержимо показывает, что в тридцать втором году, по личному распоряжению директора, без увязки с месткомом и отделом кадров, по личному, я повторяю, распоряжению директора, была принята на работу некто Н. Фроленко.

Софья Петровна вся съежилась на стуле, будто заговорили о ней.

— А кто такая Фроленко? Она — дочь полковника, владевшего в старое время так называемым поместьем. Что же, спрашивается, делала в нашем советском издательстве гражданка Фроленко, дочь чуждого элемента, принятая на работу бандитом Захаровым? Об этом нам расскажет другой докýмент. Под крылышком у Захарова гражданка Фроленко научилась чернить нашу любимую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, устраивать контрреволюционные вылазки: она называет Красную Армию — Крысиной Армией...

У Софьи Петровны пересохло во рту.

— А бывшая секретарша Григорьева? Это — верная подручная директора, которой он вполне мог доверять во всей своей, с позволения сказать, деятельности... Как же могло случиться, чтобы вредитель и его прихвостни целые пять лет нагло морочили советскую общественность? Это, товарищи, могло объясняться только одним: преступным притуплением политической бдительности.

Товарищ Тимофеев сел и принялся пить воду. Софья Петровна с жадностью смотрела на воду: такая сушь была у нее во рту и в горле. Предместкома резко зазвонила в звонок, хотя все молчали и никто не шевелился.

— Кто хочет высказаться? — спросила она.

Молчание.

— Товарищи, кто просит слова? — еще раз спросила предместкома.

Молчание.

— Неужели никто не хочет сказать пару слов по такому жгучему вопросу?

Молчание. И вдруг — громкий голос от дверей, на который все повернули головы.

Это была лифтерша Марья Ивановна. До сих пор она ни разу не выступала ни на одном собрании. И вообще мало кто в издательстве слыхал ее голос.

— Пожалуйста, просим, просим, товарищ Иванова!

Лифтерша, грузно шагая, подошла к столу.

— Вот я тоже хочу сказать свое пролетарское слово. Тут насчет секретарши, это, граждане, правильно. Как, бывало, войдет в лифт в калошах, наследит-наследит, а ты вытирай за ей. Она наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози, да еще вниз норовит на лифте съехать. Вверх пó сту разов ездит, да еще и вниз ее спускай. А как ее не спустишь, когда она все норовит к директору присуседиться? Куды он, туды и она. Он в лифт — и она за им в лифт, он в машину — и она рядышком в машину. Это верно, что они в одну руку работали... Только я хочу и товарищу Тимофееву сказать — по-нашему, по-простому, по-пролетарскому,— сколько разов ему, бывало, докладываешь: уйми ты ее, барыню! а ему хоть бы хны! никакого внимания не оказывал — махнет рукой и пойдет. Думаете, товарищ Тимофеев, лифтерша маленький человек, не понимает? Ошибаетесь! Нонче не старое время! при советской власти маленьких нет, все большие.

— Правильно, товарищ Иванова, правильно,— сказала Анна Григорьевна.— Кто еще, товарищи, просит слова?

Молчание.

— Можно мне,— тихо попросила Софья Петровна. Она встала, потом села опять.— Я хотела всего несколько слов, насчет Фроленко... Конечно, это ужасно, ужасно то, что она написала... но ведь у каждого в работе бывают ошибки, не правда ли? Она написала не Красная, а «Крысная» просто потому,

что в машинке — это все машинистки знают — буква «ы» находится неподалеку от буквы «а». Товарищ Тимофеев говорил, что она написала *крысиная*, но ведь она написала *крысная*, а это немного не то... это не имеет нехорошего смысла. Простая описка. Фроленко — высокой квалификации работник и очень старательная. Это просто случайность.

Софья Петровна смолкла.

— Будете отвечать? — спросила у Тимофеева предместкома.

— Докýменты,— отозвался из-за стола Тимофеев и постучал косточками пальцев по бумагам,— против докýментов не пойдешь, товарищ Липатова. *Крысная* или *крысиная* — это значения не имеет. Классово-враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо.

— Кто-нибудь еще хочет слова?.. Объявляю собрание закрытым.

Люди быстро расходились, торопясь домой. У вешалки, в раздевалке, уже слышны были разговоры о том, что пятый номер трамвая редко ходит и что в детском отделе Пассажа появились прекрасные рейтузы. Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну покататься на лодке.

— Да ну вашу лодку! — говорила она, протягивая к зеркалу губы, как бы для поцелуя.— Вот в кино бы сходить.

О собрании, о вредительстве — никто ни слова.

Софья Петровна быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей казалось, что, когда она придет в свою комнату и закроет дверь, голова перестанет болеть, все кончится, ей будет хорошо. В висках у нее стучало. Почему это так болит голова? Ведь на собрании, кажется, не курили. Бедная Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная машинистка и вдруг...

В комнате, на Колином столике, лежала записка:

«Уважаемая Софья Петровна! Я опять приехал. Яша Ройтман подал на меня заявление в комсомол, что я был связан с Николаем. Меня исключили из комсомола, благодаря тому что я отказался отмежеваться от Николая, и сняли с работы. Очень тяжело быть исключенным из рядов. Подойду завтра. Ваш Александр Финкельштейн».

Софья Петровна повертела записку в руках. Боже мой, сколько неприятностей сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват: наговорил там чего-нибудь на собрании. Он стал такой резкий. В день его отъезда, когда она опять спросила его осторожненько, не водился ли Коля с худыми людьми, он весь покраснел, как-то вжался в стенку и закричал на нее: «Да вы понимаете, что вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем не виноват, вы что — сомневаетесь, что?» Конечно, на самом деле ни в чем, смешно говорить об этом, но ведь подал же Коля какой-нибудь повод?.. Теперь, наверное, на собрании, Алик надерзил начальству. Разумеется, он должен был заступиться за Колю, но как-нибудь осторожно, тактично, выдержанно...

У Софьи Петровны болела голова. Собрание для нее будто еще не кончилось. В ушах звучал голос Тимофеева. У нее теснило в груди, ей казалось, что это голос Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет, не то. Она решила принять ванну.

Что-то было такое в словах Тимофеева, от чего она вся цепенела. Ей казалось, что, если принять ванну, это сразу пройдет. Она сама принесла дров из чулана и затопила колонку. Раньше дрова ей всегда приносил Коля, потом стал носить Алик, а после вторичного отъезда Алика в Свердловск — носила Наташа. Ах, этот Алик! Он, конечно, хороший мальчик и предан Коле, но очень уж резкий. Нельзя так с плеча. Не из-за его ли резкости и Коля сидит? Один раз в очереди, на Шпалерной, когда она сказала Алику, что деньги для Коли опять не приняли, он громко воскликнул: «бюрократы проклятые!». Он и в Свердловске, на заводе, мог так же себя держать.

Софья Петровна пустила воду, разделась и села в ванну — в белую широкую ванну, купленную еще Федором Ивановичем. Мыться ей не хотелось. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Как она теперь будет на службе без Наташи? И все эта Эрна Семеновна! Бывают же на свете такие завистливые, злые люди! Ну, ничего, Наташа поступит на другое место, где-нибудь неподалеку, и они будут часто видеться. Скорее бы Коля вернулся.

Она лежала, глядя на свои руки, измененные водой. Неужели секретарша директора была вредительницей? Лучше не думать об этом. Какой сегодня тяжелый день. Собрание по-прежнему теснило ей грудь. Она лежала с закрытыми глазами, в тепле и покое.

На кухне кто-то потушил примус, и сразу стали слышны голоса и грохот посуды. Медицинская сестра, по обыкновению, произносила какие-то колкости.

— Я пока еще не сумасшедшая и не без глаз,— медленно говорила она.— Керосину я третьего дня самолично приобрела три литра. А теперь тут капля на донышке, псу под хвост. С некоторых пор ничего невозможно на кухне оставить.

— Кто у вас керосин брать будет? — басом отозвалась жена Дегтяренко. По голосу слышно было, что она стоит согнувшись — моет пол или плиту растапливает.— У всех своего керосина хватает. Я, что ли?

— Я не о вас говорю. В квартире, кроме вас, люди живут. Если уж один член семьи в тюрьме — то от остальных всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму не посадят.

Софья Петровна замерла.

— Что ж, что сын в тюрьме,— сказала жена Дегтяренко.— Посидит, да и выпустят. Он не карманник какой-нибудь, не вор. Образованный молодой человек. Мало ли теперь кого сажают. Муж говорит, многих теперь берут порядочных. А про него и в газете писали. Знаменитый ударник был.

— Ударник, подумаешь! Маскировался, вот и все,— сказал Валин голос.

— Овечка какая невинная нашлась,— снова заговорила медицинская сестра.— Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому, что я женщина честная, вполне советская.

Софье Петровне сделалось холодно в ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула халат и на цыпочках прошла в свою комнату. Она улеглась под одеяло и сверху, на ноги, положила подушку. Но дрожь не унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела прямо перед собой в темноту.

Ночью, часа в два, когда все уже спали, она встала, накинула на рубашку пальто и пробралась в кухню. Она взяла свою керосинку, свой примус, свои кастрюли и все перенесла к себе в комнату.

Заснула она только под утро.

12

На другой день у дверей издательства ее поджидал Алик. Оказалось, что он и Наташа, ничего не сказав ей, чтобы она не беспокоилась зря, с утра заняли очередь в прокуратуре. Они стояли шесть часов, сменяя друг друга, и полчаса назад барышня в окошечке сказала им, что дело Николая Липатова находится у прокурора Цветкова. Тогда они заняли для Софьи Петровны очередь к прокурору Цветкову. В комнату № 7.

Алик уговаривал Софью Петровну зайти домой пообедать, но она боялась пропустить очередь и шагала быстро, изо всех сил. Она шла спасать Колю. От того, что она скажет сейчас прокурору, зависит Колина судьба. Они шли, задыхаясь, и на ходу обдумывала свою речь. Она расскажет прокурору о том, как Коля мальчиком вступил в комсомол, почти что против воли матери; как старательно он учился и в школе и в ВУЗе, как его ценили на заводе, как его похвалила ЦО «Правда». Он был замечательным инженером, честным комсомольцем, заботливым сыном. Разве такого человека можно заподозрить во вредительстве или в контрреволюции? Какой вздор, какое дикое предположение! Она, его старая мать, свидетельствует перед судьями, что это неправда.

Алик распахнул тяжелую дверь, и она вошла.

За последнее время Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре, возле окошечка и возле дверей комнаты № 7,

плотно, как в трамвае, стояли люди. Это были те счастливцы, которые уже простояли лестницу. Наташа горбилась у стенки под большим плакатом: «Выше знамя революционной законности!». Добравшись до нее, Софья Петровна и Алик остановились и вместе тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие очки и начал протирать их пальцами.

— Ну, я пошла,— сразу сказала Наташа,— вы будете вот за этой дамой.

Софье Петровне хотелось рассказать Наташе про вчерашнее собрание, и про то, как она выступила в ее защиту, но Наташина спина уже мелькала далеко, возле лестницы.

— Плохие дела Наталии Сергеевны,— сказал Алик, кивнув подбородком вслед Наташе,— на работу ее нигде не берут. Вроде, как меня.

Оказалось, что Наташа успела уже побывать в нескольких учреждениях, где требовались машинистки, но никуда ее не приняли, справившись на месте предыдущей работы. Алик тоже, прямо с вокзала, зашел в одно конструкторское бюро, но узнав, что он исключен из комсомола, с ним и разговаривать не стали.

— Волчий паспорт, так я понимаю, выдали нам. Ну и мерзавцы! И откуда это вдруг столько сволочи всюду набралось? — сказал Алик.

— Алик! — укоризненно произнесла Софья Петровна.— Разве так можно? Вот, вот, за резкость вас и из комсомола исключили.

— Не за резкость, Софья Петровна,— ответил Алик, и губы у него задрожали,— а за то, что я не пожелал отречься от Николая.

— Да нет же, Алик,— мягко сказала Софья Петровна, прикасаясь к его рукаву.— Вы молоды еще, уверяю вас, вы ошибаетесь. Все зависит только от такта. Вот я вчера на собрании защищала Наталию Сергеевну. И что же? Ничего мне за это не сделали. Поверьте, меня замучила история с Колей. Я мать. Но я понимаю, что это временное недоразумение, перегибы, неполадки... надо перетерпеть. А вы уже сразу: негодяи! мерзавцы! Помните, Коля всегда говорил: у нас еще много несовершенного и бюрократического.

Алик молчал. На лице у него застыло упорное, упрямое выражение. Он был небритый, осунувшийся, с синевой под глазами. И глаза смотрели из-под очков по-новому: сосредоточенно и угрюмо.

— Я уже подал заявление в райком. А если и там не восстановят меня, в Москву поеду. Прямо в ЦК комсомола,— сказал он.

«Бедняга! — думала Софья Петровна.— Трудно ему будет, пока он без работы. Тетка, верно, уже сейчас попрекает его». И Софья Петровна, наклонившись к Алику, прошептала: «Вот выпустят Колю — вас и восстановят сразу». И улыбнулась ему. Но Алик не улыбнулся в ответ.

А до дверей прокурора все еще было далеко. Софья Петровна сосчитала: человек сорок. Туда входили по двое, так как в комнате № 7 принимал не один, а сразу два прокурора, и все-таки очередь двигалась медленно. Софья Петровна разглядывала лица: ей казалось, что большинство этих женщин она уже видела раньше — на Шпалерной, или на Чайковской, или здесь же, в прокуратуре, возле окошечка. Возможно, что это те самые, а может быть, и другие У всех женщин, стоящих в тюремных очередях, есть что-то одинаковое в лицах: усталость, покорность и, пожалуй, какая-то скрытность. Многие держали в руках белые бумажки, Софья Петровна знала уже, что это и есть «путевки» в ссылку. В здешней очереди слышны были все время три вопроса: «Вы куда?», или «Вы когда?», или «У вас была конфискация?»

Софья Петровна прислонилась к стене и на минуту закрыла глаза. Какая бессердечная, какая злая и глупая женщина — жена бухгалтера! Вообразить, что Коля — вредитель! Ведь она его с детства знала. Софья Петровна теперь никогда, никогда не переступит порога кухни. До тех пор, пока медсестра не попросит у нее прощения. Можно себе представить, как станет ей стыдно, когда Коля вернется! Софья Петровна все расскажет Коле: про его замечательных друзей, Наташу и Алика (без них ей ни за что не справиться было бы с очередями), и про эту змею, жену бухгалтера. Пусть он знает, какие встречаются на свете мерзавки.

Открыв глаза, Софья Петровна обратила внимание на маленькую девочку, сидевшую на корточках возле стены. Девочка была в пальто, застегнутом на все пуговицы. «Как это у нас привыкли всегда кутать детей,— подумала Софья Петровна,— даже летом». И вдруг, вглядевшись, она узнала девочку — это была маленькая дочка директора Захарова. Девочка ерзала спиной по стене и хныкала, изнывая от жары. А высокая стройная дама в светлом костюме, за которой вот уже час стояли Софья Петровна и Алик — это была жена директора. Конечно, она.

— Ну что, цела еще твоя дудочка? — ласково спросила Софья Петровна, наклоняясь к ребенку.— Или кисточку ты уже оторвала? Помнишь меня? На елке? Дай я тебе ворот расстегну.

Девочка молчала, глядя на Софью Петровну круглыми глазами и дергая за руку мать.

— Что же ты? Отвечай тете! — сказала жена директора.

— Я знала вашего мужа,— обратилась к ней Софья Петровна.— Я работаю в издательстве.

— А! — сказала жена директора и как-то болезненно скривила губы. Губы у нее были подкрашены, но не по губам, а выше и ниже. Безусловно, красивая женщина, но теперь она уже не казалась Софье Петровне такой нарядной и молодой, как полгода тому назад, когда она приходила на минутку в издательство к мужу и в коридоре приветливо отвечала на поклоны служащих.

— Ну что ваш муж? — осведомилась Софья Петровна.

— 10 лет дальних лагерей.

«Значит, он-таки был виноват. Вот уж никогда б не сказала. Такой приятный человек»,— подумала Софья Петровна.

— А меня вот с ней в Казахстан — в деревню или в аул, как там... Завтра ехать. Там я с голоду подохну без работы.

Она говорила громко, резким голосом, и все оглядывались на нее.

— А куда направили вашего мужа? — спросила Софья Петровна, чтобы переменить разговор.

— А я почем знаю, куда. Разве они скажут, куда.

— Но как же вы потом... через 10 лет... когда он освободится... найдете друг друга? Вы не будете знать его адреса, а он — вашего.

— А вы думаете,— сказала жена директора,— что хоть одна из них,— она махнула рукой на толпу женщин с «путевками»,— знает, где ее муж? Мужа уже увезли, или завтра увезут, или сегодня увозят, жена тоже уезжает к черту в тарр-тарр-рары и понятия не имеет, как она потом найдет своего мужа. Откуда же мне-то знать? Никто не знает, и я не знаю.

— Надо проявить настойчивость,— тихо ответила Софья Петровна.— Если здесь не говорят, надо написать в Москву. Или поехать в Москву. А то как же так? Вы же потеряете друг друга из вида.

Жена директора смерила ее взглядом с ног до головы.

— А у вас кто? Муж? Сын? — спросила она с такой энергической яростью, что Софья Петровна невольно подвинулась поближе к Алику.

— Ну так вот, когда вашего сына отправят — тогда и проявите настойчивость, разузнайте его адрес.

— Моего сына не отправят,— извиняющимся голосом сказала Софья Петровна.— Дело в том, что он не виноват. Его арестовали по ошибке.

— Ха-ха-ха! — захохотала жена директора, старательно выговаривая слоги.— Ха-ха-ха! По ошибке! — и вдруг слезы полились у нее из глаз.— Тут, знаете ли, все по ошибке... Да стой же ты, наконец, хорошенько! — крикнула она девочке и наклонилась к ней, чтобы скрыть слезы.

Между дверьми и Софьей Петровной стояли пять человек. Софья Петровна повторяла про себя слова, которые сейчас она скажет прокурору. Она со снисходительной жалостью думала о жене директора. Хороши мужья, нечего сказать! Натворят бед, а жены мучайся из-за них. Едет теперь в Казахстан, с ребенком, да еще очереди эти — тут поневоле нервная сделаешься.

— Знаете, я пойду с вами,— сказал вдруг Алик.— В качестве сослуживца и друга. Я расскажу товарищу прокурору, что в Николае мы имеем кристально чистого человека, несгибаемого большевика. Я расскажу ему о применении на нашем заводе долбяка Феллоу, которым мы обязаны исключительно изобретательности Николая.

Но Софья Петровна не хотела, чтобы Алик шел к прокурору. Она боялась его резкости: надерзит и все дело испортит. Нет, уж лучше она пойдет одна. Она уверила Алика, будто посторонних прокурор не принимает.

Наконец настала ее очередь. Жена директора открыла дверь и вошла. Следом за нею, с замирающим сердцем, вошла Софья Петровна.

У двух противоположных стен большой пустой полутемной комнаты стояли два письменных стола и перед ними — два ободранных кресла. За столом направо сидел полный белотелый человек с голубыми глазами. За столом налево — горбун. Жена директора с девочкой подошла к белотелому, Софья Петровна — к горбатому. Она уже давно слыхала в очередях, что прокурор Цветков — горбатый.

Цветков разговаривал по телефону. Софья Петровна опустилась в кресло.

Цветков был маленького роста, худой, в синем засаленном костюме. Головка остренькая, а горб большой, круглый. Длинные кисти рук и пальцы поросли черным волосом. Трубку от телефона он держал как-то не на человечий, а на обезьяний манер. Он вообще показался Софье Петровне до такой степени похожим на обезьяну, что она невольно подумала: если ему захочется почесать за ухом, он, наверное, сделает это ногой.

— Федоров? — кричал Цветков в трубку охрипшим голосом.— Это Цветков, здоро́во. Скажи там Пантелееву, что я уже все провернул. Пусть пришлет. Что? Я говорю — пусть пришлет.

А за другим столом белотелый полный человек, с ясными фарфоровыми, кукольными глазами и маленькими пухлыми, дамскими ручками вежливо беседовал с женою директора.

— Я прошу переменить мне село на какой-нибудь город,— отрывисто говорила она, стоя перед столом и держа за руку девочку.— В селе я окажусь без работы. Мне не на что будет кормить ребенка и мать. По профессии я стенографистка. В селе стенографировать нечего. Я прошу послать меня не в село, а в город, хотя бы и в том же самом — как его? — Казахстане.

— Садитесь, гражданка,— ласково сказал ей белотелый.

— Вам что? — спросил Софью Петровну Цветков, оставив телефон и мельком взглядывая на нее маленькими черными глазками.

— Я о сыне. Его фамилия Липатов. Он арестован по недоразумению, по ошибке. Мне сказали, что его дело находится у вас.

— Липатов? — переспросил Цветков, припоминая.— 10 лет дальних лагерей.— И он снова снял трубку с телефона.— Группа А? 244—16.

— Как? Разве его уже судили? — вскрикнула Софья Петровна.

— 244—16? Морозову позовите.

Софья Петровна смолкла, придерживая сердце рукой. Сердце стучало медленно, редко и громко. Стук отдавался в ушах и в висках. Софья Петровна решила дождаться, пока Цветков кончит, наконец, говорить по телефону. Она с испугом смотрела на его длинные волосатые кисти, на усыпанный перхотью горб, на небритое желтое лицо. Терпение, терпение. И слушала стук своего сердца: в висках и в ушах. А за противоположным столом белотелый прокурор мягко говорил жене директора:

— Напрасно вы расстраиваетесь, гражданка. Присядьте, пожалуйста. Как представитель законности я обязан напомнить вам, что великая сталинская конституция обеспечивает право на труд всем без различия. Поскольку никаких гражданских прав вас никто не лишает, право на труд остается вам обеспеченным, где бы вы ни жили.

Жена директора порывисто встала и пошла к дверям. Девочка мелкими, сбивчивыми шажками бежала за нею.

— Вы еще здесь? Чего ж вам надо? — грубо спросил Цветков, положив наконец трубку.

— Я хотела бы знать, в чем мог провиниться мой сын,— спросила Софья Петровна, напрягая все силы, чтобы голос у нее не дрожал.— Он всегда был безупречным комсомольцем, честным гражданином...

— Сын ваш сознался в своих преступлениях. Следствие располагает его подписью. Он террорист и принимал участие в террористическом акте. Вам понятно?

Цветков выдвигал и задвигал ящики письменного стола. Выдвинет и толчком задвинет. Ящики были пустые.

Софья Петровна мучительно вспоминала, что она еще хотела сказать. Но она все забыла. Да и в этой комнате, перед этим человеком, все слова были тщетными. Она поднялась и побрела к дверям.

— Как же я узнаю теперь, где он? — спросила она от дверей.

— Это меня не касается.

В коридоре ее ожидал верный Алик. Молча протискались они сквозь толпу по коридору, потом по лестнице. Молча вышли на улицу. На улице звенели трамваи, блестело солнце, толкались прохожие. Душному летнему дню еще далеко было до конца.

— Ну что, Софья Петровна, что? — тревожно спросил Алик.

— Осужден. В дальние лагеря. На 10 лет.

— Шутите! — вскрикнул Алик.— За что же?

— Участвовал в террористическом акте.

— Колька — в террористическом акте?! Бред!

— Прокурор говорит: он сам сознался. Следствие располагает его подписью.

Слезы ручьем текли по щекам Софьи Петровны. Она остановилась у стены, схватившись за водосточную трубу.

— Колька Липатов — террорист! — захлебываясь, говорил Алик.— Сволочи, вот сволочи! Да это же курам на смех! Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать так: все это какое-то колоссальное вредительство. Вредители засели в НКВД — вот и орудуют. Сами они там враги народа.

— Но ведь Коля сознался, Алик, сознался, поймите, Алик, поймите...— плача, говорила Софья Петровна.

Алик твердо взял Софью Петровну под руку и повел к дому. У дверей ее квартиры, пока она искала в сумочке ключ, он заговорил опять:

— Коле не в чем было сознаваться, неужели вы в этом сомневаетесь, что? Я ничего не понимаю больше, совсем ничего не понимаю. Я теперь одного хотел бы: поговорить с глазу на глаз с товарищем Сталиным. Пусть объяснит мне — как он себе это мыслит?

13

Софья Петровна всю ночь напролет пролежала с открытыми глазами. Которая уже была это ночь со времени ареста Коли — бесконечная, бездонная? Она уже наизусть знала все: летнее шарканье подошв под окном, крики в соседней пивной, замирающий зуд трамваев, потом недолгая тишина, недолгая тьма — и вот уже снова заползает в окно белый рассвет, начинается новый день, день без Коли. Где-то сейчас Коля, на чем спит, о чем думает, где он, с кем он? Софья Петровна ни секунды не сомневалась в его невиновности; террористический акт? бред! — как говорит Алик. Просто следователь попался ему слишком старательный, запутал и сбил его. А Коля не сумел оправдаться, он ведь так молод еще. К утру, когда опять рассвело, Софья Петровна вспомнила, наконец, то слово, которое вспоминала всю ночь,— alibi. Она где-то читала про это. Он просто не сумел доказать свое alibi.

В первые часы на службе ей стало как будто немного полегче. Ярко светило солнце, и пыль клубилась в солнечном луче, и так деловито стучали машинки, и машинистки в перерыве бегали вниз, на улицу, и потом без конца сосали эскимо на палочках — все было так обычно... 10 лет! Днем, при солнечном свете, становилось ясно, что это чепуха. Она 10 лет не увидит Колю! Да почему же? Что за вздор! Не может этого быть. В один прекрасный день — и совсем скоро — все станет по-старому: Коля будет дома, будет по-прежнему спорить с Аликом о машинах и паровозах, по-прежнему чертить — только теперь уж она ни за что не отпустит его в Свердловск. Можно ведь и в Ленинграде устроиться.

В перерыве она вышла побродить в коридор: сидя, она боялась уснуть. В коридоре висела новая стенная газета. Перед нею толпились служащие.

Софья Петровна тоже подошла почитать. Это был большой нарядный номер, с красными заглавными буквами и портретами Ленина и Сталина по обеим сторонам ярко-красного названия «Наш путь». Софья Петровна подошла к газете. «Как же могло случиться, чтобы вредители в течение целых пяти лет без помехи обделывали свои грязные дела перед носом советской общественности?» — прочла Софья Петровна. Это была передовая Тимофеева. На столбце рядом начиналась статья предместкома. Анна Григорьевна язвительно уличала Тимофеева в том, что выступление его на собрании было недостаточно самокритично. Если общественность проглядела вредительство, то первым за это должен отвечать товарищ Тимофеев, бывший парторг. Тем более, что, как выяснилось, парторгу своевременно сигнализировали снизу — сигнализировала товарищ Иванова, давно раскусившая секретаршу своим пролетарским чутьем. Софья Петровна перевела глаза на следующий столбец. И прежде чем она поняла, что́ читает, у нее стало жарко в груди. Статья была о ней самой, о Софье Петровне, о ее выступлении в защиту Наташи. Автор, скрывшийся под псевдонимом Икс, писал:

«На собрании произошел возмутительный факт, за который, по нашему мнению, недостаточно дали по рукам. Товарищ Липатова выступила с настоящей адвокатской речью. И кого же она сочла необходимым защищать? Фроленко, полковничью дочь, позволившую себе грубый антисоветский выпад против нашей любимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Известно, что товарищ Липатова постоянно покровительствовала Фроленко, предоставляла ей сверхурочную работу, посещала с ней вместе кинотеатры и пр. и т. п. Теперь, когда издательству предстоит напрячь все силы честных работников, партийных и беспартийных большевиков, чтобы возможно скорее ликвидировать последствия „хозяйничанья" Герасимова-Захарова и К° — допустимо ли, чтобы в этот ответственный момент в рядах работников издательства находились подобные лица? Выше знамя большевистской бдительности, как учит нас гениальный вождь народов товарищ Сталин! Выкорчуем с корнем всех вредителей, тайных и явных, и всех, расписавшихся в сочувствии к ним!»

Раздался звонок, возвещающий конец обеденного перерыва. Софья Петровна пошла к себе в бюро. Как это она раньше не заметила, что сегодня все смотрят на нее особенными глазами?

Вернувшись домой, она прильнула к подушке — к своему последнему прибежищу. И сон сразу сомкнул ей глаза. Она спала долго, ей снился Коля. На нем был пушистый серый свитер. Он привязал к сапогам коньки. И потом, низко наклонившись, заскользил по коридору издательства. Когда она проснулась, за окном синели поздние сумерки, а в комнате горел свет. Возле стола шила Наташа. Видно было, что она шьет здесь уже давно.

— Сядьте сюда, поближе,— слабым голосом сказала Софья Петровна, облизывая губы, невкусные после дневного сна.

Наташа покорно перенесла свой стул к изголовью кровати и села.

— Вы знаете, Колю осудили, на 10 лет. Вам, верно, уже сказал Алик?

Наташа кивнула.

— Ах, да, знаете? — вспомнила Софья Петровна.— Обо мне написали в стенной газете, будто я защищаю вредителей и мне не место...

— Алик арестован. Сегодня ночью,— ответила Наташа.

14

Если Софья Петровна ночью не спала, все часы и минуты суток были для нее одинаковы. Свет резал глаза, болели ноги, ныло сердце. Но если ночью удавалось заснуть, то самой тяжелой минутой, бесспорно, была минута, следующая после пробуждения. Открыв глаза и увидев окно, спинку кровати, свое платье на стуле, в первый миг она не думала ни о чем, кроме этих предметов. Она узнавала их: окно, стул, платье. Но в следующий миг где-то в области сердца возникала тревога, похожая на боль, и сквозь туман этой боли она вдруг вспоминала все сразу: Коля осужден, Наташу прогнали, Алик арестован, о ней написано, что она заодно с вредителями. Да, еще: керосин.

На работе она ни с кем не разговаривала больше. Даже бумаги, которые приносили ей для переписки, клала перед машинистками молча. И с ней никто не разговаривал. Сидя за своим столиком в бюро, она вглядывалась в лица машинисток, стараясь угадать, кто из них написал про нее в газете. Вероятнее всего — Эрна Семеновна. Но разве она умеет так гладко писать? И когда это она видела их с Наташей в кино? Ее они не видали ни разу.

Однажды, слоняясь в тоске по коридору, она чуть не столкнулась с Наташей. Наташа шла, как лунатик, ступая, будто в темноте.

— Наташа, что вы здесь? — испуганно спросила Софья Петровна.

— Я прочла газету. Не разговаривайте со мною. Увидят,— ответила ей Наташа.

Вечером она пришла к Софье Петровне. Теперь она казалась возбужденной и говорила без умолку, перескакивая с предмета на предмет. Софье Петровне еще никогда не доводилось слышать, чтобы Наташа говорила так много. И она не вышивала, не шила на этот раз.

— Как вы думаете, Коля еще здесь, в городе, или уже далеко? — спросила она вдруг.

— Не знаю, Наташа,— со вздохом ответила Софья Петровна.— Ведь на Шпалерной его буква 20-го, а сегодня только 10-ое.

— Нет, я не о том. А как вы чувствуете? — Наташа провела рукой по воздуху.— Он еще здесь, близко от нас, или уже далеко? Мне кажется, далеко. Я вчера вдруг почувствовала: сейчас он уже далеко. Его уже нет здесь... А знаете, Софья Петровна, ведь лифтерша отказалась поднять меня в лифте. «Я не обязана поднимать всяких»... Да, Софья Петровна, вам необходимо сейчас же, завтра же, уйти из издательства. Обещайте мне, что вы уйдете. Милая, обещайте! Завтра же, хорошо?

Наташа коленями стала на диван, на котором сидела Софья Петровна и умоляюще сложила перед ней руки. Потом она села к столу, схватила перо и сама написала заявление от имени Софьи Петровны. Она уверяла Софью Петровну, что ей необходимо уйти по собственному желанию, иначе ее непременно уволят за связь с вредителями — «это со мной» — улыбнувшись бледными губами, сказала Наташа,— и тогда уже ни на какую новую службу ни за что не примут. Софья Петровна подписала заявление. Она и сама уже подумывала уходить. Страшно как-то стало в издательстве. От одного вида хромого Тимофеева со связкой ключей в руке ее пробирала дрожь.

— Но мне ведь все равно в Ленинграде не служить,— грустно сказала она.— Меня ведь все равно вышлют. Всех жен и матерей высылают.

— Как вы думаете,— спросила Наташа, беря с полки книгу и сейчас же ставя ее на место,— чем объясняется, что Коля сознался? Можно сбить, запутать человека, я понимаю, но ведь это в мелочах только. Как можно было так сбить Колю, чтобы он сознался в преступлении, которого никогда не совершал? Этого я, как хотите, не пойму. И отчего все признались? Ведь всем женам говорят, что их мужья признались... Всех сбили?

— Он просто не сумел доказать свое alibi,— сказала Софья Петровна.— Вы забываете, Наташа, что он так молод еще.

— А почему Алика арестовали?

— Ах, Наташа, если бы вы знали, какие грубости он говорил вслух в очереди. Я теперь уверена, что и Коля погиб из-за его языка.

Наташа собралась уходить. На прощание она порывисто обняла Софью Петровну.

— Что с вами сегодня? — спросила Софья Петровна.

— Со мной ничего... Сидите, не вставайте, не надо! Как вы похожи на Колю, то есть Коля на вас... Вы подадите заявление завтра же, да? Не раздумаете? — спрашивала она, заглядывая Софье Петровне в глаза.— И потом не забудьте, что 30-го — «Ф», надо будет непременно передать Алику деньги, у него ведь ни гроша, а тетка побоится передавать... И потом — дорогая, умоляю вас, пойдите к врачу! Прошу вас! Ведь вы на себя не похожи!

— Что мне врач... Коля,— сказала Софья Петровна и опустила налившиеся слезами глаза.

На другой день с утра она вошла в кабинет директора и молча положила

заявление на стекло стола. Тимофеев прочел его и также молча кивнул головой. Увольнение ее было оформлено с необычайной поспешностью. Через два часа на стене уже висел приказ. А через три вежливый бухгалтер уже выдал ей полный расчет. «Покидаете нас? Ай-я-яй, нехорошо! Смотрите же, заглядывайте, не забывайте старых друзей».

В последний раз идет она по этому коридору. «До свидания»,— сказала она машинисткам после звонка, когда все с треском уже надевали покрышки на свои ундервуды. «Всего хорошего!» — хором, как Наташе недавно, ответили все, а одна даже подошла к Софье Петровне и крепко пожала ей руку. Софья Петровна была очень тронута: какая мужественная, благородная девушка! «Счастливо!» — весело крикнула Эрна Семеновна, и Софья Петровна сразу перестала сомневаться, что именно Эрна Семеновна и никто другой написала ту статью.

Она вышла на улицу — в летний шум, в грохот. Вот и кончилась служба — кончилась навсегда. Она пошла было к дому, но скоро повернула к Наташе. Всюду на углах босые мальчишки сжимали в потных пальцах букеты колокольчиков и ромашек. Все благополучно, вот даже цветы продают. Но оттого, что Коля сидит в тюрьме или едет куда-то под громыханье колес, весь мир стал бессмысленным и непонятным.

Поднявшись — боже, как с каждым днем все тяжелее подниматься по лестнице! — поднявшись на пятый этаж, она позвонила. Ей открыла женщина, соседка Наташина, вытирая мокрые руки о передник.

— Наталью Сергеевну утром в больницу отправили,— шумным шепотом сказала женщина.— Отравилась. Вероналом. В Мечниковскую.

Софья Петровна попятилась от нее. Женщина захлопнула дверь.

17-ый долго не шел. Прошли уже две девятки и два 22-х, а 17-ый все не шел. Потом 17-ый пополз медленно, еле-еле, подолгу задерживаясь у каждого светофора. Софья Петровна стояла. Были заняты даже все места для пассажиров с детьми, и, когда вошла девятая женщина с младенцем — никто не пожелал уступить ей место. «Скоро весь вагон займут! — кричала старуха с клюкой.— Ездиют взад-вперед! Мы небось детей на руках таскали. Подержите, не помрете».

У Софьи Петровны тряслись колени — от испуга, от жары, от злого крика старухи. Наконец она вышла. Она почему-то не сомневалась, что Наташа уже умерла. Больница сверкнула ей навстречу всеми своими вымытыми стеклами. Она прошла в прохладный белый вестибюль. Возле справочного окошечка стояла очередь — три человека. Софья Петровна не решилась подойти без очереди. Справки выдавала красивая сестра в накрахмаленном белом халате. Возле нее, перед телефоном, в стакане стоял букет колокольчиков.

— Алло, алло! — закричала она в телефон, выслушав вопрос Софьи Петровны.— Второе терапевтическое? — и потом, положив трубку: — Фроленко, Наталья Сергеевна, скончалась сегодня в четыре часа дня, не приходя в сознание. Вы родственница? Можете получить пропуск в покойницкую.

15

Девятнадцатого вечером, надев осеннее пальто, и платок под пальто, и калоши, Софья Петровна заняла очередь на набережной. В первый раз предстояло ей продежурить всю ночь бессменно: кто теперь мог сменить ее? Не было больше ни Наташи, ни Алика.

Софья Петровна одна проводила Наташин сосновый гроб через весь город на кладбище. В тот день долго шел дождь, и большое колесо колымаги плескало ей грязью в лицо.

Наташа лежала в могиле, в желтой земле, недалеко от Федора Ивановича. А где были Алик и Коля? Этого понять невозможно.

Она стояла на набережной всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод. Тут впервые в жизни Софья Петровна увидела восход солнца. Оно встало откуда-то из-за Охты, и по реке сразу побежали мелкие волны, будто ее погладили против шерсти.

К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и когда в девять часов толпа кинулась к дверям тюрьмы, Софья Петровна не в силах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять и сдвинуть с места.

На этот раз номер у нее был 53-й. Через два часа она протянула в окошечко деньги и назвала фамилию. Тучный, сонный человек поглядел в какую-то карточку и вместо обычного «ему не разрешóно» ответил «выслан». После разговора с Цветковым Софья Петровна была вполне подготовлена к такому ответу, и все-таки ответ оглушил ее.

— Куда? — без памяти спросила она.

— Он напишет вам сам... Следующий!

Она пошла домой пешком, потому что стоять и ждать трамвая было ей труднее, чем идти. Пыль уже пахла жарой, она расстегнула тяжелое пальто и развязала платок. Казалось, прохожие разучились ходить: они наталкивались на нее то спереди, то сбоку.

Коля напишет ей. Она снова получит письмо, как получала когда-то из Свердловска. Раз сказали в окошечке, что напишет, значит, напишет.

Все последующие дни, не завтракая, не убирая постель, Софья Петровна с утра уходила искать работу. В газетах было много объявлений: «требуется машинистка». Ноги сделались у нее, как тумбы, но она покорно ходила целый день по всем адресам. Всюду задавали ей один и тот же вопрос: у вас есть репрессированные? В первый раз она не поняла. «Арестованные родственники»,— объяснили ей. Солгать она побоялась. «Сын»,— сказала она. Тогда выяснилось, что в учреждении нет утвержденной штатной единицы. И нигде ее не было для Софьи Петровны.

Теперь она боялась всего и всех. Она боялась дворника, который смотрел на нее равнодушным и все-таки суровым взглядом. Она боялась управдома, который перестал с ней раскланиваться. (Она больше не была квартуполномоченный — вместо нее выбрали жену бухгалтера.) Она, как огня, боялась жены бухгалтера. Она боялась Вали. Она боялась проходить мимо издательства. Возвращаясь домой после бесплодных попыток найти себе службу, она боялась взглянуть на стол в своей комнате: быть может, там уже лежит повестка из милиции? Ее уже вызывают в милицию, чтобы отнять паспорт и отправить в ссылку? Она боялась каждого звонка: не с конфискацией ли имущества пришли к ней?

Она побоялась передать Алику деньги. Когда вечером, накануне 30-го, она приплелась в очередь, к ней подошла Кипарисова. Кипарисова наведывалась в очередь не только в свой день, но чуть ли не каждый день, чтобы узнать у женщин: нет ли чего новенького? кого уже выслали? а кто еще здесь? не переменилось ли вдруг расписание?

— Напрасно вы это делаете, вполне напрасно! — зашептала Кипарисова на ухо Софье Петровне, когда та рассказала ей, зачем пришла.— Дело вашего сына свяжут с делом его приятеля — и получится нехорошо, пятьдесят восемь-одиннадцать, контрреволюционная организация... Зачем вам это нужно, не понимаю!

— Но ведь там не спрашивают, кто передает деньги,— робко возразила Софья Петровна.— Спрашивают только, кому.

Кипарисова взяла ее за руку и отвела подальше от людей.

— Им незачем спрашивать,— произнесла она шепотом.— Они всё знают.

Глаза у нее были огромные, карие, бессонные.

Софья Петровна вернулась домой.

На следующий день она не встала с постели. Ей больше незачем было вставать. Не хотелось одеваться, натягивать чулки, спускать ноги с кровати. Беспорядок в комнате, пыль не раздражали ее. Пусть! Голода она не чувствовала. Она лежала в кровати, ни о чем не думая, ничего не читая. Романы давно уже не занимали ее: она не могла ни на секунду оторваться от своей жизни и сосредоточиться на чьей-то чужой. Газеты внушали ей смутный ужас: все слова в них были такие же, как в том номере стенной газеты «Наш путь»... Изредка она откидывала одеяло и простыню и смотрела на свои ноги — огромные, отекшие, как водой налитые.

Когда со стены ушел свет и начался вечер, она вспомнила про Наташино письмо. Оно всегда лежало у нее под подушкой. Софье Петровне захотелось снова перечесть его и, приподнявшись на локте, она вынула его из конверта:

«Дорогая Софья Петровна! — написано было в письме.— Не плачьте обо мне, все равно я никому не нужна. Мне так лучше. Быть может, все наладится еще правильно, и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте советской власти. А вы живите, моя дорогая, настанет время, когда можно будет посылать посылки, и вы ему будете нужны. Пошлите ему крабов, консервы, он любил. Крепко вас целую и благодарю за все и за ваши слова на собрании. Я жалею вас, что вы из-за меня претерпели. Пусть моя скатерка лежит у вас и напоминает вам про меня. Как мы с вами в кино ходили, помните? Когда Коля вернется, положите ее к нему на столик, на ней цвета веселые подобраны. Скажите ему, что я никогда про него худому не верила».

Софья Петровна снова положила письмо под подушку. А не разорвать ли его? Она тут пишет про настоящий момент советской власти. Что, если это письмо найдут? Тогда Колино дело свяжут с Наташиным делом... А быть может, оставить? Ведь Наташа уже умерла.

16

Прошло три месяца, потом еще три — наступила зима, январь, годовщина Колиного ареста. Через несколько месяцев будет годовщина ареста Алика и сразу за нею годовщина Наташиной смерти.

В день Наташиной смерти Софья Петровна побывает у нее на могиле. А в годовщину Колиного ареста некуда ей поехать. Неизвестно, где он.

Письма от Коли не было. Софья Петровна по пять, по десять раз в день заглядывала в почтовый ящик. В ящике иногда лежали газеты для жены бухгалтера или открытки для Вали — от ее многочисленных кавалеров, но письма для Софьи Петровны все не было.

Второй год она уже не знала, где он и что с ним. Не умер ли? Могло ли ей когда-нибудь прийти на ум, что настанет время, когда она не будет знать: умер Коля или жив.

Она уже снова служила. От голодной смерти спасла ее только статья Кольцова в «Правде». Через несколько дней после этой статьи — замечательной статьи о клеветниках и перестраховщиках, понапрасну обижающих честных советских людей, Софью Петровну приняли на службу в одну библиотеку: не в штат, правда, а вне штата, но все-таки приняли. Она должна была особым библиотечным почерком писать карточки для каталога: четыре часа в день, сто двадцать рублей в месяц. На своей новой службе Софья Петровна не только ни с кем не разговаривала, но даже не здоровалась и не прощалась. Сгорбившись над заваленным книгами столом, в очках, с седыми стрижеными волосами, падающими на очки, она высиживала на стуле свои четыре часа, потом поднималась, складывала карточки стопочкой, брала палку с резиновым кончиком, стоящую всегда возле ее стула, запирала карточки в шкаф и медленно, ни на кого не глядя, выходила.

Целая колонна крабовых консервов возвышалась уже на подоконнике в комнате Софьи Петровны, под ногами скрипела крупа, и все-таки ежедневно после службы она отправлялась по универмагам закупать продукты еще и еще. Она покупала консервы, топленое масло, сушеные яблоки, свиное сало — всего этого было в магазинах вдоволь, но ведь когда Коля пришлет письмо, то или другое может как раз исчезнуть. А иногда рано утром, до службы еще, Софья Петровна брела на Обводный, на барахолку. Жестоко торгуясь, купила она там шапку с ушами, шерстяные носки. По вечерам, сидя в своей неряшливой, нетопленой комнате, она сшивала из старых тряпок мешки и мешочки. Они понадобятся, когда нужно будет уложить посылку. Из-под кровати торчали фанерные ящики разных размеров.

Она теперь почти никогда ничего не ела — только чай пила с хлебом. Есть не хотелось, да и денег не было. Продукты для посылки стоили дорого. Из экономии она топила у себя не чаще раза в неделю. И потому дома всегда сидела в старом летнем пальто и напульсниках. Когда ей делалось очень уж холодно, она забиралась в кровать. В холодной комнате убирать было незачем — все равно холодно и неуютно,— и Софья Петровна не мела больше пол и пыль сметала только с Колиных книг, с радио и шестеренки.

Лежа в кровати, она обдумывала очередное письмо к товарищу Сталину. С тех пор, как Колю увезли, писем товарищу Сталину она написала уже три. В первом она просила пересмотреть Колино дело и выпустить его на свободу, потому что он ни в чем не виноват. Во втором она просила сообщить, где он, чтобы она могла поехать к нему и увидеть его еще один раз перед смертью. В третьем она умоляла сказать ей только одно: жив он или умер. Но ответа не было. Первое письмо она просто опустила в ящик, второе сдала заказным, а третье — с обратной распиской. Обратная расписка вернулась к ней через несколько дней. В графе «расписка получателя» стояло что-то непонятное, с маленькой буквы: «...ерян».

Кто такой этот Ерян? И передал ли он письмо товарищу Сталину? Ведь на конверте было написано: «В собственные руки. Личное».

Регулярно раз в три месяца Софья Петровна заходила в какую-нибудь юридическую консультацию. С защитниками беседовать приятно, они учтивые, не чета прокурорам. Там тоже очередь, но пустяковая, не больше, чем на какой-нибудь час. Софья Петровна терпеливо ждала, сидя на стуле в коридорчике и опираясь обеими руками и подбородком на свою палку. Но ждала она зря. К какому бы защитнику она ни обращалась, каждый вежливо объяснял ей, что помочь ее сыну ничем, к сожалению, невозможно. Вот если бы дело его было передано в суд...

Однажды — это было ровно год, один месяц и одиннадцать дней после ареста Коли — в комнату Софьи Петровны вошла Кипарисова. Вошла она не постучавшись и, тяжело задыхаясь, опустилась на стул. Софья Петровна взглянула на нее с удивлением: Кипарисова опасалась, как бы дело Ивана Игнатьевича не связали с Колиным делом, и потому никогда не заходила к Софье Петровне. И вдруг пришла, села и сидит.

— Выпускают,— хрипло сказала Кипарисова,— людей выпускают. Сейчас в очереди сама своими глазами видела: один из выпущенных пришел за документами. Не худой, только лицо очень белое. Мы его все обступили, спрашиваем: ну, как у вас там было? Ничего, говорит.

Кипарисова смотрела на Софью Петровну. Софья Петровна смотрела на Кипарисову.

— Ну, я пойду,— Кипарисова поднялась.— У меня очередь в прокуратуре занята. Не провожайте, пожалуйста, чтобы нас в коридоре никто вместе не видел.

Выпускают. Некоторых людей выпускают. Они выходят на улицу из железных ворот и возвращаются домой. Теперь и Колю могут выпустить. Раздастся звонок, и войдет Коля. Или нет, раздастся звонок, и войдет почтальон: телеграмма от Коли. Ведь Коля не здесь, он далеко. Он пошлет телеграмму с пути.

Софья Петровна вышла на лестницу и отворила дверцу почтового ящика. Пусто. Пусто в его нутре. Софья Петровна с минуту смотрела на его желтую стенку — как бы надеясь, что взгляд ее вызовет из этой стенки письмо.

Не успела она вернуться к себе и вдеть нитку в иглу (она шила очередной мешок), как дверь ее комнаты опять отворилась без стука и на пороге показалась жена бухгалтера и за ней управдом.

Софья Петровна встала, загораживая спиною продукты.

Ни медсестра, ни управдом не поздоровались с Софьей Петровной.

— Вот видите! — сразу заговорила медсестра, указывая на керосинку и примус.— Обратите ваше внимание: целую кухню здесь устроила. Копоть, гадость, весь потолок закоптила. Разрушает домовое хозяйство. На кухне, с другими, не желает, видите ли, стряпать — гнушается с тех пор, как мы уличили ее в систематических покражах керосина. Сын в лагере, разоблачен как враг, сама без определенных занятий, вообще — подозрительный элемент.

— Вы, гражданка Липатова,— сказал управдом, оборачиваясь к Софье Петровне,— вынесите немедленно принадлежности на кухню. А не то в милицию заявлю...

Они ушли. Софья Петровна перенесла примус, керосинку, решето и кастрюли в кухню, на прежнее место, потом легла на кровать и громко зарыдала. «Я не могу больше терпеть,— говорила она вслух,— я не могу больше терпеть». И снова, высоким голосом, не сдерживая себя, по слогам: «Я не мо-гу, не мо-гу боль-ше тер-петь». Она произносила эти слова так убедительно, так настойчиво, будто перед нею стоял кто-то, кто утверждал, что, напротив, у нее еще вполне хватит сил потерпеть. «Нет, не могу, не могу, невозможно больше терпеть!»

К ней вошла жена милиционера.

— Вы не плачьте,— зашептала она, укутывая Софью Петровну в одеяло,— да вы послушайте, что я вам скажу! Они не по закону поступают. Муж говорит: раз не выслали вас — значит, никто права не имеет притеснять. Да вы не плачьте! Муж говорит, многих сейчас выпускают — бог даст, и Николай Федорович скоро вернется... Ейная дочка выходит замуж — вот мамаша и нацелилась на вашу комнату. А вы не выезжайте и все. Мамаша для дочки нацелилась, а управдом для полюбовницы для своей. Вот они и передерутся... Да вы не плачьте! Я верно вам говорю.

17

Зимою сквозь двойные рамы уличные звуки по ночам почти не проникали в комнату. Зато квартирные шорохи и скрипы слышны были Софье Петровне всю ночь. Настойчиво скреблись мыши — как бы они не подобрались к салу, купленному для Коли. В коридоре скрипели половицы и, когда мимо проезжал грузовик, вздрагиаали входные двери. В комнате бухгалтера каждые пятнадцать минут важно били часы.

Коля скоро вернется. В эту ночь Софья Петровна не сомневалась больше, что Коля скоро вернется. Кипарисова говорит и милиционер Дегтяренко... Он должен вернуться, потому что, если он не вернется, она умрет. Раз невиновных начали выпускать, значит, и Колю скоро выпустят. Не может же быть, чтобы других выпустили, а его нет. Коля вернется, и как тогда будет стыдно медицинской сестре! И управдому. И Вале. Они глаз на него не посмеют поднять. Коля не станет даже и здороваться с ними. Пройдет мимо, как мимо стены. Когда он вернется, ему сразу дадут какую-нибудь ответственную службу — и даже орден,— чтобы поскорее загладить свою вину перед ним. На груди у него будет орден, а с медицинской сестрой и с Валей он не станет здороваться...

Под утро Софья Петровна уснула и проснулась поздно, только в десять часов. Проснувшись, она вспомнила: что-то вчера было хорошее, что-то она узнала хорошее про Колю. Ах, да, людей стали выпускать из тюрьмы. И раз начали выпускать — значит, скоро и Коля вернется. И Алик. Все будет хорошо, все по-прежнему. Софья Петровна поймала себя на быстрой мысли: значит, и Наташа вернется. Нет, Наташа не вернется, но Коля — Коля уже едет домой, может быть, вагон его уже подъезжает к вокзалу.

Возвращаясь в этот день из библиотеки, Софья Петровна остановилась перед витриной комиссионного магазина и долго перед ней простояла. В витрине был выставлен фотографический аппарат «Лейка». Коля всегда мечтал о фотографическом аппарате. Хорошо бы продать что-нибудь и купить Коле ко дню его возвращения «Лейку». Фотографировать Коля научится быстро, ведь он такой умелый, такой сообразительный.

Весь день Софья Петровна была в приподнятом, радостном состоянии духа. Ей даже есть захотелось — впервые за много дней. Она уселась на кухне чистить картошку. Если приобрести для Коли фотографический аппарат, то вот затруднение: где он будет проявлять снимки? Необходима абсолютно темная комната. Ну, конечно, в чулане. Там дрова, но можно очистить место. Можно потихоньку часть своих дров унести в комнату и попросить жену Дегтяренко, чтобы и она взяла вязанку к себе — она не откажет,— вот и очистится место. Коля всех будет фотографировать: и Софью Петровну, и

близнецов, и знакомых барышень, только Валю и медсестру снимать ни за что не будет. У него составится целый альбом фотографий, но Вале и медсестре в этот альбом не попасть.

— У вас еще много дров в чулане? — спросила Софья Петровна жену Дегтяренко, когда та вошла в кухню за веником.— Вязанки этак три,— отозвалась жена Дегтяренко.— Вы любите сниматься? Я очень любила в молодости, у хорошего фотографа, конечно... Знаете, что? Колю выпустили.

— Да ну! — вскрикнула жена Дегтяренко и выронила веник.— Ну вот, а вы убивались! — Она расцеловала Софью Петровну в обе щеки.— Письмо прислал или телеграмму?

— Письмо. Только что получила. Заказное,— ответила Софья Петровна.

— А я и не слыхала, как почтальон приходил. С этими примусами совсем оглохнешь.

Софья Петровна ушла к себе в комнату и села на диван. Ей надо было посидеть в тишине, отдохнуть от своих слов, понять их. Колю выпустили. Выпустили Колю. Из зеркала смотрела на нее сморщенная старуха с зелено-серыми, седыми волосами. Узнает ли ее Коля, когда вернется? Она вглядывалась вглубь зеркала до тех пор, пока все не поплыло перед нею и она перестала понимать — где настоящий диван, а где отражение.

— Знаете, моего сына выпустили. Из тюрьмы,— сказала она в библиотеке сотруднице, писавшей карточки за одним столом с ней. Та до сих пор не слышала от Софьи Петровны ни единого слова, а Софья Петровна не знала даже, как ее зовут. Но ей необходимо было повторять свое заклинание.

— Вот как! — ответила сотрудница. Это была неряшливая, толстая женщина, вся осыпанная волосами и пеплом от папирос.— Ваш сын, вероятно, ни в чем не был виноват — вот его и выпустили. У нас не станут держать человека зря... И долго сидел ваш сын?

— Год два месяца.

— Что ж, разобрались и выпустили,— сказала толстая женщина, отложила папиросу и принялась писать.

Вечером, столкнувшись с Софьей Петровной в коридоре, милиционер Дегтяренко поздравил ее.

— С вас магарыч,— сказал он, пожимая ей руку и широко улыбаясь.— А когда же Николай Федорович к мамаше пожалует?

— А вот проработает месяц-другой на заводе, потом поедет в Крым отдыхать,— он так нуждается в отдыхе! — а потом и ко мне. Или, может быть, я к нему съезжу,— ответила Софья Петровна, сама удивляясь легкости, с какой она говорит.

Она была радостно возбуждена, и даже ноги носили ее быстрее. Ей хотелось каждую минуту говорить кому-нибудь: «Колю выпустили. Знаете? Выпустили Колю!» Но некому было говорить. Вечером она вышла в магазин за хлебом и сразу встретила любезного издательского бухгалтера. Еще день тому назад, увидев его, она перешла бы на другую сторону, потому что все, что напоминало ей службу в издательстве, причиняло ей боль. Но теперь она приветливо заулыбалась ему.

Он галантно поклонился и сразу спросил:

— Слыхали наши новости? Тимофеев арестован.

— Как? — смутилась Софья Петровна.— Ведь он же... ведь он же всех и разоблачил... вредителей...

Бухгалтер пожал плечами.

— А теперь его кто-то разоблачил...

— У меня, знаете, радость,— поспешно сказала Софья Петровна.— Сына выпустили.

— Вот как! Примите мои поздравления. А я и не знал, что сын ваш был арестован.

— Да, был, а вот теперь выпустили,— весело сказала Софья Петровна и простилась с бухгалтером.

Возвращаясь домой, она машинально заглянула в почтовый ящик. Пусто. Нет письма. У нее сжалось сердце, как всегда сжималось возле пустого ящика.

Ни строчки за целый год. Неужели потихоньку ни с кем невозможно переслать письмо? Год и два месяца нету от него вестей. Не умер ли он? Жив ли он?

Она легла в кровать и почувствовала, что ни за что не заснет. Тогда она приняла люминал, двойную порцию. И заснула.

18

— Сегодня я получила еще письмо,— рассказывала в кухне Софья Петровна на следующее утро.— Представьте, моего сына директор завода назначил своим помощником. Правой рукой. Местком приобрел для него путевку в Крым — роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится. На одной девушке, комсомолке. Ее зовут Людмила — правда, красивое имя? Я буду звать ее Милочка. Она ждала его целый год, хотя имела много других предложений. Она никогда не верила про Колю худому.— Софья Петровна победоносно взглянула на жену бухгалтера, стоящую возле своего примуса.— И теперь он на ней женится — сразу, чуть вернется из Крыма.

— Внучат, значит, нянчить будете,— сказала жена Дегтяренко.

Медсестра даже бровью не повела. Но через минуту, когда Софья Петровна, сходив к себе за солью, снова вышла в кухню, медсестра сказала ей — «Здравствуйте!», будто видела ее сегодня впервые. Первое «здравствуйте» за целый год.

У Софьи Петровны был выходной день, и она решила прибрать свою комнату. Если Коля еще и не на свободе, то ведь его должны освободить с минуты на минуту. Он придет, а в комнате такой разгром. Взглянув на себя мельком в зеркало, Софья Петровна решила, что ей необходимо снова начать завиваться. А то седые патлы висят. Женщина должна следить за собой до своего последнего дня. Она вытащила из-под кровати ящики и растопила ими печь. Фанера горела отлично, с веселым треском. Софья Петровна раздумывала, куда бы засунуть консервы, чтобы они не валялись на подоконнике? И к чему столько банок? Когда понадобятся, всегда можно в магазине купить.

Она решила вымыть окна и пол. Ноги у нее болели, как всегда, и поясница болела, но что же делать, надо потерпеть. Она разорвала мешки на тряпки.

Пока греется вода, надо вытряхнуть коврик. Софья Петровна вытащила коврик на площадку. В скважинах почтового ящика что-то темнело. Софья Петровна, тяжело ступая, пошла за ключом.

В ящике лежало письмо. Конверт был розовый, шершавый. «Софье Петровне Липатовой»,— прочла она. Ее имя было написано незнакомым почерком. И ни адреса, ни почтового штемпеля — ничего.

Забыв коврик на площадке, Софья Петровна кинулась к себе. Села у окна и вскрыла конверт. От кого бы это?

«Милая мамочка! — написано было в письме Колиной рукой, и Софья Петровна сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком.— Милая мамочка, я жив, и вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне думать, что ты, может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева — помнишь, такой мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но все без ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебе ведь известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу не видел, так как он учился в другом ВУЗе. И в школе я с ним никогда не дружил. Его, наверное, тоже сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай скорее, потому что здесь недолго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля».

Накинув пальто, нахлобучив шапку, с грязной тряпкой в руках, Софья Петровна побежала к Кипарисовой. Она боялась, что забыла номер квартиры Кипарисовой и не найдет ее. Письмо она сжимала в кармане. Она не взяла с собой палку и бежала, хватаясь за стены. Ноги подводили ее: как ни торопилась она, до Кипарисовой все еще было далеко.

Наконец она вошла в парадную и из последних сил поднялась на третий этаж. Здесь, кажется. Да, здесь. «Кипарисова М. Э.— I звонок».

Ей открыла какая-то девочка и сейчас же убежала. Пробравшись по темному коридору мимо шкафов, Софья Петровна наобум отворила дверь и вошла.

Кипарисова, в пальто и с палкой в руках, сидела посреди комнаты на сундуке. В комнате было совершенно пусто. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни занавесок, один телефон возле окна на полу. Софья Петровна опустилась на сундук рядом со старухой.

— Меня высылают,— сказала Кипарисова, не удивляясь появлению Софьи Петровны и не здороваясь с ней.— Завтра утром еду. Все до нитки продала и завтра еду. Мужа уже выслали. На 15 лет. Видите, я уже уложилась. Кровати нет, спать не на чем, просижу ночь на сундуке.

Софья Петровна протянула ей Колино письмо.

Кипарисова читала долго. Потом сложила письмо и запихала его в карман пальто Софьи Петровны.

— Пойдемте в ванную, тут телефон,— шепотом сказала она.— При телефоне нельзя ни о чем разговаривать. Они вставили в телефон такую особую пластинку, и теперь ни о чем нельзя разговаривать — каждое слово на станции слышно.

Кипарисова провела Софью Петровну в ванную, накинула на дверь крючок и села на край ванны. Софья Петровна села рядом с ней.

— Вы уже написали заявление?

— Нет.

— И не пишите! — зашептала Кипарисова, приближая к лицу Софьи Петровны свои огромные глаза, обведенные желтым.— Не пишите, ради вашего сына. За такое заявление по головке не погладят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление — вспомнят. И сына тоже упекут подальше... А через кого прислано это письмо? А свидетели где?.. А как доказать?..— Она безумными глазами обвела ванную.— Нет уж, ради бога, ничего не пишите.

Софья Петровна высвободила руку, открыла дверь и ушла. Она торопливо, но медленно, брела домой. Нужно было закрыться на ключ, сесть и обдумать. Пойти к прокурору Цветкову? Нет. К защитнику? Нет.

Выкинув из кармана письмо на стол, она разделась и села у окна. Темнело, и в светлой темноте за окном уже загорались огни. Весна идет, как уже поздно темнеет. Надо решить, надо обдумать,— но Софья Петровна сидела у окна и не думала ни о чем. «Следователь Ершов бил меня...» Коля по-прежнему пишет «д» с петлей наверху. Он всегда писал так, хотя, когда он был маленький, Софья Петровна учила его выписывать петлю непременно вниз. Она сама учила его писать. По косой линейке.

Стемнело совсем. Софья Петровна встала, чтобы зажечь свет, но никак не могла отыскать выключатель. Где в этой комнате выключатель? Невозможно вспомнить, где был в этой комнате выключатель? Она шарила по стенам, натыкаясь на сдвинутую для уборки мебель. Нашла. И сразу увидела письмо. Измятое, скомканное, оно корчилось на столе.

Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичку и подожгла письмо с угла. Оно горело, медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.

Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой.

ноябрь 1939 — февраль 1940
Ленинград

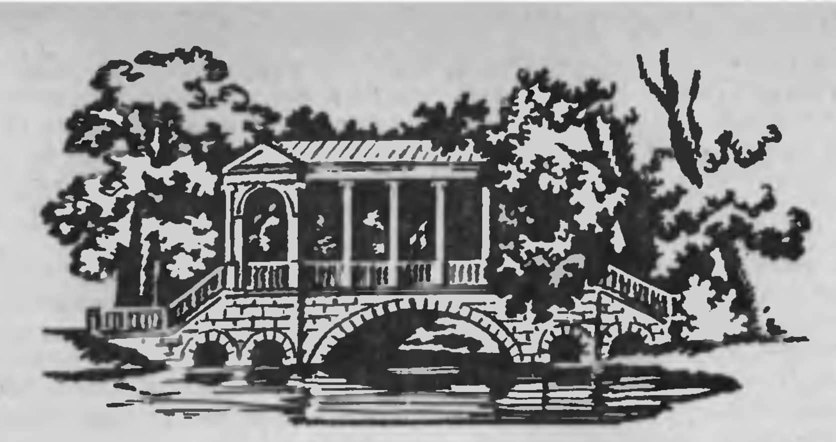


Рис Е. Власовой

Марина ВИРТА

ДОРОГА В ПУШКИН

1

От Павловска до Пушкина слышна
Одна неумирающая нота.
Высокая и легкая, она
Поет, парит без отдыха и сна,
А здесь, внизу, затишье и дремота.
А здесь, внизу, дорога и лесок,
И я опять автобус пропустила,
А дело к ночи, и земля остыла,
И я б, наверно, руки опустила,
Когда б не тот неясный голосок,
Как говорят, неведомая сила...
...От Павловска до Пушкина дойти
Недолгой канонической дорогой
Не странницей и нищенкой убогой,—
А быть достойной этого пути.
От Павловска до Пушкина — туда,
Где память — и деревья, и вода,
Где каждый шорох — и душа, и разум.
Пусть голосок не станет трубным гласом,
Но пусть в нем сохранится чистота.
И я себе сказала: «Не забудь
Сквозное полуночное звучанье».
И пело все — и миг, и мир, и путь,
А впереди — о, пусть хоть что-нибудь,
Пусть что угодно — только не молчанье.

2

В Царскосельском саду, осторожно цепляясь за ветви,
Паутина слетала. Откуда? — Наверно, с небес.
Сколько лет миновало, но нет ни светлей, ни заветней
Этой мысли короткой — никто никуда не исчез.
«Смуглый отрок бродил...» и, конечно, сейчас еще бродит.
«Здесь лежала его треуголка...». Вглядитесь — лежит.
Тот, кто хочет найти, непременно идет и находит,
И в зрачках удивленных его паутина дрожит.
Золотой паучок, что прядет эти прочные нити,
Притаился в ветвях, и его бесполезно искать.
Почему же не ладится жизнь? Потому что событий,
Поворотов крутых мы с тобой испугались опять.
Почему же не ладится стих? Потому что в основе
Бережливость лежит и желанье себя сохранить.
Но на пальцах твоих и на каждом несказанном слове,
Посмотри, как блестит царскосельская вечная нить.

□ □ □

Пускай стихи приходят с холодами,
С бессонницей и зрелыми годами,
А то, что раньше,— это не стихи,
А бунинское легкое дыханье,
Кисейной занавески колыханье,
Наивный трепет, лепет, пустяки.
Зато она и вправду хороша —
Свою судьбу принявшая душа,
Прервавшая себя на полуслове,
Как только различила между строк
Чужой потусторонний холодок
С чужими занятыми наготове.
Сегодня, ежечасно, ежегодно
Живи, душа, отныне ты свободна,
Чужое не возьмет тебя в полон.
Выращивай свое, но помни свято
О тех, кто путь твой осенил когда-то.
Пусть вечным будет —
только так и надо —
Твой первый ученический поклон.

□ □ □

Целебной осени прохлада
Напомнит нам, что там, вдали,
С ветвей Михайловского сада
Листву последнюю сожгли.
Давай об этом погорюем,
Но — в одиночку и впотьмах.
Твоим веселым поцелуем
Растаял август на губах.
Казалось бы, настали сроки
Печальный подвести итог.
Но льнет к рукам, но гладит щеки
С Невы таинственный дымок.
И я в ответ на милость эту
В сырой осенней полутьме
Взгляну спокойно в спину лету
И отверну лицо к зиме.
Приблудный лист ногой отбросив,
Ты не заметишь легкий дым.
Прощай! Зажгла фонарик осень
Над тусклым обликом твоим.

□ □ □

О, веселое чувство начала,
Безупречность поступка и жеста!
Все сбывалось, что я намечала,
Совпадали и время, и место.
Наше время — ноябрь моросящий,
Наше место — ни стен и ни крыши.
Замолкая все чаще и чаще,
Подниматься все выше и выше...
Замерев над Невой на мгновенье,
Торопливо давать обещанья.
Через несколько дней наводненье
И беспечное наше прощанье.
Что для нас поезда и разлуки,
Если выпало все и совпало,
Если в наши небрежные руки
Золотая снежинка упала.

□ □ □

Крутись, прекрасное кино,
Мелькайте, светлые повторы...
Ты узнаешь свое окно,
Уютный свет, льняные шторы?
Так прикажи своей душе
Не вспоминать о невеселом,
Зажги на первом этаже
Квадратик с блеклым ореолом.
И девочка с высоким лбом
В зашитой некрасивой кофте
Опять согнется над столом,
Топорща худенькие локти.
А на бульваре, на катке
Грохочет танго «Марианна»,
Судьба с тобой накоротке,
И счастье здесь, невдалеке,
И в срок — не поздно и не рано —
Вся жизнь прочтется без обмана
В одной коротенькой строке.

□ □ □

В. Л.

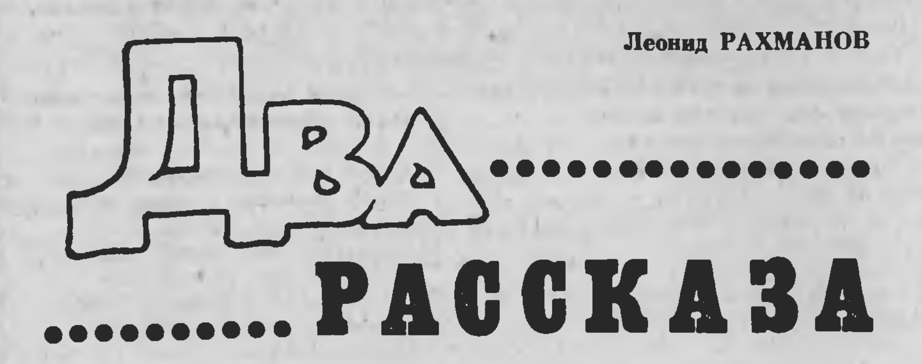
Мне снятся сны, заляпанные краской,
Одно и то же: кисти и холсты,
Окно глядит на дворик ленинградский,
А за окном — ворота и кусты.
Мелькнет рукав застиранной ковбойки,
Взметнутся шторы, пропуская свет.
Мне двадцать лет, и я живу на Мойке,
А за стеной художник — мой сосед.
И так спокойно, так спокойно спится,
Покуда длится долгий этот сон.
Проснусь — а за окном шумит столица,
И на столе трезвонит телефон.
Но в зимний день,
заснеженный и краткий,
Когда ударит ветер по стеклу,
Махну рукой на все свои повадки
Медлительной спокойной ленинградки
И побегу на «Красную стрелу».
В сугробах город. Мойка в лед одета —
Моих дорог начало и конец.
Художники стоят у парапета,
Натура им — Михайловский дворец.
Один из них подышит на ладони
И вновь за кисть — и так до темноты.
И у него на маленьком картоне
Возникнут полустертые черты.
Так окликают в памяти кого-то,
Так ловят ускользающую нить...
Мне двадцать лет. Стою вполоборота.
А за окном — чугунные ворота,
Они открыты. Их нельзя закрыть.

В феврале исполняется восемьдесят лет одному из старейших писателей Ленинграда Леониду Николаевичу Рахманову.

Сегодня Л. Рахманов — живая страница истории советской литературы, нашего театра, кинематографа. Более шести десятилетий трудится он на ниве социалистической культуры. Первые же его рассказы, опубликованные в 1927 году, вызвали пристальный интерес читателей и критики. С тех пор вышли десятки книг, сценариев, пьес Леонида Николаевича (кто не знает пьесы «Беспокойная старость» и фильма «Депутат Балтики»!), очерков и корреспонденций — в годы боев с белофиннами и Великой Отечественной войны он был фронтовым корреспондентом...

Сегодня «Нева» представляет читателю новые рассказы старейшины цеха ленинградских литераторов.

Леонид РАХМАНОВ



ВА-БАНК!

В нашем уездном городке с его десятью тысячами жителей до революции существовали два банка — Волжско-Камский и Сибирский. Бухгалтером Волжско-Камского банка был Михей Иванович Глухих, о нем и его семье я уже рассказал в своей книге «Люди — народ интересный», в главе «Соседи». Сибирский банк, помещавшийся на главной улице города, то есть в самом центре, очевидно, был богаче, значительнее,— во всяком случае, его директор имел вельможную внешность. А вот его жена была приветлива и гостеприимна. Это она устроила на рождестве в своем доме костюмированный вечер, в котором я, семилетний мальчик, принял деятельное участие в виде «волка»... Массу хлопот потребовал от мамы и тети Ани мой волчий наряд, сшитый не то из козьих, не то из овечьих шкур.

Нет, козы в нашем домашнем хозяйстве появились позже, в самые трудные годы — в восемнадцатом, девятнадцатом, а маскарад состоялся в 1915-м... Вспомнил! Мех, в который я был облачен, был не козий, не овечий, а заячий, и это еще смешнее: волк в заячьей шкуре! Кстати, шкурки эти были тогда весьма популярны: задешево продавался такой мех и для шубы, и для воротников, для горжеток.

Как мы с мамой попали в богатый дом на богатый праздник? Догадываюсь, что нас познакомила с хозяйкой дома жена бухгалтера Волжско-Камского банка, Анастасия Васильевна Глухих: две эти семьи были несомненно знакомы, а может быть, и дружны — люди одной социальной среды, хотя Глухих был куда проще и симпатичнее Сурнина. Судьбы их в начале революции оказались несхожи. Глухих так и продолжал трудиться на бухгалтерском поприще, а более именитый Сурнин в первый год новой эры претерпел неприятности: его заключили в тюрьму как «заложника» (существовал в пору гражданской войны такой метод воздействия на местную буржуазию).

Недавно я нашел у себя несколько любопытных писем от его жены, адресованных мне в 1962—1963 годах как автору книги «Очень разные повести». Книгу эту дала почитать Сурниной (жаль, не помню ее имени-отчества) все та же Анастасия Васильевна Глухих, которая продолжала интересоваться нашей семьей, хотя мы уже много лет не встречались. В первом письме, от 23 августа 1962 года, присланном моей маме, Сурнина пишет: «Я была удивлена, когда Анастасия Васильевна порекомендовала мне прочесть эту

книгу. Я прочла и вспомнила, что когда-то видела в театре и в кино чудесную пару стариков Полежаевых... Помню и вашего сынка Леню 6—7-летним мальчиком... А мой сынок Миша погиб на фронте».

Почти через год, 2 июня 1963 года, в письме уже ко мне, Сурнина довольно подробно рассказала о себе, о своих злоключениях в 1918 году и о дальнейшей, сравнительно благополучной жизни. Вспомнила она и о маскараде.

«Этот детский маскарад — последний аккорд нашей жизни при царизме. А потом... потом чего только не пришлось пережить! Мужа арестовали и увезли в Вятку, детей добрые люди отвезли к моим родителям в Глазов, все имущество в амбаре запечатано революционной печатью. Ни дома, ни семьи, ни гроша в кармане, не знаю, где переночевать. С утра до вечера добиваюсь приема у Журбы: матрос-анархист, правитель города, он мигом расстрелял на Верхней площади всех воров и бандитов. Пока попала к нему, пережила грубость, ругань, плевки, но добилась: имущество разрешили из амбара взять и немедленно вытряхиваться из города.

Теперь порой удивляюсь — откуда у меня брались силы, физические и душевные: разыскала и запаковала из вещей все, что возможно (мебель, конечно, бросила), приехала на вокзал со своим скарбом: восемнадцать мест! А на вокзале ступить некуда, народу тьма тьмущая. Сидят, лежат неделями, ждут, когда попадут в поезд. Подхожу к двери комнаты власть имущих,— там опять же матросы,— слышу такой разговор: „Эх, ребята, какую я сегодня машину завел для своей Катьки! Мировая! Но нет иголки...“ Хохочут над ним все, а я вспомнила, что у меня в портмоне лежит иголка к зингеровской машине. Посмотрела: тут. Вынула и смело вошла в комнату. Окрик: „Чего лезешь, что тебе надо?“. А я смело так: „Слышала, мол, что у вас есть швейная машина и нет иголки, а у меня иголка имеется... Возьмите, пожалуйста, мне она не нужна“. Что тут началось, вспомнить страшно! Матрос вскочил с места и давай меня в объятиях тискать: „А к моей-то машине,— говорит,— подойдет она?“ —„Подойдет,— говорю,— обязательно подойдет!“ — „Вот Катька-то моя будет рада... Вот это да, подфартнуло мне! Что тебе,— говорит,— надо?“ Я все выложила, кто я и что мне надо. „Мол, надо ехать в Вятку с тяжелым большим багажом“. Он кричит: „Эй, кто дежурный?“. Явился матрос. Тот отдает ему приказ: „Вот эту гражданку с ее имуществом погрузи в первый же поезд... через час как раз будет служебный состав. Дай ей провожатого до Вятки, там пусть найдет подводу и доставит ее на квартиру, куда она укажет. Понял?“.— „Есть“,— отвечает. А тот: „Мне ты черкни записочку, что доехала хорошо и вообще все в порядке. Езжай!“.

Вот так я сохранила свои пожитки: иголка помогла! В Вятке жила у подруги в углу без прописки, без карточек хлебных. Ходила по местным деревням, меняла все, что только могла, на хлеб, на картошку, лук, репу и прочее... Готовила из этого обед, кормилась сама и кормила в тюрьме мужа. Была бита, ругана, попала как-то даже под поезд, но, на счастье детей, судьба меня и тут сохранила. Когда отлежалась от ушибов и ссадин, начались мои хлопоты об освобождении мужа. Увенчались успехом, освободили! На поруки был взят Губпродкомом. Вскоре затем взяли в армию как ревизора-инспектора. Гнали тогда Колчака.

А я съездила в Глазов за ребятами, поступила на работу в Главпродукт счетоводом — и эвакуировалась в числе семи семейств в Сарапул. Там жилось сносно, но приехали мы поздно осенью, и на все семь семейств нам дали делянку леса за Камой: „Сами рубите, сами возите и печку топите этим сырьем“. Меня назначили кашеваром. Детей отдали одной немощной служащей. Приезжала я в город в субботу, стирала, мыла — и опять в лес. Завела тогда себе лапоточки, износила три пары, но надевать их как следует так и не научилась.

Как жена полевого контролера армии я имела некоторые привилегии от военкомата. Давали лошадь, и я сама ездила в лес за сучьями. Много было слез и смеха, но надо жить и воспитывать детей. Когда-то, в далекое время, меня прислуга звала барыней, а пришли деньки, когда и мне самой пришлось стать — нет, не прислугой, такого звания теперь не было,— а домработницей. Это когда нужно было учить детей дальше, после окончания ими школы. Муж

находил, что ученья хватит: дочь может стать счетоводом, сын — шофером,— дело-то денежное — на ассенизационной машине возить ночное золото...

Я всегда мечтала иметь дочь — врача, а у сына было призвание к летному делу. В пылу спора с мужем решила: стану сидеть на хлебе и воде, а выучу. Но вскоре почувствовала власть и силу главы дома и свою беспомощность. Муж стал выдавать на содержание всей семьи пятьдесят рублей в месяц: на питание, одежду, обувь, квартиру, дрова и прочее — словом, на все житейские нужды. Пришлось и с жильем потесниться. У нас было три комнаты, но мы с сыном построили в кухне полати, там и спали ребята. Я кровати свои перенесла в столовую, а две комнаты сдала квартирантам: муж и жена — два педагога, с полным пансионом.

Вот тут-то я и заделалась домработницей! Зато дочка поступила в Ветинститут, а сын в Электрорадиотехникум в городе Горьком. Сыну дали стипендию в 70 рублей, а Леночка получила стипендию только на втором курсе, и то по просьбе всей группы. В первый год начальство мотивировало отказ в стипендии тем, что оклад отца по тем временам был солидный — 250 рублей, хотя, как я сказала, он давал на семью всего 50...

Тяжело мне жилось, но еще раз скажу: детей выучила. Сын, занимаясь в техникуме, проходил без отрыва от занятий учебу в аэроклубе. Затем уехал в Оренбург в школу летчиков, которую после двух лет окончил и как отличник оставлен при школе инструктором. Но война разрушила его мирные планы. Ушел добровольцем, воевал до 1944 года, командовал авиаполком, получил звание капитана, награжден двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды и погиб в Югославии за пять месяцев до окончания войны. Погиб за Родину, за счастье всех наших детей. Горжусь моим Мишей.

Дочь по окончании института сразу же стала работать в медицинских учреждениях, в лаборатории. За двадцать семь лет работы кое-чему научилась, и только благодаря ей я и дожила до такого почтенного возраста. 80 лет дают себя знать на каждом шагу. Ведь жизнь трепала и вправь, и вкось, и поперек, да еще болезнь ног, закупорка вен, трофические язвы... Зато есть что вспомнить: как говорится, жила ва-банк, или на всю катушку!..

Извини меня, Леня, расписалась я что-то. А где мама? Если у вас, в Ленинграде,— сердечный привет ей. Всего лучшего всей вашей семье. С. Сурнина».

Больше я писем от нее не получал. Леночка мне ничего не написала — вряд ли она вообще помнила обо мне и о том маскараде... Только у очень старых людей бывают внезапные вспышки памяти!

1986, август.

ТРОЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

Они шли под руку, как мало кто нынче ходит. Молодые предпочитают обнять на ходу друг друга за плечи, за талию,— гулять под руку считается теперь старомодным. Впрочем, Галя и Павел как раз далеко не молоденькие — возраст почти пенсионный...

— Куда мы идем? — спросила Галя, когда они повернули за угол.

— Не узнаешь дороги?

— Вижу, улица Луначарского. А куда мы по ней направились?

— На кладбище,— отрывисто сказал он.

— Зачем? — удивилась она.

— Забыла, кого мы там вчера хоронили?

— Ничего не забыла... Но что мы будем там делать? За один день никто не успел разорить могилу...— И после недолгой паузы, не скрывая иронии: — Или уже успел соскучиться по Василию?

Он ничего не ответил. Галя не то смущенно, не то обиженно отвернулась.

Кладбище было близко от города, сразу же за вокзалом. Гудки паровозов порой оживляли мертвую тишину, казалось, всегда присущую кладбищу, если там не звучал похоронный марш и не произносились погребальные речи.

Входя в калитку деревянных ворот, на арке которых запомнилась с детства надпись: «Царю небесный, помилуй нас», они вынуждены были разнять руки — калитка была довольно узкая. И сразу встретила их унылая череда могил с белыми пирамидальными памятниками и плоскими серыми надгробиями. Гале и Павлу предстояло пройти их все: знакомая им могила была на том конце кладбища.

— Может, все-таки скажешь,— спросила она,— тебе действительно мало вчерашней церемонии?

— «Церемонии»! Скажи еще — «тягомотной церемонии»!

— А тебе она была приятна?

— Она мне была вот так! — он жестко провел ребром ладони по горлу.

Галя живо показала ему рукой вдоль дорожки, в дальний угол.

— Смотри, это же наш Руслан! А я-то думаю, куда он со вчерашнего дня исчез...

Зрение у Гали было хорошее, она метров за двадцать увидела, что у самой могилы, уткнув морду в холмик, лежала белая, с черными крапинами, большая собака.

Когда они подошли к могиле, Галя ласково позвала:

— Руслан! Русланушка!

Собака не обращала на них внимания. Впрочем, когда Галя хотела ее погладить, Руслан ощетинил загривок и зарычал.

— Ты что, не узнал меня? — удивилась Галя.— Это же я, твоя хозяйка...— Она снова приблизила руку к собачьей голове. Руслан зло оскалил зубы.

— Да что с ним? — удивлялась Галина.— Может, его кто-нибудь побил?

— По-моему, все обстоит очень просто,— сказал Павел.— Он не признает тебя за хозяйку.

— Но почему? Я же утром вчера кормила его...

— Все равно, хозяин для него тот, кто лежит вот здесь, под землей.

— И охота тебе сочинять небылицы! А вот мы сейчас соблазним нашего песика...— Галя пошарила в сумочке и вытащила коричневую ириску.— На!

Собака продолжала зло скалить зубы.

Павел с тоской огляделся. Толпившиеся вокруг них могилы были все новенькие, свеженькие, если не вчера, не сегодня, то всего несколько дней назад появившиеся на свет. Рыжие земляные насыпи, щедро усыпанные еще не успевшими завянуть цветами...

Они с минуту молча постояли возле могилы.

— Я знаю,— тихо сказала Галя,— ты считаешь меня сейчас тупой или жестокой... Но Василий же не ради нас умер...

— Не ради нас, но из-за нас,— твердо сказал Павел.

— Ну, это еще неизвестно. Не сразу же он заболел после моего ухода.

— Да, успело пройти две недели.

— Вообще неизвестно, отчего бывает инфаркт — от плохого сердца или от переживаний... Скажем, у Лизы: она была счастливейшая из женщин!

Они еще помолчали.

— Да, у Василия теперь не спросишь,— сказал Павел.— Впрочем, вдруг бы сейчас земля зашевелилась, как говорят — «разверзлась», он встал и сказал бы: «Руслан, как ты относишься к этим людям? Имеют они право считать себя лучше тебя?».

— Значит, по-твоему, если бы я, полюбив тебя, продолжала жить с ним, это было бы замечательно. А так я хуже собаки?

— Я имею в виду нас обоих: я ничуть не лучше тебя.

— Я устала стоять... давай сядем хоть на чужую лавочку...

Они сели у соседней могилы, где, как видно, недавно была похоронена какая-то женщина (судя по надписи, вдвое старше Василия). Рядом с насыпью была аккуратно поставлена скамейка, пока еще не покрашенная.

— Скажи, пожалуйста,— тихо заговорил Павел,— ты когда-нибудь любила его?

— Конечно, любила. Иначе не вышла бы за него замуж.— И помолчав: — А что, в тебе заговорила ревность? Вот это мне уже приятно!

— Любила сильнее, чем любишь теперь меня?
— Не помню... Я же тогда была молодая — еще не нажила опыта!
— А потом, значит, нажила... И многих ты между ним и мной любила?
— Боюсь, что собьюсь со счета! — Галя звонко захохотала.— Не ожидала я от тебя такой активной ревности! — она положила свою ладонь на его ладонь.— Успокойся, я никого не любила, кроме тебя и его. Разве что иногда любовалась чьим-нибудь красивым профилем! Обещаю, что и любоваться больше никем не стану... Только тобой!
Она обняла его за плечи.
— Люби меня, как я тебя, и все у нас будет хорошо! Веришь?
Павел молчал.
— Что молчишь? Я вижу, сегодня тебе вообще не до любви.
— Ты права,— тихо заговорил Павел.— Мне неприятно здесь говорить про любовь. Все кажется, что он нас слышит...
— Неужели тебе всерьез так кажется? Надеюсь, только здесь... не дома!
— Знаешь, уйдем! — он резко поднялся со скамьи.— Мне неприятен этот разговор.
— Ты же сам его начал...
— Да, ты права. Извини.
Он помог ей встать, и они пошли по аллее, минуя белые пирамиды и серые надгробия. Павел даже ни разу не оглянулся.
Когда они вышли из ворот кладбища, солнце было уже низко, за кустами, и аллея, по которой они прошли, заметно помрачнела.
— Надеюсь, идем домой обедать? — не без яда спросила Галя.— Если ты не решил поститься...
Он промолчал. А немного погодя спросил:
— Скажи, если бы он хворал дома, а не в больнице, ты бы ухаживала за ним?
— Ты же отлично знаешь, что я и в больнице его навещала.
— Не уверен, что это облегчало его самочувствие. Может, как раз наоборот — убивало!
— Послушай, почему это тебя все грызет? Зачем тогда ты со мной сошелся?
— Тогда ты уверяла меня, что вы оба разлюбили друг друга. Но ведь в таком случае его бы не хватил инфаркт...
— Знаешь, мне это надоело. Лучше давай закажем еще одну могилу, ляжем туда и дело с концом!
Они долго шли молча.
Лишь у самого дома Галя оглянулась и грустно сказала:
— Руслан так и не пошел с нами...

1987



Анатолий КРАСНОВ

⊡ ⊡ ⊡

Оберегая наши чувства,
Природа, верная уму,
Ведет нас медленно и чутко
К преображенью своему.
По установленному коду,
Где все — расчет, а не судьба,
Она не смотрит на погоду,
А смотрит в самое себя.

И нету вечного итога
Там, где движенья не прервать...
Не возвышать ее убого
Или надменно покорять,—
А понимать моря и сушу,
Восход звезды, теченье рек,
Как бы одну живую душу,
Которой создан человек.

⊡ ⊡ ⊡

Светится зеленая трава
И в огнях цветения деревья,
Кто-то снова говорит слова,
Полные безумного доверья.

Никакого холода нигде,
Нежность всю душа вот-вот раздарит,
Только взглядом прикоснись к звезде
На рассвете — и она растает.

И опять один другому мил
Человек, единственный на свете.
И опять ликует звездный мир,
Как он ликовал тысячелетья.

И душа надежде отдана,
Голосу идущей жизни внемля.
Наступает новая весна,
Радуя и небеса, и землю.

⊡ ⊡ ⊡

Есть смена лет,
я не перечу,
Никто не мог остановить
Зимы торжественную встречу
С весной, которой снова быть.
Как говорится, слава богу,
Зазеленели вновь поля,
И ни к началу, ни к итогу
Не приближается Земля.

Нет никакой во мне обиды,
Что каждой новою весной,
Замкнув кольцо своей орбиты,
Она — все та же, я — иной.
Но тем мне дорого движенье
И непрерывность бытия,
Что в смене лет
есть продолженье
Всего, к чему причастен я.

⊡ ⊡ ⊡

Твоя душа обнажена,
Среди зимы, под солнцем лета
Она болит, обожжена
Лучами пламени и света.
Когда отринувший запрет,
Проходишь ты сквозь полигоны,
Не соглядатай, а поэт,
Носивший некогда погоны,

Так возмущают взор и слух
Ума людского извращенья,
И перехватывает дух,
И ты бежишь от искушенья
В себе жестокость возбудить...
Прочь от безумного металла...
— Умейте ближних возлюбить,—
Седая вечность причитала.

◘ ◘ ◘

Зима,
какое утро!
Зари морозный свет!
И как из перламутра
Чуть розоватый снег.

И день ликует, светом
Сверкающим залив
Лежащие под снегом
И берег, и залив.

И встреченный зимою,
Вбирая этот свет,
Ты помнишь:
за кормою
Стальной и пенный след.

Снега застыли пеной...
Поземкой голубой
В их раковине белой
Тебе шумит прибой.

◘ ◘ ◘

За чертой невидимого мола,
Полночью идя на корабле,
Чувствую:
ритмично бьется море,
Чуть фосфоресцируя во мгле.

Далеко-далече взглид нетленный
И маяк, взбегающий на мыс...
Дышит море,
словно мозг Вселенной,
Где еще царит живая мысль.

ПАМЯТИ НИКИТЫ СУСЛОВИЧА

Кончается невыдуманный путь,
И, уходя, не выключаешь слух ты:
Там корабля разорванная грудь,
Припавшая ко дну полночной бухты.

Там вещих звезд бессонные глаза,
Немая бездна у обрыва света,
«Летучего голландца» паруса,
Немая накрененная планета.

И ты писал...
Последний залп души,
Слова любви и нежности прощальной.
Хочу сказать: живи, мой друг, пиши...
И не могу в осенний день печальный.

Пусть не дано грядущее нам знать,
Но голос твой в людском я слышу хоре...
Уже о флоте некому писать,
И ты опять в свое уходишь море.

Франц КАФКА



ЗАМОК

Роман

Рис. Г. Никеева

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наверху К. нашел учителя. Комнату, к удовольствию К., почти нельзя было узнать, так потрудилась над ней Фрида. Воздух был свежий, печь основательно натоплена, пол вымыт, кровать прибрана, вещи служанок — весь этот омерзительный хлам вместе с фотографиями — исчезли, стол, который раньше, куда бы ты ни повернулся, прямо-таки таращился тебе вслед своей усеянной грязными пятнами доской, был покрыт белой вязаной скатертью. Теперь уже можно было и гостей принимать; то, что маленький запас белья К. был развешан около печки на просушку — Фрида, очевидно, выстирала его рано утром,— мешало мало. Учитель и Фрида сидели у стола и встали, когда К. вошел. Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., в рассеянности и все еще переживая разговор с хозяйкой, начал извиняться за то, что он до сих пор все не мог посетить учителя; получалось, будто он считает, что учитель, потеряв терпение из-за того, что К. не идет, пришел к нему сам. Но учитель, с его солидной манерой, казалось, вообще теперь только начинал медленно припоминать, что когда-то они с К. договорились о чем-то вроде визита.

— Так это вы, господин землемер,— медленно произнес он,— тот приезжий, с которым я несколько дней назад разговаривал на площади перед церковью?

— Да,— коротко ответил К.; то, что по своей тогдашней беспомощности он в тот раз стерпел, здесь, в своей комнате, он не обязан был терпеть.

Он повернулся к Фриде и стал советоваться с ней по поводу одного важного визита, который он должен немедленно сделать и при котором ему нужно быть одетым как можно лучше. Фрида тут же, ни о чем не расспрашивая К., подозвала помощников — они как раз были заняты исследованием новой скатерти на столе — и приказала им как следует вычистить во дворе одежду К. и его сапоги, которые он тут же начал стаскивать. Сама она схватила с веревки одну рубашку и побежала на кухню гладить ее.

К. остался наедине с учителем, который

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 1.

уже снова молча сидел у стола; он заставил его еще немного подождать, стащил с себя рубашку и начал мыться под умывальником. Только теперь, стоя к учителю спиной, К. спросил о причине его прихода.

— Я пришел по поручению господина старосты общины,— сказал тот.

К. был готов выслушать поручение. Но так как сквозь плеск воды слова К. было трудно разобрать, учителю пришлось подойти ближе — и он встал рядом с К., прислонясь к стене. К. извинил свое умывание и свои хлопоты настоятельностью намеченного визита. Учитель не обратил на это внимания и сказал:

— Вы были невежливы с господином старостой общины, со старым, заслуженным, многоопытным, почтенным человеком.

— Чтобы я был невежлив, этого я не заметил,— проговорил, тщательно вытираясь, К.,— а что у меня было о чем думать, кроме изящных манер, это верно, потому что речь шла о моем существовании, которому угрожает ваша позорная служебная неразбериха, мне нет нужды рассказывать вам о ней в подробностях, поскольку вы сами являетесь деятельным членом этих служб. Что, староста общины жаловался на меня?

— На кого ему тут жаловаться? — сказал учитель.— И даже если бы было на кого, разве он стал бы жаловаться? Я просто составил под его диктовку маленький протокол о вашей беседе и из него узнал достаточно о доброте господина старосты и о характере ваших ответов.

Разыскивая свою расческу, которую, должно быть, Фрида куда-то убрала, К. переспросил:

— Что? Протокол? Составленный задним числом, в мое отсутствие, кем-то, кто вообще не был при разговоре? Так не делается. И почему вообще протокол? Это что, была официальная процедура?

— Нет,— сказал учитель,— полуофициальная, и протокол — тоже полуофициальный; это было сделано только потому, что у нас во всем должен быть строгий порядок. Как бы там ни было, протокол теперь существует и служит не к вашей чести.

К., который нашел, наконец, расческу — она завалилась в кровать,— ответил уже спокойнее:

— Пусть существует. Вы пришли для того, чтобы сообщить мне это?

— Нет,— сказал учитель,— но я не автомат и должен был высказать вам свое мнение. Данное мне поручение, напротив, является еще одним доказательством доброты господина старосты; я подчеркиваю, что мне эта доброта абсолютно непонятна и что я исполняю это поручение только по долгу службы и из уважения к господину старосте.

К., умытый и причесанный, сидел теперь в ожидании рубашки и остальной одежды у стола; его мало интересовало, с чем пришел к нему учитель, к тому же на него подействовало то, что хозяйка была о старосте столь невысокого мнения.

— Обед, наверное, уже кончился? — спросил он, задумавшись о дороге, которая ему предстояла, затем, поправляясь, добавил: — Вы хотели мне передать что-то от старосты.

— Н-да,— сказал учитель и пожал плечами, как бы снимая с себя всякую личную ответственность.— Господин староста опасается, что в случае, если решение вашего вопроса слишком надолго затянется, вы предпримете что-нибудь необдуманное на свой страх и риск. Я, со своей стороны, не знаю, почему он этого опасается; на мой взгляд, самое лучшее, чтобы вы именно делали все, что захотите. Мы не ваши ангелы-хранители и не обязаны бегать за вами повсюду. Ну, хорошо. Господин староста иного мнения. Само решение, являющееся делом графских инстанций, он, разумеется, ускорить не может, однако же в пределах своей компетенции он хочет принять одно предварительное, поистине великодушное решение — только от вас зависит согласиться на него или нет: он предлагает вам пока что место школьного сторожа.

На то, что ему было предложено, К. сначала почти не обратил внимания, но сам факт, что ему было что-то предложено, показался ему немаловажным. Это говорило о том, что, с точки зрения старосты, К., обороняясь, был в состоянии проделать такие вещи, защита от которых оправдывала для общины даже некоторые издержки. И как серьезно к этому отнеслись! Учителя, который уже порядочно его здесь ждал, а до этого еще составлял протокол, староста, должно быть, попросту пригнал сюда. Учитель, заметив, что он все-таки заставил К. задуматься, продолжил:

— Я представил свои возражения. Я указал на то, что до сих пор никакого школьного сторожа не требовалось, жена церковного сторожа время от времени убирает, а фрейлейн Гиза, учительница, за этим следит. У меня достаточно мороки с детьми, я не хочу вешать себе на шею еще какого-то школьного сторожа. Господин староста возражал, что, тем не менее, в школе очень грязно. Я отвечал, в соответствии с истиной, что это не так уж страшно. И, добавил я, разве с этим станет лучше, если в качестве школьного сторожа мы возьмем мужчину? Совершенно ясно, что нет. Помимо того, что он в такой работе ничего не смыслит, в школьном здании ведь только две больших классных комнаты без вспомогательных помещений, значит, этот школьный сторож должен жить со своей семьей в одной из классных комнат: спать, может быть, даже готовить — что, естественно, чистоты не прибавит. Но господин староста указал на то, что эта должность является для вас спасением в вашей нужде, и что вы поэтому приложите все свои силы, чтобы хорошо ее исполнять; далее, господин староста полагал, что вместе с вами мы приобретаем руки вашей жены и ваших помощников, так что не только школу, но и школьный сад можно будет содержать в образцовом порядке. Все это я с легкостью опроверг. В конце концов господин староста не мог уже больше решительно ничего привести в вашу пользу, засмеялся и сказал только, что вы все-таки землемер и поэтому сможете с особенно красивой прямизной разбить в школьном саду клумбы. Ну, на шутки возражать невозможно, и я отправился к вам с этим поручением.

— Напрасные хлопоты, господин учитель,— сказал К.— Я не собираюсь принимать это место.

— Превосходно,— сказал учитель,— превосходно, вы его отклоняете без всяких оговорок,— и взяв шляпу, он поклонился и вышел.

Сразу вслед за тем наверх пришла Фрида; в лице ее была растерянность, рубашку она принесла невыглаженной, на вопросы не отвечала. Чтобы развлечь ее, К. стал рассказывать об учителе и его предложении, едва услышав это, она бросила рубашку на кровать и снова выбежала из комнаты. Вскоре она вернулась, но не одна, а с учителем, который выглядел раздосадованным и даже не кивнул. Фрида попросила его проявить немного терпения — она явно уже несколько раз делала это, пока они поднимались,— потом потащила К. через какую-то боковую дверь, о существовании которой он даже не подозревал, на соседний чердак и там, задыхаясь от волнения, рассказала, наконец, что с ней произошло. Хозяйка, возмущенная тем, что она унизилась перед К. до признаний и, что ей еще досаднее, до уступок в отношении беседы Кламма с К. и не добилась этим ничего, кроме, как она сказала, холодного и вдобавок неискреннего отказа, не намерена больше терпеть К. в своем доме; если у него есть связи в Замке, пусть он их использует, но только побыстрее, потому что уже сегодня, уже сейчас он должен оставить этот дом, и только по прямому приказу и настоянию инстанций она примет его снова, однако она надеется, что до этого не дойдет, потому что и у нее есть связи в Замке, и она сумеет ими воспользоваться. К тому же он и попал-то в этот трактир только вследствие небрежности хозяина, да и вообще он ведь ни в чем не нуждается, потому что еще сегодня утром хвастался, что есть такое место, где для него готов ночлег. Фрида, разумеется, остается, если бы Фрида выехала вместе с К., то она, хозяйка, была бы глубоко несчастна; при одной только мысли об этом она прямо в кухне, рыдая, рухнула на пол возле плиты, бедная женщина с больным сердцем! Она просто не могла поступить иначе, ведь задета — в ее представлении, по крайней мере,— просто-таки честь сувениров Кламма! Вот какие теперь дела с хозяйкой. Конечно, Фрида пойдет вслед за ним, К., куда он захочет, через снега и льды, об этом, разумеется, нечего больше и говорить, но все равно положение их обоих все-таки очень плохое, поэтому она предложение старосты приветствует с большой радостью, пусть даже это для К. неподходящее место, но ведь — это надо определенно подчеркнуть — это не надолго, можно будет выиграть время и легко найти другие варианты, даже если окончательное решение окажется неблагоприятным.

— В крайнем случае,— воскликнула под конец Фрида, уже обхватив шею К. руками,— мы уйдем отсюда, что нас держит тут, в деревне? А пока — ведь правда, миленький? — мы примем это предложение. Я привела обратно учителя, ты скажешь ему: «Принято», больше ничего, и мы переселимся в школу.

— Худо дело,— сказал К., хотя вполне всерьез он так не думал, ибо квартира его беспокоила мало; впрочем, он очень замерз, стоя в одном белье на этом чердаке, где с двух сторон не было ни стен, ни стекол и насквозь продувало холодным ветром,— ты уже комнату так хорошо прибрала, а нам теперь выезжать! Не хотелось бы, не хотелось бы мне принимать это место, для меня неприятно даже секундное унижение перед этим плюгавым учителем, а тут он еще будет моим начальником. Если б хоть ненадолго можно было остаться здесь; быть может, уже сегодня к вечеру мое положение изменится. Если б хоть ты здесь осталась, можно было бы выждать и дать учителю только какой-нибудь неопределенный ответ. Для себя-то я всегда найду ночлег, если на то пошло, так действительно у Бар...

Фрида закрыла ему ладонью рот.

— Только не это,— испуганно сказала она,— пожалуйста, не говори так больше. А в остальном все будет, как ты скажешь. Если хочешь, я останусь здесь одна, как бы это ни было для меня печально. Если хочешь, мы отклоним это предложение, как бы это ни было, по-моему, неправильно. Потому что, смотри, если ты найдешь какую-то другую возможность, хоть даже и сегодня вечером, ну, тогда, само собой разумеется, мы от этого места в школе сразу откажемся, никто нам не помешает это сделать. А что касается унижения перед учителем, то предоставь это мне, я позабочусь, чтобы унижения не было;

я сама буду говорить с ним, ты просто молча постоишь рядом, и дальше будет так же, тебе никогда не придется говорить с ним, если ты этого не захочешь, на самом деле только я буду его подчиненной, и даже я не буду, потому что знаю его слабости. Так что мы ничего не потеряем, если примем это место, а вот если от него откажемся, то — много; а главное, ты действительно даже для одного себя нигде, нигде в деревне не найдешь ночлега, если еще сегодня не добьешься чего-нибудь от Замка,— то есть такого ночлега, за который мне, как твоей будущей жене, не придется краснеть. А если ты не найдешь ночлега, тогда ведь ты, пожалуй, потребуешь от меня, чтобы я спала здесь, в теплой комнате, зная, что в это время ты там, в снегу бредешь сквозь холод и ночь.

К., который все это время стоял, обхватив себя руками и хлопая ладонями по спине, чтобы немного согреться, проговорил:

— Тогда ничего не остается, как принять. Пошли!

В комнате он сразу поспешил к печи, не обращая внимания на учителя; тот, сидя у стола, достал часы и сказал:

— Время уже позднее.

— Но зато теперь мы уже полностью пришли к одному мнению, господин учитель,— объявила Фрида.— Мы принимаем место.

— Хорошо,— отозвался учитель,— но место предложено господину землемеру. Он должен высказаться сам.

Фрида пришла К. на помощь:

— Разумеется,— сказала она,— он принимает это место, не правда ли, К.?

Так что К. мог свести свое заявление к простому «да», обращенному даже не к учителю, а к Фриде.

— Тогда,— сказал учитель,— мне только остается довести до вас ваши служебные обязанности, чтобы в этом отношении мы с вами раз и навсегда договорились; вам надлежит, господин землемер, ежедневно убирать и протапливать обе классные комнаты, самостоятельно производить мелкий ремонт как учебных пособий и спортивных снарядов, так и — вообще в доме, регулярно расчищать от снега дорожку через сад, выполнять отдельные поручения, мои и фрейлейн учительницы, и в более теплое время года производить все садовые работы. За это вы имеете право жить в одной из классных комнат, по выбору; однако в том случае, когда занятия не проводятся одновременно в обеих комнатах, а вы живете как раз в той, где проводятся занятия, вы, естественно, должны переселяться в другую комнату. Готовить в школе вам не разрешается, взамен, вас и всех ваших будут за счет общины обслуживать здесь в трактире. О том, что вы должны вести себя так, как подобает в школе, и что, в частности, дети — особенно во время занятий — не должны становиться свидетелями, ну, скажем, непривлекательных сцен вашего семейного быта, я упоминаю лишь между прочим, поскольку вы как образованный человек должны это понимать. Замечу еще в связи с этим, что мы вынуждены настаивать, чтобы вы в самый кратчайший срок узаконили ваши отношения с фрейлейн Фридой. Все это и еще кое-какие мелочи будет внесено в договор о найме, который вы, если вы вселитесь в здание школы, должны будете сразу же подписать.

К. все это показалось неважным — так, словно бы это его не касалось, или во всяком случае не связывало; его только разозлила напыщенность учителя, и он небрежно бросил:

— Да-да, все это обычные обязанности.

Чтобы как-то загладить это, Фрида спросила про содержание.

— Вопрос о выплате содержания,— сказал учитель,— будет рассматриваться только после месячного испытательного срока.

— Но это жестоко по отношению к нам,— сказала Фрида.— Мы должны жениться почти без денег и создавать наше домашнее хозяйство из ничего. Нельзя ли вам все-таки, господин учитель, подать прошение в общину, чтобы назначили какое-нибудь маленькое содержание сразу? Вы бы рекомендовали так сделать?

— Нет,— сказал учитель, как и прежде обращаясь к К.— Подобное прошение было бы сочувственно встречено только в том случае, если бы я его поддержал, а я этого делать не стану. Предоставление места является ведь только любезностью по отношению к вам, а с любезностями — если сохраняешь сознание своей ответственности перед обществом,— не следует заходить слишком далеко.

Но тут почти против своей воли вмешался К.

— Что касается любезности, господин учитель,— заявил он,— то, я полагаю, вы ошибаетесь. Скорей, может быть, это любезность с моей стороны.

— Нет,— сказал учитель, усмехаясь, все-таки он заставил К. заговорить.— На этот счет я точно информирован. Школьный сторож нужен нам примерно так же, как землемер. Школьный сторож, как и землемер,— только лишний груз на нашей шее. Мне еще будет стоить немалых раздумий вопрос, как я должен обосновать перед общиной расходы. Лучше и честнее всего было бы просто кинуть счет на стол и вообще никак не обосновывать.

— Именно это я и имею в виду,— кивнул К.,— вы обязаны принять меня против своей воли. Вы обязаны принять меня, хотя это и наводит вас на тяжелые раздумья. Но если кто-то вынужден принять кого-то другого, и этот другой позволяет себе принять, так, значит, именно он оказывает любезность.

— Своеобразно,— сказал учитель,— что же это нас заставляет принимать вас? — доброе, чересчур доброе сердце господина старосты заставляет нас. Вам, господин землемер, как я уже вижу, придется расстаться со многими фантазиями, прежде чем вы станете полноценным школьным сторожем. И возможному предоставлению какого-либо содержания такие высказывания тоже, разумеется, мало способствуют. Я также, к сожалению, замечаю, что ваше поведение еще доставит мне немало забот: вы же все это время беседуете со мной — я вот смотрю и почти не верю своим глазам — в рубашке и кальсонах.

— Да,— воскликнул К., смеясь, и хлопнул в ладоши,— эти ужасные помощники! Где они там застряли?

Фрида побежала к дверям; учитель, поняв, что К. больше не намерен с ним разговаривать, спросил у Фриды, когда они вселяются в школу.

— Сегодня,— ответила Фрида.

— Тогда завтра утром я приду проконтролировать,— сказал учитель, попрощался взмахом руки, хотел выйти в дверь, открытую Фридой для себя, но столкнулся со служанками, которые уже пришли со своими вещами, чтобы снова занять комнату.

Ему пришлось между ними протискиваться, они никому не уступили бы дорогу; Фрида шла следом.

— Однако и спешите же вы,— усмехнулся К., который на этот раз был очень ими доволен,— мы еще здесь, а вам уже не терпится вернуться?

Они не отвечали и смущенно вертели свои узлы, из которых свисало хорошо знакомое К. грязное тряпье.

— Вы, наверное, ваши вещи еще ни разу не стирали,— беззлобно, с какой-то даже симпатией сказал К.

Те почувствовали это, одновременно раскрыли свои широкие рты, показали прекрасные, крепкие звериные зубы и беззвучно засмеялись.

— Ну, проходите,— пригласил К.,— устраивайтесь, это же действительно ваша комната.

Но так как те все еще не решались (им, видимо, казалось, что их комната уж слишком преобразилась), К. взял одну из них за руку, чтобы ввести в комнату. Но он тут же отпустил ее, такими удивленными глазами смотрели на него обе; взаимопонимание уже установилось, и они больше не отводили глаз от К.

— Ну, теперь вы уже достаточно меня рассмотрели,— сказал, защищаясь от какого-то неприятного чувства, К., взял одежду и сапоги, которые как раз принесла Фрида — помощники робко следовали за ней — и оделся.

И снова, как и прежде, ему показалось непостижимым терпение, которое Фрида проявляла к помощникам. Вместо того, чтобы чистить во дворе одежду, они спокойно сидели внизу, где Фрида после долгих поисков нашла их мирно обедающими, на коленях они держали невычищенную, скомканную одежду, которую ей пришлось затем всю чистить самой; и тем не менее, она, хорошо умея обращаться с этой подлой публикой, совершенно не ругалась с ними, более того, рассказывала в их присутствии об их чудовищной нерадивости как о какой-нибудь безобидной шутке и даже еще слегка похлопала, словно лаская, одного из них по щеке. К. решил впоследствии побеседовать с ней на эту тему. Но теперь давно уже пора было уходить.

— Помощники останутся здесь помогать тебе с переездом,— распорядился К.

Те, конечно, с этим не согласились, сытые и веселые, они бы теперь с удовольствием немного прогулялись. Только после того, как Фрида сказала: «Само собой, вы остаетесь здесь»,— они подчинились.

— Ты знаешь, куда я иду? — спросил К.

— Да,— ответила Фрида.

— И ты, значит, меня больше не удерживаешь? — спросил К.

— Ты встретишь столько препятствий,— сказала она,— что́ уж там какие-то мои слова!

Она поцеловала К. на прощание, дала ему, поскольку он не обедал, сверточек с хлебом и колбасой, который она принесла для него снизу, напомнила ему, что он должен потом идти уже не сюда, а прямо в школу, и проводила, положив ему руку на плечо, до самой двери.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поначалу К. был рад, что ускользнул из душной комнаты, где толкались служанки и помощники. К тому же немного подморозило, снежный наст окреп, идти стало легче. Вот только уже начинало темнеть, и он ускорил шаг.

Замок, очертания которого уже стали размываться, был все так же недвижим, ни разу еще К. не видел там ни малейших признаков жизни; может быть, заметить что-то с такого расстояния было вообще невозможно, но глаза требовали этого и не хотели мириться с неподвижностью. Когда К. вглядывался в Замок, ему иногда казалось, что он наблюдает за кем-то, кто сидит не шевелясь и смотрит прямо перед собой — не то, чтобы погрузившись в раздумье и из-за этого ничего вокруг не

замечая, а свободно и беззаботно, так, словно он один и никто за ним не наблюдает,— и все-таки он должен был замечать, что за ним наблюдают, однако это ни в малейшей мере не нарушало его покоя, и действительно (непонятно было, причина это или следствие), взгляды наблюдателя не могли на нем удержаться и соскальзывали. Это впечатление было сегодня еще сильнее из-за ранней темноты; чем дольше он вглядывался, тем меньше узнавал, тем больше тонуло все в сумерках.

Как раз в тот момент, когда К. подходил к еще неосвещенному господскому трактиру, открылось одно из окон во втором этаже; молодой, толстый, гладковыбритый господин в меховой куртке перегнулся наружу и застыл в окне. На приветствие К. он не ответил, кажется, даже самым легким кивком головы. Ни в коридоре, ни в пивной К. никого не встретил; пивной дух был еще более затхлым, чем в тот раз, в трактире «У моста» такого, вроде, не бывало. К. сразу пошел к двери, через которую он в тот раз наблюдал за Кламмом, и осторожно нажал на ручку, но дверь была заперта; тогда он попробовал на ощупь найти то место, где был глазок, но, по-видимому, затычка была так хорошо пригнана, что таким способом найти это место было невозможно, тогда он чиркнул спичкой. В ту же секунду его испугал чей-то вскрик. В углу около печки, между дверью и столом с бутылками сидела, скорчившись, молоденькая девушка и в свете спички таращила на него широко раскрытые заспанные глаза. Это была, очевидно, преемница Фриды. Вскоре она успокоилась и включила электрический свет; выражение лица у нее еще было сердитым, когда она узнала К.

— А-а, господин землемер,— сказала она, усмехнувшись, протянула ему руку и представилась.— Меня зовут Пепи.

Она была низкорослая, красная, здоровая, рыжие волосы были заплетены в толстую косу и, кроме того, окружали завитушками лицо; на ней было очень мало ей шедшее длинное прямое платье из серой блестящей материи, внизу оно было по-детски неумело стянуто шелковой лентой с бантом — так, что мешало двигаться. Она поинтересовалась, как там Фрида, и не собирается ли она вскоре вернуться. Это был вопрос, очень близко граничивший с дерзостью.

— Меня,— сказала она затем,— сразу после ухода Фриды срочно вызвали сюда, потому что сюда ведь какую попало не поставишь, я до сих пор была горничной, но обмен я сделала невыгодный. Здесь много вечерней и ночной работы, это очень изнурительно, я навряд ли здесь выдержу, не удивляюсь, что Фрида все это бросила.

— Фрида была здесь очень довольна,— заметил К., чтобы обратить в конце концов внимание Пепи на разницу между ней и Фридой, которой она пренебрегала.

— Не верьте ей,— сказала Пепи,— очень мало кто умеет так владеть собой, как Фрида. Если она не захочет в чем-то признаться — ни за что не признается, и при этом даже не заметишь, что ей было в чем признаваться. Я вот уже несколько лет служу здесь с ней, мы всегда спали вместе в одной кровати, но доверительности у нас с ней нет, сейчас она наверняка уже и думать забыла обо мне. Ее, может быть, единственная подруга — старая хозяйка из предмостного трактира, а это ведь тоже кой о чем говорит.

— Фрида — моя невеста,— проговорил К., одновременно разыскивая на двери место, где был глазок.

— Я знаю,— сказала Пепи,— я потому все это и рассказываю. Иначе ведь это для вас не имело бы значения.

— Понятно,— сказал К.— Я могу гордиться тем, что сумел покорить такую замкнутую девушку, вы это имеете в виду?

— Да,— ответила она и удовлетворенно засмеялась — так, словно ей удалось втянуть К. в какой-то тайный сговор против Фриды.

Впрочем, не столько ее слова занимали К. и несколько отвлекали от поисков, сколько ее внешность и ее присутствие в этом месте. Конечно, она намного моложе Фриды, почти еще ребенок, и одета забавно, видимо, эта одежда соответствует ее преувеличенным представлениям о значении должности служанки в пивной. Но ведь эти ее представления в некотором роде оправданны, ибо место, для которого она еще никак не подходит, досталось ей, вероятно, неожиданно, и незаслуженно, и лишь на время; даже кожаного карманчика, который Фрида всегда носила на поясе, ей не доверили. А ее мнимое недовольство местом — заносчивость и ничего больше. И все-таки, несмотря на ее детское неразумие, наверняка и она тоже имеет связи с Замком, ведь она, если не врет, была раньше горничной и, даже не зная, чем владеет, день за днем спала здесь; и если, обняв эту маленькую, толстенькую, немного сутулую фигурку, и нельзя вырвать у нее то, чем она владеет, то все же к этому можно хотя бы притронуться и взбодриться перед тяжелой дорогой. Тогда, может быть, все это — так же, как с Фридой? О нет, не так же. Чтобы это понять, достаточно только вспомнить взгляд Фриды. Никогда К. не притронулся бы к Пепи. Но тем не менее ему пришлось прикрыть на некоторое время глаза — так жадно он смотрел на нее.

— Он вовсе и не должен гореть,— сказала Пепи и выключила свет,— я его зажгла только потому, что вы меня так сильно напугали. А вам здесь что нужно? Фрида что-то забыла?

— Да,— сказал К., указывая на дверь,— тут, рядом, в этой комнате — скатерть, такая белая, вязаная.

— Да, ее скатерть,— подтвердила Пепи,— я помню, красивая работа, я тоже ей тогда помогала, но в этой комнате она вряд ли будет.

— Фрида думает — там. А кто тут вообще-то живет? — спросил К.

— Никто,— сказала Пепи.— Это господская комната, здесь едят и пьют господа, то есть она для этого предназначена, но они обычно остаются наверху, в своих комнатах.

— Если бы знать,— сказал К.,— что сейчас там никого нет, я был бы непрочь войти туда и поискать скатерть. Но как раз это и неизвестно: Кламм, например, частенько там сидит.

— Кламма там сейчас точно нет,— сообщила Пепи,— он же с минуты на минуту уезжает, во дворе уже сани ждут.

Тут же, не говоря больше ни слова, К. покинул пивную; в коридоре он повернул не к выходу, а вовнутрь дома и, сделав несколько шагов, оказался во дворе. Как здесь тихо и прекрасно! Прямоугольный двор с трех сторон ограничен домом, а со стороны улицы (какой-то соседней улицы, которой К. не знал) — высокой белой стеной с большими, тяжелыми, в этот момент открытыми воротами. Отсюда, со стороны двора, дом кажется выше, чем с фасада, по крайней мере второй этаж полностью достроен и имеет более внушительный вид из-за идущей вдоль него закрытой (за исключением узкой щели на высоте глаз) деревянной галереи. Наискось от К., в среднем пролете здания, но уже в самом углу, где прилегал дальний боковой флигель, был вход в дом; он был открытым, без дверей. Перед входом стояли темные закрытые сани, запряженные парой лошадей. Никого не было видно, кроме кучера, фигуру которого на таком расстоянии и в наступивших уже сумерках К. скорее угадывал, чем различал.

Засунув руки в карманы, осторожно поглядывая по сторонам, К. обогнул, прижимаясь к стене, две стороны двора и приблизился к саням. Кучер (один из тех крестьян, которые в тот раз были в пивной) закутавшись в тулуп, безучастно смотрел, как он подходит — так примерно, как прослеживают глазами путь кошки. К. уже оказался рядом с ним, и поздоровался, и даже лошади слегка заволновались, испуганные внезапным появлением из темноты человека, а тот оставался совершенно равнодушен. Это было К. очень кстати. Прислонившись к стене, он развернул свой сверток, вспомнил с благодарностью Фриду, которая так хорошо его снабдила, и заодно всмотрелся в глубь дома. Лестница, ломаясь под прямым углом, шла наверх, внизу она примыкала к низкому, но, по-видимому, глубокому переходу; все было чисто, побелено, разграничено прямыми, резкими линиями.

Ожидание тянулось дольше, чем К. предполагал. Он давно уже покончил с едой, холод давал о себе знать, сумерки перешли уже в полную темноту, а Кламм все не появлялся. «Этого можно еще очень долго ждать»,— произнес вдруг грубый голос так близко от К., что он вздрогнул. Говорил кучер; будто бы проснувшись, он потянулся и громко зевнул.

— Чего именно можно долго ждать? — спросил К. не без благодарности за это вмешательство, так как тишина и длительное напряжение становились уже тягостны.

— Пока вы отсюда уйдете,— сказал кучер.

К. не понял его, но больше спрашивать не стал, полагая, что таким способом скорей всего заставит этого заносчивого типа заговорить. Не ответить здесь, в такой темноте — это было почти вызывающе. И действительно, через некоторое время кучер спросил:

— Хотите коньяку?

— Да,— ответил К. не задумываясь, слишком уж соблазнительным было это предложение, ведь он дрожал от холода.

— Тогда откройте сани,— сказал кучер,— там в боковом кармане несколько бутылок, возьмите одну, выпейте и дайте потом мне. Мне из-за тулупа очень несподручно слезать.

К. претило оказывать подобные услуги, но так как теперь он уже связался с кучером, он послушался, несмотря даже на опасность быть застигнутым кем-нибудь, например, Кламмом у саней. Он открыл широкую дверцу и мог бы сразу вытащить бутылку из кармана, который помещался с ее внутренней стороны, но теперь, когда дверца была открыта, его так сильно потянуло залезть в сани, что он не мог удержаться; только одно мгновение хотел он в них посидеть. Он шмыгнул внутрь. Необычайно тепло было в санях — и тепло сохранялось, хотя дверца, которую К. не посмел закрыть, была широко распахнута. Было даже непонятно, на скамье ли сидишь, тело утопало в покрывалах, подушках и мехах, можно было повернуться, потянуться в любую сторону, и везде было так же мягко и тепло. Раскинув руки, положив голову на одну из подушек, которые были повсюду, К. вглядывался из саней в темноту дома. И чего это тянется так долго и не спускается Кламм? Словно оглушенный теплом после долгого стояния в снегу, К. желал, чтобы Кламм, наконец, пришел. Мысль о том, что было бы лучше, если бы Кламм не видел его в таком положении, доходила до его сознания очень смутно, вызывая лишь лег-

кое беспокойство. В этом забытьи его поддерживало поведение кучера, который должен же был знать, что он в санях, и разрешал ему, даже не потребовав от него коньяк. Это было тактично, но К. ведь собирался его угостить. Лениво, не меняя позы, он потянулся к боковому карману, но не в открытой дверце, которая была слишком далеко, а в закрытой, позади него, да это и не имело значения: тут тоже были бутылки. Он вытащил одну, отвинтил пробку, понюхал и невольно усмехнулся: в запахе была такая сладость, такая ласка, словно ты от кого-то, кого очень любишь, услышал похвалу и добрые слова, и ты даже не знаешь о чем речь, и даже не хочешь этого знать, и только счастлив от сознания, что это он так с тобой говорит. «Это что, коньяк?» — с недоверием спросил себя К. и попробовал из любопытства. Как ни странно, это все-таки был коньяк, он обжигал, он согревал. Но как это превращалось, пока он пил, из чего-то, что казалось лишь сгустившимся сладким ароматом, в какое-то кучерское питье! «Разве это возможно?» — спросил, словно упрекая самого себя, К. и выпил еще.

Вдруг — К. в это время как раз отвлекся, делая длинный глоток — стало светло: электрический свет горел внутри на лестнице, в переходе, в коридоре, снаружи над входом, слышались спускающиеся по лестнице шаги; бутылка выскользнула у К. из руки, коньяк разлился по меховой полости; К. выпрыгнул из саней, едва успев захлопнуть за собой дверцу, от грохота которой покатилось эхо, и сразу вслед за тем из дома медленно вышел какой-то господин. Единственным утешением казалось то, что это был не Кламм — или как раз об этом следовало сожалеть? Это был тот господин, которого К. уже видел в окне второго этажа. Молодой господин, чрезвычайно хорошо выглядевший — кровь с молоком, но очень серьезный. К. тоже смотрел на него мрачно, но этот взгляд относился к нему самому. Уж лучше бы он помощников сюда послал: так вести себя, как он тут, и они бы сумели. Господин, стоявший перед ним, все еще молчал — так, как будто для того, что следовало сказать, у него не хватало дыхания в его очень широкой груди.

— Это просто ужасно,— сказал он затем и слегка сдвинул со лба свою шляпу.

Как? Господин ничего еще, вероятно, не знает о пребывании К. в санях и уже находит что-то ужасным? Может быть, то, что К. проник во двор?

— Как вы, собственно, попали сюда? — уже тише, уже дыша спокойнее, словно смиряясь с тем, чего не изменить, спросил господин.

Что это за вопросы? И каких он ждет ответов? Может, К. еще должен сам определенно подтвердить этому господину, что его с такими надеждами начатый путь был напрасным? Вместо ответа К. повернулся к саням, открыл их и вытащил свою шапку, которая осталась внутри. С тоскливым чувством заметил он, что коньяк капает на подножку.

Потом он снова повернулся к господину; теперь К. уже не опасался показать ему, что он был в санях, да это было и не самое худшее, и если бы его спросили — правда, только в этом случае,— он не стал бы скрывать, что кучер сам подтолкнул его к тому, чтобы по крайней мере открыть сани. По-настоящему скверно было то, что этот господин застал его врасплох, и уже не было времени спрятаться от него, чтобы потом без помех ждать Кламма, или что у него не хватило духу остаться в санях, закрыть дверцу и там, на мехах дожидаться Кламма, или хотя бы отсидеться там, пока этот господин был поблизости. Впрочем, откуда же было знать, ведь сейчас мог бы выйти и сам Кламм, а Кламма, разумеется, не стоило встречать в санях. Да, тут надо было тщательно все продумать, но теперь думать было уже не о чем, потому что это был конец.

— Идемте со мной,— сказал господин, как бы и не приказывая, приказ заключался не в словах, а в сопровождавшем их коротком, намеренно безразличном взмахе руки.

— Я жду здесь одного человека,— не надеясь уже на успех, только из принципа сказал К.

— Идемте,— еще раз, без малейших колебаний повторил господин, будто желая показать, что он никогда и не сомневался в том, что К. кого-то ждет.

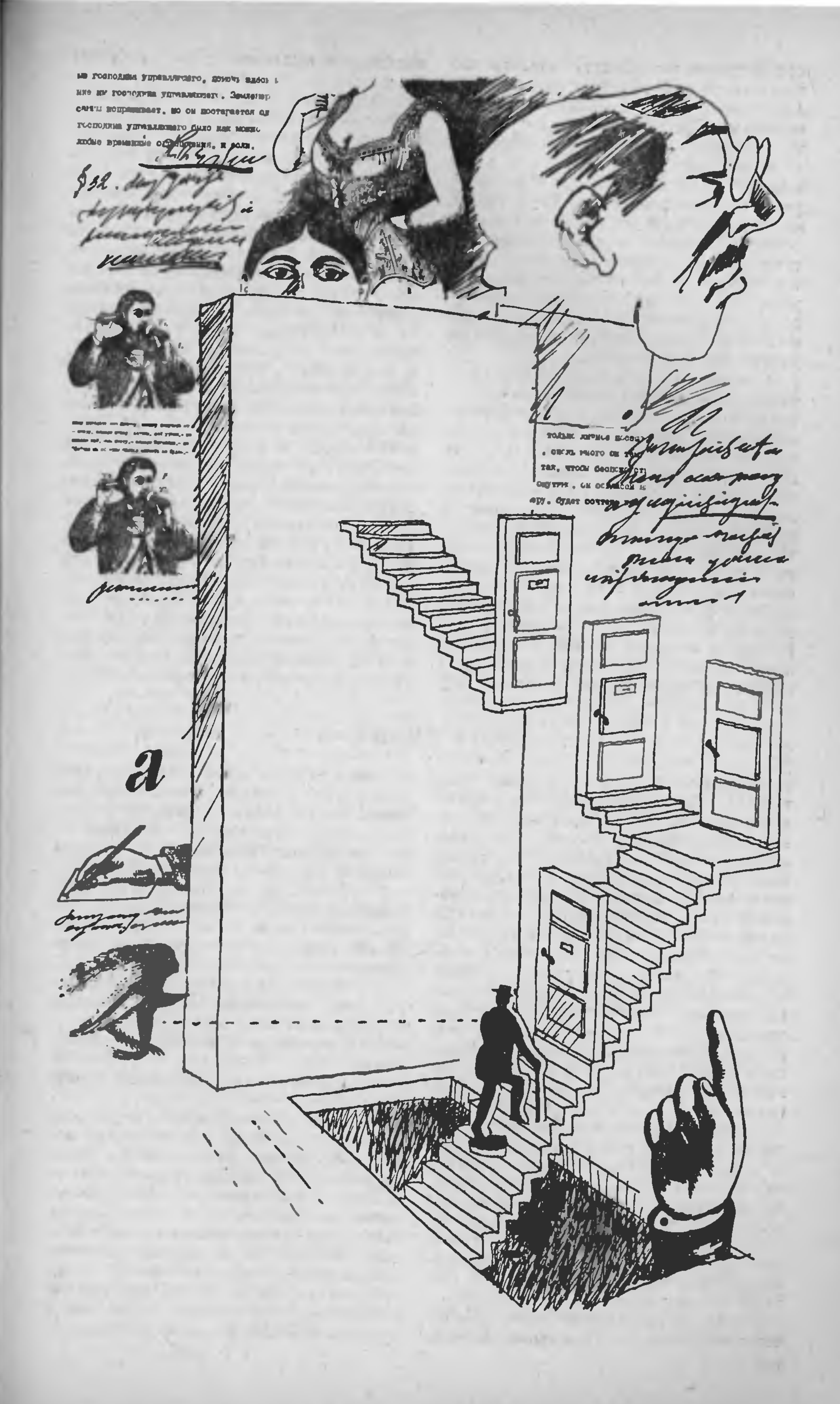
— Но тогда я пропущу того, кого я жду,— сказал К. и по телу у него пробежала дрожь.

Несмотря на все случившееся, у него было такое чувство, словно то, чего он уже успел достичь, есть своего рода достояние, и даже если оно пока еще призрачно, все же он не должен отдавать его по приказу первого встречного.

— Вы пропустите его в любом случае, будете вы ждать или уйдете,— сказал господин, при всей своей категоричности проявляя, однако, необычайную готовность следовать ходу мыслей К.

— Тогда я лучше пропущу его ожидая,— упрямо сказал К., он определенно не собирался позволить этому молодому господину одними только словами прогнать его отсюда. В ответ господин, откинув назад голову, с высокомерным видом прикрыл ненадолго глаза (так, словно от непонятливости К. вновь возвращался к своему собственному разуму), пробежал кончиком языка по приоткрытым губам и потом сказал кучеру:

— Распрягайте лошадей.



Подчиняясь господину, но искоса злобно взглянув на К., кучер теперь все-таки слез в своем тулупе с саней и очень нерешительно, так, словно он ждал — не противоположного приказа от господина, а перемены решения от К., начал задом отводить лошадей с санями к боковому флигелю, за высокими воротами которого, очевидно, помещалась конюшня и стояли повозки. К. видел, что остается в одиночестве, в одну сторону удалялись сани, в другую — по тому пути, которым пришел К.— молодой господин; правда, двигались они очень медленно, так, словно хотели показать К., что пока еще в его власти вернуть их назад.

Возможно, у него и была эта власть, но никакой пользы извлечь из нее он не мог: вернуть назад сани значило прогнать отсюда самого себя. И он стоял здесь один, поле боя осталось за ним, но эта победа не доставляла радости. Он поочередно смотрел вслед то господину, то кучеру. Господин уже дошел до дверей, через которые К. вышел во двор, и еще раз оглянулся — К., казалось, видел, как он качает головой от такого его упрямства — потом одним решительным, коротким, окончательным движением господин повернулся и вошел в коридор, в котором сразу исчез. Кучер оставался на дворе дольше, у него было много возни с санями: ему надо было открыть тяжелые ворота конюшни, задним ходом поставить сани на место, выпрячь лошадей, отвести их в стойла — и он все делал обстоятельно, целиком уйдя в работу, не надеясь уже на скорую поездку; К. эта молчаливая возня без единого взгляда в его сторону казалась куда более жестоким упреком, чем поведение господина. И вот когда, окончив работу в конюшне, кучер прошел своей медленной, качающейся походкой через двор, закрыл большие ворота, затем все так же медленно и буквально не отрывая глаз от своих собственных следов на снегу возвратился и потом закрылся в конюшне, и когда вслед за тем везде погасло электричество (для кого было светить?) и только щель в деревянной галерее наверху еще оставалась светлой и немного задерживала блуждавший взгляд,— тогда К. показалось, что теперь уже все связи с ним оборваны, и хоть он и стал теперь свободнее, чем когда-либо, и может здесь, в этом, вообще говоря, запретном для него месте ждать столько, сколько пожелает, и хоть свободу эту он отвоевал себе так, как вряд ли сумел бы кто-нибудь другой, и никто не смел его тронуть или прогнать (и даже, наверное, окликнуть), но в то же время — и это убеждение было по меньшей мере столь же сильным — не могло быть ничего более бессмысленного и безвыходного, чем эта свобода, это ожидание, эта неприкосновенность.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И, сорвавшись с места, он пошел назад в дом, на этот раз не вдоль стены, а прямо через снег, встретил в коридоре хозяина, который молча ему кивнул и указал на дверь пивной, последовал этому указанию, потому что замерз и потому что хотел видеть людей, но был очень разочарован, когда, войдя, увидел сидящего за каким-то столиком (очевидно, специально туда выставленным, обычно там обходились бочонками) молодого господина и стоящую перед ним — тягостная для К. картина — хозяйку из предмостного трактира. Пепи, гордо вскинув головку, с косой, отлетавшей при каждом повороте, и неизменной своей улыбочкой носилась взад и вперед, преисполненная сознания своей значительности; она принесла пиво и потом чернила и перо, так как господин, разложив перед собой бумаги и сопоставив даты, которые он выискивал в бумагах то на одном, то на другом конце стола, собирался теперь писать. Хозяйка, чуть выпятив губы, словно отдыхая, молча смотрела с высоты своего роста на господина и бумаги — так, словно она уже все нужное сказала и сказанное было хорошо принято. «Господин землемер, наконец»,— произнес при появлении К. молодой господин, коротко взглянув на него, затем снова углубился в свои бумаги. Хозяйка тоже лишь скользнула по К. равнодушным, ничуть не удивленным взглядом. А Пепи, кажется, вообще только тогда заметила К., когда он подошел к стойке и заказал коньяк.

К. облокотился на стойку и прикрыл глаза ладонью, не обращая ни на что внимания. Потом отпил коньяк — и отставил рюмку: в рот невозможно было взять.

— Все господа его пьют,— сухо сказала Пепи, выплеснула остатки, вымыла рюмку и поставила на полку.

— У господ есть и получше,— заметил К.

— Возможно,— ответила Пепи,— но у меня — нет.

На этом она покончила с К. и снова была к услугам господина, но тому ничего не требовалось, и она только без конца ходила за его спиной туда и обратно, огибая его и почтительно пытаясь заглянуть через его плечо в бумаги; это, однако, было лишь пустым любопытством и важничаньем, на что и хозяйка смотрела, неодобрительно сдвинув брови.

Но вдруг хозяйка что-то услышала и, вся обратившись в слух, уставилась в пустоту. К. оглянулся, он не услышал ре-

шительно ничего особенного, да и остальные, казалось, ничего не слышали, но хозяйка на цыпочках, делая большие шаги, побежала к задней двери, выходившей во двор, заглянула в замочную скважину, потом с расширенными глазами, с горящим лицом обернулась к остальным, поманила их пальцем — и теперь они уже заглядывали по очереди; бóльшую часть времени смотрела хозяйка, но и Пепи тоже не забывала о себе, в сравнении с ними господин выглядел самым равнодушным. Пепи и господин вскоре и вернулись, только хозяйка все еще напряженно всматривалась, низко склонившись, почти встав на колени, создавалось даже впечатление, словно она теперь уже только умоляет замочную скважину пропустить ее, потому что там, вероятно, давно уже ничего не было видно. Когда, наконец, она все-таки поднялась, провела ладонями по лицу, поправила волосы и глубоко вздохнула (ее глаза, казалось, должны были теперь заново привыкать к комнате и людям и с отвращением делали это), К. сказал — не для того, чтобы ему подтвердили то, что он и так знал, но для того, чтобы предупредить нападение, которого почти боялся, так уязвим он был теперь:

— Значит, Кламм уже уехал?

Хозяйка молча прошла мимо него, но господин отозвался из-за своего стола:

— Да, конечно. Поскольку вы покинули ваш сторожевой пост, Кламм смог выехать. Поразительно, однако, насколько господин чувствителен. Вы заметили, госпожа хозяйка, как беспокойно Кламм озирался?

Хозяйка, кажется, этого не заметила, но господин продолжал:

— Но к счастью, ничего увидеть было уже нельзя: кучер даже все следы на снегу заровнял.

— Госпожа хозяйка ничего не заметила,— возразил К., но не потому, что на что-то надеялся, просто его разозлило это утверждение господина, намеренно высказанное так, словно оно окончательное и обжалованию не подлежит.

— Может быть, я как раз тогда не смотрела в скважину,— сказала хозяйка, беря вначале под защиту господина, но потом ей захотелось воздать должное и Кламму, и она прибавила: — Впрочем, я не верю в такую большую чувствительность Кламма. Мы, разумеется, боимся за него, и стараемся его защитить, и при этом исходим из предположения о какой-то крайней чувствительности Кламма. Все это хорошо, и, безусловно, такова воля Кламма, но как с этим обстоит на самом деле, мы не знаем. Безусловно, с кем-то, с кем он разговаривать не хочет, Кламм никогда разговаривать не станет, сколько бы этот кто-то ни старался и как бы отвратительно он ни протискивался вперед, но ведь одного того, что Кламм никогда не допустит разговора с ним, никогда его пред очи свои не допустит, уже достаточно. Для чего же еще думать, что он в самом деле не может переносить чьего-то там вида? Это по меньшей мере недоказуемо, потому что это никогда не будет проверено.

Господин усиленно кивал.

— Разумеется, в сущности, и я такого же мнения,— сказал он,— если случилось, что я выразился немного иначе, то это для того, чтобы господину землемеру было понятнее. Однако верно и то, что Кламм, когда он вышел на открытое пространство, несколько раз оглянулся по сторонам.

— Может быть, он искал меня,— предположил К.

— Возможно,— ответил господин,— до этого я не додумался.

Все засмеялись; Пепи, которая едва ли что-нибудь из всего этого поняла,— громче всех.

— Раз уж мы теперь так весело проводим здесь время,— сказал затем господин,— я бы очень попросил вас, господин землемер, дополнить некоторыми данными мои акты.

— Много здесь пишут,— сказал К., издали взглянув на акты.

— Да, дурная привычка,— ответил господин и снова засмеялся,— но, может быть, вы еще даже не знаете, кто я. Я — Момус, секретарь Кламма в деревне.

После этих слов в комнате воцарилась серьезность; хотя хозяйка и Пепи, естественно, знали господина, все же они были как будто поражены этим оглашением имени и звания. И даже сам господин, словно сказав слишком много для того, чтобы представиться и словно желая избежать, по крайней мере, всякой дальнейшей сопряженной с его собственными словами торжественности, углубился в бумаги и начал писать, так что в комнате слышно было только, как скрипит перо.

— Что это, собственно, значит: «секретарь в деревне»? — спросил после некоторой паузы К.

За Момуса, который теперь, после того как он представился, уже не считал подобающим самому давать такие разъяснения, ответила хозяйка:

— Господин Момус — такой же секретарь Кламма, как и любой другой кламмовский секретарь, но его служебное местопребывание и, если я не ошибаюсь, также его служебная сфера...— Момус, продолжая писать, энергично замотал головой, и хозяйка поправилась,— значит, только его служебное местопребывание — не его служебная сфера — ограничено деревней. Господин Момус выполняет Кламму письменные работы, в которых появляется необходимость в деревне, и

первым принимает все исходящие из деревни прошения к Кламму.

Поскольку К., пока еще мало всем этим затронутый, смотрел на хозяйку пустыми глазами, она, чуть смутившись, прибавила:

— Это так установлено, все господа из Замка имеют своих секретарей в деревне.

Момус, который слушал намного внимательнее К., сказал, дополняя хозяйку:

— Большинство секретарей в деревне работают только для одного господина, я же — для двух: для Кламма и для Валлабене.

— Да,— подтвердила хозяйка, в свою очередь тоже теперь вспомнив, и повернулась к К.,— господин Момус работает для двух господ, для Кламма и для Валлабене, так что он — двойной секретарь в деревне.

— Даже двойной,— сказал К. и кивнул Момусу, который теперь, почти нагнувшись вперед, не отрываясь смотрел на него снизу вверх,— кивнул так, как кивают ребенку, которого только что похвалили.

Если и было тут некоторое презрение, то либо этого не заметили, либо как раз этого и желали. Ведь именно перед К., который был недостоин даже того, чтобы ему позволили хотя бы случайно попасться на глаза Кламму, исчерпывающе излагались заслуги этого Момуса из ближайшего окружения Кламма — с нескрываемым намерением заслужить признание и похвалу К. И все же К. не очень это прочувствовал; он, изо всех сил боровшийся за один взгляд Кламма, положение, к примеру, какого-нибудь Момуса, который на глазах Кламма мог жить, оценивал невысоко, он далек был от восхищения и, тем более, от зависти, так как неблизость к Кламму сама по себе была для него достойна стремлений, ему было важно, чтобы он, К., именно он, а не кто-то другой,— со своими собственными, а не чьими-то желаниями пришел к Кламму, и пришел не для того, чтобы возле него успокоиться, а для того, чтобы пройти мимо него дальше, в Замок.

И он посмотрел на свои часы и сказал:

— Ну, мне, однако, пора идти домой.

Ситуация мгновенно изменилась в пользу Момуса.

— Да, разумеется,— сказал он,— обязанности школьного сторожа зовут. Но одну минуту вы еще должны мне уделить. Всего несколько коротких вопросов.

— Не имею никакого желания,— заявил К. и повернулся к двери.

Момус хлопнул актом по столу и поднялся.

— Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы.

— Именем Кламма! — повторил К.— Его разве волнуют мои дела?

— Об этом,— сказал Момус,— я судить не могу, но вы, по-видимому,— еще много менее, так что это мы оба можем спокойно оставить ему. А вот от вас я, исполняя полученную мной от Кламма должность, требую остаться и отвечать.

— Господин землемер,— вмешалась хозяйка,— я остерегаюсь уже вам советовать, вы ведь меня с моими прежними советами, самыми доброжелательными, какие только можно было дать, неслыханным образом отвергли, и сюда, к господину секретарю — мне скрывать нечего — я пришла только для того, чтобы должным образом уведомить служебные инстанции о вашем поведении и ваших намерениях и навсегда оградить себя от того, чтобы вас при случае снова поселили у меня; такие у нас с вами отношения, и тут, очевидно, ничего уже не изменится, и поэтому, если я теперь высказываю мое мнение, то делаю это не для того, чтобы вам, допустим, помочь, а для того, чтобы немного облегчить господину секретарю его тяжкую задачу, ведь он должен вести переговоры с таким человеком, как вы. Но, несмотря на это, вы — по причине как раз моей полной откровенности (иначе, как откровенно, я с вами общаться не могу, да и так-то — через силу) можете извлечь из моих слов и для себя пользу, если только захотите. Так вот на этот случай я обращаю ваше внимание на то, что единственный для вас путь к Кламму проходит здесь — через протоколы господина секретаря. Но я не собираюсь преувеличивать: может быть, до самого Кламма этот путь и не доведет, может быть, он прервется задолго до него,— это все решает господин секретарь по своему усмотрению. Но во всяком случае, это — единственный для вас путь, который ведет, по крайней мере, в направлении Кламма. И от этого единственного пути вы хотите отказаться — и не по какой другой причине, кроме упрямства?

— Ах, госпожа хозяйка,— сказал К.,— это не только не единственный путь к Кламму, но и не более важный, чем другие. И вы, господин секретарь, решаете, сможет ли то, что я бы здесь сказал, дойти до Кламма или нет?

— Разумеется,— ответил Момус и, гордо опустив глаза, посмотрел вправо и влево, где смотреть было не на что,— иначе какой же я секретарь?

— Ну вот видите, госпожа хозяйка,— повернулся к ней К.,— не к Кламму мне нужен путь, а сначала к господину секретарю.

— Я хотела открыть для вас этот путь,— сказала хозяйка,— разве я не предлагала вам утром передать вашу просьбу Кламму? Это было бы сделано через господина секретаря. Но вы это отклонили, и все-таки теперь у вас не остается ничего другого — один только этот путь. Правда, после сегодняшней вашей выходки, после этой попытки устроить засаду на Кламма — с еще меньшими шансами на успех. Но эта последняя, мельчайшая, исчезающе-малая, собственно, вообще не существующая надежда, тем не менее, для вас — единственная.

— Как это получается, госпожа хозяйка,— сказал К.,— что вначале вы так настойчиво пытались убедить меня не пробиваться к Кламму, а теперь принимаете мою просьбу так всерьез, и меня в случае неудачи моих планов, кажется, считаете в некотором роде пропащим. Если тогда можно было с чистым сердцем отговаривать меня от того, чтобы вообще стремиться к Кламму, то как же можно теперь, вроде бы с таким же чистым сердцем прямо-таки гнать меня вперед по этому пути к Кламму, пусть даже он, как мы договорились, и не ведет к нему?

— Разве я гоню вас вперед? — удивилась хозяйка.— Это называется «гнать вперед», когда я говорю, что ваши попытки безнадежны? Это... поистине уже было бы верхом дерзости, если бы вы захотели подобным образом переложить ответственность с себя на меня. Не присутствие ли господина секретаря вызывает у вас такое желание? Нет, господин землемер, я вас решительно никуда не гоню. Только в одном должна я признаться: в том, что когда я в первый раз вас увидела, я вас, пожалуй, немного переоценила. Ваша быстрая победа над Фридой испугала меня, я не знала, на что еще вы можете оказаться способны, я хотела предотвратить дальнейшие несчастья и думала, что сумею достичь этого не иначе, как попытавшись просьбами и угрозами поколебать вас. За это время я научилась смотреть на все спокойнее. Делайте, что хотите. Ваши дела, возможно, оставят глубокие следы там, на снегу во дворе — но и только.

— Мне не кажется, что противоречие вполне разъяснено,— заметил К.,— тем не менее, я удовлетворяюсь тем, что на него обратили внимание. Но теперь я попрошу вас, господин секретарь, сказать мне, верно ли это мнение госпожи хозяйки, а именно,— что протокол, который вы хотите с моей помощью составить, мог бы иметь своим следствием выдачу мне разрешения предстать перед Кламмом? Если это так, то я готов немедленно ответить на все вопросы. В этом случае я вообще на все готов.

— Нет,— сказал Момус,— такие зависимости не имеют места. Речь идет только о том, чтобы представить кламмовой деревенской регистратуре точное описание сегодняшнего вечера. Это описание уже готово, вам надлежит заполнить только два-три пробела, порядка ради; какая-либо другая цель здесь не имеет места — и не может быть достигнута.

К. молча смотрел на хозяйку.

— Что вы на меня смотрите,— возмутилась хозяйка,— может быть, я что-нибудь другое сказала? Вот так он всегда, господин секретарь, вот так он всегда. Поймет неверно объяснения, которые ему дают, а потом утверждает, что ему неверно объяснили. Я ему с самого начала, и сегодня, и всегда говорила, что у него нет ни малейших шансов быть принятым Кламмом; ну а раз шансов нет, то значит, и с помощью этого протокола он их не получит. Что может быть яснее? Дальше, я говорю, что этот протокол — единственная действительная официальная связь, которая у него может быть с Кламмом, и это тоже достаточно ясно и не подлежит сомнению. Но раз уж он мне не верит и все время — я не знаю, почему и зачем — надеется, что сумеет пробиться к Кламму, то тогда, если следовать ходу его мыслей, помочь ему может только единственная действительная официальная связь, которая есть у него с Кламмом, то есть этот протокол. Только это я сказала, и тот, кто утверждает что-то другое, злонамеренно передергивает слова.

— Если это так, госпожа хозяйка,— отвечал К.,— тогда я прошу у вас прощения, тогда я вас не так понял, я как раз полагал — ошибочно, как теперь выясняется,— что из тех слов, которые я слышал от вас прежде, следует, что все-таки какая-то самая ничтожная надежда для меня существует.

— Безусловно,— сказала хозяйка,— я именно так и считаю, вы опять передергиваете мои слова, но на этот раз в другую сторону. Какая-то такая надежда для вас, по моему мнению, существует и связана, разумеется, только с этим протоколом. Но положение здесь не такое, чтобы вы могли запросто набрасываться на господина секретаря с вопросом: «Пустят ли меня к Кламму, если я отвечу на эти вопросы?». Когда ребенок так спрашивает, над этим смеются, когда так поступает взрослый, это — оскорбление должностного лица; только тонкостью своего ответа господин секретарь милостиво это сгладил. А та надежда, которую я имею в виду, заключается именно в том, чтобы у вас через протокол был какой-то род связи,— *может быть*, был какой-то род связи с Кламмом. Разве это вам не надежда? Если бы вас спросили, за какие заслуги вам могла бы быть подарена такая надежда, смогли бы вы указать хоть самые малые? Правда, ничего более определенного об этой надежде нельзя сказать, и в особенности господин секретарь по своему служебному положению никогда не сможет сделать на этот счет даже малейшего намека. Для вас, как он сказал, речь идет только об описании сегодняшнего вечера, порядка ради,— большего он не скажет, даже если вы, ссылаясь на мои слова, прямо сейчас его об этом спросите.

— Ну так что, господин секретарь, Кламм будет читать этот протокол? — спросил К.

— Нет,— ответил Момус,— зачем же? Кламм ведь не может читать все протоколы, он и вообще никакие не читает. «Оставьте меня в покое с вашими протоколами!» — говорит он обычно.

— Господин землемер,— жалобно сказала хозяйка,— вы убиваете меня такими вопросами. Разве так уж нужно или хотя бы желательно, чтобы Кламм прочел этот протокол и досконально узнал обо всех ничтожных подробностях вашей жизни? Не лучше ли вам смиреннейше просить, чтобы этот протокол спрятали от Кламма, впрочем, эта просьба была бы так же бессмысленна, как и предыдущая, ибо кто может спрятать что-то от Кламма? — но она хотя бы свидетельствовала о более привлекательном характере. И разве нужно это для того, что вы называете «вашей надеждой»? Разве не заявляли вы сами, что были бы довольны, если бы имели возможность только говорить при Кламме, даже если бы он на вас не смотрел и вас не слушал? И разве не достигаете вы посредством протокола не только этого, но, быть может, и много большего?

— Много большего? — спросил К.— Каким образом?

— Ну что вы вечно,— крикнула хозяйка,— как ребенок, хотите, чтобы вам все подносили на блюдечке! Кто же может ответить на такие вопросы? Протокол пойдет в деревенскую регистратуру Кламма, вы это слышали, больше об этом с определенностью ничего сказать нельзя. Но вам-то понятно теперь все значение протокола, господина секретаря, деревенской регистратуры? Понимаете вы, что это значит,— если господин секретарь вас допрашивает? Может быть, даже наверное, он и сам этого не понимает. Он тихо сидит здесь и выполняет свои обязанности — порядка ради, как он сказал. Но вы вдумайтесь в то, что его назначил Кламм, что он работает от имени Кламма, что на все, что он делает, даже если это никогда не доходит до Кламма, заранее имеется согласие Кламма. А разве может иметься согласие Кламма на то, что не проникнуто его духом? Я далека от какого-то желания неуклюже польстить господину секретарю — он бы и сам против этого очень возражал,— но я говорю не о его самостоятельной личности, а о том, что он из себя представляет, когда имеет согласие Кламма, как, например, теперь: тогда он — инструмент, на котором лежит рука Кламма, и горе тому, кто ему не подчиняется.

Угроз хозяйки К. не боялся, от надежд, которыми она пыталась его завлечь, он устал. Кламм был высоко. Однажды хозяйка сравнила Кламма с орлом, и тогда это показалось К. смешным, но теперь уже не казалось; он думал о его высоте, о его неприступном жилище, о его молчании, быть может, прерываемом лишь криками, каких К. еще никогда не слыхал, о его устремленном вниз взгляде, который невозможно обнаружить и которому невозможно противиться, о его неразрушимых из той глубины, где был К., кругах, которые он очерчивал вверху по непонятному закону, видимый лишь на мгновение,— все это у Кламма и орла было общим. Но протокол к этому явно не имел никакого отношения; как раз в этот момент Момус разломал над протоколом соленый крендель, который он взял себе к пиву, и засыпал все бумаги на столе солью и тмином.

— Спокойной ночи,— сказал К.,— не переношу никаких допросов,— и теперь он действительно пошел к двери.

— Так он все-таки уходит,— почти испуганно сказал Момус хозяйке.

— Он не посмеет,— начала та, но дальше К. не слышал, он был уже в коридоре.

Было холодно и дул сильный ветер. Из двери напротив вышел хозяин, казалось, что он через какой-то глазок вел оттуда наблюдение за коридором. Полы фрака ему пришлось обернуть вокруг тела, так рвал их даже здесь, в коридоре, ветер.

— Уже уходите, господин землемер? — спросил он.

— Вас это удивляет? — ответил вопросом К.

— Да,— сказал хозяин.— Вас разве не будут допрашивать?

— Нет,— ответил К.— Я не позволил себя допрашивать.

— Почему нет?

— Я не понимаю,— сказал К.,— почему я должен позволять себя допрашивать, почему я должен подчиняться какой-то шутке или бюрократической прихоти. Может быть, в какой-нибудь другой раз я бы точно так же в шутку или по прихоти это сделал, но не сегодня.

— Ну да, конечно,— согласился хозяин, но это было лишь вежливое, отнюдь не убежденное согласие.— Мне надо теперь впустить слуг в пивную,— сказал он затем,— их время давно уже пришло. Я просто не хотел мешать допросу.

— Считаете его таким важным делом? — спросил К.

— О да,— кивнул хозяин.

— Значит, мне не следовало от него отказываться? — уточнил К.

— Да,— сказал хозяин,— вам не следовало этого делать.

К. молчал, и хозяин — то ли, чтоб утешить К., то ли, чтобы быстрей уйти,— добавил:

— Ну-ну, из-за этого ведь гром сейчас с неба не грянет.

— Да,— сказал К.,— судя по погоде, непохоже.

И они разошлись, усмехаясь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К. вышел на крыльцо, свирепо обдуваемое ветром, и взглянул в темноту. Скверная погода, скверная. В какой-то связи с этим ему опять вспомнилось, как хозяйка старалась заставить его подчиниться протоколу и как он все же устоял. Правда, старания эти не были искренними, втайне она одновременно обеими руками оттаскивала его от протокола, и в итоге уже нельзя было понять, устоял он или поддался. Какая-то интригантская душа, работающая, по видимости, бессмысленно, как ветер, по каким-то далеким, чужим указаниям, в смысл которых никогда не проникнешь.

Он успел сделать лишь несколько шагов по дороге, как увидел две качающиеся светлые точки; эти признаки жизни обрадовали его, и он поспешил к ним, они тоже, в свою очередь, плыли ему навстречу. Он не понимал, почему был так разочарован, когда узнал помощников. Ведь их, по-видимому, Фрида послала его встречать, и фонари, освобождавшие его из темноты, которая грозно шумела вокруг него, были, наверное, его собственностью,— несмотря на это он был разочарован, он ждал чего-то неведомого, а не этих старых знакомых, которые ему осточертели. Но тут были не только помощники, из темноты между ними выступил вперед Барнабас.

— Барнабас! — крикнул К. и протянул к нему руку.— Ты ко мне идешь?

Неожиданность встречи заставила поначалу забыть все огорчения, которые Барнабас успел причинить К.

— К тебе,— сказал Барнабас с тем же дружелюбием, что и тогда.— С письмом от Кламма.

— Письмо от Кламма! — повторил, вскидывая голову, К. и поспешно выхватил его из рук Барнабаса.— Светите! — приказал он помощникам, которые справа и слева тесно прижались к нему и подняли фонари. К. пришлось сложить большой лист почтовой бумаги до совсем маленького квадратика, чтобы уберечь его от ветра. После этого он прочел: «Господину землемеру в предмостном трактире! Землемерные работы, проведенные Вами на сегодняшний день, заслужили мое одобрение. Работа помощников также достойна похвалы, Вы умеете заставить их работать. Не ослабляйте Ваших усилий! Ведите работы к успешному завершению. Их приостановка вызвала бы мое недовольство. Об остальном не беспокойтесь, вопрос оплаты будет решен в ближайшее время. Я держу Вас в поле зрения». К. оторвался от письма только тогда, когда читавшие намного медленнее, чем он, помощники в ознаменование хороших новостей трижды громко прокричали «ура!», и фонари заколебались.

— Тихо вы,— сказал он им и затем — Барнабасу: — Это какое-то недоразумение.

Барнабас не понимал его.

— Это недоразумение,— повторил К., и накопившаяся за день усталость вновь навалилась на него, и путь к школе показался еще таким далеким, и за Барнабасом выросла вся его семья.

Помощники все еще прижимались к К., и ему пришлось отпихнуть их локтями; как могла Фрида послать их ему навстречу, ведь он приказал, чтобы они оставались при ней. Дорогу домой он бы и сам нашел, и даже легче, чем в этом обществе. К тому же еще один из них обмотал вокруг шеи какой-то платок, свободные концы которого болтались на ветру и уже несколько раз хлестали К. по лицу; второй помощник, разумеется, всякий раз тут же снимал платок своими длинными, острыми, беспрерывно бегающими пальцами с лица К., но легче от этого не становилось. Оба, кажется, даже находили в этой игре удовольствие, да и вообще, ветер и тревога ночи их воодушевляли.

— Прочь! — крикнул К.— Если уж вы пошли меня встречать, почему вы не захватили мою палку? Чем мне теперь гнать вас домой?

Они пригнулись, спрятавшись за Барнабаса, но не были настолько напуганы, чтобы не поставить в то же время свои фонари справа и слева на плечи своего защитника — он, правда, тут же их сбросил.

— Барнабас,— сказал К., и у него стало тяжело на сердце оттого, что Барнабас явно его не понимал, оттого, что когда все было спокойно, куртка Барнабаса красиво блестела, но когда становилось трудно, от него не было никакой помощи, только глухое сопротивление,— сопротивление, с которым невозможно было бороться, так как сам Барнабас был безоружен, только улыбка его светилась, но это помогало так же слабо, как звездный свет наверху против бури здесь внизу.— Смотри, что мне этот господин пишет,— сказал К. и сунул ему письмо к глазам.— Господина неправильно информировали. Я же не делаю никакой измерительной работы, а чего стоят помощники, ты сам видишь. Правда, работу, которую я не делаю, я не могу и приостановить, я не могу даже вызвать недовольство этого господина — как я мог заслужить его одобрение? И я не могу не беспокоиться.

— Я это передам,— сказал Барнабас, все это время смотревший мимо письма, которое он, впрочем, все равно не смог бы прочитать, потому что оно было перед самым его лицом.

— Ах,— вздохнул К.,— ты обещаешь мне, что передашь, но разве я могу дей-

ствительно тебе верить? Мне так нужен посыльный, которому можно доверять, теперь — больше, чем когда-либо.

К. кусал от нетерпения губы.

— Господин,— сказал Барнабас, так кротко склоняя голову, что К. чуть было снова не поддался соблазну поверить ему,— я это, конечно, передам,— и то, что ты мне в прошлый раз поручил, я тоже, конечно, передам.

— Как? — воскликнул К.— Ты разве еще не передал? Ты разве не был на другой день в Замке?

— Нет,— ответил Барнабас.— Мой добрый отец уже стар, ты ведь его видел, и как раз тогда было много работы, я должен был ему помочь, но теперь я как-нибудь на днях снова схожу в Замок.

— Но чем же ты занимаешься, непостижимый ты человек! — воскликнул К., ударив себя по лбу.— Разве дела Кламма не важнее всех остальных? У тебя высокие обязанности посыльного — и ты относишься к ним так постыдно? Кому дело до работы твоего отца? Кламм ждет известий, а ты вместо того, чтобы мчаться сломя голову, принимаешься навоз возить из хлева?

— Мой отец — сапожник,— сказал Барнабас невозмутимо,— у него были заказы от Брунсвика, а я ведь у отца подмастерье.

— Сапожник — заказы — Брунсвик,— ожесточенно выкрикивал К., будто делая каждое из этих слов навсегда непригодным к употреблению.— И кому вообще нужны здесь сапоги на этих вечно пустых дорогах? И какое мне дело до всей этой сапожни, я доверил тебе сообщение не для того, чтобы ты на своей сапожной скамье все перезабыл и перепутал, а для того, чтобы ты его сразу же передал господину.

Тут К. немного поуспокоился, так как ему пришло в голову, что ведь Кламм, по-видимому, все это время был не в Замке, а в господском трактире, но Барнабас снова разозлил его, начав пересказывать К. наизусть его первое сообщение в доказательство того, что он хорошо его запомнил.

— Довольно, я не хочу ничего знать,— оборвал его К.

— Не сердись на меня, господин,— попросил Барнабас и, будто неосознанно желая наказать К., отвел от него свой взгляд и опустил глаза, хотя, скорее всего, это было смущение, вызванное криком К.

— Я не сержусь на тебя,— сказал К., и его раздражение обратилось теперь на него самого.— На тебя — нет, но для меня это очень худо, что для важных дел у меня есть только один такой посыльный.

— Послушай,— начал Барнабас, и показалось, что для того, чтобы защитить свою честь посыльного, он сейчас скажет больше, чем вправе сказать.— Кламм же не ждет известий, он даже злится, когда я прихожу. «Опять новые известия»,— сказал он однажды и, большей частью, как только он увидит издали, что я иду, он встает, уходит в соседнюю комнату и не принимает меня. И потом, так не установлено, что я должен с каждым сообщением сразу приходить; если бы было установлено, я бы, разумеется, сразу пришел, но про это так не установлено, и если бы я вообще не пришел, мне бы об этом и не напомнили. Если я приношу сообщение, то делаю это добровольно.

— Хорошо,— сказал К., вглядываясь в Барнабаса и нарочно стараясь не смотреть на помощников, которые поочередно, медленно, словно вырастая из-под земли, поднимались за плечами Барнабаса и быстро, с легким, подражающим ветру свистом, исчезали, будто испуганные видом К.; они уже долго так развлекались.— Что и как там у Кламма, я не знаю, что ты способен правильно во всем там разобраться — в этом я сомневаюсь, а даже если б и был способен, мы бы ничего не смогли там изменить. Но передать сообщение — это ты можешь, и об этом я тебя прошу. Совсем коротенькое сообщение. Можешь ты сразу, завтра же, его отнести и сразу же, завтра, сказать мне ответ или, по крайней мере, передать, как тебя приняли? Можешь ли ты и хочешь ли ты это сделать? Для меня это было бы очень важно. И может быть, у меня еще будет возможность соответственно тебя отблагодарить или, может быть, у тебя уже сейчас есть какое-нибудь желание, которое я могу для тебя исполнить?

— Конечно, я выполню поручение,— сказал Барнабас.

— А хочешь ты постараться выполнить его как можно лучше, самому передать его Кламму, самому получить от Кламма ответ, причем — сразу, совсем сразу, завтра, еще утром,— хочешь ты это?

— Я сделаю все, что могу,— заверил Барнабас,— но я это всегда делаю.

— Сейчас мы об этом больше спорить не будем,— сказал К.— Вот поручение: «Землемер К. просит у господина управляющего разрешения лично посетить его; он заранее принимает любые условия, которые могли бы быть связаны с таковым разрешением. Просьба его является вынужденной, так как все лица, служившие до сих пор посредниками, оказались полностью несостоятельными, в доказательство чего он приводит тот факт, что ни малейшей измерительной работы он до сих пор не произвел и, как уведомляет староста общины, никогда и не произведет; поэтому ему было до отчаяния стыдно читать последнее письмо господина управляющего, помочь здесь может только личное посещение им господина управляющего. Землемер знает, сколь много он тем самым испрашивает, но он постарается сделать так, чтобы беспокойство господина управляющего было как можно менее ощутимо, он согласен на любые временные ограничения, и если, к примеру, будет сочтено необходимым установить число слов, которые он имеет право использовать при разговоре, он также подчинится; он полагает, что сможет обойтись даже десятью словами. С глубоким почтением и в крайнем нетерпении ожидает он решения».

К. говорил самозабвенно, так, как если бы он стоял перед дверью Кламма и говорил с привратником.

— Вышло намного длиннее, чем я думал,— сказал он затем,— но ты все-таки должен передать это устно, письмо писать я не хочу, оно ведь пошло бы этим бесконечным официальным путем.

И на клочке бумаги на спине одного из помощников, в то время как другой светил, К. нацарапал слова — только для Барнабаса, хотя мог бы уже записывать их под диктовку Барнабаса, который все запомнил и по-ученически точно проговаривал, не обращая внимания на неверные подсказки помощников.

— Память у тебя исключительная,— похвалил К., отдавая ему бумажку,— но теперь, пожалуйста, прояви себя исключительно и в остальном. А желания? У тебя нет? Я бы — откровенно это говорю — был намного спокойнее за судьбу моего сообщения, если б у тебя были какие-нибудь желания.

Барнабас помолчал, потом сказал:

— Мои сестры передают тебе привет.

— Твои сестры,— повторил К.,— да, эти рослые, крепкие девушки.

— Обе передают привет, но особенно Амалия,— продолжал Барнабас,— она и принесла мне сегодня это письмо для тебя из Замка.

Ухватившись прежде всего за это известие, К. спросил:

— А не могла бы она и мое сообщение отнести в Замок? Или не могли бы вы пойти оба, и каждый попытал бы свое счастье?

— Амалия, конечно, с удовольствием сделала бы это,— ответил Барнабас,— но ей в канцелярии нельзя.

— Я, может быть, завтра зайду к вам,— сказал К.,— ты только сначала приходи с ответом. Я буду ждать тебя в школе. И передай привет сестрам.

Обещание К., кажется, очень обрадовало Барнабаса, и после прощального рукопожатия он к тому же еще слегка прикоснулся к плечу К. И словно все теперь снова было как тогда, когда Барнабас вошел, сверкая курткой, в залу с крестьянами, К. принял это прикосновение — усмехаясь, разумеется — как какую-то награду. Смягчившись, он на обратном пути позволял помощникам вытворять все, что они хотели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Домой добрался он совсем замерзшим, везде было темно, свечи в фонарях выгорели; двигаясь ощупью вслед за помощниками, которые здесь уже ориентировались, он попал в какое-то школьное помещение.

— Первое ваше дело, достойное похвалы,— сказал он, вспомнив письмо Кламма.

Еще не проснувшись, из какого-то угла закричала Фрида:

— Дайте же К. поспать! Не мешайте ему! — настолько занимал К. ее мысли даже несмотря на то, что она, побежденная сном, не могла его дождаться.

Наконец зажгли свет, впрочем, фитиль лампы нельзя было особенно выкрутить, так как в ней было очень мало керосина. В молодом хозяйстве еще многого недоставало. Печь хотя и затапливали, но большая комната, которую использовали и для занятий физкультурой (кругом стояли и свисали с потолка спортивные снаряды), уже поглотила все запасенные дрова; как уверяли К,. она было уже очень славно нагрелась, но, к сожалению, снова совсем выстудилась. Имелся, правда, большой запас дров в сарае, но сарай этот был заперт, и ключ был у учителя, который позволял брать дрова только чтобы топить в часы занятий. Это можно было бы пережить, укрывшись в кроватях, если бы они были, но в этом смысле не было ничего, кроме единственного соломенного тюфяка, с похвальной аккуратностью покрытого шерстяным платком Фриды, но — без перины и лишь с двумя грубыми, жесткими одеялами, которые навряд ли грели. И даже на этот жалкий соломенный тюфяк помощники поглядывали с вожделением, но надежды на то, что им когда-нибудь разрешат на него улечься, у них, конечно, не было. Фрида со страхом смотрела на К.; то, что она умеет даже самую жалкую комнату сделать пригодной для жилья, она вполне доказала в предмостном трактире, но здесь, вот так, совсем без всяких средств, она уже ничего не могла сделать.

— Единственное украшение нашей комнаты — эти спортивные снаряды,— вымученно улыбаясь сквозь слезы, сказала она.

Но относительно самых больших недостатков: неудовлетворительного отопления и условий для сна — она опреде-

ленно обещала улучшений уже на следующий день и просила К. потерпеть только до завтра. И ни слова, ни намека, ни гримасы, по которым можно было бы заключить, что в душе ее гнездится хотя бы малейшая досада на К., несмотря на то, что ведь он (он должен был сказать себе это) вырвал ее не только из господского, но теперь и из предмостного трактира. Поэтому К. постарался все найти сносным, что ему было, впрочем, совсем не трудно, так как мысленно он шагал вместе с Барнабасом и повторял слово за словом свое послание, но не так, как он передавал его Барнабасу, а так, как, по его расчетам, оно прозвучит для Кламма. Правда, в то же время он и искренне радовался кофе, который Фрида варила ему на спиртовке, и следил, прислонясь к остывшей печке, за ее быстрыми, заученными движениями, которыми она расстилала на кафедре все ту же неизменную белую скатерть, ставила кофейную чашку в цветочках и потом — хлеб, и сало, и даже банку сардин. Наконец, все было готово; Фрида тоже еще не ела, ждала К. В комнате было два стула, на них за столом сидели К. и Фрида, у их ног, на ступеньке возвышения — помощники, но они ни минуты не оставались спокойны и мешали даже во время еды. Хотя они уже вдоволь всего получили и далеко еще с этим не управились, они то и дело привставали, чтобы удостовериться, что на столе еще много всего, и они еще могут на что-то рассчитывать. К. ими не интересовался, только смех Фриды заставил его обратить на них внимание. Он ласково накрыл ее руку на столе своей и тихо спросил, почему она им так много прощает, аедь даже их распущенность она принимает дружелюбно. Так от них никогда не отделаешься, в то время как путем в известной степени жесткого — и более соответствующего их поведению — обращения можно было бы или добиться, чтобы они притихли, или,— что еще вероятнее и было бы еще лучше,— настолько отравить им существование, что они в конце концов сбежали бы. Ведь, судя по всему, пребывание здесь, в этой школе, будет не особенно приятным (ну, оно ведь и не продлится долго), но все эти неудобства были бы почти незаметны, если бы тут не было помощников и они остались бы вдвоем в тихом доме. И разве она не замечает, что помощники становятся день ото дня наглее, как будто им придает смелости уже само присутствие Фриды и надежда на то, что при ней К. не станет обращаться с ними так сурово, как бы он хотел. Впрочем, может быть, есть какое-нибудь совсем простое средство немедленно, без всяких хлопот от них отделаться, может быть, Фрида даже знает такое средство, ведь она так хорошо разбирается в здешних отношениях. Да и самим помощникам скорей всего только оказали бы услугу, если бы их как-нибудь прогнали, потому что ведь живут они здесь не бог весть как роскошно, и даже то безделье, которым они до сих пор упивались, теперь, по крайней мере, частично прекратится, потому что им-таки придется поработать: Фриде после всех волнений этих последних дней надо себя поберечь, а он, К., будет занят поисками выхода их из затруднительного положения. Однако если помощники уберутся, то он почувствует от этого такое облегчение, что легко сумеет выполнить сам и работу школьного сторожа, я все остальное.

Фрида, внимательно выслушав его, медленно погладила его руку и сказала, что она во всем с ним согласна, но что он, может быть, все-таки преувеличивает распущенность помощников: ведь они — молодые ребята, веселые и в чем-то наивные, впервые на службе у чужого человека и освобождены от строгой замковой дисциплины, поэтому постоянно немного возбуждены и удивлены, в таком состоянии они иногда и совершают глупости, сердиться на которые хотя и естественно, но разумнее над ними посмеяться. Она, например, иногда просто не может удержаться от смеха. Тем не менее она полностью разделяет мнение К., что самое лучшее было бы их отослать и остаться вдвоем. Она придвинулась ближе к К. и спрятала лицо на его плече. И оттуда сказала — так неразборчиво, что К. пришлось наклониться к ней,— что, однако, она не знает никакого средства против помощников, и боится, что все, что К. предложил, не подействует. Насколько ей известно, К. сам же их хотел, и вот теперь они у него есть, и они при нем останутся. Лучше всего не принимать их всерьез, ведь и сами они народ несерьезный,— так их легче всего перенести.

К. не был удовлетворен таким ответом; полушутя, полусерьезно он сказал, что, ей-богу, создается такое впечатление, будто она с ними заодно или, по крайней мере, питает к ним большую склонность; вообще они, конечно, симпатичные ребята, но не бывает таких, от которых при наличии доброй воли нельзя было бы избавиться, и он ей это на своих помощниках докажет.

Фрида сказала, что она будет ему очень благодарна, если это ему удастся. Впрочем, с этой минуты она больше не станет над ними смеяться и не скажет с ними ни одного лишнего слова. Она больше и не видит в них ничего смешного, это ведь в самом деле не шутка, когда за тобой постоянно наблюдают двое мужчин, она научилась смотреть на этих двоих его глазами. И она в самом деле слегка вздрогнула, когда помощники в этот момент снова привстали — отчасти, для ревизии запасов съестного, отчасти для выяснения причин такого непрерывного перешептывания.

К. воспользовался этим, чтобы настроить Фриду против помощников, привлек ее к себе, и рядом, друг подле друга, они закончили ужин. Наконец пора было уже ложиться спать; все очень устали, один помощник даже заснул за едой, что очень веселило другого: он пытался убедить господ посмотреть на глупое лицо спящего, но ему это не удалось, К. и Фрида отчужденно сидели наверху. В холоде, который становился невыносимым, они не решались идти спать, в конце концов К. заявил, что надо протопить еще, иначе заснуть будет невозможно. Он стал искать какой-нибудь топор, помощники знали, где лежит один, принесли его, и все пошли к дровяному сараю. Вскоре легкая дверь была взломана; в восторге, как будто ничего столь восхитительного они еще не испытывали, подгоняя и пихая друг друга, помощники начали носить дрова в класс, вскоре там была уже большая груда; затопили, все расположились возле печи, помощникам дали одно одеяло, чтобы в него завернуться, этого было вполне достаточно, так как условились, что один из них постоянно должен бодрствовать и поддерживать огонь; скоро возле печки стало так тепло, что даже одеяла уже не требовалось; лампу потушили и, счастливые от тепла и тишины, К. и Фрида улеглись наконец спать.

Проснувшись среди ночи от какого-то шороха и первым неверным, сонным движением в темноте потянувшись к Фриде, К. понял, что вместо Фриды рядом с ним лежит помощник. Это был — по видимому, вследствие напряженности нервов, которую всегда вызывает неожиданное пробуждение — самый большой ужас, пережитый им со дня прихода в деревню. Вскрикнув, он привскочил и, не помня себя, так стукнул помощника кулаком, что тот расплакался. Все, впрочем, сразу объяснилось. Фрида проснулась оттого, что (по крайней мере, ей так показалось) какой-то большой зверь, кошка, наверное, прыгнул ей на грудь и потом сразу убежал. Она встала и в поисках зверя обшарила со свечой всю комнату. Этим воспользовался один из помощников, чтобы доставить себе удовольствие немного полежать на соломенном тюфяке, аа что он теперь горько поплатился. Фрида, однако, никого не нашла, может быть, это ей просто почудилось, и вернулась к К.; на ходу, будто забыв вечерний разговор, она, утешая, погладила скорчившегося, хнычущего помощника по голове. К. ничего на это не сказал, только помощнику приказал перестать топить, так как, израсходовав почти все запасенные дрова, они натопили до того, что стало уже чересчур жарко.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром все проснулись только тогда, когда первые школьники уже были в классе и с любопытством окружили лежащих. Это было неприятно, так как из-за сильной жары, которая, впрочем, к утру сменилась чувствительным холодом, все разделись до рубашек — и именно в тот момент, когда они начали одеваться, в дверях появилась Гиза, учительница,— светловолосая, высокая, красивая, немного только чопорная девушка. Она была явно подготовлена к встрече с новым школьным сторожем и, очевидно, также получила от учителя указания, как вести себя, так как уже с порога заявила:

— Этого я не потерплю. Хорошенькие были бы условия. Вам разрешено спать в классе, но я не обязана проводить занятия в вашей спальне. Семья школьного сторожа, которая все утро валяется в кроватях. Фу!

Ну, на это можно было бы кое-что ответить, особенно насчет семьи и кроватей, думал К., в то время как они с Фридой (помощников для этого употребить было нельзя: лежа на полу, они с изумлением взирали на учительницу и детей) поспешно сдвигали брусья и коня, набрасывали на них одеяла и отгораживали таким образом маленький закуток, в котором, спрятавшись от взглядов детей, можно было, по крайней мере, одеться. Покоя, разумеется, не было ни минуты; вначале учительница подняла крик, что в умывальнике нет свежей воды — как раз в этот момент К. собирался забрать умывальник для себя и Фриды; он оставил пока это намерение, чтобы не слишком раздражать учительницу, но его смирение ничему не помогло, так как вскоре вслед за тем раздался сильный грохот: к несчастью, они забыли ночью убрать с кафедры остатки еды — учительница скинула все линейкой и все полетело на пол; то, что масло из-под сардин и остатки кофе разлились, а кофейник разбился вдребезги, учительницу не должно было беспокоить: ведь школьный сторож сейчас же наведет порядок. Держась за брусья, еще не совсем одетые, К. и Фрида смотрели на уничтожение их скудного имущества; помощники, которые, очевидно, даже и не думали одеваться, к большому удовольствию детей высунули свои головы внизу между одеялами. Для Фриды, естественно, больней всего была утрата кофейника; только когда К., чтобы утешить, уверил ее, что сейчас же пойдет

к старосте общины и потребует, и получит замену, она опомнилась настолько, что в одной рубашке и нижней юбке выбежала из их укрытия, чтобы забрать хотя бы скатерть и спасти ее от дальнейшего загрязнения. И это ей удалось, несмотря на то, что учительница, чтобы запугать ее, непрерывно стучала линейкой по столу, словно била по нервам. Когда К. и Фрида оделись, им пришлось не только приказами и пинками понуждать одеваться помощников, которые от всего происходящего были словно оглушенные, но отчасти даже самим одевать их. Потом, когда все были готовы, К. распределил ближайшую работу: помощники приносят дрова и растапливают печь, но вначале — в соседнем классе, откуда еще угрожала большая опасность, так как там, скорей всего, уже находился учитель, Фрида моет пол, а К. приносит воду и вообще наводит порядок; о завтраке пока нечего было и думать. Для того, однако, чтобы выяснить в целом настроение учительницы, К. намерен был выйти вначале один, остальные последуют за ним только тогда, когда он их позовет; он принял такой план действий, с одной стороны, потому что не хотел допустить, чтобы глупости помощников с самого начала еще более ухудшили положение, а с другой стороны, потому что хотел по возможности уберечь Фриду, так как у нее было тщеславие, у него — не было, она была чувствительна, он — нет, она думала только о сиюминутных мелких гнусностях, он же — о Барнабасе и о будущем. Фрида внимательно слушала его распоряжения, почти не сводя с него глаз. Едва только он вышел, учительница под хохот детей, который с этого времени вообще уже не прекращался, крикнула:

— Ну, выспались? — и так как К. не обратил на это внимания, поскольку это, собственно, и не был вопрос, а устремился к умывальнику, учительница спросила: — А что вы сделали с моей Мице?

Большая старая жирная кошка, лениво растянувшись, лежала на столе, и учительница разглядывала ее, очевидно, немного поврежденную лапу. Значит, Фрида все-таки была права, эта кошка хотя и не прыгнула на нее, потому что прыгать, вероятно, уже не могла, но проползла по ней; присутствие людей в обычно пустом доме ее испугало, она поспешно спряталась и в этой непривычной для нее спешке поранилась. К. попытался спокойно объяснить это учительнице, но та, восприняв только результат, заявила:

— Ну да, вы ее поранили, с этого вы здесь и начали. Вы только посмотрите! — она подозвала К. к кафедре, показала ему лапу и прежде, чем он успел сообразить, полоснула ему когтями по тыльной стороне ладони; хотя когти были уже тупые, но учительница, не заботясь на этот раз о кошке, так сильно их вдавила, что все-таки остались кровавые следы.— А теперь идите и принимайтесь за работу,— нетерпеливо скомандовала она и снова наклонилась к кошке.

Фрида, которая вместе с помощниками смотрела из-за брусьев, вскрикнула, увидев кровь. К. показал руку детям и сказал:

— Смотрите, что мне сделала злобная, коварная кошка.

Он сказал это, конечно, не для детей, чьи крики и хохот сделались уже настолько стихийными, что никакого дополнительного повода или подзадоривания не требовалось, и никакие слова не могли до них дойти или на них подействовать. Но поскольку и учительница ответила на оскорбление только коротким косым взглядом, а в остальном продолжала заниматься кошкой, и, значит, первый гнев был, видимо, этим кровавым наказанием утолен, К. позвал Фриду и помощников, и работа началась.

К. вынес ведро с грязной водой, принес свежей воды и уже начал подметать класс, когда с одной из скамеек поднялся мальчик лет двенадцати, тронул К. за руку и сказал что-то, в оглушительном шуме совершенно непонятное. И тут шум вдруг разом смолк; К. оглянулся. То, чего боялись все это утро, произошло: в дверях стоял учитель. В каждой руке этот маленький человечек держал за ворот по помощнику; он, очевидно, поймал их, когда они брали дрова, так как теперь громовым голосом кричал, делая паузу после каждого слова:

— Кто посмел вломиться в дровяной сарай? Где этот субъект? Я сотру его в порошок!

Тогда Фрида поднялась с пола, который она яростно оттирала у ног учительницы, посмотрела, словно собираясь с силами, на К. и сказала (причем в ее взгляде и осанке было что-то от прежнего превосходства):

— Это сделала я, господин учитель. Я не смогла придумать ничего другого. Раз классы должны протапливаться с утра, значит, сарай надо было открыть; ночью идти к вам за ключом я не посмела, мой жених был в господском трактире, не исключено было, что он останется там на всю ночь, так что я должна была сама на что-то решиться. Если я неправильно поступила, то простите мою неопытность, мой жених уже достаточно меня выругал, когда увидел, что произошло. Да, он даже запретил мне утром растапливать, потому что он считал, что, закрыв сарай, вы этим хотели показать, что не желаете, чтобы топили, пока вы сами не придете. Поэтому не натоплено по его вине, но сарай взломан по моей.

— Кто взломал дверь? — спросил учитель помощников, которые все еще безуспешно пытались освободиться от его хватки.

— Господин,— сказали оба и указали, чтобы не было сомнений, на К.

Фрида засмеялась, и этот смех, казалось, был еще убедительнее, чем их слова, потом она начала отжимать в ведро тряпку, которой мыла пол, так, словно с ее объяснением инцидент был исчерпан, а слова помощников — просто заключительная шутка; только уже стоя на коленях, готовая снова начать работу, она сказала:

— Наши помощники — дети, которым, несмотря на их годы, впору здесь, на школьной скамье, сидеть. Эту дверь я вчера вечером сама открыла топором, это было очень просто, помощники мне для этого были не нужны, они бы только мешали. Когда же потом, ночью, пришел мой жених и вышел, чтобы осмотреть повреждения и, по возможности, починить, помощники побежали за ним, потому что, должно быть, боялись оставаться здесь одни; они увидели, что мой жених что-то делает с выломанной дверью — и вот теперь говорят... ну, они ведь дети...

Во время объяснений Фриды помощники беспрерывно мотали головами, продолжали указывать на К. и, беззвучно гримасничая, старались убедить Фриду отказаться от ее утверждений, но так как это им не удалось, они в конце концов смирились, приняли слова Фриды как приказ и на повторный вопрос учителя уже не отвечали.

— Так,— проговорил учитель,— значит, вы солгали? Или, как минимум, легкомысленно обвинили школьного сторожа?

Они все еще молчали, но их дрожь и их испуганные взгляды, казалось, выдавали сознание вины.

— Тогда я вас немедленно изобью,— сказал учитель и послал одного из учеников в другую комнату за палкой.

Но в тот момент, когда он уже замахивался палкой, Фрида крикнула: «Помощники сказали вам правду», бросила в отчаянии тряпку в ведро так, что высоко вверх взлетели брызги и, убежав за брусья, спряталась там.

— Лживая банда,— сказала учительница, которая как раз закончила перевязку кошачьей лапы и устраивала животное у себя на коленях, где оно едва умещалось.

— Остается, следовательно, господин школьный сторож,— произнес учитель, отшвырнул помощников и повернулся к К., который все это время стоял опершись на метлу и слушал.— Этот вот господин школьный сторож, который из трусости спокойно допускает, чтобы в его собственных безобразных поступках ложно обвиняли других.

— Ну,— сказал К., который хорошо видел, что первый безудержный гнев учителя вмешательство Фриды все-таки смягчило,— если бы даже помощников слегка и отлупили, меня бы это не огорчило; если их десять раз прощают, когда они виноваты, то они могут за это один раз пострадать, когда и не виноваты. А кроме того, господин учитель, я бы не возражал, если бы обошлось без непосредственного столкновения между мной и вами; возможно, это было бы приятно даже и вам. Но теперь, раз уж Фрида принесла меня в жертву помощникам,— здесь К. сделал паузу, в тишине было слышно, как за одеялами всхлипывает Фрида,— все это дело, разумеется, должно быть выяснено.

— Неслыханно,— сказала учительница.

— Я с вами полностью согласен, фрейлейн Гиза,— подхватил учитель.— Вы, господин школьный сторож, по причине своего позорного служебного проступка, разумеется, от должности отстраняетесь; наказание, которое еще последует, я оставляю за собой, а теперь сию же минуту выметайтесь из этого дома со всеми вашими пожитками. Это будет для нас истинным облегчением, и мы, наконец, сможем начать занятия. Итак — живо!

— Я отсюда никуда не сдвинусь,— заявил К.— Вы мой начальник, но не вы предоставили мне эту должность, а господин староста общины, и я приму увольнение только от него. А он все-таки не для того, наверное, дал мне это место, чтобы я замерз здесь со своими людьми, а для того — как вы сами говорили — чтобы предотвратить необдуманные акты отчаяния с моей стороны. Поэтому вот так вдруг отстранять меня — это в корне противоречило бы его намерениям, и до тех пор, пока я из его собственных уст не услышу противоположное, я этому не поверю. Кстати, и вам скорей всего будет только на пользу, если я не подчинюсь вашему легкомысленному распоряжению.

— Значит, вы не подчиняетесь? — спросил учитель.

К. отрицательно покачал головой.

— Обдумайте все хорошенько,— сказал учитель.— Ваши решения не всегда — самые лучшие, вспомните хотя бы вчерашний вечер, когда вы отказались подвергнуться допросу.

— Почему вы именно теперь упомянули об этом? — спросил К.

— Потому что мне так захотелось,— отрезал учитель,— а теперь я повторяю в последний раз: вон отсюда!

Но так как это не подействовало, учитель подошел к кафедре и начал тихо совещаться с учительницей, та что-то сказала насчет полиции, но учитель это отклонил, наконец они пришли к единому мнению, и учитель велел детям перейти в его класс: они будут заниматься там

вместе с остальными детьми. Такое развлечение всех обрадовало, под смех и крики комната тут же опустела; учитель и учительница уходили последними. Учительница несла классный журнал и на нем — ко всему безучастную из-за своей толщины кошку. Учитель предпочел бы не брать кошку, но на соответствующее его замечание учительница ответила решительным отказом, сославшись на зверства К., так что вдобавок ко всему К. повесил на шею учителю еще и кошку. Это, вероятно, тоже повлияло на последние слова, с которыми учитель обратился в дверях к К.:

— Фрейлейн вынужденно покинула с детьми эту комнату, поскольку вы наглым образом не подчинились моему распоряжению об увольнении и поскольку никто не может требовать от нее, молодой девушки, чтобы она давала уроки посреди вашего грязного семейного хозяйства. Вы, следовательно, остаетесь одни, отвращение порядочных зрителей вам мешать не будет, и вы можете располагаться тут как вам угодно. Но долго это не продлится, за это я вам ручаюсь.

И с этими словами он захлопнул дверь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Едва только все они вышли, К. сказал помощникам:

— Убирайтесь вон!

Озадаченные этим неожиданным приказом, они послушались, но когда К. запер за ними, они тотчас запросились обратно, заскулили и застучали в дверь.

— Вы отстранены! — крикнул К.— К себе на службу я вас никогда больше не возьму.

Этого они, конечно, перенести уже не могли и заколотили в дверь руками и ногами.

— Обратно к тебе, господин,— кричали они так, как будто К.— это твердая земля, а они вот-вот захлебнутся в волнах.

Но К. не чувствовал жалости, он с нетерпением ждал того момента, когда невыносимый шум заставит вмешаться учителя. Это вскоре и произошло.

— Впустите ваших проклятых помощников! — крикнул тот.

— Я их отстранил! — крикнул в ответ К.; в этом был невольный побочный смысл: показать учителю, как это бывает, когда кто-то достаточно силен, чтобы не только объявить об увольнении, но и осуществить его.

Тогда учитель попытался по-хорошему успокоить помощников: им нужно только тихо подождать здесь, и в конце концов К. все равно придется снова их впустить. Затем он ушел. И теперь, возможно, все бы и затихло, если бы К. снова не крикнул им, что они теперь отстранены окончательно и у них нет ни малейшей надежды быть принятыми обратно. После этого они снова принялись шуметь. Снова пришел учитель, но разговаривать с ними уже не стал, а выгнал их — очевидно, той внушавшей ужас палкой — из дома.

Вскоре они появились перед окнами гимнастического зала, стучали в окна и что-то кричали, но слов было не разобрать. Однако и там они оставались недолго: в глубоком снегу они не могли так скакать, как того требовало их беспокойство. Поэтому они отбежали к ограде школьного сада и вскочили на каменное основание, с которого к тому же им было легче — правда, только издали — заглядывать в комнату; они бегали там, держась за решетку, взад и вперед, затем останавливались и умоляюще простирали к К. сцепленные руки. Они долго так упражнялись, не обращая внимания на бесплодность своих усилий; они словно ослепли и не остановились, наверное, и тогда, когда К. задернул занавески на окнах, чтобы избавить себя от этого зрелища.

В наступивших в комнате сумерках К. подошел к брусьям взглянуть, как там Фрида. Под его взглядом она поднялась, поправила волосы, отерла слезинки и молча занялась приготовлением кофе. Хотя она обо всем знала, К. все же формально уведомил ее о том, что он отстранил помощников. Она в ответ только кивнула. К. сидел на школьной скамье и следил за ее усталыми движениями. Красивым ее жалкое тело всегда делали именно свежесть и решительность — и вот эта красота исчезла. Нескольких дней совместной жизни с К. оказалось для этого достаточно. Работа в пивной была нелегкой, но для нее, наверное, все-таки более подходящей. Или действительной причиной того, что она поникла, было отдаление от Кламма? Близость Кламма сделала ее такой несообразно привлекательной, и, привлеченный, К. рванул ее к себе, и вот она увяла в его руках.

— Фрида,— позвал К.

Она тут же оставила кофейную мельницу и пришла к К. на скамью.

— Ты на меня сердишься? — спросила она.

— Нет,— ответил К.— Наверное, ты не могла иначе. Тебе было хорошо в господском трактире. Мне надо было оставить тебя там.

— Да,— сказала Фрида, печально глядя перед собой,— тебе надо было оставить меня там. Я не сто́ю того, чтобы жить с тобой. Освободившись от меня, ты, может быть, сумел бы достичь всего, чего хочешь. Ради меня ты покорился этому тирану-учителю, принял этот жалкий пост, мучительно добиваешься разговора с Кламмом. Все для меня, но я плохо отплачиваю тебе за это.

— Нет,— возразил К. и, утешая, обнял ее за плечи.— Все это мелочи, которые меня не огорчают, и к Кламму я ведь хочу не только из-за тебя. А сколько ты всего для меня сделала! До того, как я тебя узнал, я ведь здесь совсем был как в лесу. Никто меня не принимал, а к кому я навязывался, те быстро со мной расставались. И если я у кого-то и мог передохнуть, то это были люди, от которых я сам бежал,— хотя бы эти, у Барнабаса...

— Ты бежал от них? Правда? Милый! — перебив его, с живостью воскликнула Фрида; затем, после не сразу сказанного К. «да», она снова погрузилась в свою усталую задумчивость.

Но и у К. уже пропало желание объяснять, как все для него изменилось к лучшему благодаря связи с Фридой. Он медленно убрал с ее плеча руку, и некоторое время они сидели молча, пока, наконец, Фрида не сказала,— так, как будто рука К. давала ей тепло, без которого она теперь уже не могла обойтись:

— Я этой жизни здесь не вынесу. Если ты хочешь сохранить меня, мы должны уехать, куда-нибудь, в южную Францию, в Испанию.

— Уехать я не могу,— сказал К.,— я сюда пришел, чтобы здесь остаться. Я здесь останусь.— И, допуская противоречие, которое он даже не дал себе труда объяснить, прибавил, будто говоря сам с собой: — Что же могло меня привлечь в эту дикую страну, как не желание здесь остаться? — Потом он сказал: — Да и ты ведь тоже хочешь здесь остаться, это же твоя страна. Только Кламма тебе не хватает, и это наводит тебя на отчаянные мысли.

— Это Кламма-то мне не хватает? — отозвалась Фрида.— Вот уж Кламма здесь более чем достаточно, даже слишком много Кламма; чтобы уйти от него, я и хочу уехать отсюда. Не Кламма, а тебя мне не хватает, ради тебя я хочу уехать отсюда, потому что здесь, где все меня рвут на части, я не могу насытиться тобой. Пусть бы лучше с меня сорвали эту маску с нарисованным хорошеньким личиком, пусть бы лучше тело мое страдало, лишь бы я могла спокойно жить рядом с тобой.

К. услышал в этом только одно.

— Кламм все еще в связи с тобой? — тут же спросил он.— Он зовет тебя?

— О Кламме я ничего не знаю,— сказала Фрида,— я говорю сейчас о других, о помощниках, например.

— А-а, помощники! — проговорил К., опешив.— Они — что, пристают к тебе?

— А ты этого не заметил? — спросила Фрида.

— Нет,— ответил К., безуспешно пытаясь припомнить что-нибудь.— Да, они настырные и похотливые юнцы, это, скорей всего, так, но чтобы они посмели лезть к тебе, я не заметил.

— Нет? — сказала Фрида.— Ты не заметил, как их было не выгнать из нашей комнаты в предмостном трактире, как ревниво они следили за нашими отношениями, как один из них недавно лег на мое место на тюфяке, как они сейчас против тебя показывали, чтобы прогнать, погубить тебя, и остаться со мной? Всего этого ты не заметил?

К., не отвечая, смотрел на Фриду. Обвинения против помощников были, вероятно, справедливыми, но ведь все это можно было толковать и куда более невинно, исходя в целом из забавной, детской, суетливой, несдержанной натуры обоих. И потом, разве не противоречило обвинению то, что они всегда, куда бы К. ни шел, старались пойти с ним, а не остаться с Фридой? К. высказал нечто в этом роде.

— Притворство,— возразила Фрида,— ты этого не понял? Хорошо, почему же ты их тогда прогнал, если не поэтому?

И она пошла к окну, отодвинула немного занавески и, выглянув, подозвала К. Помощники все еще были там, у ограды; было видно, что они уже очень устали, но несмотря на это, они все же время от времени, собрав последние силы, простирали с мольбой руки к школе. Один из них, чтобы не надо было все время держаться, наколол сзади куртку на прут решетки.

— Бедные! Бедные! — сказала Фрида.

— Почему я их выгнал? — повторил вопрос К.— Непосредственным поводом для этого была ты.

— Я? — спросила Фрида, не отрывая взгляда от окна.

— Твое слишком уж дружеское обращение с этими помощниками,— пояснил К.,— прощение их распущенности, смех над ними, поглаживание их по головке, это постоянное сострадание к ним, только и повторяешь: «бедные, бедные», и, наконец, этот последний случай, когда оказалось, что я для тебя — не слишком высокая цена, если надо спасти от порки помощников.

— Так оно и есть,— сказала Фрида,— об этом я и говорю, так оно и есть, это и делает меня несчастной, это и не пускает меня к тебе, хотя для меня нет большего счастья, чем быть с тобой, все время, без перерывов, без конца, хотя я во сне вижу, что здесь на Земле нет спокойного места для нашей любви — ни в деревне, ни где-то еще,— и поэтому я представляю себе могилу, узкую и глубокую, там мы сжимаем друг друга в объятиях, как в тисках, я прижимаюсь к тебе, ты — ко мне, и никто никогда нас больше не увидит. А здесь... посмотри на этих

помощников! Это не к тебе они протягивают свои руки, а ко мне.

— И не я,— добавил К.,— смотрю на них, а ты.

— Конечно, я,— почти сердито сказала Фрида,— об этом же я и говорю все время. С чего бы еще эти помощники стали за мной бегать, если они даже и посланцы Кламма...

— Посланцы Кламма,— повторил К., которого это обозначение, сразу показавшееся ему вполне естественным, все же очень поразило.

— Посланцы Кламма, конечно,— подтвердила Фрида,— даже если это так, то все равно они в то же время — глупые мальчишки, которых для их воспитания еще лупить надо. Какие они отвратительные, какие гадкие мальчишки! И как омерзительна эта противоположность между их лицами, по которым их можно принять за взрослых, чуть ли не за студентов, и их по-детски дурашливым поведением! Ты думаешь, я этого не вижу? Да я стыжусь их. Но в том-то и дело, что не они вызывают у меня отвращение, а я стыжусь их. Мне все время приходится смотреть в их сторону. Когда надо бы на них рассердиться, мне приходится смеяться. Когда хотелось бы их побить, мне приходится гладить их по головке. И когда я лежу рядом с тобой ночью, я не могу заснуть, мне приходится смотреть, как один спит, туго закатавшись в одеяло, а другой сидит на корточках перед открытой дверцей печки и топит, и чтобы видеть их, мне приходится наклоняться вперед так, что я почти бужу тебя. И не кошка меня испугала — ах, я привыкла к кошкам, как я привыкла к беспокойному полусну в пивной, когда тебе все время мешают,— не кошка меня испугала, я сама пугаю себя. И не надо было совсем этого ужаса с кошкой, я вздрагиваю от малейшего шороха. Сначала я боялась, что ты проснешься и все будет кончено, а потом вдруг вскочила и зажгла свечку, чтобы только ты поскорей проснулся и мог защитить меня.

— Я обо всем этом ничего не знал,— сказал К.,— и только смутно догадываясь об этом, выгнал их, но теперь их нет, теперь, наверное, все хорошо.

— Да, наконец их нет,— отозвалась Фрида, но в лице ее была мука, а не радость,— только мы не знаем, кто они. «Посланцы Кламма» я называю их про себя, это — в шутку, но, может быть, это действительно так. Их простодушные и в то же время сверкающие глаза чем-то напоминают мне глаза Кламма, да, это так, это смотрит Кламм, иногда он пронизывает меня взглядом их глаз. И поэтому неправду я говорила, что я стыжусь их. Я только хотела бы, чтобы так было. Хотя я знаю, что где-нибудь в другом месте и у других людей такое поведение было бы глупым и неприличным,— у них это не так. Я смотрю на их глупости с уважением и восхищением. Но если они — посланцы Кламма, кто освободит нас от них, и вообще, стóит ли тогда от них освобождаться? Не лучше ли тебе тогда позвать их и радоваться, если они еще пойдут?

— Ты хочешь, чтобы я их снова впустил? — спросил К.

— Нет-нет,— сказала Фрида,— меньше всего на свете. Их вида, если бы они сейчас сюда ворвались, их радости снова видеть меня, их буйных детских восторгов и их протянутых мужских рук — всего этого я, может быть, вообще не сумела бы вынести. Но, с другой стороны, когда я снова подумаю, что, обращаясь с ними сурово, ты тем самым, может быть, закрываешь Кламму доступ к тебе, мне хочется всеми средствами уберечь тебя от последствий этого. Тогда мне хочется, чтобы ты позволил им вернуться. Тогда, К., ради бога, скорей верни их! Не обращай на меня внимания, что́ я значу! Я буду защищаться, пока смогу, если же мне суждено проиграть, что ж, значит, я проиграю, но тогда я буду знать, что и это произошло ради тебя.

— Ты только укрепляешь меня в моем решении относительно помощников,— сказал К.— С моего согласия они никогда не войдут сюда. Однако то, что я их выставил, доказывает, что с ними при известных обстоятельствах можно справиться, и далее, следовательно,— что ничто существенное их с Кламмом не связывает. Я только вчера вечером получил от Кламма письмо, из которого видно, что у Кламма о помощниках совершенно неверная информация, из чего, в свою очередь, следует, что они ему полностью безразличны, ведь если бы это было не так, он наверняка сумел бы получить о них точные сведения. А то, что ты видишь в них Кламма, ничего не доказывает, потому что ты, к сожалению, все еще находишься под влиянием хозяйки и видишь Кламма повсюду. Ты все еще — возлюбленная Кламма, ты далеко еще не моя жена. Иногда это очень печалит меня; мне тогда кажется, что я все потерял; у меня тогда такое ощущение, как будто я только пришел в деревню, но не полный надежд, каким я тогда в действительности был, а зная, что ожидают меня лишь разочарования и что предстоит мне испить их одно за другим, всю гущу до самого дна. Но так бывает лишь изредка,— с усмешкой добавил К., увидев, как съежилась Фрида от его слов,— и доказывает это ведь, в сущности, нечто хорошее, а именно — как много ты для меня значишь. И если ты теперь предлагаешь мне выбирать между тобой и помощниками, значит, помощники уже проиграли. И что за мысль: выбирать между тобой и помощниками! Но теперь я хочу, чтобы они исчезли окончательно, из разговоров и из мыслей. Кстати, кто знает, может быть, эта слабость, которая на нас обоих навалилась, происходит оттого, что мы до сих пор еще не позавтракали?

— Возможно,— устало произнесла Фрида, усмехнулась и принялась за работу; К. тоже снова взялся за метлу.

Через некоторое время в дверь тихонько постучали.

— Барнабас! — вскрикнул К., отшвырнул метлу и в несколько прыжков был у двери.

Испуганная именем больше, чем всем прочим, Фрида не отрываясь смотрела на него. Дрожащими пальцами К. не сразу смог открыть старый замок.

— Я уже открываю,— все время повторял он вместо того, чтобы спросить, кто же там, собственно, стучится.

И затем ему пришлось увидеть, как в широко распахнутую дверь входит не Барнабас, а тот маленький мальчик, который один раз уже пытался заговорить с К. Но К. не имел никакого желания вспоминать его.

— Тебе-то что здесь надо? — буркнул он.— Занятия в той комнате.

— Я и пришел оттуда,— сказал мальчик и спокойно посмотрел снизу на К. большими карими глазами; он стоял выпрямившись, держа руки по швам.

— Ну, и что тебе надо? Только быстро! — приказал К. и немного нагнулся к нему, так как мальчик говорил тихо.

— Я могу тебе помочь? — спросил мальчик.

— Он хочет нам помочь,— сказал К. Фриде и затем — мальчику: — Тебя как зовут-то?

— Ганс Брунсвик,— ответил мальчик,— ученик четвертого класса, сын Отто Брунсвика, сапожного мастера с Червячковой улицы.

— Смотри ты, Брунсвик его зовут,— сказал уже более приветливо К.

Выяснилось, что кровавые полосы, процарапанные учительницей на руке К., так взволновали Ганса, что он решил помогать К. Сейчас он самовольно, подвергаясь опасности сурового наказания, как дезертир ускользнул из соседнего класса. Возможно, именно такие вот детские представления им главным образом и владели. Соответствовала им и та серьезность, которая видна была во всем, что он делал. Только поначалу робость сдерживала его, но скоро он привык к К. и Фриде, а когда еще ему налили горячего хорошего кофе, он сделался оживлен и доверчив, и его вопросы стали жадными и настойчивыми, словно он хотел как можно скорее узнать все самое важное, чтобы потом иметь возможность самостоятельно принимать решения за К. и Фриду. И было в его натуре что-то властное, но оно так было перемешано с детской невинностью, что ему охотно, полушутя полусерьезно, подчинялись. Как бы там ни было, он сосредоточил на себе все внимание, всякая работа прекратилась и завтрак сильно затянулся. Хотя Ганс сидел на школьной скамье, К.— вверху, на столе, а Фрида — рядом на стуле, но впечатление было такое, будто учитель здесь Ганс, будто он проверяет и оценивает ответы; легкая усмешка в углах его мягкого рта, казалось, давала понять, что он прекрасно знает, что все это только игра, но тем большую серьезность он проявлял в деталях; впрочем, возможно, это была и не усмешка, возможно, это счастье детства играло на его губах. На удивление поздно он признался, что уже знает К.— с того раза, когда тот заходил к Лаземану. К. необыкновенно обрадовался и спросил:

— Ты играл тогда у ног той женщины?

— Да,— сказал Ганс,— это моя мать.

И теперь он должен был рассказывать про свою мать, но делал это довольно неохотно и только после неоднократных подбадриваний; тут все ж таки стало видно, что он — маленький мальчик, который хотя и казался иногда, особенно в своих вопросах (может быть, в предвосхищении будущего, но, может быть, также лишь вследствие обмана чувств беспокойно напряженных слушателей), чуть ли не энергичным, умным и дальновидным мужчиной, но затем, в следующее же мгновение, без перехода, был уже просто школьником, который многих вопросов вообще не понимал, а другие неверно истолковывал, который с детской невоспитанностью говорил слишком тихо, хотя ему неоднократно указывали на его ошибку, и который, наконец, будто из упрямства, на многие настойчивые вопросы отвечал полным молчанием, не испытывая при этом никакой неловкости, как никогда бы не смог взрослый. Вообще, было похоже, что, по его мнению, спрашивать позволено только ему, а из-за вопросов других словно бы нарушается какая-то инструкция и даром тратится время. Он мог тогда подолгу сидеть неподвижно, выпрямив спину, опустив голову и выпятив нижнюю губу. Фриде это так нравилось, что она не раз задавала ему вопросы, которые, как она надеялась, должны были заставить его вот так замолчать; ей это иногда и удавалось, но К. это злило. В общем, узнали мало. Мать немного больна, но что это за болезнь, осталось неясным; ребенок, которого фрау Брунсвик держала на руках,— сестра Ганса и зовут ее Фридой (к совпадению с именем расспрашивавшей его женщины Ганс отнесся неприязненно), они все живут в деревне, но не у Лаземана, туда они пришли только чтобы выкупаться, потому что у Лаземана — большой чан, купаться и возиться в нем доставляет маленьким детям, к ко-

торым Ганс, впрочем, не относится, особое удовольствие; о своем отце Ганс говорил почтительно — или испуганно, но только если речь не шла одновременно и о матери, по сравнению с матерью значение отца было, очевидно, малым, впрочем, все вопросы о семейной жизни, как ни старались к этому подступиться, остались без ответа. О занятии отца узнали, что он самый крупный местный сапожник, с ним — это Ганс неоднократно повторял, даже отвечая на совсем другие вопросы,— никто не может равняться, он даже дает работу другим сапожникам, отцу Барнабаса, например, тоже; в последнем случае Брунсвик делал это, вероятно, только из особой милости, по крайней мере, на это намекал гордый поворот головы Ганса, заставивший Фриду спрыгнуть к нему с возвышения и поцеловать его. На вопрос, бывал ли он прежде в Замке, он ответил только после многократных переспрашиваний, и ответил «нет»; на такой же вопрос, относящийся к его матери, вообще не ответил. Наконец К. устал, ему тоже расспросы показались бесполезными, он согласился в этом с мальчиком; да и было что-то стыдное в желании окольным путем выведать у невинного ребенка чужие семейные тайны, впрочем, вдвойне стыдно было то, что так ничего и не узнали. И когда К. спросил на прощание мальчика, чем же тот намеревался помочь, он уже не удивился, услышав, что Ганс просто хотел помочь в работе, чтобы учитель и учительница не ругали так К. К. объяснил Гансу, что помощи такого рода не требуется, ругаться, вероятно, в характере учителя и, значит, от этого даже самой тщательной работой едва ли можно защититься, сама же работа не трудна, и только вследствие случайного стечения обстоятельств он сегодня с ней не управился вовремя, кроме того, на К. эта ругань действует не так, как на какого-нибудь ученика, он пропускает ее мимо ушей, ему это почти безразлично, к тому же он надеется, что очень скоро сможет совсем уйти от учителя. Поскольку речь, следовательно, идет только о помощи против учителя, то он весьма ему признателен, и Ганс может теперь возвратиться, надо надеяться, что его за это еще не накажут. Хотя К. совершенно этого не подчеркивал и лишь непроизвольно дал понять, что только помощи против учителя ему не нужно, тогда как вопрос о другой помощи он оставляет открытым, Ганс тем не менее ясно это расслышал и спросил, не нужно ли К. другой помощи, он бы с большим удовольствием ему помог, а если бы не сумел сам, то попросил бы помочь мать и тогда бы все наверняка удалось. Его отец тоже, когда у него затруднения, просит мать помочь ему. И к тому же мать уже однажды спрашивала про К., она сама почти не выходит из дому, только в виде исключении она была тогда у Лаземана, он же, Ганс, довольно часто ходит туда играть с детьми Лаземана, и вот мать его однажды спросила, не был ли там снова землемер. Ну, мать такая слабая и усталая, что зря волновать ее нельзя, поэтому он только сказал, что землемера там не видел, и больше они об этом не говорили, но раз уж он его теперь здесь, в школе встретил, то он должен был с ним заговорить, чтобы рассказать матери. Потому что мать больше всего любит, когда ее желания исполняют без прямого приказа. На это К. после краткого раздумья ответил, что ему никакой помощи не нужно, он имеет все, что ему требуется, но что это очень мило со стороны Ганса, что он хочет ему помочь, и он благодарит его за это доброе намерение, вполне возможно, что когда-нибудь в будущем ему что-нибудь понадобится, тогда он обратится к нему, ведь адрес у него есть. Напротив, в этот раз, может быть, он, К., смог бы несколько помочь: его огорчает то, что матери Ганса нездоровится и здесь явно никто не понимает ее недуга, в подобном запущенном случае легкое само по себе заболевание очень просто может вызвать тяжелое осложнение. Так вот он, К., имеет кое-какие медицинские познания и, что еще более ценно, опыт в обращении с больными. Много такого, что не удавалось врачам, посчастливилось сделать ему. Дома за его целительную деятельность его всегда называли «горьким зельем». Во всяком случае, он с удовольствием осмотрел бы мать Ганса и поговорил с ней. Возможно, он сумеет дать добрый совет, он с удовольствием сделает это, хотя бы ради Ганса. Глаза Ганса при этом предложении вначале загорелись и этим побудили К. стать настойчивее, но результат был неудовлетворительным, так как в ответ на всякие вопросы Ганс сказал — и при этом даже не был особенно опечален,— что чужим к матери приходить нельзя, потому что ее нужно очень оберегать, и хотя тогда К. почти даже и не говорил с ней, она потом несколько дней пролежала в постели, что, правда, бывает довольно часто. Но отец тогда очень разозлился на К., и он уж точно ни за что не разрешит, чтобы К. пришел к матери, он ведь тогда хотел даже разыскать К., чтобы наказать его за такое поведение, его только мать от этого удержала. Но самое главное, что мать и сама обычно ни с кем не хочет говорить, и ее вопрос про К.— совсем не исключение из правила, наоборот, ведь упомянув о нем, она могла бы заодно высказать желание увидеть его, но она этого не сделала и этим ясно выразила свою волю. Она хотела только про К. услышать, но говорить с ним она не хотела. Кроме того, это вовсе не настоящая болезнь, чем она болеет, она очень хорошо знает причину

своего состояния и даже иногда на нее намекает: по всей вероятности, это здешний воздух, которого она не переносит, но оставлять это место она все-таки тоже не хочет, из-за отца и детей, к тому же ей сейчас уже лучше, чем было раньше. Вот, приблизительно, то, что узнал К.; мыслительные способности Ганса вырастали на глазах, когда ему требовалось защитить свою мать от К.,— от К., которому он якобы собирался помочь; больше того, во имя благой цели — не допустить К. к матери — он даже во многом противоречил своим же предыдущим высказываниям, к примеру, относительно болезни. Но несмотря на это, К. и теперь замечал, что Ганс по-прежнему расположен к нему,— только из-за матери он забывает все остальное; кого бы ни ставили рядом с его матерью, Ганс тотчас становится несправедлив к нему, сейчас это был К., но это мог быть, к примеру, и его отец. К. решил проверить этот последний вариант и сказал, что, безусловно, отец поступает очень разумно, так ограждая мать от любого беспокойства, и если бы он, К., мог хотя бы предположить тогда что-либо подобное, он безусловно не посмел бы заговорить с матерью, и он теперь просит задним числом извиниться за него дома. С другой стороны, ему не совсем понятно, почему его отец, если причина недомогания так определенна, как говорит Ганс, удерживает мать и не дает ей поправиться в другом воздухе; да, приходится говорить, что он ее удерживает, так как она не уезжает из-за детей и из-за него, но детей она могла бы взять с собой, ведь уезжать ей пришлось бы ненадолго — да и не очень далеко, уже наверху, на замковой горе воздух совсем другой. Расходов на поездку его отцу бояться не приходится, он же самый крупный местный сапожник и потом, наверняка у него или у матери есть родственники или знакомые в Замке, которые охотно бы ее приняли. Почему он ее не отпускает? Он напрасно недооценивает такого рода недомогания, вот К. видел его мать лишь мельком, но именно ее бросающаяся в глаза бледность и слабость побудили его к тому, чтобы заговорить с ней, уже тогда он удивился, что его отец оставил больную жену в тяжелом воздухе помещения, где шло всеобщее мытье и стирка, и в своих громких разговорах тоже не проявлял никакой сдержанности. Отец, очевидно, не знает, чем это грозит, пусть недомогание в последнее время и стало, может быть, слабее — недомогания такого рода капризны,— но в конце концов оно, если с ним не бороться, проявится с новой силой, и тогда ничто уже не сможет помочь. Если уж К. нельзя говорить с его матерью, то, может быть, стоило бы все-таки поговорить с его отцом и обратить его внимание на все это.

Ганс напряженно слушал, бóльшую часть понял, угрозу непонятого глубоко почувствовал. Тем не менее он сказал, что с его отцом К. говорить нельзя, отец настроен против него и скорей всего обошелся бы с ним, как учитель. Он говорил это, усмехаясь и смущаясь, когда речь шла о К., сдержанно и печально — когда упоминал об отце. Все же он прибавил, что, может быть, К. все-таки мог бы поговорить с матерью, но только, чтобы не знал отец. Потом Ганс задумался на некоторое время — с остановившимся взглядом, совсем как женщина, которая хочет сделать что-то запретное и ищет возможности осуществить это безнаказанно — и сказал, что послезавтра, может быть, это могло бы получиться, отец вечером уйдет в господский трактир, у него там деловые встречи, тогда он, Ганс, придет и отведет К. к матери, если, конечно, мать на это согласится, что тоже очень маловероятно. Ведь, главное, она совсем ничего не делает против воли отца и во всем ему подчиняется, даже в таких вещах, неразумность которых даже он, Ганс, явно видит. Ганс теперь в самом деле искал у К. помощи против отца; получалось так, словно он обманывал себя, когда думал, что хочет помочь К., в то время как на самом деле он хотел выяснить, не сумеет ли, может быть, этот неожиданно появившийся, а теперь даже и упомянутый матерью чужак помочь — раз уж никто из прежнего окружения не в состоянии это сделать. Мальчик словно бы неосознанно замыкался, почти скрытничал. До сих пор ни по его виду, ни по его словам это почти невозможно было угадать, только по его явно запоздалым, случайно и умышленно вызванным признаниям это стало заметно. И теперь в ходе долгой беседы с К. он обсуждал, какие трудности предстояло преодолеть. При всем желании Ганса, трудности были почти непреодолимые; мальчик целиком ушел в размышления и, в то же время, ждал помощи: тревожно моргая, он неотрывно смотрел на К. До ухода отца он ничего не мог сказать матери, иначе об этом узнал бы отец и все стало бы невозможным, значит, он мог об этом упомянуть только позднее, но и тогда, учитывая состояние матери,— не вдруг и не сразу, а постепенно и лишь при удобном случае; только тогда он постарается выпросить согласие матери, только тогда он сможет пойти за К., но не будет ли тогда уже слишком поздно, не будет ли уже грозить возвращение отца? Нет, это все-таки невозможно. К., напротив, доказывал, что это совсем не невозможно. Бояться, что времени не хватит, не надо, короткого разговора, короткого свидания будет достаточно. И идти за К. Гансу незачем, К. спрячется где-нибудь поблизости от дома и будет ждать, а по знаку Ганса, сразу же придет. Нет, сказал Ганс,

ждать у дома нельзя, без ведома матери (опять эта обуревавшая его щепетильность в отношении матери) К. не должен был выходить, вступать втайне от матери в такой сговор с К. Ганс не мог, он должен сам пойти за К. в школу — и не раньше, чем это узнает и разрешит мать. Хорошо, сказал К., тогда это и в самом деле опасно, тогда отец может застигнуть его в доме, и раз уж этого не должно произойти, то мать из страха перед этим вообще не разрешит К. прийти, и таким образом все срывается из-за отца. Ганс, в свою очередь, опять защищался, и спор тянулся без конца.

Давно уже К. позвал Ганса с его скамьи к кафедре, привлек его к себе, держал между колен и время от времени успокоительно гладил по голове. Эта близость тоже помогла, несмотря на временами возникавшее сопротивление Ганса, достигнуть взаимопонимания. В конце концов согласились на следующем: прежде всего Ганс скажет матери всю правду, но при этом, чтобы облегчить ей согласие, добавит, что К. хочет говорить и с самим Брунсвиком тоже — разумеется, не о матери, а о своих делах. Это было к тому же правдой: в ходе разговора К. пришло в голову, что ведь Брунсвик, пусть даже в остальном он опасный и злой человек, быть его противником, собственно, не мог, ведь он же был — по рассказу старосты общины, по крайней мере — вождем тех, которые, хоть и по политическим мотивам, требовали приглашения землемера. Появление К. в деревне Брунсвик, следовательно, должен был приветствовать; тогда, правда, становились почти непонятны неласковая встреча в первый день и это предубеждение против него, о котором говорил Ганс, но возможно, Брунсвика задело как раз то, что К. не обратился за помощью сначала к нему, возможно, здесь было и какое-то другое недоразумение, которое можно будет разрешить двумя-тремя словами. Но если это произойдет, тогда, весьма вероятно, в лице Брунсвика К. сможет получить определенную поддержку против учителя — да и против старосты общины, можно будет вскрыть весь этот официальный обман (что же это еще, как не обман?), с помощью которого староста общины и учитель отгородили его от замковых инстанций и запихнули на место школьного сторожа; если снова дойдет до борьбы вокруг К. между Брунсвиком и старостой общины, Брунсвик должен будет привлечь К. на свою сторону, К. станет гостем в доме Брунсвика, возможности Брунсвика будут, в пику старосте общины, предоставлены в его распоряжение, кто знает, куда он в итоге дотянется, но рядом с этой женщиной он во всяком случае будет часто,— мечты далеко увлекли К., и он мечтал, в то время как Ганс, думая только о матери, тревожно ждал его слов,— так ждут слов врача, встретившего тяжелый случай и погрузившегося в раздумье, чтобы найти спасительное средство. С предложением К. поговорить с Брунсвиком по поводу должности землемера Ганс был согласен — правда, только потому, что тем самым мать оказывалась защищена от отца, и кроме того, речь шла только о крайнем случае, которого, как можно было надеяться, не будет. Он только спросил еще, как К. объяснит отцу поздний час своего визита, и удовлетворился, наконец,— хотя и несколько помрачнев — тем, что К. сошлется на невыносимую должность школьного сторожа и оскорбительное обращение учителя, которые заставили его в приступе отчаяния забыть все приличия.

Когда таким образом уже все — насколько это можно было предвидеть — было обдумано, и возможность успеха все-таки не была по крайней мере исключена, Ганс, избавленный от тяжелых раздумий, повеселел и по-детски поболтал еще немного сначала с К., а потом и с Фридой, которая уже давно сидела погруженная в какие-то совсем другие мысли и только теперь снова начала принимать участие в разговоре. Между прочим, она спросила Ганса, кем он хотел бы стать; он думал недолго и сказал, что хотел бы стать таким человеком как К. Однако, когда его затем спросили, почему он этого хочет, он не знал, что сказать, на вопрос же, не хочет ли он, может быть, стать школьным сторожем, с определенностью отвечал, что — нет. Только когда стали спрашивать дальше, узнали, каким кружным путем пришел он к своему желанию. Нынешнее положение К. было вовсе не завидным, а плачевным и унизительным, это ясно видел и Ганс, и чтобы это понять, оглядываться на других людей ему вовсе не требовалось, он и сам с величайшим удовольствием оградил бы мать от любых взглядов и слов К., но несмотря на это, он пришел к К., и просил его о помощи, и был счастлив, когда К. согласился. Ему казалось, что и у других людей он замечает что-то похожее, и, главное, мать ведь сама упомянула о К. Из этого противоречия в нем возникла уверенность, что хотя теперь К. еще ничтожен и отвратителен, но в каком-то — правда, почти непредставимо далеком — будущем он, тем не менее, превзойдет всех. И именно эта совершенно нелепая даль и гордое продвижение, которое приведет в нее, привлекали Ганса; за такую цену он готов был мириться даже с теперешним К. В этом желании была какая-то детская мудрость,— особенно в том, что Ганс смотрел на К. сверху вниз, как на младшего, чье будущее протянется дальше, чем его собственное — будущее маленького мальчика. И была какая-то почти печальная серь-

езность в том, как он, вынужденный отвечать на все новые вопросы Фриды, говорил об этих вещах. К. удалось развеселить его, лишь сказав, что он знает, почему Ганс ему завидует, все дело в его красивой узловатой палке, которая лежала на столе и с которой Ганс в рассеянности играл во время разговора. Ну, изготавливать такие палки К. умеет, и, если их план удастся, он Гансу сделает еще красивее. Теперь стало уже не совсем ясно, не только ли палку в самом деле имел в виду Ганс: так обрадовался он обещанию К. Он весело распрощался, не забыв при этом крепко пожать К. руку и сказать: «Значит, до послезавтра».

Это было сделано вовремя, потому что не успел Ганс уйти, как учитель распахнул дверь и, увидев спокойно сидящих у стола К. и Фриду, закричал:

— Извините, что помешал! Но извольте сказать, когда здесь будет, наконец, убрано? Мы должны сидеть там набившись битком, занятия страдают, а вы тут отдыхаете и прохлаждаетесь в большом гимнастическом зале и, чтоб было больше места, еще и помощников выставили! Но теперь хотя бы вставайте и шевелитесь! — и затем, обращаясь к К.— А ты сейчас принесешь мне из предмостного трактира полдник!

Все это выкрикивалось с яростью, но слова были сравнительно мягкие, даже это, само по себе грубое «ты». К. готов был немедленно подчиниться, только чтобы выяснить намерения учителя он сказал:

— Я же уволен.

— Уволен или не уволен — неси мне полдник,— приказал учитель.

— Именно это я хочу знать: уволен или не уволен,— сказал К.

— Что ты мелешь? — крикнул учитель.— Ты же не принял увольнения.

— Этого достаточно, чтобы сделать его недействительным? — спросил К.

— Для меня — нет,— ответил учитель,— в этом можешь мне поверить, но для старосты общины, неизвестно почему, видимо,— да. А теперь — бегом, иначе в самом деле вылетишь отсюда.

К. был удовлетворен; значит, учитель за это время переговорял со старостой общины, или, может быть, даже не говорил, а только сформулировал для себя предположительное мнение старосты общины — и оно оказалось в пользу К. Он хотел тут же бежать за полдником, но окрик учителя снова вернул его — уже из коридора — назад; то ли учитель таким странным приказом хотел только испытать готовность К. подчиняться, чтобы исходить из нее в дальнейшем, то ли ему теперь снова понравилось командовать и он получал удовольствие, заставляя К., как какого-нибудь кельнера, сначала поспешно бежать куда-то, а затем по его приказу так же поспешно возвращаться. К., со своей стороны, понимал, что при слишком большой уступчивости станет рабом учителя и мальчиком для битья, но до известного предела он теперь намерен был терпеливо сносить учительские капризы, так как хотя учитель и не имел, как оказалось, законного права его уволить, но сделать ему исполнение должности мучительным до невыносимого он наверняка мог. А как раз теперь эта должность была для К. более важна, чем раньше. Разговор с Гансом возбудил в нем новые, пусть даже невероятные и совершенно безосновательные, но уже неугасимые надежды; они даже почти заслонили Барнабаса. Поверив им — а не поверить им он не мог, он должен был сосредоточить на них все свои силы, не думать ни о чем другом, ни о еде, ни о квартире, ни о деревенских властях — да даже и о Фриде не думать; хотя в сущности-то речь шла именно о Фриде, ведь все остальное беспокоило его только по отношению к ней. Поэтому эту должность, которая давала Фриде какую-то уверенность, он обязан был попытаться сохранить, а имея в виду такую цель, не должен был переживать, терпя от учителя больше, чем стал бы терпеть при других обстоятельствах. Все это не было чрезмерно болезненным: еще одно звено в длинной цепи маленьких жизненных мучений, это было ничто в сравнении с тем, чего К. добивался, да он и не затем пришел сюда, чтобы провести жизнь в почете и покое.

И так же, как он немедленно хотел бежать в трактир, так по новому приказу он готов был теперь — и тоже немедленно — привести сперва в порядок комнату, чтобы учительница со своим классом могла снова перейти в нее. Но наводить порядок нужно было очень быстро, так как после этого К. все-таки должен был принести полдник, а учитель уже сильно проголодался и хотел пить. К. заверил, что все будет исполнено согласно желанию, учитель еще некоторое время наблюдал, как К. носился, утаскивал постели, отодвигал на место спортивные снаряды и наскоро подметал, в то время как Фрида мыла и терла пол на возвышении. Такое рвение, по-видимому, удовлетворило учителя, он напомнил еще, что перед дверьми приготовлена куча дров для отопления (вероятно, он больше не хотел подпускать К. к сараю) и затем ушел к детям, пригрозив, что скоро вернется и проверит.

Проработав некоторое время молча, Фрида спросила, почему это К. стал теперь так послушно подчиняться учителю. Вопрос был, вероятно, продиктован сочувствием и заботой, но К., размышлявший о том, как мало удалось Фриде оградить его,— ведь она обещала,— от приказов и диктаторства учителя, только коротко ответил, что раз уж он теперь

заделался школьным сторожем, то должен выполнять свои обязанности. После этого они снова некоторое время молчали, пока К. (как раз этот короткий разговор напомнил ему, что ведь Фрида была, вроде, погружена в какие-то тяжелые мысли, и уже давно, особенно — во время почти всего разговора с Гансом) прямо не спросил ее, занося в это время дрова, что, собственно, ее беспокоит. Она ответила, медленно подняв на него глаза, что это не что-то определенное, просто она подумала о хозяйке и о справедливости многих ее слов. Лишь когда К. стал настаивать, она после многих попыток уклониться ответила более подробно, не отрываясь однако от своей работы,— но не из прилежания, так как работа, несмотря на это, вообще не двигалась, а только чтобы не нужно было смотреть на К. И вот она рассказала, как во время разговора К. с Гансом она вначале спокойно слушала, как потом, испуганная некоторыми словами К., начала глубже вникать в смысл его слов и как она с тех пор уже не может не слышать в словах К. подтверждения тому предостережению, за которое она должна быть благодарна хозяйке, но в справедливость которого она никогда не хотела верить. К., выведенный из себя этими общими фразами и скорей разозленный, чем тронутый жалобным, дрожащим от слез голосом (в особенности из-за того, что эта хозяйка опять лезла в его жизнь — хоть через воспоминания, раз уж собственной персоной до сих пор мало чего достигла), швырнул дрова, которые он нес, на пол, сел на них и не шутя потребовал, наконец, полной ясности.

— Уже не раз,— заговорила Фрида,— с самого начала хозяйка пыталась заставить меня усомниться в тебе; она не утверждала, что ты лжешь, напротив, она говорила, что ты по-детски откровенен, но твоя природа настолько отличается от нашей, что нам, даже когда ты говоришь откровенно, трудно заставить себя поверить тебе, и, если какая-нибудь добрая подруга не спасет нас раньше, нам придется на собственном горьком опыте приучаться верить тебе. Даже с ней, у которой такой острый взгляд на людей, получилось почти так же. Но во время последнего разговора с тобой в предмостном трактире она — я только повторяю ее злые слова — тебя раскусила, и теперь ты бы уже не смог ее обмануть, даже если бы старался скрыть свои намерения. Но ведь ты ничего и не скрываешь, она все время это повторяла, а потом сказала еще: «Старайся все-таки при любой возможности по-настоящему прислушиваться к нему, не поверхностно, нет, по-настоящему прислушиваться». Ничего другого, кроме этого она не делала и в отношении меня расслышала примерно следующее: ты ко мне прилип — она употребила это гадкое слово — только потому, что я случайно попалась на твоем пути и не была тебе совсем уж противна, и потому, что ты очень ошибочно считал, что служанка в пивной заранее предназначена в жертву всякому посетителю, который только протянет руку. Кроме того хозяйка узнала от хозяина господского трактира, что ты почему-то хотел переночевать в господском трактире, а иначе, как через меня, этого, конечно, вообще нельзя было добиться. Всех этих причин было достаточно, чтобы ты стал моим любовником на ту ночь, но для того, чтобы из этого вышло что-то большее, требовалось также что-то большее, и этим «бо́льшим» был Кламм. Хозяйка не утверждает, что знает, чего ты хочешь от Кламма, она утверждает только, что ты и до того, как узнал меня, так же ожесточенно рвался к Кламму, как и после. Разница заключается будто бы только в том, что раньше ты не имел надежды, а теперь считаешь, что нашел во мне верное средство действительно — и быстро, и даже имея превосходство — пробиться к Кламму. Как я испугалась — но вначале просто так, на миг, без какой-то глубокой причины,— когда ты сегодня к чему-то сказал, что до того, как узнал меня, был здесь как в лесу. Это, кажется, те же самые слова, которые употребила хозяйка; но она еще сказала, что ты только с тех пор, как узнал меня, действуешь целеустремленно. И это произошло оттого, что ты решил, будто, завладев возлюбленной Кламма, тем самым получил такой залог, выкупить который можно будет только за самую высокую цену. И торговаться об этой цене с Кламмом — твое единственное стремление. И поскольку я для тебя — ничто, а эта цена — все, то в отношении меня ты готов на любую уступку, а в отношении цены — упрям. Поэтому тебя не волнует, что я потеряла место в господском трактире, не волнует, что из предмостного трактира я тоже должна уйти, не волнует, что мне придется выполнять тяжелую работу школьного сторожа. У тебя нет больше нежности ко мне — даже времени больше нет для меня, ты оставляешь меня помощникам, ревности ты не знаешь, моя единственная ценность для тебя в том, что я была возлюбленной Кламма, по своему неведению ты стараешься не дать мне забыть Кламма, чтобы потом, в конце, я не слишком противилась, когда настанет решительный момент; но ты борешься и против хозяйки, которую считаешь единственной, кто мог бы отнять меня у тебя, поэтому ты довел ссору с ней до крайности, чтобы тебе пришлось вместе со мной уйти из предмостного трактира; а что я при всех обстоятельствах — до тех пор, пока это от меня зависит — твоя собственность, в этом ты не сомневаешься. Переговоры с Кламмом ты представляешь

себе как какую-то сделку: товар против денег. Ты учитываешь все варианты; при условии, что ты получаешь свою цену, ты готов на все: захочет меня Кламм — ты отдашь меня ему, захочет он, чтобы ты остался со мной — ты останешься, захочет, чтобы ты меня прогнал — ты меня прогонишь; но ты готов и разыгрывать комедию, если это будет выгодно, ты прикинешься, что любишь меня; его равнодушие ты попытаешься победить тем, что будешь подчеркивать твою ничтожность и стыдить его фактом твоего наследования, или тем, что мои любовные признания в отношении его персоны, которые я ведь действительно делала, перескажешь ему и попросишь, чтобы он меня снова принял — заплатив твою цену, разумеется; а если уж ничего другого не останется, ты просто попросишь милостыню на жизнь супружеской четы К. Но когда ты — так закончила хозяйка — увидишь, что ошибся во всем: в твоих предположениях, и в твоих надеждах, и в твоих представлениях о Кламме и о его отношениях со мной,— тогда начнется для меня ад, потому что тогда-то я и стану единственной оставшейся у тебя собственностью, но в то же время такой собственностью, которая окажется ничего не стоящей и с которой ты будешь соответственно обращаться, потому что никакого другого чувства, кроме чувства собственника, у тебя ко мне нет.

Напряженно, сжав губы, слушал ее К.; дрова под ним разъехались, он почти сполз на пол, но не замечал этого, только теперь он встал, сел на ступеньку возвышения, взял руку Фриды, которая слабо попыталась высвободиться, и сказал:

— В этом рассказе я не везде мог различить твое мнение и мнение хозяйки.

— Это было только мнение хозяйки,— сказала Фрида.— Я все выслушала, потому что я хозяйку уважаю, но в первый раз в моей жизни я ее мнение целиком и полностью отбросила. Мне казалось таким жалким все, что она говорила, таким далеким от какого-то понимания наших с тобой отношений. Мне, скорее, казалось правильным как раз противоположное тому, что она говорила. Я вспоминала то хмурое утро после нашей первой ночи, как ты стоял рядом со мной на коленях с таким видом, будто все уже потеряно. И как потом и в самом деле так складывалось, что я, как я ни старалась, не помогала, а мешала тебе. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, могущественным врагом, которого ты все еще недооцениваешь; ради меня, из-за которой у тебя было столько забот, тебе пришлось бороться за свое место, ты оказался в невыгодном положении перед старостой общины, должен был подчиниться учителю, был отдан в руки помощников, но самое худшее: из-за меня ты, может быть, провинился перед Кламмом. То, что ты все это время хотел добраться до Кламма, было ведь только бессознательным стремлением как-нибудь с ним помириться. И я сказала себе, что хозяйка, которая все это, конечно, понимает куда лучше, чем я, своими нашептываниями просто хочет уберечь меня от слишком жестоких упреков самой себе. Напрасные старания, хоть она и желала добра. Моя любовь к тебе помогла бы мне преодолеть все, она бы в конце концов и тебя тоже продвинула — если не здесь, в деревне, то где-нибудь еще, одно доказательство своей силы она ведь уже дала: она спасла тебя от Барнабасовой семьи.

— Значит, тогда у тебя было такое, противоположное мнение,— сказал К.,— и что же изменилось с тех пор?

— Я не знаю,— ответила Фрида и взглянула на руку К., которая держала ее руку,— может быть, ничего не изменилось; когда ты так близко от меня и так спокойно спрашиваешь, я верю, что ничего не изменилось. Но в действительности...— она отняла у К. руку, села прямо против него и заплакала, не закрывая лица; ее залитое слезами лицо было открыто и обращено к нему так, словно она плакала не о себе самой (и поэтому ничего не должна была скрывать), а плакала о предательстве К. и потому он заслужил еще и это наказание: видеть ее лицо,— но в действительности все изменилось после того, как мне пришлось выслушать твой разговор с этим мальчиком. Как невинно ты начал, спросил, как дома, как то, как се, мне чудилось, будто в этот момент ты входишь в пивную — такой доверчивый, наивный, и так по-детски жадно ловишь мой взгляд. Не было никакой разницы с тем, как было тогда, и я только желала, чтобы хозяйка была здесь, послушала тебя — и попробовала бы оставаться при своем мнении. Но потом вдруг — не знаю, как это произошло — я догадалась, с каким умыслом ты разговариваешь с этим мальчиком. Своими участливыми словами ты завоевал его доверие,— а его не легко завоевать,— чтобы потом без помех устремиться к цели, которую я все лучше и лучше понимала. Твоей целью была эта женщина. Сквозь кажущуюся заботу о ней из твоих слов совершенно неприкрыто выступал только интерес к собственным делам. Ты предавал эту женщину еще до того, как завоевал ее. Не только мое прошлое, но и мое будущее слышала я в твоих словах; мне чудилось, будто это хозяйка сидит рядом со мной и все мне объясняет, а я изо всех сил пытаюсь прогнать ее, но ясно вижу безнадежность этих стараний; и ведь предана была, собственно, даже не я (да я и не была еще предана), а посторонняя женщина. И когда я потом собралась с силами и спросила Ганса, кем он хочет стать, и он сказал,

что хочет стать таким, как ты, то есть он уже весь принадлежал тебе, то разве такая уж большая тут разница между ним, этим добрым мальчиком, которым воспользовались сейчас, и мной — тогда?

— Все,— сказал К., привычный упрек помог ему взять себя в руки,— все, что ты говоришь, в известном смысле правильно; это не лживо, нет, это только враждебно. Это мысли хозяйки, моего врага, даже когда ты считаешь, что они — твои собственные, и это меня утешает. Мысли, кстати, поучительные, у этой хозяйки еще многому можно поучиться. Мне самому она их не высказала, хотя в остальном меня не пощадила; она доверила это оружие тебе, очевидно, в надежде, что ты применишь его в особенно тяжелый или ответственный для меня час. Если я воспользовался тобой, то и она воспользовалась тобой аналогично. Но теперь подумай, Фрида: даже если бы все было в точности так, как говорит хозяйка, это было бы очень скверно только в одном случае, а именно: если бы ты не любила меня. Тогда, только тогда это было бы действительно так,— что я завоевал тебя хитростью и расчетом, чтобы нажиться на этом приобретении. Тогда, может быть, в мой план входило даже то, что я в тот раз, чтобы вызвать твое сочувствие, появился перед тобой рука об руку с Ольгой, и хозяйка просто забыла упомянуть еще и это в списке моих прегрешений. Но если это не тот скверный случай и не какой-то коварный хищник похитил тебя, а ты шла мне навстречу так же, как я шел навстречу тебе, и мы нашли друг друга, и забыли себя оба, то скажи, Фрида, как — тогда? Тогда ведь я веду не только мое дело, но и твое тоже, тогда тут нет разницы и разделять тут может только мой враг. Это справедливо во всем, в отношении Ганса — тоже. Кстати, в оценке разговора с Гансом, ты со своей деликатностью очень перехватила, потому что если намерения Ганса и не вполне совпадают с моими, то все же не настолько, чтобы между ними была чуть ли не какая-то противоположность; кроме того, ведь наши с Гансом разногласия не остались для него тайной, решив так, ты бы сильно недооценила этого дальновидного маленького человечка — и даже если все осталось для него тайной, то и тогда никому от этого вреда, я надеюсь, не будет.

— Так трудно во всем этом разобраться, К.,— сказала Фрида и вздохнула.— Конечно, никакого недоверия к тебе у меня не было, и если бы что-то такое передалось мне от хозяйки, я была бы счастлива это отбросить и на коленях просить у тебя прощения, что и, собственно, и делаю все это время, даже если и говорю такие злые слова. Но ведь это правда, что ты многое делаешь тайком от меня; ты приходишь и уходишь — я не знаю, откуда и куда. Сегодня, когда постучал Ганс, ты даже произнес это имя «Барнабас». Хоть бы один раз ты мое произнес с такой любовью, как произносил сегодня — по непонятной для меня причине — это ненавистное имя. Если у тебя нет ко мне доверия, то как же тогда не возникнуть недоверию и у меня,— я ведь тогда полностью отдана хозяйке, правоту которой ты своим поведением, кажется, подтверждаешь. Не во всем, я не собираюсь утверждать, что ты ее во всем подтверждаешь; ведь как бы там ни было, все-таки из-за меня же ты прогнал помощников? Ах, если бы ты знал, как жадно я во всем, что ты делаешь и говоришь, даже когда мне это мучительно, ищу какой-то добрый для меня смысл.

— Во-первых, Фрида,— сказал К.,— и даже самой последней мелочи от тебя не скрываю. Как же ненавидит меня эта хозяйка, как старается тебя у меня отнять, и какими презренными средствами она пользуется, и как ты ей поддаешься, Фрида, как ты ей поддаешься! Ну скажи, что я от тебя скрываю? Что я хочу добраться до Кламма, ты знаешь, что ты не можешь мне в этом посодействовать и что я поэтому должен добиваться этого сам, как могу, ты тоже знаешь, что это мне пока еще не удалось, ты видишь. Ну что, я должен еще вдвойне унижать себя рассказами о моих безрезультатных попытках, которые сами по себе уже достаточно меня унижают? Я должен, может быть, хвастаться тем, что я целый вечер мерз возле дверцы кламмовых саней, напрасно дожидаясь его? Счастливый, что могу больше не думать о таких вещах, я спешу к тебе — я вот теперь уже и с твоей стороны все это снова надвигается на меня. Барнабас? Разумеется, я жду его. Он — посыльный Кламма, не я же его назначил.

— Опять Барнабас! — воскликнула Фрида.— Я не могу поверить, что он хороший посыльный.

Возможно, ты права,— согласился К.,— но он — единственный посыльный, которого мне прислали.

Тем хуже,— сказала Фрида,— тем больше ты должен был его остерегаться.

— К сожалению, он пока не дал мне никакого повода для этого,— заметил К., усмехаясь.— Приходит он редко, и то, что он приносит, несущественно; ценно только то, что это исходит непосредственно от Кламма.

— Но послушай,— сказала Фрида,— ведь твоя цель — уже даже не Кламм; может быть, это меня беспокоит больше всего. То, что ты все время, не обращая внимания на меня, рвался к Кламму, было плохо, но то, что ты теперь, кажется, уклоняешься от Кламма,— намного хуже, это уже что-то такое, чего даже хозяйка не предвидела. По ее словам, мое счастье — сомнительное и все же очень

настоящее счастье — кончится в тот день, когда ты окончательно поймешь, что твоя надежда на Кламма была напрасна. Но теперь ты даже не ждешь этого дня; вдруг входит какой-то маленький мальчик, и ты начинаешь с ним драться за его мать так, будто борешься за глоток воздуха.

— Ты правильно уловила смысл моего разговора с Гансом,— подтвердил К.— Так оно действительно и было. Но неужели вся твоя прошлая жизнь для тебя настолько канула в вечность (за исключением, естественно, хозяйки, эта не даст себя забыть), что ты уже не помнишь, как приходится драться, чтобы продвинуться повыше, особенно если начинаешь с самого низа? Как приходится использовать все, что дает хоть какую-то надежду? А эта женщина пришла из Замка, она сама мне это сказала, когда я в первый день забрел к Лаземану. Это же просто напрашивалось — попросить у нее совета или даже помощи; если хозяйка в совершенстве знает только все препятствия на пути к Кламму, то эта женщина, наверное, знает и сам путь,— она же пришла его сверху.

— Путь к Кламму? — спросила она.

— К Кламму, разумеется, куда же еще,— сказал К., затем он вскочил.— Но теперь уже самое время идти за полдником.

С настойчивостью, никак не соответствовавшей поводу, Фрида просила его остаться,— просила так, словно только если бы он остался, подтвердилось все то утешительное, что он ей сказал. Но К. напомнил ей об учителе, показал на дверь, которая в любое мгновение могла с громовым треском распахнуться, и пообещал сразу же вернуться: она даже может не растапливать печь, он потом сам этим займется. В конце концов Фрида, помолчав, смирилась. Когда К. с трудом пробирался во дворе через снег — давно пора было расчистить дорожку, удивительно, как медленно двигалась работа,— он увидел одного, смертельно уставшего помощника, цеплявшегося за решетку. Только одного — куда делся второй? Что же, значит, упорство по крайней мере одного К. сломил? Правда, оставшийся был еще достаточно прилежен в работе, это стало заметно, когда он, оживившись при виде К., тут же принялся яростно простирать руки и страстно закатывать глаза. «Несгибаемость образцовая,— сказал себе К., но, впрочем, поневоле прибавил,— с такой только замерзать у решетки.» Внешне, однако, он ограничился лишь тем, что погрозил помощнику кулаком; это исключало всякое сближение, и действительно, помощник испуганно попятился, пройдя задом порядочный кусок. Как раз в этот момент Фрида открыла одно из окон, чтобы, как было обговорено с К., проветрить комнату перед тем как начать топить. Помощник сразу забыл про К. и, притягиваемый неодолимой силой, стал красться к окну. Фрида смотрела на К., дружелюбие к помощнику и беспомощная мольба искажали ее лицо; она слабо махнула из окна рукой, было даже неясно, защищалась она или прощалась — в помощника в его продвижении к окну это не остановило. Тогда Фрида поспешно закрыла наружную раму, но осталась за ней — рука на задвижке, склоненная набок голова, большие глаза и застывшая на губах усмешка. Знала ли она, что этим больше привлекает, чем отталкивает помощника? Но К. уже не оглядывался, он решил, что лучше пойдет как можно быстрее и быстро вернется назад.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наконец — было уже темно: близился вечер — К. расчистил в саду дорожку, высоко набросал по обеим сторонам снег, похлопал его лопатой, и с работой на сегодня теперь было покончено. Он стоял у садовой калитки, далеко вокруг — ни души. Помощника он прогнал еще несколько часов назад; долго за ним гнался, потом потерял его где-то среди садиков и хижин, отыскать уже не смог, и с тех пор тот больше не показывался. Фрида была дома и полоскала что-то в маленькой ванночке — то ли уже белье, то ли все еще Гизину кошку: это было знаком большого доверия со стороны Гизы, что она поручила Фриде такую работу,— работу, правда, неаппетитную и неподобающую, на которую, разумеется, К. никогда бы не согласился, если бы не считал необходимым после всех служебных промашек использовать любой удобный случай, чтобы чем-то обязать Гизу. Гиза благосклонно наблюдала за тем, как К. тащил с чердака маленькую детскую ванночку, как грели воду и как, наконец, осторожно сажали в ванну кошку. Потом Гиза и вообще оставила кошку на Фриду, так как пришел Шварцер, знакомый К. по первому вечеру; Шварцер поздоровался с К.— при этом робость, основания для которой были заложены в тот первый вечер, смешивалась у него с непомерным презрением, естественным в отношении школьного сторожа,— и затем отправился с Гизой в соседний класс. Там они оба все еще и сидели. Как рассказывали К. в предместном трактире, Шварцер, который был все-таки сыном кастеляна, из-за любви к Гизе уже давно жил в деревне и через свои связи добился от общины назначения сверхштатным учителем, но исполнение этой должности заключалось у него глав-

ным образом в том, что он не пропускал почти ни одного урока Гизы, сидя либо на школьной скамье среди детей, либо, еще охотнее, на ступеньке возвышения у ног Гизы. Это давно уже никому не мешало, дети легко к этому привыкли и, может быть, именно потому, что Шварцер детей не любил, не понимал и почти с ними не разговаривал; он взялся вести только уроки физкультуры, в остальном же был доволен тем, что живет вблизи Гизы, дыша ее теплом. Самой большой радостью для него было сидеть рядом с Гизой и проверять ученические тетради. Этим они занимались и сегодня; Шварцер принес большую кипу тетрадей (учитель всегда давал им и свои тоже), и пока еще было светло, К. видел обоих, недвижимо, голова к голове работающих за маленьким столиком у окна, теперь там видны были только колеблющиеся язычки двух свечей. Любовь, связывающая этих двоих, была серьезна и молчалива, и тон в ней задавала Гиза; по натуре флегматичная, она, несмотря на то, что иногда и делалась буйной, и переходила при этом все границы, у другого в другое время никогда бы ничего подобного не потерпела, так что и бойкому Шварцеру тоже приходилось подчиняться, медленно ходить, медленно говорить, много молчать, но было видно, что за все это он с избытком вознагражден уже одним молчаливым присутствием Гизы. При этом Гиза, может быть, даже не любила его, во всяком случае, ее круглые, серые, буквально никогда не мигающие (скорее, словно бы вращающиеся вокруг зрачков) глаза не давали ответа на этот вопрос; было видно только, что присутствие Шварцера она терпит без возражений, но чести быть любимой сыном кастеляна она определенно не умела оценить по достоинству и свое полное пышное тело несла всегда одинаково спокойно, независимо от того, провожал ее взглядом Шварцер или нет. Напротив, Шварцер, оставаясь в деревне, непрерывно приносил ей жертву; посыльных своего отца, довольно часто приходивших за ним, он выпроваживал с таким раздражением, как будто даже то краткое воспоминание о Замке и о его сыновнем долге, которое они вызывали, наносило какой-то чувствительный, невозместимый ущерб его счастью. И при этом он, вообще говоря, в избытке имел свободного времени, так как Гиза показывалась ему, как правило, только во время занятий и при проверке тетрадей — впрочем, не из расчета, но лишь потому, что больше всего любила комфорт, а, следовательно,— одиночество, и, видимо, более всего была счастлива, когда могла дома, в полной свободе разлечься на канапе, положив рядом кошку, которая не мешала, потому что вообще едва могла двигаться. Так что Шварцер бóльшую часть дня слонялся без дела, но и это было ему в радость, у него всегда была возможность — которой он часто и пользовался — пойти на Львиную улицу, где жила Гиза, подняться к ее комнатке под крышей, постоять у всегда запертой двери и затем поспешно уйти, убедившись всякий раз, что в комнате царит совершеннейшая, непостижимая тишина. Все же последствия такого образа жизни и у него проявлялись иногда (но никогда — в присутствии Гизы) в забавных вспышках просыпавшегося на мгновение официального высокомерия, которое, впрочем, как раз к нынешнему его положению довольно мало шло; это разумеется, большей частью не очень хорошо потом кончалось, в чем имел возможность убедиться и К.

Удивляло только то, что, по крайней мере в предместном трактире, о Шварцере говорили все-таки с известным уважением, даже когда речь шла скорее о забавных, чем о достойных уважения вещах; уважение это распространялось и на Гизу. Но если Шварцер полагал, что, будучи сверхштатным учителем, он неизмеримо выше К., то это тем не менее было неверно, такого превосходства не существовало; школьный сторож для учителей вообще, а для учителя вроде Шварцера в особенности — очень важная персона, которую нельзя безнаказанно презирать и которой это презрение — если в силу сословных интересов от него не могут отказаться — по крайней мере, должны соответствующей компенсацией сделать переносимым. К. собирался при случае об этом подумать, к тому же у него еще за первый вечер был к Шварцеру счет, который не стал меньше оттого, что последующие дни в общем-то оправдали прием, оказанный ему Шварцером. Ведь не следовало забывать, что этот прием, может быть, дал направление всему последующему. Из-за Шварцера совершенно бездарным образом все внимание инстанций было сразу, в первый же час привлечено к К., когда он, еще совершенно чужой в деревне, без знакомых, без крова, измученный переходом, абсолютно беспомощный, лежал там на мешке с соломой и инстанции могли сделать с ним все, что хотели. Уже на следующую ночь все могло произойти совсем иначе, тихо, почти тайком, во всяком случае, о нем бы ничего не знали, не имели бы никаких подозрений, по крайней мере, не задумываясь пустили бы его, странника, на день к себе; увидели бы его полезность и надежность, пошли бы разговоры между соседями и наверняка вскоре он сумел бы пристроиться где-нибудь слугой. Естественно, от инстанций он бы не укрылся. Но тут была существенная разница: одно дело, когда из-за него среди ночи поднимают на ноги центральную канцелярию, или кого-то, кто там был у телефона,

требуют моментального решения, требуют по видимости смиренно, но с досадной настырностью, к тому же исходит все от Шварцера, которого наверху скорей всего не любят; другое — если бы вместо всего этого К. на следующий день в приемные часы постучался бы к старосте общины и, как полагается, представился бы странником из чужих краев, который уже остановился у такого-то члена общины и, вероятно, завтра снова двинется в путь; тогда выходило бы, что произошел совершенно невероятный случай, и он нашел здесь работу — разумеется, только на несколько дней, так как дальше он ни в коем случае оставаться не намерен. Так или примерно так было бы все без Шварцера. Инстанции все равно продолжали бы заниматься этим случаем, но — спокойно, в установленном порядке, не тревожимые этой, должно быть, особенно ненавистной для них нетерпеливостью клиента. Ну, К.-то во всем этом был не виноват, вина лежала на Шварцере, но Шварцер — сын кастеляна и, формально, он действовал правильно, значит, заставить расплачиваться за это можно было только К. А смехотворная причина всего этого? Быть может, дурное настроение Гизы в тот день, из-за которого Шварцер не мог заснуть и шатался ночью, чтобы потом отыграться за свои мучения на К. Правда, с другой стороны, можно было сказать и то, что этому поведению Шварцера К. очень многим обязан. Только благодаря ему стало возможным нечто такое, чего К. сам никогда бы не добился, да никогда и не посмел бы добиваться, и чего инстанции, со своей стороны, тоже, наверное, никогда бы не допустили: то, что он с самого начала, не увиливая, открыто выступил против инстанций, чтобы встретить их лицом к лицу,— насколько это вообще в отношении инстанций было возможно. Но это была плохая услуга; хотя это частично избавило К. от лжи и тайной возни, но зато и почти обезоружило, во всяком случае, повредило в борьбе и в итоге могло бы довести до отчаяния, если бы он не был вынужден сказать себе, что разница в силах между ним и инстанциями настолько чудовищна, что вся ложь и хитрость, на какие он был способен, не смогли бы существенно изменить эту разницу в его пользу. Однако эта мысль годилась только для самоуспокоения, к Шварцеру у него все равно оставался счет; пусть в тот раз Шварцер повредил К., в следующий раз он, может быть, сумеет помочь, а помощь — уже в создании самых ничтожных, самых исходных предпосылок — нужна будет К. и дальше, тем более, что, к примеру, этот Барнабас, похоже, опять подведет.

Из-за Фриды К. за весь день так и не собрался сходить к Барнабасу и что-нибудь разузнать; чтобы не пришлось принимать его при Фриде, он работал сейчас на улице и после работы все еще торчал здесь, ожидая Барнабаса, но Барнабас не шел. Не оставалось, таким образом, ничего другого, как пойти к его сестрам; он зайдет только на минуту, только спросит с порога, скоро он снова будет здесь. И он всадил лопату в снег и побежал. Задыхаясь, подбежал он к дому Барнабаса, распахнул, кратко постучав, дверь и спросил, не глядя кто и что в комнате:

— Барнабас все еще не пришел?

Только теперь он заметил, что Ольги там нет, старики опять сидят вдвоем вдали у стола в каком-то полузабытьи,— они еще не поняли, что произошло у двери и только теперь медленно поворачивают головы в его сторону,— а Амалия лежит под одеялом на скамье у печи: испуганная внезапным появлением К., она привстала и держит руку у лба, пытаясь прийти в себя. Будь Ольга в комнате, она бы тотчас ответила, и К. мог бы сразу уйти, теперь же он вынужден был по крайней мере сделать несколько шагов к Амалии, протянуть ей руку, которую та молча пожала, и попросить ее, чтобы она удержала всполошившихся родителей от каких бы то ни было передвижений, что она и сделала, сказав им несколько слов. К. узнал, что Ольга во дворе колет дрова, Амалия, вконец измучившись (она не сказала из-за чего), недавно вынуждена была лечь, а Барнабас хотя еще и не пришел, но очень скоро должен прийти, так как на ночь в Замке он никогда не остается. К. поблагодарил за справку, он мог теперь уходить, но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу; к сожалению, у него не было времени. Тогда Амалия спросила, разговаривал ли он уже сегодня с Ольгой; он с удивлением ответил, что нет и спросил, не хотела ли Ольга сообщить ему что-либо особенное. Амалия покривила, будто в легкой досаде, губы, молча кивнула К.— это явно было прощание — и снова легла. Лежа на спине, она разглядывала его так, словно удивлялась, что он еще здесь. Взгляд ее был холоден, ясен, неподвижен как всегда; он был направлен не совсем точно,— это мешало,— он немного, почти незаметно отклонялся от того, на что она смотрела; это, казалось, было вызвано не слабостью, а какой-то постоянной, превосходящей все другие чувства потребностью в уединении, о которой, быть может, и она сама узнавала только таким образом. К. вспомнил — так он полагал,— что этот взгляд уже в первый вечер занимал его, да и вообще, наверное, все то отталкивающее впечатление, которое эта семья сразу же на него произвела, возникло из-за этого взгляда, хотя сам по себе он был не отталкивающим, а гордым и в своей замкнутости откровенным.

— Ты всегда такая грустная, Ама-

лия,— сказал К.,— тебя что-то мучает? Ты не можешь об этом говорить? Я еще никогда не встречал такой деревенской девушки, как ты. Мне только сегодня, собственно, только сейчас это пришло в голову. Ты — здешняя, из деревни? Ты здесь родилась?

Амалия подтвердила это так, словно К. задал только последний вопрос, и затем спросила:

— Значит, ты все-таки подождешь Ольгу?

— Я не понимаю, почему ты все время спрашиваешь одно и то же,— сказал К.— Я не могу больше задерживаться, потому что дома меня ждет невеста.

Амалия оперлась на локоть, она не слышала ни о какой невесте. К. назвал имя, Амалия такой не знала. Она спросила, знает ли о помолвке Ольга; К. полагал, что, вероятно, да. Ольга ведь видела его с Фридой, к тому же в деревне такие новости распространяются быстро. Амалия, однако, уверила его, что Ольга этого не знает и что это сделает ее очень несчастной, потому что она, кажется, любит К. Прямо она об этом не говорит, так как она очень скрытна, но любовь все равно невольно себя выдает. К. был убежден, что Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хотя она была печальна, освещала ее угрюмо сосредоточенное лицо, делала молчание говорящим, делала чуждое понятным, выдавала какую-то тайну, отдавало какое-то до сих пор сберегавшееся достояние, которое хотя и можно было снова отобрать, но уже никогда — целиком. Амалия сказала, что она, конечно же, не ошибается, нет, она знает даже больше, она знает, что и К. неравнодушен к Ольге, и что хотя предлогом для его посещений служат какие-то там послания Барнабаса, на самом деле он приходит только ради Ольги. Но теперь, поскольку Амалия все знает, он может уже не относиться к этому так строго и приходить чаще. Только это она и собиралась ему сказать. К. покачал головой и напомнил о своей помолвке. Амалия, казалось, придавала этой помолвке не слишком большое значение, решающим для нее было непосредственное впечатление: ведь К. стоял перед ней все-таки один; она только спросила, когда же К. познакомился с этой девушкой, он же всего несколько дней в деревне. К. рассказал о вечере в господском трактире, на что Амалия сказала только, что она была очень против того, чтобы его вели в господский трактир. В свидетельницы этого она призвала и Ольгу, которая как раз вошла с целой охапкой дров в руках, свежая и раскрасневшаяся с мороза, оживленная и сильная, словно работа пробудила ее от обычного тяжелого оцепенения. Она бросила дрова на пол, непринужденно поздоровалась с К. и сразу спросила про Фриду. К. многозначительно взглянул на Амалию, но та, казалось, не считала, что ее слова опровергнуты. Немного разозлившись на это, К. подробнее, чем сделал бы это в другое время, рассказал о Фриде, описал, в каких тяжелых условиях она все-таки ведет в школе что-то вроде домашнего хозяйства, и, спеша закончить рассказ — он ведь хотел сразу идти домой,— так забылся, что на прощание пригласил сестер как-нибудь его навестить. Тут, правда, он испугался и замолчал, и Амалия тотчас же, не оставив ему времени сказать еще хоть слово, объявила, что приглашение принято; теперь и Ольга была вынуждена присоединиться к ней и сделала это. Однако К., неотступно преследуемый мыслью о необходимости побыстрее распрощаться и чувствовавший себя неуютно под взглядом Амалии, не замедлил безо всякой уже дипломатии признаться, что его приглашение было совершенно необдуманным и продиктовано было только его личными чувствами, но что он, к сожалению, не может оставить его в силе, так как между Фридой и барнабасовым домом существует какая-то сильная, ему, впрочем, совершенно непонятная вражда.

— Это не вражда,— сказала Амалия и поднялась со скамьи, сбросив за спину одеяло,— вражда — это было бы слишком много; просто она повторяет то, что говорят все. Ну иди же, иди к своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И можешь не бояться, что мы придем, я ведь сказала это только в шутку, со злости. Но ты можешь приходить к нам чаще, для этого, наверное, препятствий нет, ты ведь всегда можешь отговориться барнабасовыми посланиями. И чтобы тебе это было еще легче, скажу, что Барнабас, даже если он принесет для тебя послание из Замка, не сможет идти еще и в школу, чтобы передать его тебе. Он не может столько бегать, бедный мальчик, он изматывается на этой службе, тебе придется самому прийти за своей запиской.

К. еще ни разу не слышал, чтобы Амалия произносила такую длинную речь, да и звучала она иначе, чем обычно, в ней было что-то вроде величия, которое почувствовал не только К., но, очевидно, даже и Ольга — давно привыкшая к ней сестра. Она стояла чуть поодаль, снова в своей привычной позе: сцепив руки на животе, расставив ноги и слегка ссутулившись, глаза ее были устремлены на Амалию, но та все время смотрела только на К.

— Это ошибка,— сказал К.,— большая ошибка, если ты думаешь, что к ожиданию Барнабаса я не отношусь серьезно. Привести мои дела с инстанциями в порядок — это мое самое большое, собственно, мое единственное желание. И Барнабас должен мне оказать в этом содействие, многое в моих надеждах связано с ним. Он, правда, один раз уже очень меня разочаровал, но там я сам был виноват больше, чем он, все происходило в неразберихе первых часов, я думал тогда, что за одну маленькую вечернюю прогулку смогу всего добиться, и в том, что невозможное оказалось невозможным, я тоже обвинил его. Это повлияло даже на мое мнение о вашей семье, о вас. Но это в прошлом, я думаю, что теперь понимаю вас лучше, вы ведь...,— К. поискал точное слово, не смог сразу найти и удовлетворился тем, что подвернулось,— вы, может быть, более покладисты, чем кто-либо из здешних деревенских жителей, насколько я их сейчас знаю. Но теперь, Амалия, ты снова смущаешь меня тем, что принижаешь если и не саму службу твоего брата, то, во всяком случае, то значение, которое она имеет для меня. Может быть, ты не посвящена в дела Барнабаса, тогда все хорошо, и пусть все остается как есть, но если ты посвящена — а у меня скорей такое впечатление,— тогда это плохо, тогда это означало бы, что твой брат меня зачем-то обманывает.

— Не волнуйся,— сказала Амалия,— я не посвящена и ничто не могло бы склонить меня к тому, чтобы я позволила себя посвящать, ничто не могло бы склонить меня к этому, даже уважение к тебе, ради кого я все-таки многое бы сделала, потому что мы, как ты сказал, покладисты. Но дела моего брата — это его дела, я ничего о них не знаю, кроме того, что случайно, против моей воли иногда услышу. Вот Ольга может дать тебе исчерпывающие сведения, она ведь — его доверенная.

И Амалия ушла, сначала к родителям, с которыми пошепталась, потом — в кухню; она ушла, не попрощавшись с К., словно знала, что он останется еще надолго и никаких прощаний не нужно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

К. все еще стоял в некотором удивлении; Ольга засмеялась и утащила его к скамейке у печи, она, кажется, в самом деле была счастлива, что они теперь могут посидеть здесь одни, но это счастье было спокойным, ревность его определенно не омрачала. Именно благодаря отсутствию ревности, а следовательно, и какой бы то ни было суровости, К. было с ней хорошо; он с удовольствием смотрел в ее голубые — не зовущие, не властные, а робко устремленные на него, робко выдерживавшие его взгляд глаза. Было похоже, что предостережения Фриды и хозяйки обострили не его чувствительность ко всему, что было здесь, а его внимательность и находчивость. И он засмеялся вместе с Ольгой, когда она удивилась, почему он именно Амалию назвал покладистой: ведь Амалия какая угодно, только, вообще-то говоря, не покладистая. На что К. объяснил, что похвала относилась, разумеется, к ней, к Ольге, но Амалия такая властная, что она не только присваивает себе все, что в ее присутствии говорится, но и тебя заставляет добровольно все ей отдать.

— Это верно,— заметила Ольга, становясь серьезной,— даже более верно, чем ты думаешь. Амалия моложе меня и моложе Барнабаса, но именно она все решает в семье — и когда у нас радость, и когда горе; правда, на нее и груз ложится больший, чем на всех — и радости, и горя.

К. нашел это преувеличенным: Амалия ведь только что сказала, что, например, о делах брата она не заботится, Ольга же, напротив, все о них знает.

— Как мне тебе это объяснить? — сказала Ольга.— Амалия не заботится ни о Барнабасе, ни обо мне, она не заботится, собственно, ни о ком, кроме родителей: за ними она ухаживает день и ночь, и сейчас вот опять спросила, чего им хочется и пошла на кухню готовить им, ради них себя превозмогла, чтобы встать, потому что уже полдня как болеет и лежит здесь на скамье. Но хотя она о нас и не заботится, мы зависим от нее так, словно она здесь старшая, и если бы она нам в наших делах советовала, мы бы, конечно, ее слушались, но она этого не делает, мы для нее чужие. Ты же хорошо знаешь людей, ты пришел из чужих краев, скажи, разве она не кажется и тебе на редкость умной?

— На редкость несчастной она мне кажется,— сказал К.,— но как же согласуется с вашим уважением к ней то, что, например, Барнабас пошел на эту посыльную службу, которую Амалия не одобряет, может быть, даже презирает?

— Если бы он знал, что ему еще делать, он бы эту посыльную службу, которая его совсем не удовлетворяет, сразу бросил.

— А разве он не квалифицированный сапожник? — спросил К.

— Конечно,— ответила Ольга,— он же и работает, помимо всего, для Брунсвика, и, если бы захотел, мог бы иметь горы сапожной работы и хороший заработок.

— Ну, вот,— сказал К.,— значит, он все-таки имел бы какую-то компенсацию за посыльную службу.

— За посыльную службу? — удивленно спросила Ольга.— Разве он пошел на нее ради заработка?

— Возможно,— предположил К.,— однако ты вроде бы сказала, что она его не удовлетворяет.

— Она его не удовлетворяет — и по

многим причинам,— подтвердила Ольга,— но это все-таки служба в Замке, что ни говори,— какая-то служба в Замке, так, по крайней мере, можно считать.

— Как,— удивился К.,— вы даже в этом сомневаетесь?

— Ну,— сказала Ольга,— вообще-то нет. Барнабас ходит в канцелярии, разговаривает со слугами как равный, издали видит и отдельных чиновников, ему дают сравнительно важные письма — даже и поручения для устной передачи доверяют,— это все-таки немало, и мы могли бы гордиться тем, сколького он в такие юные годы уже достиг.

К. кивал, о возвращении домой он уже не думал.

— У него есть и собственная ливрея? — спросил он.

— Ты имеешь в виду куртку? — уточнила Ольга.— Нет, куртку ему Амалия справила еще до того, как он стал посыльным. Но ты подошел к нашему больному месту. Он давно уже должен был бы получить по службе не какую-то ливрею, которых в Замке нет, а обмундирование, оно ему даже было обещано, но в этом отношении они там в Замке очень медлят, и хуже всего то, что никогда не знаешь, что эта медлительность означает: она может означать, что дело находится в производстве, но может также означать, что дело в производство вообще еще не запущено, и, к примеру, Барнабаса все еще только хотят испытать; она может, наконец, означать и то, что производство по делу уже закончено, обещание по каким-то причинам взято назад, и Барнабас обмундирования никогда не получит. Точно этого узнать нельзя — или только спустя много времени. У нас здесь есть даже поговорка — ты, может быть, слышал: «Официальные решения стыдливы, как молодые девушки».

— Это очень верное наблюдение,— заметил К., он отнесся к этому еще серьезнее, чем Ольга,— очень верное, у решений и девушек могут быть и другие общие свойства.

— Возможно,— сказала Ольга.— Я, правда, не знаю, в каком смысле ты это говоришь. Может быть, даже в похвальном. Но что касается форменной одежды, то как раз это — одна из забот Барнабаса, а поскольку заботы у нас общие,— и моя тоже. Почему он не получает форменной одежды? — тщетно спрашиваем мы себя. Но, правда, все тут не так просто. Например, чиновники вообще, кажется, не имеют форменной одежды; судя по тому, что мы здесь знаем — и по рассказам Барнабаса, чиновники ходят там в обычной, разумеется, красивой одежде. Впрочем, ты уже видел Кламма. Ну, чиновником даже самой низкой категории Барнабас, естественно, не является — и не заносится настолько, чтобы хотеть им стать. Но и старшие слуги — которых, правда, здесь в деревне вообще невозможно увидеть — по рассказам Барнабаса, не имеют форменного обмундирования; в первый момент кажется, что в этом можно найти некоторое утешение, но оно обманчиво, потому что разве Барнабас — старший слуга? Нет, при самой большой симпатии к нему этого сказать нельзя, он не старший слуга, уже то, что он приходит в деревню и даже живет здесь, доказывает обратное; старшие слуги живут еще более замкнуто, чем чиновники и, возможно, по праву, возможно, они даже выше многих чиновников (кое-что говорит в пользу этого: они меньше работают), и, судя по словам Барнабаса, это должна быть удивительная картина, когда они, один к одному высокие, сильные мужчины медленно идут по коридору; Барнабас всегда крутится там возле них. Короче, не может быть и речи о том, что Барнабас — старший слуга. Значит, он мог бы быть одним из младших слуг, но как раз эти-то получают форменное обмундирование, во всяком случае, тогда, когда они спускаются в деревню; это не в прямом смысле ливрея, к тому же там есть много различий, но все равно по одежде сразу узнаешь слугу из Замка — да ты сам видел этих людей в господском трактире. Больше всего бросается в глаза в этой одежде то, что она, как правило, плотно облегает — крестьянину или ремесленнику такая одежда не годилась бы. Так вот этой одежды у Барнабаса нет; это не только, скажем, постыдно или унизительно, такое можно было бы перенести, но это — особенно в тяжелые часы: иногда, и не так уж редко, они у нас с Барнабасом бывают — заставляет сомневаться уже во всем. Замковая ли это вообще служба — то, что делает Барнабас, спрашиваем мы себя тогда; конечно, он ходит в канцелярии, но относятся ли эти канцелярии собственно к Замку? И даже если канцелярии принадлежат к Замку, то те ли это канцелярии, в которые допускается Барнабас? Он приходит в канцелярии, но это только какая-то их часть: дальше — барьеры, а за ними — еще другие канцелярии. Идти дальше ему в общем-то не запрещено, но не может же он идти дальше, если он уже нашел своих начальников, если они с ним уже все закончили и сказали «идите». Там ведь еще за тобой постоянно наблюдают, по крайней мере, возникает такое ощущение. И даже если бы он пошел дальше, что бы это дало, когда у него там никаких служебных дел и он был бы там просто нарушителем. Ты, кстати, не должен представлять себе эти барьеры как какие-то установленные границы, Барнабас тоже все время мне об этом напоминает. Барьеры есть и в тех канцеляриях, в которых он бывает, есть и такие барьеры, через которые он прохо-

дит, и внешне они ничем не отличаются от тех, за которые он еще не проникал, поэтому нет причин с самого начала предполагать, что за этими последними барьерами находятся канцелярии, существенно отличающиеся от тех, в которых Барнабас уже бывал. Такие мысли посещают у нас только в те наши тяжелые часы. И тогда от сомнений уже никуда не уйти, и нет от них барьеров. Барнабас разговаривает с чиновниками, Барнабасу дают поручения, но что это за чиновники, и что за поручения? Теперь, как он говорит, его придали Кламму и он получает задания персонально от него. Ну, это было бы уж очень много, даже старшие слуги не достигают таких высот, это было бы почти что слишком много, это-то и пугает. Подумай только, быть приданным персонально Кламму, вот так вот запросто разговаривать с ним — и чтобы все это было правдой? Ну да, все это правда, но почему же Барнабас сомневается в том, что чиновник, который значится там Кламмом, действительно Кламм?

— Ты ведь не собираешься шутить, Ольга,— сказал К.,— какое может быть сомнение в том, как выглядит Кламм, когда известно, как он выглядит, я же сам его видел.

— Конечно нет, К.,— ответила Ольга.— Это не шутки, это мои самые серьезные заботы. Но я рассказываю тебе это не для того, чтобы облегчить свою душу и как-то отяготить твою, а потому что ты спросил про Барнабаса, и Амалия поручила мне рассказать, и потом, я думаю, тебе тоже полезно знать подробности; я это делаю и ради Барнабаса — чтобы ты не возлагал на него слишком больших надежд; он тебя разочаровывает и потом сам от твоего разочарования страдает. Он очень чувствителен; например, сегодня ночью он не спал, потому что ты вчера вечером был им недоволен, ты будто бы сказал, что для тебя очень скверно иметь только такого посыльного, как Барнабас. И эти слова лишили его сна. Сам ты, может быть, и не заметил его волнения, замковые посыльные должны очень хорошо владеть собой, но ему это нелегко дается, даже с тобой — нелегко. Ты требуешь от него, с твоей точки зрения, конечно же, не слишком много, у тебя свои определенные представления о посыльной службе, и исходя из них, ты предъявляешь свои требования. Но в Замке другие представления о посыльной службе, их нельзя было бы соединить с твоими, даже если бы Барнабас целиком посвятил себя службе, к чему он, к сожалению, иногда кажется расположен. И пришлось бы, конечно, смириться, и невозможно было бы ничего возразить, если б только не этот вопрос: действительно ли это посыльная служба — то, что он делает? При тебе он, естественно, не может высказывать на этот счет никаких сомнений, если бы он это сделал, это значило бы для него подорвать свое собственное существование, грубо нарушить законы, которые — он все-таки еще верит — на него тоже распространяются, и даже со мной он не говорит откровенно, мне приходится ласками, поцелуями выманивать у него его сомнения, а он еще упирается и не признает, что эти сомнения — действительно сомнения. У него в крови что-то от Амалии. И всего он мне, конечно, не рассказывает, хотя я — единственная его доверенная. Но о Кламме мы иногда разговариваем; я Кламма еще не видала (ты знаешь, Фрида меня не слишком любит и никогда не позволила бы мне взглянуть на него), но, естественно, внешность его в деревне известна, кое-кто его видел, все о нем слышали, и из этих впечатлений очевидцев, из слухов и также из многих умышленно искаженных свидетельств составился портрет Кламма, который, вероятно, в основных чертах верен. Но только в основных. В остальном он изменчив и, возможно, еще даже не настолько изменчив, как действительная внешность Кламма. Он, судя по всему, когда приходит в деревню, выглядит совершенно иначе, чем когда он ее покидает, иначе — перед тем, как выпьет пива, и иначе — после этого, иначе — бодрствуя, иначе — во сне, иначе, когда один и иначе, когда разговаривает и, как уже понятно после всего этого, почти принципиально по-другому — наверху, в Замке. И, судя по рассказам, даже в пределах деревни есть довольно большие различия: различия роста, осанки, полноты, бороды,— только в отношении одежды все рассказы, к счастью, согласуются; он носит всегда одну и ту же одежду: черный фрак с длинными фалдами. Ну, объясняются все эти различия, естественно, не каким-то колдовством, а очень понятно, они происходят от мгновенного настроения, степени возбуждения, бесчисленных стадий надежды или отчаяния наблюдающего, который, к тому же и видит Кламма, как правило, лишь одно мгновенье. Я пересказываю тебе все это так, как это мне часто объяснял Барнабас, и вообще-то, если не быть непосредственно, лично причастным к делу, то на этом можно бы и успокоиться, но мы так не можем: для Барнабаса это вопрос жизни, действительно ли он говорит с Кламмом или нет.

— Для меня тоже,— если не больше,— сказал К. и они еще ближе подвинулись друг к другу по скамейке.

Хотя все эти малоприятные Ольгины новости плохо подействовали на К., он все же усматривал значительную компенсацию для себя в том, что нашел здесь людей, положение которых, по крайней мере внешне, было похоже на его собственное, к которым он, следовательно,

мог примкнуть, с которыми он во многом мог сойтись, а не только кое в чем, как с Фридой. Хотя он постепенно терял надежду на какой-либо успех данного Барнабасу поручения, но чем хуже складывались у Барнабаса дела наверху, тем ближе становился он ему здесь, внизу; К. никогда бы не подумал, что в самой деревне могло родиться такое несчастное стремление, какое было у Барнабаса и его сестры. Оно, впрочем, было еще далеко не достаточно объяснено и могло в конце концов обернуться своей противоположностью; нельзя было позволить, чтобы эта по-своему невинная Ольгина сущность сразу же соблазнила его поверить и в искренность Барнабаса.

— Рассказы о внешности Кламма,— продолжала Ольга,— Барнабас знает очень хорошо, много их собирал и сравнивал, может быть — слишком много, один раз сам видел Кламма в деревне через окошко кареты — или думает, что видел,— таким образом, он достаточно подготовлен к тому, чтобы его узнать, и тем не менее — как ты это объяснишь? — когда он в Замке заходит в канцелярию и ему среди многих чиновников указывают одного и говорят, что это — Кламм, он его не узнает, и даже потом еще долго не может привыкнуть к тому, что это и есть Кламм. Но если ты сейчас спросишь Барнабаса, чем этот человек отличается от того обычного представления, которое есть о Кламме, он ответить не сможет; более того,— он ответит, и опишет этого чиновника в Замке, но это описание в точности совпадет с тем описанием Кламма, которое мы знаем. Но в таком случае, Барнабас, говорю я, почему ты сомневаешься, почему ты мучаешь себя? На что он тогда, явно удрученный, начинает перечислять особенности того чиновника в Замке, которые, однако, скорее изобретает, чем пересказывает, и которые кроме того так незначительны (они касаются, например, какого-нибудь особенного кивка головой или даже только расстегнутой жилетки), что их невозможно принимать всерьез. Еще более важным мне кажется то, как Кламм общается с Барнабасом. Барнабас часто мне это описывал, даже чертил. Обычно Барнабаса приводят в одну и ту же большую канцелярию, но это канцелярия не Кламма, вообще — не чья-то отдельная канцелярия. Эта комната разделена одной сплошной (идущей от боковой стены до боковой стены) конторкой на две части: узкую, где едва могут разойтись два человека, это помещение для чиновников, и широкую, это помещение для посетителей, зрителей, слуг, посыльных. На конторке лежат в ряд раскрытые большие книги, и около большинства из них стоят чиновники и читают в них. При этом они не остаются все время около одних и тех же книг, но меняются не книгами, а местами; Барнабаса больше всего поражает то, как им приходится при такой смене мест протискиваться друг мимо друга — из-за узости их помещения. Впереди, вплотную к конторке, стоят узкие столики, за ними сидят писцы и пишут под диктовку чиновников, если те пожелают. Барнабаса всегда удивляет, как это происходит. Никакого явного приказа чиновник не отдает и громко не диктует, почти и не заметно, что что-то диктуется, скорее такое впечатление, что чиновник читает так же, как и раньше, только при этом еще что-то шепчет, и писец это слышит. Часто чиновник диктует так тихо, что писец, сидя, этого вообще не может услышать, тогда ему приходится все время вскакивать, схватывать диктуемое, быстро садиться и записывать, затем снова вскакивать и так без конца. Как это странно! Это почти невозможно понять. У Барнабаса, впрочем, достаточно времени, чтобы все это как следует разглядеть, так как там, в помещении для зрителей, он стоит часами, а иногда и днями, прежде чем взгляд Кламма упадет на него. Но даже если Кламм его уже увидел, и Барнабас вытянулся по стойке «смирно» — это еще ничего не значит, потому что Кламм может снова отвернуться от него к книге и забыть его, так бывает часто. Но что же это за посыльная служба, если она так мало значит? У меня душу щемит всякий раз, когда Барнабас говорит утром, что он идет в Замок. Еще один наверняка совершенно бесполезный поход, еще один наверняка потерянный день, еще одна наверняка напрасная надежда,— к чему все это? А здесь скапливаются горы сапожной работы, которую никто не делает и выполнения которой требует Брунсвик.

— Ну, хорошо,— сказал К.,— Барнабасу приходится долго ждать, прежде чем он получит задание. Это понятно, здесь в самом деле, кажется, излишек служащих, и не всякому удается всякий день получать задание, на это вам не стоило бы жаловаться, это, вероятно, касается всех. Но ведь в конце концов и Барнабас получает задания, мне, например, он принес уже два письма.

— Возможно, это и верно,— сказала Ольга,— что мы не вправе жаловаться, в особенности я, ведь я знаю обо всем только понаслышке, и потом, я девушка и не могу в этом так хорошо разобраться, как Барнабас, который к тому же еще о многом умалчивает. Но вот послушай, как все происходит с письмами, например, с письмами к тебе. Эти письма он получает не непосредственно от Кламма, а от писца. В какой угодно день и в какой угодно час — потому и служба эта, какой бы легкой она ни казалась, очень утомительна, так как Барнаас должен быть все время настороже — писец вспоминает о

нем и подмигивает ему. Кламм, кажется, совершенно не имеет к этому отношения, он спокойно читает в своей книге, иногда, правда, он, как раз когда Барнабас подходит, протирает пенсне (но он это и вообще довольно часто делает) и при этом, возможно, смотрит на Барнабаса — если предположить, что он вообще видит без пенсне, Барнабас в этом сомневается,— потом Кламм почти закрывает глаза и кажется, что он спит и только протирает во сне пенсне. В это время писец среди множества документов и писем, которые у него под столом, отыскивает письмо для тебя; это, следовательно, не то письмо, которое он только что написал, напротив, это, судя по виду конверта, очень старое письмо, и лежит оно там уже давно. Но если это старое письмо, то зачем заставлять так долго ждать Барнабаса? Да наверное, и тебя? Да наконец,— и само письмо, которое теперь ведь, наверное, уже устарело? А Барнабасу этим создают репутацию плохого, медлительного посыльного. Писцу-то, конечно, хорошо: даст Барнабасу письмо, скажет «от Кламма для К.» — и на этом с Барнабасом покончено. Вот, а потом Барнабас приходит домой, задыхаясь, с наконец-то добытым письмом, спрятанным под рубашкой, на голом теле, и мы садимся тогда здесь, на этой скамье, как теперь, он рассказывает, и мы обсуждаем потом все по отдельности, и оцениваем, чего он достиг, и приходим к выводу, что очень немногого и что даже это немногое сомнительно, и Барнабас откладывает письмо в сторону, и ему не хочется его относить, но идти спать тоже не хочется, он принимается за сапожную работу и просиживает там, на той скамеечке, всю ночь. Вот как это выглядит, К., вот такие у меня тайны, и ты теперь, наверное, уже не удивляешься, что Амалия не желает о них слышать.

— А это письмо? — спросил К.

— Письмо? — повторила Ольга.— Ну, через какое-то время, если я буду достаточно подталкивать Барнабаса — при этом могут пройти дни, а то и недели — он все-таки берет письмо и идет его вручать. В таких мелких формальностях он ведь очень зависит от меня, потому что я, если преодолею первое впечатление от его рассказа, могу потом снова взять себя в руки, чего он — вероятно, как раз из-за того, что знает больше,— сделать не в состоянии. И тогда я снова и снова говорю ему примерно так: «Чего же ты, собственно, хочешь, Барнабас? О каком пути, о какой цели ты мечтаешь? Может быть, ты хочешь пойти так далеко, что должен будешь совсем нас покинуть, меня покинуть? Неужели это — твоя цель? Разве не должна я так думать, ведь иначе невозможно понять, почему ты так ужасно недоволен тем, чего уже достиг. Оглянись вокруг, разве кто-нибудь из наших соседей пошел уже так далеко? Правда, их положение не такое, как наше и у них нет причин стремиться к чему-то за пределами их хозяйств, но даже и не равняясь на них, нужно признать, что у тебя все идет наилучшим образом. Да, есть препятствия, неясности, разочарования, но ведь это означает только, что тебе ничего не дарят просто так — а мы это и раньше знали — что, напротив, каждую мелочь ты должен своими руками добывать в борьбе,— лишний повод испытывать гордость, а не уныние. И потом, ты ведь борешься и за нас? Неужели это совсем ничего для тебя не значит? Неужели это не придает тебе новых сил? Неужели тебе не придает уверенности то, что я счастлива и почти надменна, имея такого брата? Поистине, ты разочаровываешь меня не тем, чего ты достиг в Замке, а тем, чего я достигла, уговаривая тебя. Ты допущен в Замок, ты — постоянный посетитель канцелярий, проводишь целые дни в одной комнате с Кламмом, являешься общепризнанным посыльным, претендуешь на получение форменной одежды, тебе дают для доставки важную корреспонденцию, все это — твое, все это тебе позволено, и вот ты спускаешься вниз, и тут бы нам, плача от счастья, обнимать друг друга, а вместо этого ты при виде меня, похоже, теряешь всякое мужество, ты начинаешь во всем сомневаться, тебя привлекает только сапожная колодка, а письмо, этот залог будущего, ты оставляешь лежать». Так я ему говорю и повторяю все это целыми днями, и рано или поздно он берет, вздыхая, письмо и идет. Но это, наверное, совсем не из-за моих слов,— просто его снова тянет в Замок.

— Но ведь ты же в самом деле права во всем, что ты ему говоришь,— воскликнул К.— Ты на удивление правильно все это сформулировала. Как поразительно ясно ты мыслишь!

— Нет,— сказала Ольга,— ты обманываешься, вот так же, может быть, я обманываю и его. Чего он, собственно, достиг? Ну, пускают его в канцелярию, но ведь похоже, что это даже не канцелярия, а скорей прихожая канцелярии; может быть, даже не прихожая, может быть,— такая комната, где должны задерживать всех, кого не пускают в настоящие канцелярии. С Кламмом он разговаривает — но Кламм ли это? Может, это просто кто-то, немного похожий на Кламма? Может быть, какой-нибудь секретарь,— в лучшем случае,— который немного похож на Кламма и старается стать еще более похожим, и пыжится, изображая на себя что-то заспанное и мечтательное в духе Кламма. Эту сторону его натуры легче всего скопировать, на этом пробуют свои силы многие, правда, других сторон они благоразумно не касаются. И вот такой человек как Кламм, которого так часто жаждут

достичь и так редко достигают, легко принимает в представлении людей различные облики. У Кламма, к примеру, есть здесь деревенский секретарь по имени Момус. Да? Ты его знаешь? Он тоже вечно прячется, но я его все-таки уже несколько раз видела. Такой молодой, крепкий господин, да? — то есть, с виду, скорей всего, совсем не похожий на Кламма. И тем не менее ты найдешь в деревне людей, которые присягнут, что Момус — это Кламм и никто другой. Так люди запутывают сами себя. А почему в Замке это должно быть иначе? Кто-то сказал Барнабасу, что тот чиновник — Кламм, и действительно, какое-то сходство между ними есть, но такое, что Барнабас все время в нем сомневается. И все говорит в пользу его сомнений. Неужели Кламм будет толкаться в общей комнате среди других чиновников с карандашом за ухом? Это же совершенно невероятно. Барнабас время от времени говорит (несколько по-детски, но это уже обнадеживающее настроение): чиновник в самом деле очень похож на Кламма, сиди он в собственной канцелярии за своим собственным письменным столом и будь на двери его имя, у меня не было бы сомнений. Он рассуждает по-детски, но его можно и понять. Правда, еще понятнее было бы, если бы Барнабас, оказавшись наверху, спросил бы сразу у нескольких человек, как все обстоит на самом деле, ведь, по его же словам, там в комнате толчется достаточно народу. И пусть даже их слова были бы ненамного надежнее слов того, кто без вопросов указал ему на Кламма, но ведь, по крайней мере, из их разноречивости должны были бы выявиться какие-то отправные точки, какие-то точки соприкосновения. Это не мои идея, это идея Барнабаса, но он не смеет ее осуществить; боясь из-за какого-нибудь невольного нарушения неизвестных инструкций потерять свое место, он не смеет ни к кому обратиться — так неуверенно он там себя чувствует, и эта, что ни говори, жалкая неуверенность лучше обрисовывает мне его положение, чем все описания. Каким подозрительным и угрожающим должно ему там все казаться, если он даже не смеет рот раскрыть, чтобы задать самый невинный вопрос. Когда я об этом думаю, я виню себя, что пускаю его одного в эти неведомые прихожие, где такая обстановка, что даже он — а он скорее отчаянный, чем трусливый — наверняка дрожит там от страха.

— Тут, я думаю, ты подходишь к самому главному,— сказал К.— Так оно и есть. После всего, что ты рассказала, мне теперь, я полагаю, все ясно. Барнабас слишком молод для такого задания; ничему из того, что он рассказывает, нельзя верить безоговорочно. Раз он наверху теряет голову от страха, он не способен там ничего увидеть, и если здесь все-таки заставить его рассказывать, то получишь путаные сказки. Меня это не удивляет. Почтение к инстанциям передается здесь у вас по наследству и потом на протяжении всей вашей жизни внушается вам всевозможными способами и со всех сторон, причем вы сами способствуете этому, как только можете. И я, в сущности, ничего против этого не имею: если какие-то инстанции хороши, почему бы и не испытывать к ним почтения. Но тогда нельзя неопытного юнца вроде Барнабаса, который не дорос еще, чтобы выходить из деревни, вдруг посылать в Замок и потом требовать от него достоверного рассказа, и каждое его слово изучать как слово откровения, и ставить в зависимость от его истолкования счастье собственной жизни. Не может быть ничего ошибочнее. Впрочем, и я точно так же, как ты, позволил ему сбить себя с толку, и надежды на него возлагал, и разочарования из-за него испытал, и все это — полагаясь только на его слова, то есть почти ни на что.

Ольга молчала.

— Мне нелегко,— продолжал К.,— разрушать твое доверие к брату, я ведь вижу, как ты его любишь и чего ты от него ждешь. Но сделать это надо, и не в последнюю очередь — ради твоей любви и твоих ожиданий. Ведь смотри, каждый раз что-то — я не знаю, что именно — мешает тебе до конца понять, что же удалось Барнабасу — не достичь, конечно, а получить в подарок. Его пускают в канцелярии, или, если тебе так больше нравится, в некую переднюю; ну хорошо, пусть это будет передняя, но там есть двери, которые ведут дальше, барьеры, за которые можно пройти, если уметь это делать. Мне, например, по крайней мере — пока, эта передняя совершенно недоступна. С кем Барнабас там разговаривает, я не знаю; возможно, этот писец — самый младший слуга, но даже если он самый младший, он может привести к ближайшему из старших, а если не может к нему привести, то все-таки может, по крайней мере, его назвать, а если не может его назвать, то может все-таки указать на кого-то, кто сможет его назвать. Этот мнимый Кламм может не иметь с настоящим решительно ничего общего, сходство может существовать лишь для незрячих от волнения глаз Барнабаса, он может быть самым младшим чиновником, он может даже и не быть чиновником, но для чего-то же он стоит у этой конторки, что-то он читает в своей большой книге, что-то он нашептывает этому писцу, что-то он думает, когда его взгляд, наконец, падает на Барнабаса — и даже если все это неверно, и он, и его поступки вообще ничего не означают, то все-таки кто-то его туда поставил и сделал это с какой-то целью. Всем этим я хочу

сказать: что-то тут есть, что-то Барнабасу все-таки поручают, по крайней мере — что-то, и вина только самого Барнабаса, если он из этого не может извлечь ничего, кроме сомнений, страха и отчаяния. И при этом я еще беру самый неблагоприятный случай, вероятность которого просто отсутствует. Ведь у нас же в руках эти письма, которым я хоть и не очень доверяю, но все же куда больше, чем Барнабасовым словам. Пусть это даже старые, ничего не стоящие письма, вытащенные наугад из груды точно таких же ничего не стоящих писем — наугад и с пониманием не большим, чем у канареек, которые на ярмарках вытаскивают клювом из груды бумажек предсказание судьбы все равно кому,— пусть это так, но все-таки эти письма имеют, по крайней мере, какое-то отношение к моей работе; они явно предназначены для меня — хотя, может быть, и не для того, чтобы мне от них была какая-то польза; они, как это удостоверили староста общины и его жена, собственноручно подписаны Кламмом и имеют — опять-таки по словам старосты общины — пусть всего лишь неофициальное и малопонятное, но тем не менее большое значение.

— Я расскажу это Барнабасу,— быстро сказала Ольга,— это его очень подбодрит.

— Но его не нужно подбадривать,— возразил К.,— подбодрить его — значит сказать ему, что он прав, что он и дальше должен действовать только тем же способом, что и прежде, но именно этим способом он никогда ничего не достигнет. Сколько бы ты ни подбадривала кого-то, у кого завязаны глаза, чтобы он смотрел сквозь повязку, он все равно никогда ничего не увидит, он сможет видеть, только если снять с него повязку. Барнабасу помощь нужна, а не подбадривания. Подумай сама, ведь там, наверху, инстанции во всем их неопределимом величии — я до того, как сюда пришел, считал, что имею о них приблизительное представление, какая детская наивность! — там, стало быть, инстанции, и против них выходит Барнабас — никто иной, а именно он и, грустно сказать,— в одиночку; для него еще слишком много чести, что его не оставляют горбиться всю его жизнь забытым всеми в каком-нибудь темном углу канцелярии.

— Не думай, К.,— сказала Ольга,— что мы недооцениваем всю тяжесть задачи, которую взял на себя Барнабас. В почтении перед инстанциями у нас ведь недостатка нет, ты сам это сказал.

— Да почтение-то у вас не к тому, к чему надо,— сказал К.— Неуместное почтение только унижает свой объект. Можно ли вообще называть это почтением, если Барнабас злоупотребляет дарованным ему допуском в то помещение, без дела проводя там целые дни,— или если он спускается сюда и подозревает и принижает тех, перед кем он только что дрожал, или если он от отчаяния или от усталости не сразу доставляет письма и не сразу выполняет доверенные ему поручения? Это уж, пожалуй, и не почтение.

— Ты не знаешь нашей беды, поэтому ты несправедлив к нам, и прежде всего — к Барнабасу. Тогда у нас было больше надежды, чем сейчас, но и тогда наша надежда была невелика, велика была только наша беда — такой она и осталась. Разве тебе Фрида ничего про нас не рассказывала?

— Только намеки,— сказал К.,— ничего определенного, но одно ваше имя раздражает ее.

— И хозяйка тоже ничего не рассказывала?

— Нет, ничего.

— И вообще никто?

— Никто.

— Естественно, как бы они смогли что-то рассказать! Все что-то о нас знают: либо правду, насколько она доступна людям, либо, по крайней мере, какой-нибудь подхваченный или чаще всего ими самими выдуманный слух, и все думают про нас больше, чем нужно, но прямо рассказывать этого никто не станет, таких вещей касаться они брезгуют. И они правы. Об этом трудно говорить даже при тебе, К.: ведь разве не может так случиться, что ты, когда выслушаешь это, уйдешь прочь и больше не захочешь нас знать, хотя тебя это вроде бы и не касается. Тогда мы потеряем тебя, а ведь ты для меня теперь — я признаюсь в этом — значишь едва ли не больше, чем вся прежняя замковая служба Барнабаса. И все-таки — это противоречие мучит меня сегодня весь вечер — ты должен это узнать, ведь иначе ты не получишь представления о нашем положении, будешь по-прежнему несправедлив к Барнабасу (это было бы мне особенно больно), у нас не возникнет необходимого полного единства, и ты не сможешь ни нам помочь, ни нашу, совершенно особую помощь принять. Но остается еще один вопрос: хочешь ли ты вообще это знать?

— Почему ты об этом спрашиваешь? — удивился К.— Если это необходимо — я хочу это знать, но почему ты так спрашиваешь?

— Из суеверия,— ответила Ольга.— Ты ведь окажешься втянут в наши дела, безвинно, не более виновный, чем Барнабас.

— Давай, рассказывай,— сказал К.,— я не боюсь.

Перевел с немецкого Г. НОТКИН

Продолжение следует



Юрий АНДРЕЕВ

ТРИ КИТА здоровья

Сразу следует объяснить, почему я — филолог по профессии, литератор, издатель,— осмеливаюсь выступить с суждениями о фундаментальных основах нашего здоровья. Несколько лет назад моя жена, спортсменка и очень крепкий человек, буквально в одночасье начала выходить из строя. Ее поместили в клинику, где она пролежала более месяца. Врачи последовательно удовлетворили свое любопытство по тем органам, которые вышли у нее из строя, и с сожалением сообщили, что они больше ничего не могут поделать. Мы начали искать свои пути, познакомились с рядом замечательных людей, врачевавших самих себя и помогавших другим возвращать себе здоровье. И в конце концов жена избавилась от грозных недугов, что подтверждено объективными показаниями, в том числе рентгенологическими и гастроскопическими, причем без каких-либо хирургических вмешательств.

Сейчас мы, «колхоз» единомышленников (о нем упоминает в своей статье в журнале «Физкультура и спорт» № 4 за 1987 год известный спортивный журналист Стив Шенкман), выработали систему, которая помогает больным, способствует поддержанию здоровья тех, кто на него вроде бы и не жалуется. Я больным не был, в молодые годы добивался заметных спортивных результатов, но сейчас в возрасте «хорошо за пятьдесят» способен на гораздо большее, чем в юности. И все потому, что живу по принципу: мое здоровье — в моих руках.

Возникает вопрос: не становится ли подобная забота о своем физическом состоянии самоцелью? Отвечу на это словами американского врача Поля Брэгга. У него есть такой афоризм: «Настоящий человек, если он хочет таковым считаться, во-первых, всю жизнь непрестанно работает, во-вторых, всю жизнь ищет что-то новое и совершенствуется, в-третьих, следит за своим физическим состоянием для того, чтобы иметь эту возможность работать и постоянно совершенствоваться».

Другими словами, здоровье должно быть не самоцелью, а важнейшим средством для хорошего, радостного самочувствия, для реализации всех заложенных в человеке возможностей. И в итоге — для полнокровной, долгой, не знающей недугов жизни.

Итак, остановимся подробнее на тех слагаемых нашего здоровья, которые способны составить фундамент долгой и полнокровной жизни любого из нас. Я и мои единомышленники уверены: наше здоровье стоит на трех китах, на трех мощных сваях, каждая из которых равновелика.

Под первой фундаментальной сваей мы понимаем резервы человеческого духа. Это — деятельный, активный, добрый настрой. Если человек им заряжен, то его здоровье способно преодолевать многие острые рифы. Мощный интеллектуальный потенциал, эмоциональный потенциал — это колоссальный фактор здоровья. Известно, например, что попавший в тяжелейшую автомобильную катастрофу академик Ландау жил и тогда, когда практически жить было невозможно. И уже написано немало исследований этого феномена, и вывод в них единодушен: жизнь Ландау сохранил его мощный дух!

Поддерживать в себе этот потенциал духа можно по-разному. Я и мои единомышленники обходимся без тонизирующих химических лекарств, а если надо взбодриться, то становимся под трехминутный сильный, приятный поток воды — от макушки вниз по шее, по ложбинке между лопаток. Такой душ способен поддерживать нас в бодром состоянии, дает добрый настрой.

Не могу обойти и такую важную для психического состояния сферу, как отношения между мужчиной и женщиной. Оказывается, что (тут маленький парадокс, разница буквально в одну букву) полЕвое общение — здоровое, доброжелательное, веселое, солидарное — играет в жизни мужчины и женщины даже более существенную роль, чем полОвое. Одно, естественно, не исключает другого. Речь идет о том, какую колоссальную роль для нашего здоровья и нашего долгожительства играют вот такие солидарные и духовные отношения между мужчиной и женщиной.

Перехожу теперь к обозначению второго кита, второй фундаментальной сваи здоровья. Здесь уже с грустью должен сказать, что, к сожалению, у многих моих знакомых под их здоровьем эта свая, этот кит не стоят.

Существуют достоверные исследования, согласно которым каждая клетка нашего организма по своей энергетической мощи не менее, чем в двадцать раз превосходит любой самый ядовитый вирус или микроб. Поэтому, когда организм энергетически насыщен, болезнь в нем существовать не должна и не может. За исключением, конечно, травм или последствий каких-либо генетических отклонений. Потенциал почки от природы десятикратно превышает уровень возможных на нее нагрузок и перегрузок. И, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что почка сплошь и рядом выходит из строя. Кто в этом виноват?

Энергетический потенциал человека зависит от целого ряда условий. Каковы же средства его поддержания и повышения? Это, прежде всего, движение. Это — правильное дыхание. Это — обязательная закалка. Это — общение с природой.

Что такое движение? Конечно же, не суета около кухонной плиты, не наша беготня по службе. Это совершенно другой процесс. Если хорошо подготовленное, разогретое, с соответствующей кислородной подпиткой сердце выходит на продолжительную частоту ударов больше ста двадцати, то это и называется движением, приносящим нам и мощную энергетику, и богатое здоровье. А ведь как мало людей, даже среди молодежи, которые бегают, плавают, ходят на лыжах, то есть таких, кто нагружает свое сердце систематически.

Я уже упоминал о закаливании, которое многие понимают как дружбу с холодной водой и морозом. Я же добавляю к этим двум слагаемым еще и баню с горячим паром. Хорошо, попарившись при высоких температурах, сразу же облиться холодной водой, а еще лучше — окунуться в полынье. И чтобы это был еженедельный ритуал, подкрепленный, введенный в привычку ежедневным обливанием себя из ведра холодной водой. Не душем, а цельной водой. Она несет в себе энергетический заряд, гораздо более богатый, чем душ. Оставляю пока до других времен физическое объяснение феномена возбуждения в нас огромных внутренних ресурсов организма на молекулярном и даже атомном уровне при воздействии холодной воды. Скажу лишь, что известно уже достаточно случаев, когда стимулирование внутренней собственной энергии посредством регулярных холодных обливаний позволяло человеку преодолеть опасные заболевания типа ОРЗ, бронхита, воспаления легких. Я считаю полезным обливание холодной водой, даже если ты заболел. Облился двумя ведрами холодной воды или упал на тридцать секунд в ледяную ванну, а потом через каждые два часа — то же самое. До тех пор, пока не увидишь, что температура у тебя нормальная, а число сердечных ударов соответствует норме. Выздоровление происходит в течение суток-полутора. Вместо тех трех-пяти и более недель, которые вы будете перемогаться с употреблением лекарств.

Общение с природой — это чрезвычайно важный энергетический фактор. Летом мне не раз приходилось бывать на разных работах в колхозе со своими молодыми товарищами. И всегда только диву давался: все ходили в обуви. Вместо того, чтобы получать замечательную подпитку от благодатной земли, вместо того, чтобы закалять свои подошвы, вместо того, чтобы раздражать на них все энергетические зоны, люди ходят в резине, изолируют себя от природы! А этого делать нельзя. Давайте откажемся от своего несусветного зазнайства, от того, что мы — цари природы, и согласимся, что мы крошечные пылиночки в космосе, разумные, но пылиночки. Мы — дети, порождение этого космоса, и мы не можем жить иначе, чем по его законам, и питаясь его огромной, колоссальной энергией! А что мы делаем? Огромную часть суток проводим в бетонированных коробках домов. А в то время, когда мы не находимся там, мы вдеваем себя в красивую синтетику, еще раз наглухо изолируя себя от возможности купания в волнах колоссальной энергии космоса. Знающие люди уже обратили внимание на то, что передняя часть нашего черепа чрезвычайно похожа на сложнейшие приемно-передаточные антенны, что строение наших берцовых костей также чрезвычайно напоминает

какие-то сложные, воспринимающие сигналы устройства. Пока их назначение неясно, пока оно в деталях непонятно, но, тем не менее, отнюдь не только чисто механические причины привели эволюцию вот к такому строению костей. То, что мы пренебрегаем в нашей повседневной жизни природой, в основе своей настолько противоестественно, что тут и слов нет! Любой лишний час, который мы отдаем с утра на пробежку, оборачивается, в конце концов, подаренными годами и десятилетиями на финише нашей жизни. Причем годами и десятилетиями не просто, так сказать, тления, а нормальной полнокровной жизни, свойственной здоровым людям.

Строение того «энергетического кита», о котором сейчас идет речь, а проще — естественного образа жизни — весьма многообразно. Из его важнейших составляющих необходимо выделить и такое, как умение правильно дышать, способное творить чудеса не только в оздоровлении организма, но и в обретении им ряда ценных сверхнормативных функций. Это огромная, самостоятельная тема, в которой я коснусь лишь одного аспекта. В отличие от тривиальных представлений о дыхании как «вдох — выдох», я придаю важное значение задержке дыхания: и на полном вдохе, и на полном выдохе. Во время этой паузы в организме совершаются полезнейшие процессы.

А теперь поговорим о третьей свае, о третьем ките здоровья. Речь пойдет о чрезвычайно важном факторе долгожительства. Работоспособного и крепкого. Мы его называем «концепция чистого организма».

Весь мой уже немалый опыт позволяет оспорить одно распространенное мнение. Все знают, что врагом номер один нашего здоровья, как утверждает медицина, врагом, уносящим больше всего человеческих жизней, являются онкологические заболевания. На втором месте — сердечно-сосудистые заболевания, а на третье сейчас вышли аллергические. Так считает статистика. Я же осмелюсь утверждать, что враг номер один — это общее загрязнение человеческого организма.

Что я понимаю под этим? Практически у каждого человека среднего возраста — отложение солей. У девяноста восьми из ста — «сигналит» печень. У каждого второго неблагополучны так или иначе почки. Человек может регулярно чистить зубы, умываться, но изнутри он загрязнен, и это внутреннее зашлаковывание организма — первопричина многих заболеваний. Один заболеет онкологически, другой — ишемически, третий мучается аллергией и так далее. У кого что слабее, то и заболит.

Здесь возникает аналогия с автомобилем. Если мы покупаем «жигуленка» и тратим на него такие большие деньги, то мы смотрим в правила техобслуживания, вовремя меняем фильтры, наливаем в баки высокооктановый бензин, а не солярку. И вовремя проводим профилактику, меняем резину и так далее и тому подобное. Потому что деньги заплатили! А с собой что делаем? Никогда фильтры не чистим, не солярку вместо бензина — еще хуже: дикую гадость заливаем в свой организм.

Мы настолько прекрасно, прочно спроектированы природой, с таким запасом прочности, что на этой гнусной солярке с разбегу катимся лет до сорока. К этой поре сильно густеет внутренний нагар, поршни исподволь начинают стираться. А там и стук в цилиндрах, и уже масло на ходу капает и все такое... А с чего бы это? Вроде бы ничего не болело. Вроде бы и не болели и вдруг — больница, букет всяческих заболеваний.

Единственное средство профилактики заболеваний, приобретенных загрязнением организма,— борьба за его чистоту, за поддержание в таком состоянии, чтобы он функционировал так и столько, как и сколько ему положено от природы. Следовательно, надо позаботиться о способах его очистки.

Многие ли из нас ежеутренне промывают свои ноздри для того, чтобы удалить вирусы, микробы, всю гадость, прилипающую к слизистой оболочке носа, пока она не всосалась в кровь? Такой простой процедурой вы гарантируете себя от очень многих неприятностей, особенно в городских условиях, где воздух весьма грязен. Можно взять полиэтиленовую бутылочку, надеть на нее соску (если трудно сделать так, как делают индусы) и теплой, чуть подсоленной водой промывать ноздри. Это должно делаться регулярней, чем чистка зубов.

Мы не подозреваем, насколько чудовищно грязен наш кишечник. Иногда настолько, что о выполнении им физиологически полезной работы и говорить не приходится. Отсюда и головные боли, и многое другое. Следовательно, различные способы очистки кишечника должны быть общеприняты в нашей повседневности.

Исключительно важно и полезно хотя бы один раз в год производить полную очистку лимфы. Это вполне возможно тогда, когда в продаже одновременно оказываются три вида цитрусовых. Лимон, апельсин, грейпфрут. По особой методике, очень несложной, в течение трех дней вы обновляете полностью свою лимфатическую жидкость. Я знаю, что такое мышечная радость, но, уверяю, радость чистых потрохов много больше, приятнее.

Должно войти в нашу жизнь в качестве нормальных гигиенических процедур с определенной степенью ритмичности и очистка от солей, которые наслаиваются на наши кости, и регулярная очистка печени.

Я, например, большой сторонник умного, лечебного голодания, в разных дозах, в разные сроки, причем голодании не клинического, а такого, когда ты это делаешь как бы между прочим. И работаешь, как всегда, и ходишь даже в гости, но не наваливаешься там на пироги, которые тебя уже и не волнуют, а попиваешь свою водичку. Очень полезно голодать еженедельно тридцать шесть часов, ежемесячно три дня, ежеквартально семь дней, ежегодно двадцать один — двадцать восемь дней. Голодание — это колоссальная очистка. Чем оно полезно? Не тем даже, что уходит лишнее. Лишнее уходит, лишнее приходит — это не так важно. Прежде всего тем, что на этом огне, когда пищеварение на шестой-восьмой день оборачивается внутрь, как на огне газовой горелки, сжигается все вредное, все смертоносное, все болезненное для организма. А если вы начнете свечку жечь с двух концов, то есть одновременно и голодать, и интенсивно двигаться, это приводит к прекрасному и радикальному выжиганию всей внутренней грязи.

Теперь, надеюсь, понятно, что организм должен быть чистым, и если он таковой, то человек чувствует себя гораздо лучше, и все, что связано со здоровьем, переходит у него на более высокий уровень, чем прежде. И мы получили замечательную, хрустальной чистоты чашу. Но чем же ее заполнять?

Прежде всего скажу о том, чем не заполнять. На алкоголе не останавливаюсь. Думаю, все мы широко образованны в этой проблематике.

Страшную грязь несет в организм курение, неимоверную грязь, с которой трудно что-либо сравнить. Причем, до шестидесяти отравляющих веществ, которые человек тянет из сигареты или папиросы, конечно, откладываются не только в легких курильщика, подвергающего себя непрерывному, постоянному надругательству.

Ужасно загрязняем мы организм и химическими лекарствами. Конечно же, бывают ситуации, когда только лекарство может снять приступ, болевой синдром, когда только лекарство поможет немедленно. Кто с этим спорит? Но когда лекарства принимают систематически, да еще сразу несколько видов, не зная, какие образуются в результате химические соединения, то это — доисторическая темнота. Химическое лекарство разлагается в организме, оно оказывает кратковременную помощь и дальше либо в виде острых осколков застрянет в вашей печени, либо в виде футеровки осядет на внутренних стенках ваших сосудов. Об этом надо всегда помнить и лекарственным ядом без нужды не пользоваться.

Что еще способствует загрязнению организма?

Прежде всего поговорим о воде. Почему о воде? Да потому, что мы на семьдесят процентов состоим из воды. А наш мозг и того больше — на девяносто восемь процентов. Следовательно, качество воды очень многое определяет в состоянии нашего здоровья. Вода, которую мы получаем из-под крана, представляет собою весьма разнородное образование молекул, значительная часть которых в силу своего несоответствия размеру мембран наших клеток не участвует в солевом обмене. Идеальной для организма могла бы быть такая вода, в которой все молекулы по размерам меньше отверстия этой мембраны. Можно ли об этом мечтать? Да не только мечтать, такая вода есть в природе. И подобную ей мы можем готовить сами. Это талая вода, которая образуется в результате таяния снега или льда. И здесь открывается множество секретов. Например, почему больше всего долгожителей в Советском Союзе проживают на Северном Кавказе и в Якутии? Ничего общего в этих районах нет, за исключением того, что живущие там люди пьют ледниковую воду. Еще интереснейший секрет: почему птицы совершают перелеты по пять-десять тысяч километров, чего им там не живется, в этих благодатных южных странах? Что им нужно в северных холодных широтах? А все дело в том, что они прилетают ко времени вскрытия рек. И приняв талой воды, включают свой механизм размножения. Без этого просто не будет продолжения рода этих пернатых.

Талая вода обладает и еще одним важнейшим качеством — большой внутренней энергией. Почему? Потому что движения молекул не гасят друг друга, а все идут в резонанс, работают на одну и ту же волну. И когда вы принимаете эту талую воду, одновременно получаете и очень хорошую энергетическую подпитку. Чувства голода во время голодания у меня в значительной степени нет потому, что я пью в это время только талую воду. Каким образом ее в городских условиях можно получить? У нас дома стоит большой холодильник; две эмалированные кастрюли с водой держим в морозилке, третья — оттаивает. Когда она оттаяла, она употребляется. Но эту структурированную воду можно получить и другим способом. Его изобрели братья Зеленухины из Краснодарского края.

Они берут относительно малое количество воды и очень быстро доводят ее до 94—96 градусов, до состояния «белого ключа», когда уже идут струйками пузыри, но вода еще не бурлит. В этот момент ее снимают и резко охлаждают. Получается крутая синусоида: резкое нагревание и сразу же резкое охлаждение. Мы подумали: а что, если эти части синусои-

ды соединить, то есть зелепухинскую воду заморозить и оттаять. Проверка показала, что такой воде цены нет. Это уже лечебная вода. Конечно, возникает некоторая возня с ее изготовлением. Ну, а теоретически рассуждая, мы получили тот самый цикл, который вода прошла в природе. Она испарилась, охладилась, выпала на землю, замерзла, оттаяла. А мы это сделали искусственным путем — себе во благо.

Когда я перешел исключительно на талую воду (очевидно, процесс замещения воды в тканях продолжался несколько месяцев), то через шесть-семь месяцев заметил: мне хватает для сна пяти-шести часов. Сначала удивлялся, думал, что это случайность. Оказалось, нет. Я начал вставать после этого укороченного сна и весь день работать без всяких признаков усталости. В итоге получил ни с чем не сравнимый ежедневный подарок — два-три утренних часа!

Теперь коротко об одном из других видов воды. Многие знают про электролитическую воду, так называемую *живую* и *мертвую*, которая получается путем электролиза. Мы провели эксперименты по этому поводу и можем сказать: так называемая *мертвая* вода, кислая вода — это великолепное дезинфицирующее средство. Если у вас нагноения, царапины, что-то там надо прополоскать — горло, предположим, заболело,— полощите его как можно чаще и больше кислой водой. А вот *живая* вода — с нею сложнее. Почему? Она обладает волшебными качествами, богатейшими качествами щелочной воды, но только при том условии, если электроды сделаны из чистейшего, без примесей, графита. Электроды из титана или нержавейки и других материалов при электролизе растворяются, и вы начинаете в огромном количестве принимать совершенно вам не нужные ионы этих металлов.

А теперь переходим к драматическому вопросу — о еде. Для того, чтобы были ясны нижеследующие посылки, я начну с положения, с которым большинство людей не сталкивалось и которое, думаю, способно произвести определенный переворот в наших представлениях.

Еще не было в истории человечества теории, которая принесла бы ему больше бед, чем так называемая теория калорийности пищи.

Откуда она взялась? Что это такое вообще? При дворе прусского короля Фридриха все делалось очень основательно. Решив разработать на научных основах рацион для своей армии, король пригласил таких же, как он, основательных ученых, которые взяли рядового бюргера и рядового солдата и давали им есть все, что те хотят. Этот рацион сжигали в калориметрических печах и аккуратно, по-немецки досконально, подсчитывали, сколько калорий в сосисках, сколько в сале, мясе, квашеной капусте и так далее. Все очень просто, очень ясно и убедительно. Три тысячи — три тысячи пятьсот килокалорий получал бюргер, чтобы жить в свое удовольствие, столько же и тот солдат, которому надо было хорошо маршировать. Потом результаты этого исследования были доложены на международной конференции, получили всеобщее признание в силу своей очевидности и доходчивости. Так возникла всемирно признанная аксиома, содержащая колоссальный внутренний дефект. Человек на много порядков сложнее железной печи и, конечно же, исходит в своих энергетических затратах из совершенно других закономерностей. Вот пример. Тысячу калорий дает кусок мяса определенного веса, если его сжечь. Но для того, чтобы высвободить тысячу калорий, организму нужно затратить, как установили физиологи, восемьсот. А это значит, что подавляющая часть этого мяса идет на то, чтобы его само переварить. А теперь берем такой продукт как какая-нибудь злаковая каша. Тут получается совсем другая картина. Для того, чтобы раскрыть тысячу калорий, даваемых этой кашей, организму требуется всего двести калорий. Вот и получается, что каша по калорийности, пошедшей на пользу организма человека, гораздо продуктивнее мяса. Разве это не убедительное доказательство того, что теорию калорийности пищи нельзя считать совершенной? *Количество* калорий до организма доходит иное, чем до печи. А как быть с *качеством* этих калорий? Вот официальная норма фашистских концлагерей — тысяча килокалорий. Она была рассчитана на то, чтобы заключенный мог жить два-три месяца и умереть голодной смертью. Я же, по возможности, питаюсь, исходя из тысячи килокалорий в сутки на протяжении уже нескольких лет. При этом каждое утро делаю пробежки по десять километров, а по воскресеньям больше, каждый день активно работаю, позволяю себе такое многолетнее «надругательство» над организмом, как жизнь без отпусков. И — ничего, живу нормально, чувствую себя великолепно. Все дело в том, что я стремлюсь питаться исключительно *живыми* продуктами, в питании же концлагерей входили исключительно *мертвые* продукты. Вот и вся разница.

Принято, что человек должен получать в сутки две тысячи пятьсот — три тысячи калорий. На этом построены и столовка, и домашнее питание, и все остальное. Получает, полнеет, зашлаковывается изнутри, неимоверно и преждевременно, из-за чего умирает на многие годы раньше, чем ему отпущено природой.

Так что же такое эта *живая* пища, и от какой печки (отнюдь не короля Фридриха) нужно танцевать, определяя, чем мы должны питаться? Исходный принцип таков: источник всего сущего на земле — это солнце, которое порождает всю, скажем так, энергетическую информацию. Назовем ее информацией *первой степени*, хотя это и не совсем точно, потому что солнце — тоже производный продукт, первая степень — это космос, но будем считать в наших условиях, что первая степень энергетической информации — это солнышко. *Второй степенью*, наиболее богатой живой энергией, является все то, что произрастает под лучами солнца — злаки, плоды, овощи, фрукты, семена, зерна, бобовые, орехи, травы. Все это несет в себе энергию, качественно необходимую для нас.

Наука знает, но стыдливо отворачивается от того, что, например, племя туарегов в Африке — воины, мужчины, неудержимые разбойники — обходятся двумя-тремя финиками в день, и этого им достаточно! Вполне достаточно. (Правда, они еще инстинктивно подпитываются и от солнышка, от *первой степени*, но это другой вопрос.) Китайский или японский крестьянин вполне может обходиться горсткой риса в сутки. Правда, они питаются не таким рисом, который продается у нас в магазинах. Они едят неочищенный рис. А в нем значительная часть необходимых человеку веществ находится в оболочке, которую у нас почему-то сдирают и ликвидируют, обесценивая этим продукт. Таким образом, эта живая концентрация солнышка несет в себе столь много, что этого человеку вполне достаточно в малых количествах для поддержания активного, деятельного уровня жизни.

Дальше существует третья степень энергетической информации. Здесь нужно очень отчетливо представлять себе, насколько разными бывают продукты, которые мы называем одним и тем же словом. Что такое *третья степень*? Это то, что уже переработало вторую. Калории подобные продукты содержат, но несут в себе нулевое количество предыдущей, «зеленой» энергетической информации. Для примера: совершенно разные продукты — натуральный мед, который пчелы принесли с лугов, и его имитация, которая получена на сахаре и которую бесчестные люди (спекулянты) продают нам. Сколько, спрашивается, там солнечной энергии?.. А сколько ее в перемороженном мясе и так далее и тому подобное?

И вот теперь такой вопрос, очень важный для нашего здоровья — *как* есть?

Обратим внимание, как едят ласточки или сороки, которые приносят столько бедствий садам. Первую половину дня они ловят насекомых, а вторую — питаются растительной пищей. Или наоборот. Смешанное питание у них фактически отсутствует, так чтобы схватить жука, а потом клюнуть вишню.

Обратитесь к опыту и своих малолетних детей. Дайте им бутерброд и посмотрите, захотят ли они есть этот хлеб с колбасой или сыром. Нет, они будут все есть отдельно. У них еще сохраняется живой инстинкт. Они еще очень близки к природе.

А в чем же здесь дело, что происходит? Давайте посмотрим на дело с позиций классической химии. Крахмалы, углеводы расщепляются у нас слюной, она — щелочная среда. Организм за миллионы лет своего существования стал настолько тонкой системой, что как только вы посмотрите на какой-то продукт, у вас уже по всему тракту выделяются именно те ферменты, которые должны его расщеплять. Вы посмотрели на хлеб, и у вас выделилась слюна. Почему? Потому, что он перерабатывается щелочью. Но на этом же хлебе у вас, скажем, еще кусок колбасы. А колбаса, этот животный белок, переваривается кислотой. Значит, когда вы едите хлеб с колбасой, у вас выделяются одновременно и кислота, и щелочь. Давайте-ка вспомним из учебника химии, что происходит, когда щелочь соединяется с кислотой. Происходит нейтрализация. Таким образом, у вас в желудке осуществляется нейтрализация, и вы получаете в нем комок массы, плохо перерабатываемой, нарушающей все естественные принципы пищеварения.

Но мы скроены капитально, и на сорок лет нас хватает. Потом, к пятидесяти, нас раздувает или иссушает, или болезни появляются, но мы не знаем, что и почему, мы по-прежнему едим пельмени — то же самое мясо с тестом, мы по-прежнему поглощаем пирожки с мясом. И вот так мы сами, добровольно, приближаем свою старость, сами вызываем преждевременные болезни.

Нужно знать законы смешанного питания. Что с чем сочетается. Если можно, то питаться раздельно, по возможности не смешивать белки с углеводами. Но у нас повсеместно принято смешанное питание. Так давайте в этих обстоятельствах самостоятельно питаться сочетаемыми продуктами, хотя бы тогда, когда в наших силах это сделать.

За праздничным столом ничего не надо бояться, там все сгорит в обстановке эмоциональной приподнятости. Но праздники не могут длиться вечно, вслед за ними наступают будни. И если вы питаетесь мясом, то на гарнир надо употреблять овощи и травки, но не картофель и не тесто. Разумеется, не мое дело подменять здесь работу многочисленных институтов питания с их заботой о сбалансированном питании и пренебрежением к качественному своеобразию человеческой «печки». Скажу лишь для примера об одном. Традицией, абсолютной аксиомой является употребление после завтрака, обеда или

ужина чая, кофе, компота, киселя. Сообразим, к чему это приводит. Справившись кое-как с несуразностями той пищи, которую мы приняли, наш желудок выделил столько именно и таких соков и ферментов, сколько нужно для ее переваривания. И вдруг мы совершаем произвольное разведение их концентрации, их разжижение! Зачем? Почему? Почему мы самовольно ухудшаем и тормозим процесс пищеварения? Мало того, мы идем и еще на худшее. Мы не просто разжижаем эту концентрацию, мы еще туда и сладкое добавляем. Значит, еще вызываем и брожение у себя в желудке. И это мы делаем систематически, изо дня в день. А потом удивляемся: «Господи, а почему в тридцать лет я должна ложиться в больницу?», «Почему у меня столько солей?». Потому, что творим над собой дикое варварство.

Так что же делать? В моей семье обычай простой. Все сладкое, жидкое — это самостоятельная еда. Ее следует принимать по меньшей мере через час после основной еды. После того, как основные силы желудка и ротовой полости сделали все, что нужно.

Мы не пользуемся сладким в сочетании с другими продуктами. Великолепный плод — яблоко. Это такой сгусток энергии, что я беру на работу два яблока, и мне их хватает на обед! Но ем их не менее чем через час после другой еды.

Мой режим в условиях, когда от меня зависит, что я могу делать, такой: утром — стакан теплой воды, в которой растворена столовая ложка меда. Потом (присутственный день у меня в редакции или не присутственный, все равно), часов в одиннадцать — двенадцать, то, что я называю завтраком: граммов сто какого-нибудь салата и граммов сто пятьдесят — двести каши. Каша каждый день другая, кроме манной. Манная каша хороша тем, у кого повреждена слизистая оболочка желудка. А в принципе — это крупа, лишенная признаков энергетики.

Изумительна каша гречневая. Это все знают. Но не все знают, сколь великолепна каша пшенная, поскольку она содержит в себе вещества, позволяющие самопроизвольно очищать печень. И это обнаружили относительно случайно, когда занялись исследованием долгожительства перепелки, ее необычайных возможностей. Оказалось, что эта птица питается преимущественно просом. Вообще, нет такой каши, которая бы как-то не принесла того, что она должна нам дать от солнечной энергии, если только это не очень старая крупа. Если она пролежала год — она хранит калории, но не энергию солнца. За этим надо следить, так же как и за теми фруктами или продуктами, которые получаем.

Часа через два-три после завтрака я пью чай с медом или вареньем. Обедаю в шестнадцать-семнадцать часов. Ем очень хорошее яблоко, либо белокочанную капусту, либо перец, либо редиску. Потом прихожу домой. Тут бывает или какой-то овощной суп, или вымоченная брынза с зеленью, или картошка. Подавляющее большинство людей не знают, что такое картошка, обладающая крахмальным ядром, кожурой, очень богатой минеральными веществами и — между ними — тончайшим ферментативным слоем, который и позволяет желудку переварить все то, что есть ценного в картошке. Срезаи шкурку вместе с этим ферментативным слоем, мы обрекаем крахмальную массу на то, что она окажется непереработанной. Что тут можно сделать? Приготовить необыкновенный, вонстяну царский продукт — печеную картошку! Сделать это можно в духовке. Промойте картошку, испеките ее и ешьте. Можно с грибами, с подсолнечным маслом, с луком, с зеленью. Это очень вкусный и исключительно солнечный продукт (с кожурой).

Конечно, не надо быть догматиком, мы любим и другие вкусные вещи. Можем позволить себе и жареную картошку, и оладьи. Изредка допускаем и такое чудовищное сочетание, как пирожное с кофе. Почему бы, скажем, в праздник, просто под настроение, не получить дополнительную шкалу ощущений? Для человека это — эмоциональная подпитка.

Таким образом, жизнь не только оздоровляется, но и упрощается. Потому что происходит — и очень существенный — переворот в отношении к питанию. Например, когда моя жена раньше уезжала в командировку или в горы, для нее было морокой набить впрок мне полный холодильник котлетками, пельменями, мясом, рыбой...

Сейчас вопрос решается с улыбкой: «Двадцать копеек есть? Купишь брюкву...». Вопрос о еде упрощается донельзя. И мне теперь приятно и легко бывать в командировках, никаких забот со столовками. Выпил соку или купил кочешок капусты, или взял с собой несколько сушеных груш (две сушеные груши — это прекрасный обед), или курагу, или изюм, или грецкие орехи.

...Итак, в этой статье шла речь о трех китах, трех сваях здоровья, на которых оно стоит. Подытоживая сказанное, напомню. Это деятельный, бодрый, гуманистический дух; высокий энергетический уровень, который мы можем получить с помощью движения, закаливания, общения с природой, правильного дыхания; забота о чистоте организма.

Здоровье — это такая ценность, которая требует разумного подхода к ней. Наша забота о здоровье оборачивается ничем другим, как полноценной во всех отношениях жизнью.



М. АМУСИН

ДАЛЕКО ЛИ ДО БУДУЩЕГО?

Невероятно, но факт — о братьях Стругацких до сих пор не опубликовано ни одной серьезной статьи. То есть нельзя сказать, что вокруг их творчества существовал заговор молчания. Произведения их регулярно упоминались и наскоро разбирались в обзорах текущей фантастики; на некоторые из них появились журнальные рецензии; толковый анализ работы Стругацких до начала 70-х годов дал А. Урбан в книге «Фантастика и наш мир». Заметим еще, что появлялись в периодике время от времени весьма заинтересованные суждения о писателях, которые, однако, и полемическими назвать язык не поворачивается — напрашиваются определении более жесткие. Но о них позже.

В целом же отклик критики на тридцатилетнюю без малого деятельность Стругацких в литературе выглядит обескураживающе скромным. А ведь о степени популярности этих авторов в самых широких читательских кругах говорить излишне. За журналами, где печатаются их повести, в библиотеках выстраиваются длинные очереди, а уж книги исчезают с прилавков магазинов в мгновение ока.

Так в чем же дело? Быть может, в сложившемся среди критиков убеждении, будто фантастика говорит о чем-то отдаленном, экзотическом, не связанном с насущными делами и заботами текущего дня? А раз так, то и не заслуживает она серьезного разговора между серьезными людьми, а должна оставаться достоянием школьников старших классов да отдельных чудаков с гипертрофированным воображением.

Чтобы опровергнуть это мнение, нет нужды тревожить тени великих, активно обращавшихся к фантастике: Свифта и Гофмана, Уэллса и Чапека, А. Толстого. Проза Стругацких вполне может сама постоять за себя. И не только за себя, но и за честь жанра (я, впрочем, согласен с Киром Булычевым, который считает фантастику не жанром, а родом литературы, вбирающим в себя множество жанровых разновидностей). Нетрудно показать, что Стругацкие всегда подставляли свои паруса ветру времени — как попутным, так и встречным его порывам,— всегда пребывали в эпицентре общественных страстей и борений.

Вспомним начало. Писатели дебютировали на рубеже 50-х — 60-х годов. Это было время общественного подъема, горячих ожиданий и надежд, энтузиазма. С одной стороны, решения XX и XXII съездов партии создали в стране совершенно новую духовную атмосферу. С другой — на новый виток эволюционной спирали вышла наука: первые космические полеты, успехи в обуздании атомной энергии, ошеломляющий прогресс электроники и вычислительной техники. Все это, вместе взятое, порождало в ту пору, особенно в молодежной среде, ощущение сжатия пространственных и временных границ — Вселенная становилась соразмерной человеку. Казалось, что до планет, а потом и до звезд рукой подать, что еще несколько яростных, дерзновенных усилий — и доступными станут глубины космоса. Одновременно будущее, которое еще недавно представало в ореоле фантастичности, приблизилось, стало видеться результатом сегодняшних трудов и свершений.

В этой-то атмосфере, рядом с произведениями Ефремова, Казанцева, Гора и появились первые повести Стругацких: «Страна багровых туч», «Путь на Амальтею», «Полдень, XXII век. Возвращение», несущие на себе ясно различимые меты времени. Книги эти исполнены пафоса пионерства, преодоления, покорения. Их герои — Быков и Ермаков, Дауге и Юрковский — истинные рыцаря космического первопроходчества, отважные, целеустремленные, готовые на жертвы. Как и подобает рыцарям, они закованы в доспехи — доспехи своих добродетелей, которые делают их похожими друг на друга, несмотря на добросовестные попытки авторов их индивидуализировать. Лишь иногда мелькнет из-под забрала своеобразное выражение лица — и тут же скроется. Общность цели, необходимость ради ее достижения складывать силы вдоль одной оси неизбежно оттесняют на второй план психологические различия, делают их малосущественными.

Эти люди еще не до конца отделились от той могучей и прекрасной техники, которая помогает им покорять пространство и время. Недаром в «Стране багровых туч» так любовно описываются и космический корабль, несущий героев к Венере, и вездеход, на котором участники экспедиции совершают свою героическую вылазку к Урановой Голконде. Преклонение перед техникой — пуповина, которая еще связывает Стругацких с традиционной для пятидесятых годов фантастикой.

В этих ранних повестях все ясно: цели, пути к ним, личности героев, трудности, которые их ожидают. Трудности эти многочисленны и серьезны — но «бесхитростны». Для их преодоления требуются только знания и отвага, быстрота реакции и готовность к самопожертвованию. О благословенные, романтические времена!

Но проходит всего несколько лет — и тональность произведений Стругацких начинает меняться. На смену ликованию по поводу победного шествия научно-технического прогресса приходят интонации раздумчивые, вопросительные. Усложняется предмет художественного исследования. В «Стажерах», «Попытке к бегству», «Трудно быть богом» писатели выходят к теме превратностей исторического развития, драматической его диалектики. Конфликты всех этих произведений имеют общую основу: столкновение представителей коммунистической цивилизации, духовно зрелой и высокогуманной, с социально-историческим злом, с реальностью, к которой неприложимы мерки и критерии гуманизма.

Герой романа «Трудно быть богом» Антон-Румата — один из наблюдателей Земли на планете, переживающей период господства мракобесия и изуверства. Он всем своим существом жаждет поддержать, спасти от гибели робкие пока и уязвимые ростки духовности, стремления к социальной справедливости, к интеллектуальной независимости. Но вот вопрос: допустимо ли глубокое вмешательство извне в сложившуюся ситуацию, в естественный ход событий — пусть сердцу и уму Антона он представляется совершенно противоестественным? Не должен ли каждый народ сам и до конца выстрадать свою историю, пройти по всем ее кругам, не полагаясь на помощь «богов», чтобы обрести органичную форму самоосуществления?

Такими вот любопытными и вовсе не лишенными социальной актуальности вопросами задаются Стругацкие в своем романе. Ведь попытки перескакивания через этапы естественного развития общества знакомы нам не только из литературы. Однако в постановке и трактовке этих проблем авторы еще грешат умозрительностью и отвлеченностью. А между тем дух времени — беспокойного, насыщенного событиями времени шестидесятых — властно обращал писателей к вопросам гораздо более конкретным, злободневным, к прямому формулированию своей общественной позиции.

В 1965 году Стругацкие опубликовали повесть «Понедельник начинается в субботу», непринужденно соединяющую фольклорную традицию с ультрасовременными реалиями века НТР. И в этой, на первый взгляд абсолютно несерьезной «сказке для младших научных сотрудников», возникают мотивы важные и характерные. Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства — НИИЧАВО — выступает в повести символом современного научного учреждения, а его сотрудники — маги — явно представительствуют от лица молодой интеллигенции, столь активно и победительно входившей в жизнь на рубеже 60-х годов. Интеллигенция эта несла с собой дух абсолютной преданности делу, непочтительности к любым авторитетам, кроме авторитета точной научной истины, дух бескорыстия, независимости, оптимизма. Немало наивного, не выдержавшего испытания временем было в упованиях и декларациях этого поколения. Но можно ли отрицать его искренность, убежденность, нравственный максимализм?

В повести Стругацких этот социально-психологический феномен обрел выразительность и законченность художественного образа, обрел яркий «имедж». Молодые герои «Понедельника» влюблены в свою работу, исповедуя несколько даже ригористический культ дела, а главное, убеждены, что в их пробирках и колбах, у их осциллографов творится субстанция человеческого счастья. Это не мешает им быть раскованными, остроумными, жизнерадостными. В повести играет озорной и победоносный дух молодости.

И тут же, рядом с этими веселыми подвижниками науки, возникает фигура профессора Выбегалло, демагога и невежды. Выбегалло, изъясняющийся на смеси французского с нижегородским, занят построением действующей модели «идеальной» человеческой особи — потребителя, все культурные запросы которого должны вырастать на базисе безотказно удовлетворяемых материальных потребностей. Там же, в коридорах в кабинетах НИИЧАВО, мелькают, пока еще эпизодически, разного рода администраторы и канцеляристы, всячески досаждающие ученым-магам, вставляющие им палки в колеса.

Вслед за этой повестью Стругацкие создают подряд несколько произведений, в которых острополемически трактуются насущные вопросы тогдашней общественной жизни. Здесь возникает калейдоскоп гротескных ситуаций, хоровод сатирически обрисованных образов, воплощающих разные грани социального неразумия. В «Сказке о тройке» знакомые нам по «Понедельнику» Саша Привалов и Эдик Амперян оказываются лицом к лицу с разбушевавшейся стихией демагогического бюрократизма, грозящего поглотить все живое вокруг. В фантастическом городе Тьмускорпионь заседает Комиссия по Рационализации и Утилизации Необъясненных Явлений. Глава этой комиссии — так и хочется назвать его Главначпупсом — Лавр Федотович Вунюков и его присные Хлебовводов и Фарфуркис воплощают стиль сугубо формального управления, бездушного и безмысленного, лишенного всякой живой связи с управляемыми объектами, всякого понимания их сути. Стругацкие точно фиксируют здесь черты типажа ответственного работника — порождения только что отошедшей тогда эпохи: и подкрепление любой своей нелепости ссылками на авторитет народа, от имени которого только и глаголет данный администратор; и объявление всего лежащего за рамками его представлений вредным и ненужным; и отождествление интересов общества со своими собственными. Скрипит и громыхает в повести действующая на принципе дурного автоматизма, заправленная одними лишь начетническими цитатами и лозунгами бюрократическая машина.

В сходной манере жесткой социальной сатиры, доходящей до гротеска, выполнена повесть «Улитка на склоне» (та ее часть, которая была опубликована в журнале «Байкал», 1968, № 1, 2). Перед нами жутковатый в своей бессмысленно-кипучей активности мир некоего Института, сотрудники которого заняты изучением загадочного и непостижимого Леса. Точный предмет исследования, равно как и его цель, никому не ясны, что порождает всеобщую путаницу и неразбериху, стыдливо прикрываемые видимостью строгой, чуть ли не казарменной дисциплины.

Во всех этих произведениях главная мишень писателей — архаичный, дорого обходящийся обществу стиль управления, некомпетентный и недемократичный по своей сути. А вот в повести «Второе нашествие марсиан» Стругацкие обращаются к исследованию типа сознания, во многом порождаемого подобными деформациями общественных структур и механизмов. Точно воссоздана здесь атмосфера захолустного городка, обитатели которого проводят дни в сплетнях и пересудах, в обсуждении реальных происшествий и фантастических слухов. «Антигерой» повести, отставной учитель гимназии Аполлон — человек не злой и даже не начисто безнравственный. Просто он убежден: в его судьбе все определяется не зависящими от него причинами, игрой внешних сил, которым приходится безропотно подчиняться. Долгое время воплощением такой силы было для него правительство, которое платило Аполлону жалование, а потом пенсию, обеспечивая тем самым его скромное благополучие. И Аполлон служил правительству без вопросов и сомнений. Но вот ситуация изменилась, что-то произошло — идут слухи то ли о перевороте, то ли о высадке марсиан. Стругацкие добиваются яркого комического эффекта, демонстрируя ту эластичность, подвижность, с которой обывательский здравый смысл приспосабливается к самым немыслимым обстоятельствам. Мысль о необходимости подчиняться пришельцам, которых, к тому же, никто еще и в глаза не видел, без помех овладевает сознанием жителей городка, привыкших к нерассуждающему повиновению. Тем более, что в повседневном их существовании почти ничего не изменилось, а уровень жизни горожан даже повысился.

Что же касается таких материй, как человеческое достоинство, совесть, свобода, исторические и культурные ценности — то для Аполлона и ему подобных это роскошь, духовный десерт, который можно себе позволить во времена благополучные. Но если эти абстракции требуют от человека поступков, сопряженных хоть с минимальным риском — их следует незамедлительно отбросить. Этим нехитрым правилом и руководствуются Аполлон и его сограждане в сложившейся ситуации.

Как видим, в середине и конце шестидесятых годов Стругацкие в своих произведениях поднимают вопросы, актуальные и для того времени, но особенно громко резонирующие сегодня — вопросы демократизации общественной жизни, раскрепощения творческой энергии народа. Они ведут борьбу с самыми различными проявлениями косности, социальной рутины. Они берут «социальный интеграл» конформизма, эгоизма, безответственности, они рассматривают эти качества «под знаком вечности» и обнажают их несовместимость с идеалами коммунизма, с родовыми интересами человечества. И не случайно противники всего живого, честного, мыслящего наносят в это время Стругацким несколько ощутимых ударов — не полемической шпагой, а дубиной. В 1969 году повесть «Второе нашествие марсиан» была подвергнута разносной критике сразу в двух периодических изданиях: «Журналисте» и «Огоньке». В фельетоне Ивана Красиобрыжего «Двуликая книга» и статье Ивана Дроздова «С самой пристрастной любовью» совпадают и набор обвинений, и методика их обоснования, и даже отдельные формулировки. Логика удручающе проста: если писатели изображают в обобщенном виде какие-то негативные

явления, значит — злонамеренно подменяют таким изображением картину нашей героической и патетической действительности.

Сейчас, разумеется, нет нужды давать развернутые ответы на подобные обвинения. Упоминаю я о них лишь в подтверждение своей мысли: работа братьев Стругацких имела в те годы в высшей степени актуальный смысл.

Впрочем, тут пора остановиться. У читателя может сложиться впечатление, будто Стругацкие ограничивают свои задачи острыми фехтовальными выпадами, нацеленными в негативные явления нашей общественной жизни, лишь задрапированными — для пущей аллегоричности — в фантастические одеяния. Это, конечно, не так. Актуальность писатели всегда понимали гораздо более широко. Эпиграфом к повести «Хищные вещи века» служат слова Сент-Экзюпери: «Есть лишь одна проблема — одна-единственная в мире — вернуть людям духовное содержание, духовные заботы...». Слова эти точно выражают направленность и масштаб творческих усилий Стругацких. Однако легко сказать — вернуть духовное содержание. Здесь, увы, не помогают самые добрые намерения, самые возвышенные наставления и проповеди. Недаром горький вопрос о действенности литературы в последнее время все чаще звучит в дискуссиях и обсуждениях.

Слишком смело было бы утверждать, что именно Стругацким лучше других удается справиться с духоподъемными задачами. А все же постоянный читательский интерес к их книгам говорит о небезуспешности усилий писателей. Какие же особые средства воздействия призвали они себе на помощь? Тут не обойтись без того, чтобы заглянуть в их творческую лабораторию. Ведь лаборатория «магов» — место интересное.

Прежде всего Стругацкие побуждают читателя удивиться, заинтересоваться, стряхнуть с себя инерцию восприятия — будь то восприятие литературы или самой жизни. И здесь им на помощь приходит фантастический «хронотоп» — сочетание обстоятельств времени и места действия. Кабина космического корабля, экзотические инопланетные реалии, далекое будущее Земли — все эти неотъемлемые принадлежности фантастического жанра сами по себе мобилизуют читательское воображение. Но и заслуга авторов тут несомненна. Они владеют даром особо выразительной передачи атмосферы необычного. И добиваются они этого отнюдь не «экстенсивным» путем, не механическим нагнетанием фантастического, что часто встречается в тривиальной литературе. Стругацкие верят: эффект необычного тем ярче, чем больше разность потенциалов между этим необычным и объемлющим его обыденным, привычным. Вспомним роман «Пикник на обочине». Образ Зоны — предполагаемого места посещения Земли пришельцами из космоса — создается в первую очередь зримым описанием удивительных явлений, встречающихся там на каждом шагу. Но образ этот так сильно действует на наше воображение еще и потому, что располагается Зона по соседству с заштатным городком Хармонтом, бытовые приметы которого воссозданы в романе в добротной реалистической манере.

Второй «камень», лежащий в основании художественного мира Стругацких — это тайна. Мало кто из признанных мастеров детективного жанра может соперничать с ними в искусстве владения всеми рычагами тайны. Необъяснимое событие или ситуация, информационный «провал», разрыв в цепи причин и следствий — непременные атрибуты почти каждого произведения писателей, начиная с середины шестидесятых. О, Стругацкие прекрасно сознают, сколь глубоко укоренена в наших душах потребность в таинственном, и щедро ее удовлетворяют. Однако тайна для Стругацких — это и одна из существенных сторон нашего существования, одно из измерений нашего мира. В ней концентрируется все неизвестное, непознанное, что разлито в окружающей жизни. В зрелых произведениях писателей — таких, как «Пикник на обочине», «За миллиард лет до конца света», «Жук в муравейнике» — загадочная ситуация оказывается и этически значимой. Здесь важно не только раскрыть тайну, но и определить, какая линия поведения в условиях неопределенности является самой достойной, отвечающей критериям гуманистической морали.

Рекорд по «удельному весу» таинственного принадлежит, наверное, «Жуку в муравейнике». Тайна там многоконтурна, многослойна. Постепенно, снимая один покров загадочного за другим, приближаемся мы к пониманию истинного смысла драмы, разыгрывающейся на страницах повести. В центре этой драмы — личность и судьба Льва Абалкина. Подробнее о повести речь пойдет позже, а сейчас обратим внимание вот на что. Сюжет ее движется таким образом, что в финале последнее кольцо тайны остается неразомкнутым, последний вопросительный знак остается сидеть занозой в читательском сознании, побуждая его снова и снова возвращаться к смысловым коллизиям повести.

И еще одно. В основной текст повести вмонтированы отрывки отчета, написанного Абалкиным после участия в операции «Мертвый мир». Эти отрывки, в которых немало пропусков, лакун, обрывающиеся к тому же на самом интересном месте, являют собой увлекательнейший «роман в романе». Приключения героя в полуразрушенном, почти обезлюдевшем городе на далекой планете дразнят читательское воображение многочисленными и остающимися без разрешения загадками. На память приходят слова Тынянова, писавшего, что пропуск глав, других фрагментов текста — «частый прием композиционной игры», направленный на «семантическое осложнение» и «усиление словесной динамики» повествования.

Раз уж это слово прозвучало, поговорим об игре — еще одном существенном элементе поэтики Стругацких. Игра в их творчестве присутствует в самых различных формах и обличьях, на разных уровнях организации повествования. Прежде всего игровое начало воплощено в самих героях, особенно молодых. Избыток сил, радость жизни, удовольствие от занятия любимым делом — все это отливается в абсолютную раскованность поведения, в постоянную готовность к шутке, каламбуру, веселому розыгрышу. Трагичная по колориту повесть «Попытка к бегству» зачинается, к примеру, сценой беззаботного веселья. «Структуральнейший лингвист» Вадим перед путешествием на Пандору прямо-таки ходит на голове, дурачится и распевает песенки собственного сочинения.

Этот же дух раскованности, веселой изобретательности присущ и повествовательной манере Стругацких. Явно игрового свойства часто используемое писателями соединение элементов, взятых из разных культурно-исторических пластов, разных смысловых и стилевых рядов. В «Улитке на склоне» сознанию человека двадцатого века, ученого противостоит тщательно выстроенная фантасмагорическая реальность Леса, где все зыбко, переменчиво, алогично, как во сне (тут невольно возникают ассоциации с причудливыми видениями Кафки).

По принципу коллажа организуется образная система повестей «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке». Здесь сказочные и мифологические мотивы, фантастические явления сталкиваются с терминами и понятиями эпохи НТР, с деталями повседневного быта, иногда реалистическими, иногда — сатирически заостренными.

Любят писатели и подразнить пуристов, радетелей чистоты и иерархического разделения жанров. Отсюда — маскарады, переодевания, перекройка устойчивых жанровых схем и стереотипов. В романе «Трудно быть богом» костюмы, реквизит, весь фон действия взят напрокат из рыцарских и мушкетерских романов. «Обитаемый остров», роман воспитания, наполненный к тому же интересными и острыми размышлениями о методах социального действия, обряжен в одежды авантюрного, «шпионского» повествования, наполнен погонями, схватками, резкими переменами декораций и так далее.

А сколько в произведениях Стругацких внутрилитературной игры — изящной и озорной! Писатели не скрывают своего пристрастия к хорошей литературе и не упускают случая вкрапить в свой текст «чужое слово», строки и фразы любимых авторов. Открытые и скрытые цитаты, реминисценции, лукавые отсылки к источникам обогащают повествовательную ткань новыми смысловыми «капиллярами», активизируют литературную память читателей.

Одна из последних публикаций Стругацких, повесть «Хромая судьба», вся построена на обнажении приема, на демонстрации «технологии». С главным ее героем, писателем Феликсом Александровичем Сорокиным, происходит ряд необычных происшествий, каждое из которых могло бы быть развернуто в отдельный фантастический или авантюрно-приключенческий сюжет. Однако дразнящие эти возможности остаются в повести нереализованными. Сама же она после вереницы забавно-язвительных эпизодов, живописующих отношения в писательской среде и порядки в Клубе литераторов, переключается в плоскость серьезных размышлений о природе и психологии творчества, о критериях оценок, о мотивах, движущих писателем в его работе. И тень Михаила Афанасьевича Булгакова, возникающая на страницах повести, придает этим размышлениям особую остроту и многозначность.

Что ж, все это очень хорошо, воскликнет иной читатель, но причем же здесь духовные интересы и ценности? Ведь любое заурядное чтиво фантастического или детективного содержания тоже приправляется солью необычных обстоятельств и перцем таинственности, тоже втягивает читающего в игру по тем или иным правилам.

Активность художественного мира Стругацких, его «агрессивность» по отношению к читательскому сознанию подчинены ясной цели — раскрепостить энергию восприятия этого сознания, освободить его от тянущих вниз вериг эмпиричности, от праздной созерцательности. Но и этим дело не ограничивается. В художественном строе прозы Стругацких выражается авторская концепция бытия, к которой писатели стремятся нас приобщить. Под цветистыми покровами фантастической условности здесь явственно ощутима упругая материя жизни, исполненной драматизма, внутренней напряженности. Жизнь эта волнует и влечет своей загадочностью, незавершенностью,

она бросает человеку свой извечный вызов, требуя от него напряжения всех его сущностных сил в поисках достойного ответа. Стругацкие словно говорят нам: да, жизнь сложна, Вселенная безмерна, природа не расположена к человеку, путь социально-исторического развития изобилует мучительными противоречиями, благополучный итог не предрешен. Но только осязая неподатливость субстанции бытия, преодолевая ее сопротивление, мы обретаем смысл существования, утверждаем свое человеческое достоинство. Стругацкие заражают нас своим неутолимым интересом к многодонности жизни, к ее непредсказуемости, к безмерности, отразившейся в зрачке человеческого глаза. Их герои — истинные герои — живут жизнью, полной борьбы, телесных и нравственных усилий, они испытывают радость деяния, боль утрат, стыд за ошибки, они остро ощущают — и заставляют ощутить нас — реальность и необходимость своего присутствия в мире. Альтернатива этому — тягостное, рутинное избывание жизни или дробление ее на осколки отдельных актов, не связанных воедино, не оправданных высокой целью. Подобный модус бытия присущ «человеку невоспитанному», как его именуют Стругацкие, носителю социальной безответственности, конформизма, духовной лености.

В повести «Хищные вещи века» человек созидающий и «человек невоспитанный» вызваны на очную ставку. Здесь писатели создали выразительный и отталкивающий образ общества, отказавшегося от дерзаний и поисков, от борений, пожертвовавшего всем этим ради благополучия и комфорта, ради возможности мало работать и много, со вкусом отдыхать. Это — воплотившаяся мечта обывателя, торжество психологии потребительства. И что же? Жители города, где происходит действие повести, отравлены жестокой скукой, испытывают «несчастье без желаний». Неистребимое — несмотря ни на что — томление человеческого духа начинает отливаться в уродливые формы: оргии, акты вандализма, бессмысленную игру со смертью.

Герой повести Иван Жилин, посланный в город Мировым Советом с заданием разобраться в этой таинственной напасти, ограничен сюжетными условиями в обнаружении созидательных возможностей своей натуры. Однако весь склад его личности, его способ размышлять и действовать находятся в ярком контрасте с жалким прозябанием «аборигенов». В Жилине сочетается сложная работа мысли, богатая рефлексия — и устремленность этой духовной энергии вовне, за пределы личности, в окружающий мир.

Под другим углом зрения рассматривается отношение «человек — мир» в романе «Пикник на обочине». Здесь с беспощадной социально-психологической достоверностью представлена жизненная история сталкера Рэда Шухарта, пробавляющегося выносом всяких диковинных предметов из Зоны, о которой уже шла речь в этой статье. Смысловое напряжение в романе создается контрастом между грандиозностью самого факта посещения Земли инопланетянами и возникающей вокруг него игрой мелких страстишек, собственнических инстинктов, жаждой «не упустить своего». И мы видим, как симпатичного и бесстрашного парня Рэда постепенно затягивает чертово колесо частного интереса, как оно выдавливает из его натуры человечность.

С неопровержимой наглядностью — но и без дидактического нажима — выступает в финале романа мысль о жестоком несоответствии индивидуализма как мироощущения современному состоянию мира, о необходимости усвоения нового, планетарного мышления всеми людьми, находящимися на борту «корабля по имени Земля».

Что ж, в этом и состоит одно из важнейших свойств «феномена Стругацких» — они делают жгуче увлекательной, насущной для нас социальную, этическую, философскую проблематику высокого уровня общности. Стругацкие умеют придать отвлеченным и абстрактным на первый взгляд категориям — будущее человечества, судьбы цивилизации, нравственная самостоятельность личности — живую плоть, претворить их в жизненную практику своих героев. А средством «концептуализации» сюжетного материала в зрелой прозе писателей все чаще становится ситуация выбора. Разумеется, выбор всегда присутствовал в их произведениях, но поначалу — лишь на вспомогательном, «обиходном» уровне. Поворотной в этом смысле стала повесть «Улитка на склоне» (та ее часть, что была опубликована в сборнике фантастики «Эллинский секрет» в 1966 году), где ситуация выбора обретает психологическую осязаемость и определяет смысловую перспективу повествования.

Итак, Кандид, сотрудник биостанции, которая извне наблюдает за таинственным Лесом, в результате аварии оказался в самом Лесу, среди его обитателей. Странный мир открывается его взгляду: здесь растительные и животные формы обладают повышенной биологической активностью, а вот люди вялы, апатичны и, очевидно, находятся на грани вырождения. Лес все теснее сжимает свои кольца вокруг их убогих деревень.

Кандид упорно пытается добраться до биостанции и во время блужданий по Лесу наконец разрешает загадку этой ни на что не похожей жизни. Оказывается, рядом с вымирающими деревнями аборигенов существует цивилизация высокого уровня, цивилизация чисто женская. Проблему продолжения рода ее представительницы решили с помощью партеногенеза — встречающегося в природе способа однополового размножения. Эти женщины — Хозяйки Леса — научились повелевать разными биологическими формами, поставили себе на службу животных и насекомых, травы и деревья. Но одной из целей их рациональной и динамичной цивилизации стало устранение с пути прогресса «неперспективных» с эволюционной точки зрения видов, исправление «ошибок природы». К этим ошибкам они относят и мужскую часть населения Леса. Поэтому они и ведут исподволь наступление на деревни...

Казалось бы, Кандиду легче найти общий язык с Хозяйками Леса, склад мышления которых гораздо ближе к его собственному, чем примитивные психические механизмы жителей приютившей его деревни. К тому же контакт с ними дает надежду на возвращение к своим. Но Кандид почти без колебаний выбирает путь борьбы на стороне «соплеменников», почти наверняка обреченных. И не только из благодарности к ним за свое спасение. Кандид решает: ему не по пути с природной закономерностью, даже с прогрессом, если их приходится оплачивать ценою гибели разумных существ, пусть слабых и плохо приспособленных. Цивилизация Хозяек Леса, может быть, изначально лишена гуманистических оснований, которые здесь «не действительны». Но он-то, Кандид,— человек, и должен делать свой выбор, исходя из системы человеческих ценностей и норм.

В «Улитке на склоне» начинаются — если не хронологически, то по существу — Стругацкие семидесятых. В их голосе заметно поубавилось мажорных нот, взгляд на мир стал трезвее и жестче. Действительность оказалась не слишком восприимчивой к императивам разума и нравственности, обнаружила свою «непрозрачность», инерционность. Социальное зло демонстрировало поразительную живучесть и способность к мимикрии. К тому же именно в это время стала наглядно выявляться недостаточность духовного багажа, с которым отправилось в жизнь поколение «младших научных сотрудников», поколение «бури и натиска». Слишком легко его нравственные устои размывались волнами моря житейского, слишком восприимчивыми оказались многие его представители к энтропийным тенденциям: примирению с обстоятельствами, уходу в частную жизнь, подчинению рутинным схемам поведения. И творчество Стругацких по-своему откликается на это изменение общественно-психологической атмосферы. Оно все больше сосредоточивается на поиске надежных этических ориентиров в противоречивом мире, где действуют законы релятивистской механики. На смену пафосу первопроходчества, на смену полемическому задору приходит энергия упорного, несуетного размышления, склонность к моделированию сложных нравственных коллизий.

Очень непохожи друг на друга произведения 70-х годов: «Пикник на обочине» и «Малыш», «Парень из преисподней» и «За миллиард лет до конца света». А все же есть между ними и подспудная смысловая перекличка. Герои всех этих повестей поставлены в условия острого внутреннего конфликта, конкуренции ценностных установок, их раздирают противоречивые мотивы и побуждения. Выбор предстает здесь родовым свойством человеческой природы, чуть ли не синонимом разумности: нужно быть разумным, чтобы выбирать, нужно выбирать, чтобы быть разумным.

Максимального напряжения и в то же время кристальной прозрачности тема нравственного выбора достигает в повести «За миллиард лет до конца света». После обманчиво фантасмагорических и бравурных по темпу экспозиции и завязки возникает ситуация экспериментальной, лабораторной чистоты. Суть ее в следующем. Несколько ученых, ведущих исследования в разных областях науки, вдруг сталкиваются с противодействием некой могучей силы, мешающей им продолжать работу. Природу этой силы Стругацкие сознательно выносят за скобки: то ли это внеземная цивилизация, то ли сама Природа взбунтовалась против человеческого разума, дерзающего проникать в сокровенную структуру мироздания. Важно другое. У Твардовского в «Василии Теркине» солдату предлагается определить свою линию поведения, когда на него «прет немецких танков тыща». В сходном положении оказываются и персонажи повести Малянов и Вайнгартен, Губарь и Вечеровский. Сила, противостоящая им, безлика и безжалостна. А главное, в отношениях с ней каждый может рассчитывать только на себя — никакая внешняя инстанция, никакой государственный орган не придет на помощь. Чем-то надо жертвовать — или верностью своему делу, научному и человеческому долгу, или благополучием, здоровьем, а может, и самой жизнью, больше того — безопасностью близких и любимых людей.

Как видим, условия эксперимента заданы с избыточной жесткостью, рассчитаны на многократные перегрузки. И Стругацкие своих героев не представляют сверхгигантами. Почти все они один за другим сдаются, находя себе те или иные оправдания. Упорствует один лишь математик Вечеровский — его образ задан как герои-

ческий. Гораздо интереснее анализ состояния главного героя повести, астронома Малянова. Тот, почти уже сломившись, никак не может сделать последнего шага, переступить черту...

Удачей Стругацких стала, на мой взгляд, как раз психологически достоверная передача болезненности этого акта капитуляции, отказа от лучшего в себе, от стержня своей личности. Как страшно становится Малянову, заглянувшему в свое будущее «по ту сторону», какой тоскливой, обесцененной видится ему жизнь, в которой он перестанет быть самим собой. Поэтому и сидит Малянов в комнате Вечеровского, повторяя слова, полные безысходной горечи: «С тех пор все тянутся передо мною кривые, глухие, окольные тропы». Ему, мучающемуся в нерешимости, гораздо хуже, чем хозяину, уже сделавшему свой выбор...

Похоже, однако, что Стругацкие чувствуют себя не слишком уютно в разреженном, прозрачном пространстве чистой притчи с ее жесткой, несколько формализованной логикой. Во всяком случае, в следующем своем произведении — «Жук в муравейнике» — писатели вновь обращаются к острому и извилистому сюжету, а тему выбора осложняют многочисленными и разнонаправленными аргументами, соображениями «за» и «против».

Прогрессор Лев Абалкин, выполнявший ответственное задание на планете Саракш, внезапно и при загадочных обстоятельствах возвращается на Землю. Сотруднику службы безопасности Максиму Каммереру поручено выяснить его местонахождение. По ходу поисков Каммерер проникает в суть «казуса Абалкина», уясняет себе его истинное значение. Абалкин — один из тринадцати человек, к появлению которых на свет предположительно причастна таинственная и могучая внеземная цивилизация Странников. На одном из астероидов земная экспедиция обнаружила оставленный Странниками «саркофаг» с тринадцатью человеческими яйцеклетками. Судьбу еще не родившихся «подкидышей» обсуждала комиссия, составленная из лучших умов Земли. Было решено подарить им жизнь, но взять под строгое негласное наблюдение — ведь не исключено, что Странники попытаются использовать их в целях, враждебных человечеству.

Были приняты меры, чтобы направить судьбу каждого из «усыновленных» по тщательно продуманному руслу. И долгое время все шло хорошо. Но вот Абалкин стал совершать странные, непредсказуемые поступки. Как теперь быть с ним?

На одной чаше весов судьба Льва Абалкина, его право на достойную, нормальную — по меркам воспитавшего его общества — жизнь. На другой — потенциальное благополучие всей земной цивилизации. Для Стругацких, набрасывающих а повести контуры жизни коммунистического общества XXII века, принципиально то, что решение коллизии не предрешено, что ценность отдельной человеческой жизни оказывается соизмеримой со всеобщим благом. Можно ли лучше выявить меру гуманности этого общества, меру его «расположенности» к личности?

Но писатели этим не довольствуются. В их намерения менее всего входит создание благостных картин «золотого века», ожидающего наших потомков. Скорее наоборот: Стругацкие хотят показать, что проблемность, драматическая противоречивость присущи жизни на любых уровнях ее социальной организации. За конкретным «казусом Абалкина» вырисовываются контуры вопросов острых и общезначимых. Всегда ли на пользу человечеству осуществление всех мыслимых научных идей? Как осуществлять функции контроля, а порой и принуждения (именно этим заняты герои повести, сотрудники КОМКОНа Сикорски и Каммерер) в условиях безгосударственного, самоуправляющегося общественного строя? Наконец, как на практике совместить интересы социального целого с правами и свободами каждой отдельной личности? Вопросы эти, как видим, не менее актуальны для нас, чем для людей далекого будущего.

Финал повести трагичен и непривычно — даже для Стругацких — «открыт». Руководитель службы безопасности Сикорски убивает Абалкина. Так и остается невыясненным, что руководило поступками Абалкина: программа Странников или оскорбленное достоинство человека, чувствующего, что его судьбой пытаются управлять со стороны. Можно, пожалуй, и упрекнуть авторов в том, что динамичная «расследовательская» фабула повести и ее непростая внутренняя тема оказались слишком далеко разведенными. Во всяком случае, «Жук в муравейнике» вызвал противоречивые отклики среди читающей публики и критиков.

Что ж, полемика, споры, откровенное высказывание несовпадающих мнений стали в последнее время привычными явлениями нашей жизни, не только литературной, но и общественной. И разве нет в этом заслуги братьев Стругацких, книги которых всегда внушали нам, что думать — не право, а обязанность человека? Да и на сегодняшнем, сложном и многообещающем этапе нашего развития творчество Стругацких остается в высшей степени актуальным. Ведь их книги, помимо прочего,— отличные «тренажеры» мысли, социального воображения, чувства нового. Они вновь и вновь напоминают нам о «неизбежности странного мира», помогают нам готовиться к встречам с будущим, которое ведь наступает с каждым новым днем.

М. САНИН

«ТВАРДОВСКИЙ ЖИВЕТ СЕГОДНЯ»

Когда в конце 1971 года умер Александр Трифонович Твардовский, в прощальных публикациях только и было разговору, что о великой поэзии, им созданной. Хотя последняя его поэма — «По праву памяти» — опубликована не была, да и не могла тогда попасть в печать, как утверждали люди, читавшие ее в рукописи, и как понимаем теперь мы все, получившие, наконец, к ней свободный доступ. Конечно, и после выхода в свет этой поэмы Твардовский как поэт остается для нас прежде всего автором «Василия Теркина», «За далью — даль» и поздней лирики, несмотря на то, что в течение семи лет, разделяющих первые издания «За далью — даль» (1960 год) и сборника стихов «Из лирики этих лет» (1967), появилась еще и поэма «Теркин на том свете», законченная в 1963 году. Но Твардовский сделал кое-что и помимо пополнения своего будущего собрания сочинений. Он — и вот об этом-то ни слова не было сказано в дни прощания с ним — редактировал журнал «Новый мир», причем именно шестидесятые были временем расцвета журнала. «Ведь в свое время он как редактор даже поэта заслонил». Эта высокая оценка принадлежит Ф. А. Абрамову, чей литературный дебют (статью «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», 1954) благословил Твардовский.

Среди материалов, собиравшихся Ф. Абрамовым для книги о Твардовском, вдова писателя Л. Крутикова нашла следующую заметку: «Огромный авторитет Твардовского после XX съезда. Поистине эпоха „Нового мира“». А один из соредакторов Александра Трифоновича по журналу А. Кондратович, пытаясь передать ощущение от безвременной кончины Твардовского, пишет: «Эта потери была воспринята как внезапный прорыв плотины ⟨...⟩, когда сразу резко снижается уровень воды. ⟨...⟩ В литературе так бывает только с очень большими талантами. И не просто с талантами литературными, но и с личностями, уже как бы своим присутствием влияющими на духовный климат времени».

Да, Твардовский был глыбой, которая мешала маленьким литературным людям исправно разрабатывать свои маленькие «золотые жилы» в литературе. «Им,— вспоминает Абрамов,— от „Нового мира“ не было житья. Буквально из номера в номер журнал в едкой сокрушающей форме выводил их на всеобщее обозрение, преследовал, доказывал полную несостоятельность». И они мстили. Не умея и не решаясь столкнуть глыбу, они подкапывались под нее: с помощью начальства, которое Твардовский раздражал своей несговорчивостью и отсутствием политеса, «укрепляли» редколлегию журнала путем введения туда, как пишет Абрамов, «совершенно чуждых, инакомыслящих», оговором вынуждали к уходу многолетних соратников Александра Трифоновича. «Твардовского, в конце концов, как говорится, довели, и он хлопнул дверью (недруги, несомненно, рассчитывали на это, зная его характер)».

Ю. Трифонов, подобно Ф. Абрамову вошедший в большую литературу со страниц «Нового мира» времен Твардовского, тоже вспоминает о трудных днях журнала, когда его «номера с трудом продирались и выходили с опозданием иногда на два, на три месяца. ⟨...⟩ За всем виделись злоумышления, второй план. ⟨...⟩ В печати, на собраниях журнал честили почем зря, обвиняли чуть ли не в антисоветчине (не «чуть ли», а прямо, например, «Огонек», № 30, июль 1969 года.— *М. С.*),— особенно кидались на „Новый мир“ те, кому досталось от отдела критики, армия этих оскорбленных с каждым годом росла и злобнела». Трифонов дает как бы «кардиограмму» внутреннего состояния Твардовского, вынужденного терпеть всю эту вакханалию злобности и недобросовестности, и (тут я позволю себе оспорить один пассаж трифоновских воспоминаний) именно в этом прежде всего заключалось горе Александра Трифоновича: только вкупе с армией литературных врагов отнимало у него последние силы «вековое российское злосчастие: многодневное питие». Ведь Твардовский вел свою борьбу «почти в одиночку».

Характеризуя настроение Александра Трифоновича после его вынужденного ухода из «Нового мира», Абрамов подчеркивает, что «главным потрясением для Твардовского, крушением всех его просветительских утопий» было то, что этот акт не вызвал никакого общественного взрыва. А на праздновании семидесятилетия поэта в июне 1980 года и вовсе: «Зал

Александр Твардовский. По праву памяти. Поэма. «Знамя», 1987, № 2; «Новый мир», 1987, № 3.

Алексей Кондратович. Ровесник любому поколению. Документальная повесть о Твардовском А. Т. М.: Современник, 1987.

Людмила Крутикова-Абрамова. Федор Абрамов об Александре Твардовском. «Аврора», 1987, № 2.

Л. Крутикова. Федор Абрамов об Александре Твардовском (По материалам личного архива Ф. Абрамова). «Север», 1987, № 3.

Юрий Трифонов. Вспоминая о Твардовском. «Огонек», 1986, № 44.

им. Чайковского полупустой. На кладбище не пришли. Начальство постаралось? Но черт бы побрал писателей. Почему не вломились?». Мертвый Твардовский продолжал сражаться «почти в одиночку»...

Мертвый? Нет! — слышу и набирающий высоту, негодующий голос Федора Александровича Абрамова: «Твардовский живой. Твардовский живет сегодня. ‹...› Грозное и праведное око Твардовского не дремлет. Он и сегодня смотрит на нас».

Твардовский живет сегодня. Тут и «косяк воспоминаний» (слова Ф. Абрамова). Тут, разумеется, и поэма «По праву памяти», увидевшая свет спустя восемнадцать лет после ее завершения и пятнадцать — после смерти автора.

Появление ее в печати — факт исторический. Заполнился еще один пробел в истории советской поэзии. Да и сама История как сокровищница памяти обогатилась важным свидетельством о недавнем прошлом нашего отечества. Наконец, и наше понимание Твардовского существенно обновилось, так как, отпочковавшись от «За далью — даль», «дочерняя» поэма углубляет разработку некоторых ее мотивов. Знакомство с новой поэмой убеждает в том, что на завершающем этапе творческого пути общественно-политические и философские взгляды Твардовского претерпели серьезнейшую эволюцию.

Откроем «За далью — даль» на главе «С самим собой». Перечисляя, чем жизнь его не обделила, автор упоминает и о «ранней горечи и боли». Далее выясняется, что жизнь «не обошла тридцатым годом. И сорок первым. И иным...». О сорок первом Твардовским написано немало. А вот о тридцатом и «иных» годах в «За далью — даль» сказано глухо. Поздняя лирика, в том числе стихотворение «На сеновале», открывающее поэму «По праву памяти» в качестве первой главы (с названием «Перед отлетом»), по-своему выразила «ознобы и жары», накопившиеся в сердце поэта, но для Твардовского характерно окончательно выговариваться в больших вещах. И когда в начале главы «Друг детства» поэмы «За далью — даль» он настаивает: «мне свое исполнить надо, чтоб в даль глядеть наверняка», я слышу в этом «свое исполнить» и авторское признание о жанровых предпочтениях. Поэма «По праву памяти» — в большей степени, как мне кажется, исполнение «своего», чем «Друг детства» или даже «Так это было» — самая знаменитая глава «материнской» поэмы.

Раньше (в «За далью — даль»), касаясь трудной темы «разлуки, горшей из разлук» (то есть сталинских репрессий 30-х годов), поэт не всегда находил единственно верную интонацию. Что значит «годы были не во власти нас разделить своей стеной», если на одной стороне (репрессированный друг) — «зубов казенных блеск унылый», а на другой: «и я, конечно, не моложе, одно, что зубы уберег»? Понятно, что этим хотел сказать поэт, но то ли сказалось?

В «По праву памяти» нет подобного рода этических неточностей, потому, должно быть, что с течением времени Твардовский все внимательней вчитывался в некоторые, наиболее драматичные страницы недавней истории страны.

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменых сыновей.
. . . .
Нет, ты вовеки не гадала
В судьбе своей, отчизна-мать,
Собрать под небом Магадана
Своих сынов такую рать.

Не знала,
Где всему начало,
Когда успела воспитать
Всех, что за проволокой держала,
За зоной[1] той, родная мать...

Горестное изумление перед масштабами бедствия, постигшего страну. Горькая ирония, куда более горькая, чем в «За далью — даль»: «Канала только не хватало, чтоб с Марса был бы виден он!..». Глухой протестующий гул тысяч попранных жизней, переданный в многократном повторении одних и тех же рифм (не знала — начало — держала, мать — рать — воспитать — мать). И упрек — да, да, упрек отчизне-матери, немыслимый в «За далью — даль» (вспомним главу «Друг детства»: «Винить в беде своей безгласной страну? При чем же здесь страна!»).

В «За далью — даль» назывался один виновник — Сталин. Да, конечно, с самого начала понимал Твардовский, что богов творят люди. И своей доли вины не отрицал: «Не мы ль, певцы почетной темы...» («За далью — даль»). Но другие, более важные строки в главе «Так это было» («Как грозный дух он был над нами...», «И даже славою посмертной герой обязан был ему...») заставляют все-таки думать, что, с точки зрения Твардовского — автора «За далью — даль», винить в беде своей безгласной друг детства должен был не страну и не народ, а того, кого «мы звали ‹...› отцом в стране-семье».

В поздней поэме ответ на вопрос «кто виноват?» оказался многозначней. Вторая глава ее озаглавлена «Сын за отца не отвечает». Буквальным смыслом это перекликается с тем пониманием ответственности «сыновей» и «отца», которое сформулировано в «За далью — даль». Но

[1] Здесь и далее разрядка в цитатах авторская.

только буквальным. По сути же, выдвигая на авансцену этот сталинский тезис конца 30-х годов, поэт не скрывает своего сарказма. Во-первых, потому, что в свое время он использовался в качестве дымовой завесы над дальнейшими репрессиями («Пять кратких слов... Но год от года на нет сходили те слова, и званье сын врага народа уже при них вошло в права»). Во-вторых, тут есть оттенок самоиронии:

Конец твоим лихим невзгодам,
Держись бодрей, не прячь лица.
Благодари отца народов,
Что он простил тебе отца
Родного...

Ведь именно так и отнесся к тем пяти словам молодой отпрыск кулацкой семьи — Александр Твардовский, сперва искренне отрекшийся от нее[1], а потом столь же искренне поверивший в то, что новая формула означала конец его лихим невзгодам. На склоне лет ему стало понятно иное: простить сыну отца родного не может никто, сама по себе такая постановка вопроса противоестественна.

Образ Сталина, картина порядков, которые он насаждал в стране, даны в последней поэме крупно, бескомпромиссно. Поэт судит их, не зная снисхождения. Если в «За далью — даль» Твардовский еще готов был признать за деяниями Сталина в предвоенную пору и некую правоту (правда, крутую и жестокую, как неправота), то в «По праву памяти» о правоте уже нет и речи. Какая там правота, если «в те года и пятилетки, кому с графой не повезло», следовало, по непререкаемому закону, «быть под рукой всегда — на случай нехватки классовых врагов»! Какая там правота, если «он умел без оговорок, внезапно — как уж припечет — любой своих просчетов ворох перенести на чей-то счет...»! Какая уж там правота, если он считал возможным требовать от своих подданных такого самоотречения, какое прилично только во взаимоотношениях творца и его творений: «Он говорил: иди за мною, оставь отца и мать свою, все мимолетное, земное оставь — и будешь ты в раю».

В главе «Сын за отца не отвечает» сарказм Твардовского набирает силу Ювенала. Что ни слово, то бич свистящий: «дело свято» рифмуется здесь с «предай родного брата», «прямиком» — с «тайком». И поставленные рядом, несмотря на абсолютную несовместимость, превосходные степени прилагательных: высшая (цель) и лучший (друг, преданный тайком во имя этой цели). И неожиданная, но столь уместная в этом контексте цитата из пушкинского «Памятника» («Любой судьбине благодарен, тверди одно, как он велик, хотя б ты крымский был татарин, ингуш иль друг степей калмык»).

И наконец — разрабатываемый в главе «О памяти» пласт философский. Попутно хочу обратить внимание на особенности архитектоники поэмы. Три главы ее — как три горизонта. Первый — личный, второй — надличный, общенародный, третий — и надличный, и, так сказать, наднародный. Горизонт Памяти. Поэт отвергает попытки разных «молчальников» (его слово) утопить в забвенье живую быль (и боль) прошлого. Девиз Твардовского: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...» (сегодня этот девиз, притом почти в тех же выражениях, повторяется с самых высоких трибун). И еще:

И даром думают, что память
Не дорожит сама собой...
. . . .
И что не взыщется с поэта,
Когда за призраком запрета
Смолчит про то, что душу жжет...
. . . .
Тогда совсем уже — не диво,
Что голос памяти правдивой
Вещал бы нам и впредь беду...

Здесь опять — текстуальные переклички с Пушкиным, пусть они и не выделены автором (например, с последней строфой стихотворения «Друзьям»: «Беда стране, где раб и льстец одни приближены к престолу, а небом избранный певец молчит, потупя очи долу»).

Голос памяти правдивой слышится нам и в записях Ф. Абрамова. Хотя Абрамову и не удалось воплотить свой замысел книги о Твардовском, но и разрозненные записи дают ощущение живого человека во всей живой противоречивости его облика. Такого Твардовского мы еще не знали, как не знали некоторых кровоточащих подробностей его биографии. Абрамов, писавший для себя, не задумываясь над будущей участью этих материалов, ничего не сглаживал, напротив — выпячивал острые углы личности и судьбы своего героя. Твардовский у него — не только «властитель дум», «духовный пастырь», «оплот правды и бесстрашия», но и «крутой, бешеный нрав. ‹...› Дистанция между собой и людьми. Некоторая чопорность». И даже — «барские замашки», «советский сановник». И о духовной эволюции Твардовского сказано обжигающе обнаженно: «Смерть Сталина. 1956 год. Открылись глаза. Выдавливание из себя раба». И еще: «Вся послевоенная история — это раскрепощение. Это преодоление честолюбия, отказ от почестей... Хватило силы».

[1] Ф. Абрамов: «Твардовский искренне отрекся от семьи. И силы ему давала вера, которая сильнее была в нем, чем в других».

Конечно, такой уровень правды не был доступен А. Кондратовичу, с самого начала ориентировавшемуся на публикацию своих книг о Твардовском (помимо «Ровесника любому поколению», выходила двумя изданиями книга «Александр Твардовский. Поэзия и личность»). Сегодня, вероятно, и он бы в чем-то пересмотрел свои позиции. Но, право, так ли уж необходимо, чтобы все мемуаристы писали на манер Абрамова[1]? Ведь и он сам, стремившийся охватить все сложности, все противоречия, сказать не только о силе в е л и к о г о человека, но и слабостях и неудачах п р о с т о человека, не прикоснулся к той теме, которую Ю. Трифонов назвал «больной и необходимой» (пристрастие Твардовского к спиртному). Абрамов вспоминал свое...

Со страниц книги «Ровесник любому поколению» нам явлен человек великой целеустремленности, великой жажды правды, великой неподкупности и несгибаемости. Таким человеческим монолитом остался Твардовский в памяти одного из своих соратников по «Новому миру». Ведь и Абрамов, касаясь редакторства Твардовского, признает, что тот «влиял на вас ⟨...⟩, когда просто сидел за своим редакторским или письменным столом». Кондратович же, как правило, наблюдал Твардовского именно в этом ракурсе. Не случайно свой рассказ он начинает с описания одного рабочего дня Твардовского — из «самых обычных редакционных дней».

Главными чертами личности Твардовского, которые выделяет в нем Кондратович, были: высокая отзывчивость всем болям и радостям мира; «самоистязательная» взыскательность к собственному слову, по мнению мемуариста, сравнимая только с бунинской; умение ставить перед собой и решать все более трудные и высокие (никак не обойтись без этого слова в разговоре о Твардовском!) задачи. Это все в плане, так сказать, личном. А в общественном, или теснее — в «новомировском», еще и ставка на правду и литературную высокопробность того, что единственно достойно кратчайшей из всех резолюций: «А. Т.». И строгая нелицеприятность отношений с авторами, не признающая никаких скидок ни на «молодость», ни тем более на актуальность темы. И умение драться за то, что кажется кровным и дорогим,— а драться, как мы помним, приходилось много.

Что касается упреков, нередко звучавших по адресу «Нового мира», будто ради достоверности там готовы напечатать любой, на скорую руку сляпанный опус, то Кондратович отвечает на них афоризмом Твардовского: «Произведение ускоренной „выпечки“,— отзывался он, когда встречался с борзописной спешкой немедля освоить актуальную тему, поставить заявочный столб на животрепещущем материале, требующем, как всякий жизненный материал, и внимания, и изучения, хотя бы простой добросовестности». Для Твардовского, добавляет Кондратович, упрощение жизненного материала (не в меньшей степени, чем его нарочитое усложнение) «было равносильно лжи», а ложь, с точки зрения Александра Трифоновича,— тягчайший грех в литературе, за который она мстит беспощадно.

В книге уделено место и человеческим слабостям героя. Впрочем, это недостатки и слабости того свойства, которые, по собственному признанию мемуариста, «лучше достоинств иного человека». И хоть портрет Твардовского приобретает тут, по воле автора, черты некоторой благостности, но, право, мне недоставало бы, не расскажи ее Кондратович, истории со слабым стихотворением М. Исаковского, которое, скрепя сердце, решает напечатать Твардовский. Или совершенно необычного для Твардовского телефонного разговора с И. С. Соколовым-Микитовым (отдавшим материал, обещанный «Новому миру», в другое издание), когда справедливый гнев редактора постепенно уступил место сочувствию к человеку, попавшему в беду.

Справедливости ради следует признать, что книга Кондратовича дает статичный портрет Твардовского, проигрывая в этом отношении как воспоминаниям Ю. Трифонова (я имею в виду материал, напечатанный в «Огоньке», в комплексе с ранее публиковавшимися «Записками соседа»), так и записям Ф. Абрамова. Но, к счастью, мы имеем теперь возможность прочитать и то, и другое, и третье... Подробная, основанная на большом фактическом материале «документальная повесть о Твардовском А. Т.» А. Кондратовича дополнит отрывочные, но глубокие и, главное, ошеломляюще правдивые записки Ф. Абрамова. И в плодотворном взаимодействии с ними воспринимаются воспоминания Ю. Трифонова, прозаика, в отличие от Ф. Абрамова — истинно «новомировского» автора,— как раз не близкого «Новому миру» и находившегося с его редактором в сложных отношениях притяжения—отталкивания. Тем ценнее идентичность итоговых оценок всех трех. «Ровесник любому поколению» — по Кондратовичу. «В июне шестьдесят девятого года ⟨...⟩ я видел зрелого и мощного человека, один вид которого внушал: он победит!» (Ю. Трифонов). «Твардовский после смерти не только живет. Он продолжает расти» (Ф. Абрамов).

[1] Я имею в виду следующее высказывание Ф. Абрамова: «А. Кондратович много написал. Уж он ли не знал Твардовского! А можно составить по его писаниям впечатление о живом Твардовском?».

КАК РАБОТАЛ ГЕНИЙ

С. А. Фомичев. Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л.: Наука, 1986

Для кого пишутся литературоведческие книги? Для филологов? Но наука о литературе вышла за «цеховые» рамки (не в последнюю очередь именно благодаря усилиям Пушкинской комиссии АН СССР, под грифом которой издан этот труд, и ее председателя Д. С. Лихачева — редактора монографии). Для «широкого» читателя? Увы, преувеличение. Вспомним старинный термин — «просвещенный» читатель, то есть искушенный в истории отечественной словесности знаток. Хорошо, что такой существует — книгами подобного типа он во многом и создан.

Сочинения Пушкина в этой книге представлены нам по рукописям — и в тексте, и в иллюстрациях. Для одного из ведущих ныне текстологов русской литературы первой половины XIX века (например, произведений Грибоедова, Рылеева) это — проявление высокой профессиональной культуры, доверия к читателю и надежное средство проверить свои наблюдения и выводы. А мы получаем возможность вместе с исследователем следить за тем, как работал гений, за движением и воплощением пушкинской мысли от творческого импульса и плана произведения к его итогу.

За основу эволюции поэзии Пушкина в этой книге берутся изменения жанровой системы. Подчеркнем — с и с т е м ы. Какие жанры были характерны для того или иного выделенного С. Фомичевым периода (художественного, а не биографо-географического) творческого пути поэта, как на каждом этапе они трансформировались и, главное, сосуществовали, каковы законы их «субординации»?

Ранний период творчества. Автор показывает нам, как духовные и эстетические искания поэта определяли выбор жанра, как конкретно воплощалось единство содержания и формы произведения (скажем, жанр послания — и пронесенный через всю жизнь культ дружбы). Мы увидим, как складывался первый цикл стихотворений Пушкина в качестве художественного целого. Венцом этого периода стала первая пушкинская поэма (глава о каждом этапе заключается разделом о его ключевых произведениях) — и о «Руслане и Людмиле» исследователь сказал немало нового. Отметим хотя бы наблюдения над «театральностью» построения поэмы (именно построения, а не только материала и авторских впечатлений). Главу о романтизме завершает раздел о «Бахчисарайском фонтане». История этой творческой вершины Пушкина-романтика опять-таки связана с сущностью художественных поисков, определивших выбор и принципы развития поэмы как жанра.

Пушкинский реализм. Он представлен здесь как развивающийся творческий организм. За его целостностью подчас не видели качественных изменений от середины двадцатых годов к тридцатым и в их ходе. Теперь многое переменилось, и работа С. Фомичева развивает эту прогрессивную тенденцию пушкинистики. Следует отметить анализ «Подражаний Корану». Это существенный вклад автора в теорию литературы: стихотворный цикл рассмотрен как жанр. Здесь такой подход служит задаче изучить, как претворяются в оригинальном творении литературные заимствования — ведь не только в юности каждый большой писатель учится у прошлого мировой литературы и искусства не менее, чем у живой жизни (под тем же углом зрения прочтены далее «Песни Западных славян»). Самая природа «Сцены из Фауста» потребовала тщательного анализа «стыка» в пушкинском творчестве лирики и драмы. А лейтмотив фрагмента, посвященного «Евгению Онегину» — своеобразие фабульного течения «свободного романа», не замкнутого изначально сложившимися замыслом и планом. Форма романного повествования впервые в истории русской литературы определила подобную динамичность.

«Болдинский реализм» периода 1828—1833 годов, когда этот метод окончательно и безраздельно утвердился в пушкинской поэзии. На новом этапе расширились, как показывает ученый, не только социально-историческая, но, что не менее важно, психологическая база пушкинского реализма, сфера изучения поэтом жизненных явлений. «Домик в Коломне» — отнюдь не шутливая, как это принято считать, поэма, ставшая произведением програм-

мным, творческим манифестом Пушкина 30-х годов, воплощением «поэзии жизни действительной» во всей ее многогранности. «Опыт драматических изучений» («Маленькие трагедии») — еще один цикл, критический рубеж формирования этического, нравственного идеала зрелого Пушкина. «Анджело» — одна из вершин и пушкинского социального анализа, и пушкинского психологизма. Все это потребовало тщательного разбора планов, черновиков, пушкинских рисунков на их полях, никогда не безразличных содержанию стиха.

Неимоверно трудна задача исследователя поэзии Пушкина последних лет его жизни — ведь в эти годы творческий облик писателя определяла в первую очередь проза. Исключительный по сложности для восприятия «каменноостровский» цикл лирики С. Фомичев рассматривает как результат того, что в творчестве Пушкина этого этапа создается целостная, гармоничная при всех ее противоречиях художественная картина мира.

Книга эта — явление современной пушкинианы. Но об одном порожденном ею размышлении не следует умалчивать.

Из поля зрения литературоведения постепенно исчезает отдельное лирическое стихотворение как предмет научно-критического анализа. Оно, конечно, бывает темой самостоятельного этюда, и часто — превосходного, но в обобщающих монографиях стихотворение не в почете (еще более это, кстати, заметно в критике). И в книге С. Фомичева шедевры пушкинской лирики приводятся в обзорных разделах. Ни один из них не выделен в самостоятельную главку. Неужели они того не заслужили — в данном случае не эстетическим содержанием, а именно местом в художественной эволюции их автора? Вот почему менее других удовлетворяет нас глава о романтизме. В лирическом стихотворении этих лет прежде всего решалась, например, проблема сложных взаимоотношений поэта и героя (лирического или реального). Она ли — не «гвоздь» романтизма, вокруг нее ли не ломались полемические копья, Пушкин ли не дал для нее богатейшего материала? И она выпала из рассмотрения эволюции пушкинской поэзии!

Будь это в книге поверхностной, каких, увы, немало — дело не стоило бы разговора. Но тут — не просчет, а проблема. Тут вопрос принципиальный! И не пушкинистике ли его решать? Ведь именно она вырабатывала для науки и критики в целом многие принципы истории и теории литературы, научной биографии писателя, текстологии, библиографии. Ей и надлежит вернуть «малой форме» подобающее той место.

А. ХОДОРОВ

БОРЕНЬЕ СОЛНЦА С НЕПОГОДОЙ

Игорь Михайлов. Золотые имена. Книга новых стихов. Л.: Советский писатель, 1986

Книга стихов Игоря Михайлова — прежде всего лирика, открытый разговор о чувствах глубоко интимных, любви запечатленные мгновенья. Но, переходя от стихотворения к стихотворению, переживая вместе с автором увлечения, надежды, разочарования, читатель незаметно втягивается в разговор более широкий. За приливом и отливом чувств угадываются судьбы и время. Потому и нашли свое место в книге такие разные стихи, как импрессионистская зарисовка «Утренний праздник» и гимн верности «Слава женщине, ждущей тринадцатый год».

В отдельных стихах всплывают разные имена, бегло очерчиваются характеры, возникают силуэты и пейзажи, как это положено в лирическом дневнике. Но на первый план в нашем восприятии выступают не те стихотворения, где есть конкретные опознавательные знаки, а те, в которых праздник чувства и боль разлуки, переполняя стих, переливаются за края строк, и голос сердца сплетается с музыкой звезд, пустынностью полей и радостью рассвета.

Эта тема утра жизни, молодости, минувшей для одних поколений и грядущей для других, звучит как мажорная тема вечности, окрашивает книгу в теплые, счастливые тона, хотя жизнь не всегда была благосклонна к персонажам стихов. Но любовь сама по себе — источник света, и в ряде стихотворений, таких, как «Опять светло приснится», «Некая форма обряда», в сонете «Звезда», «Воспоминаниям внимая», это выражено свежо и просто:

И были, в сущности, те годы,
нас породнившие с тобой,
бореньем солнца с непогодой,
чередованьем света с тьмой.

Так, постепенно, автор расширяет разговор о любви, превращая личный опыт в общечеловеческий. Любовь становится богатством неизмеримым, основой бытия, его нравственно-философским фундаментом. И на новом витке мы встречаемся с тем же лирическим героем, уже умудренным годами, познавшим горечь потерь, но не изменившим голосу своего сердца.

Сказанное прежде всего относится к верлибрам «Я никогда не бывал богатым», «Как я прощался с Черным морем», к драматичному откровению «Предчувствует тело страдание», где верх над физической слабостью, по мнению автора, должен одержать «в трудах тренированный дух», в отличных стихах «Бессонница», «Голод по людям», «У печки догорающей».

В последнем стихотворении свой, особый масштаб. В нем как бы встретились юность и старость, означилась неотвратимость судьбы, ее бетховенская тема, которая предполагает единственное решение — не отступать, остаться самим собой. Зарождение этой мелодии в творчестве Игоря Михайлова можно проследить исподволь в стихах еще сороковых годов — «Накануне».

Душевная мудрость познания диктует автору потребность общения с вечными спутниками нашими — Пушкиным, Тютчевым, Толстым. И как итог этого прошедшего через всю жизнь контакта, как завещание, обернувшееся эстафетой, звучат слова о смысле жизни художника, писателя: «останутся Россия и народ — что неразрывно, что не раздвоится, что все властней, все пристальней влечет».

Именно пристальное влечение к истории обратило автора к созданию портретов своих современников, чьи судьбы в самом прямом смысле были драматично пересечены историей: «Комаровская элегия», памяти переводчика Ивана Алексеевича Лихачева, и стихотворение «Памяти Анатолия Клещенко» — писателя и поэта. Все трое, включая автора, испытали на себе тяжесть необоснованных репрессий. И все трое сумели сохранить в себе личность, остаться верными творчеству и любви. Об этом Игорь Михайлов сказал прямо и точно:

Нас не стереть толпою новых лиц:
пусть мы уйдем —
мы здесь пребудем вечно,
в том окруженье милом и беспечном
сугробов,
сосен,
белок
и синиц...

В заключение хочется сказать несколько слов о такой стороне дарования Игоря Михайлова, как чувство юмора. В книге немало стихов, отмеченных иронией, порой весьма едкой. К ним в первую очередь надо отнести «Славу непомерному здоровью» и «Лилит». При всей разнице тематической эти стихотворения внутренне перекликаются. Если первое адресуется тем, «кто чихмя чихал на чьи-то стопы, кто по жизни прет и прет вперед», то объект сатиры во втором случае иной. Это — ханжеская натура «праведников»:

Ведь у ангелов натура такая:
очень бдительная, ибо святая,
и живет средь них старинный обычай:
предавать — и слезы лить над добычей.

Настрой, который вызывает книга стихов «Золотые имена», весьма глубок и серьезен. Тем грустнее выглядят отдельные поспешные обороты, которые невольно воспринимаются, как перевод с иного языка: «на ласковой такой ключице», «так легка, что уж почти крылата», «но смешно искать оправдания нас бросающей к женщине участи», «развесив над пустынностью полей фантазию из Мусоргского с Григом». Разумеется, это мелочи, но ложка дегтя все-таки не ложка меда.

Ирина МАЛЯРОВА

О ЛЮБИМОМ ПИСАТЕЛЕ

Е. Путилова. ...Началось в республике Шкид. Очерк жизни и творчества Л. Пантелеева. Л.: Детская литература, 1986

Уже целых шестьдесят лет юный — да и не только юный — читатель любит книгу Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика Шкид». В своей новой работе ленинградский критик и литературовед, знаток детской книги рассказывает о творческой и жизненной судьбе одного из ее авторов — Алексея Ивановича Пантелеева. В основу книги легли его произведения, исследования автора, материалы ее личных встреч и бесед с писателем.

«Республика Шкид», как убедительно показала Е. О. Путилова, не была простыми документальными записками. Книга Г. Белых и Л. Пантелеева — художественное обобщение пережитого и увиденного, удивительное для авторов, которым и было-то всего по двадцать лет. Исследователь справедливо видит в «Республике Шкид» не только рассказ о юных правонарушителях, но и актуальный для литературы двадцатых годов разговор о человеке, его возможностях, которые могут пропасть, погибнуть или, напротив, проявиться с огромной силой.

Со знанием детской психологии раскрывается на страницах книги Е. О. Путиловой, что прошедшие «огонь, воду и медные трубы» шкидовцы оставались изувеченными непосильными для их лет переживаниями, но все же детьми, зачастую даже не по возрасту наивными и непосредственными, с извечной мальчишеской тягой к игре, которая у них, изуродованных прошлой жизнью, принимала нередко дикие и необузданные формы. Как и произведения Л. Пантелеева, исследование проникнуто глубоким гуманизмом, болью за маленького человека, оказавшегося в тяжелейших жизненных обстоятельствах. На весьма специфическом материале передается поэзия педагогического труда.

Особо хочется отметить главу, посвященную заведующему Шкидой — Викниксору, замечательному советскому педагогу Виктору Николаевичу Сороке-Росинскому, чье имя заслуживает того, чтобы стать в один ряд с А. С. Макаренко. Е. О. Путилова раскрывает основы его педагогического мастерства — уважение к личности подростка, каким бы «плохим» он ни был, формирование коллектива, «непрестанно ведущаяся деятельность». Жаль только, что автор книги не

сопоставила работу А. С. Макаренко и В. Н. Сороки-Росинского, их успехи и неудачи — здесь, несомненно, есть немало интересного и поучительного и для наших дней.

«Республикой Шкид» блестяще началась литературная жизнь Л. Пантелеева, но отнюдь не кончилась. Более шестидесяти лет работал в литературе ее автор, которому в 1988 году исполнилось бы восемьдесят лет. У Е. О. Путиловой была возможность свести рассказ о писателе к обстоятельному разбору его главной книги, остановившись на реальных обстоятельствах его жизни лишь попутно. Но так она не поступает: всего двенадцать страниц посвящено непосредственно «Республике Шкид», а остальная книга — жизни и «внешкидовскому» творчеству писателя. Тема блокадного Ленинграда в книгах Л. Пантелеева тесно связана тут с его судьбой в эти годы. В книге «Наша Маша» — заметках о своей дочери — писатель делится раздумьями о воспитании, побуждает к серьезному исполнению родительских обязанностей — в первую очередь к уважению к маленькому существу. Написанная двадцать лет назад, «Наша Маша» не устарела и сегодня — «испытание сытостью», неразумность родительской любви, детский эгоизм и другие проблемы, о которых писал Л. Пантелеев, не утратили своей актуальности. «Писатель много думает о воспитанности человека. Об этике. О так называемых хороших манерах»,— пишет Е. О. Путилова.

Л. Пантелееву совершенно не присущи назидательность, открытая поучительность. Но все его книги в глубине своей носят воспитательный характер, формируя в юном читателе высокие нравственные начала — порядочности, честности, доброты, прямоты, отзывчивости, преданности в дружбе, верности идеалу, щедрости. Сам писатель считал очень важной тему совести. Сегодня, в пору обостренного восприятия в нашем обществе правды и неправды, чести и бесчестия, пору всеобщей борьбы за справедливость, раздумья автора «Республики Шкид» являются особенно актуальными.

В. Н. Сорока-Росинский, заведующий школой имени Достоевского, заметил, что авторы «Республики Шкид» смело соединили «факты с вымыслом и прозаическую действительность с поэтической фантазией». Было бы интересно узнать, что у Г. Белых и Л. Пантелеева было «поэтической фантазией», как это делается в отношении повести «Ленька Пантелеев». Пожалуй, стоило пошире показать юным читателям жизнь беспризорников, привлечь больше литературы двадцатых годов. Надо бы несколько основательнее познакомить их и с реалиями времени, о котором идет речь: так, вряд ли знают сегодняшние ребята, кто такой Нат Пинкертон, почему в двадцатые годы торговали кипятком. Можно бы подробнее рассказать о соавторе Л. Пантелеева Г. Белых, в частности, о его «послешкидовской» судьбе. Однако главное — книга Е. О. Путиловой приобщает читателя к научно-популярному литературоведческому жанру, знакомит его с творческой историей произведений Л. Пантелеева, их жизненной основой, художественным своеобразием.

А. КРУНДЫШЕВ

«НЕ ГРЕХ НЕМНОЖКО ПОШУТИТЬ...»

Сказки английских писателей. Перевод с английского. Составитель А. Слобожан. Редакция перевода и комментарии Н. Тихонова. Лениздат, 1986

Книга эта открывает серию зарубежной литературной сказки, которую начал публиковать Лениздат. Советский читатель впервые познакомится здесь с целым пластом литературы Англии XIX—XX веков, узнает новые для него имена крупных творцов литературной сказки — Д. Рескина, Д. Макдоналда, Э. Лэнга и Э. Боуэн. Да и творчество Р. Л. Стивенсона, У. Теккерея, поэта У. Деламэра, также выступающих здесь в роли сказочников, предстанет в непривычном свете. Авторы же знаменитейших повестей-сказок для детей Д. Барри, А. Милн, Э. Фарджин, Д. Толкин познакомят нас со своими произведениями для взрослых. Последние — адресат сборника, но он может читаться и детьми. Недаром Теккерей, предназначая повесть-сказку «Кольцо и Роза» детям, писал: «А вам, старшие, тоже не грех немножко пошутить, поплясать, подурачиться...».

В книгу включены сказки и сказочные повести, классические и современные: от одного из первых произведений этого жанра — литературной сказки Рескина «Король Золотой Реки» (1841) до сказочной повести известного современного писателя Толкина «Фермер Джайлс из Хэма...» (1949). Феи и драконы — главные волшебные, правда, порой переосмысленные по сравнению с традицией, персонажи. Встречаются и своеобразные фантастические существа — Ледомаха, Огнемет, Король Золотой Реки. Эти сказки трогают нас и ныне, утверждая вечные фольклорные, нравственные и эстетические истины — победу Добра, социальной Справедливости и Любви над Злом, Несправедливостью и Ненавистью, высокую человеческую личность.

В центре повествования обычно не чудеса, не волшебные дары, которые приносят феи, а человек. Принц Перекориль и принцесса Бетсинда, лишенные родительского трона, скромные, трудолюбивые, добрые, умные, сами, вопреки волшебным силам, изменяют свою судьбу (Теккерей, «Кольцо и Роза»). В сказке Макдоналда «Невесомая принцесса» героиня, наделенная даром невесомости, стала настоящим человеком, когда ответила на самоотверженную любовь принца. Принцу Зазнайо, герою сказки Лэнга «Хроника исторических событий в королеастве Пантуфлия», счастье приносит его собственное хитроумие. Да и в более поздней сказке «Волшебная бутылка» Стивенсона, действие которой происходит на островах Океании, лишь великая взаимная любовь Кеаве Великого и его жены Кокуа помогает супругам избавиться от гибели.

Мир английской литературной сказки отличается от мира сказки народной. В ней встречаются описания природы и любовных переживаний, постоянно слышится голос автора, дающий оценку происходящим событиям, порой печальный, но чаще веселый и саркастичный. Этой же цели служат авторские эпиграммы и вставные стихотворения. Английская литературная сказка изобилует всевозможными реалиями (Барри, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду»), скрытыми цитатами из различных произведений, реминесценциями из книг Л. Кэролла об Алисе (Деламэр, «Пугало»; Э. Несбит, «Вилли-Король»), упоминаниями писателей, литературных героев, ученых, политических деятелей, коронованных особ. Там встречаются приметы времени, а иногда содержатся непосредственные указания на Перро и братьев Гримм.

В сборнике есть сказка, моделью которой служат фольклорно-мифологические представления не только английской, но и скандинаакской традиции (Р. Киплинг, «Холодное Железо»). В этом произведении, написанном под влиянием Шекспира, действуют наряду с Паком и Обероном боги скандинавского Олимпа Один и Тор. Многое сближает английскую литературную сказку и с произведениями Андерсена. Поэтичность датского писателя, антропоморфизм его произведений особенно ощутимы в сказках О. Уайльда «Замечательная Ракета» и Барри «Питер Пэн в Кенсингтонском саду».

Тем не менее, литературная сказка Англии чрезвычайно своеобразна. Ее авторы иронически переосмысливают фольклорные сюжеты, разрушают традиционную сказочную иллюзию, пародируют героев фольклора (Боуэн, «Неромантическая принцесса»). Важной особенностью английской литературной сказки является присущий ей элемент игры, из которой и вырастают сказки Теккерея «Кольцо и Роза» и Толкина «Фермер Джайлс из Хэма». И не только из игры, но и из рисунка. Теккерей часто делал портреты-наброски своих будущих героев, они-то и легли в основу его произведения. В сборник включены и фантастические произведения, идущие от Кэролла, в частности, исторический нонсенс Толкина и сказка Боуэн «Неромантическая принцесса».

Своеобразие сюжета и стиля, богатство художественных средств, присущих английским литературным сказкам, свойственные им каламбуры и словесная игра трудны для перевода. Тем ценнее успех переводчиков (Н. Рахмановой, Г. Островской, Р. Померанцевой, Ал. Щербакова), прекрасно передающих национальный колорит. Переводы радуют удачными художественными находками, а основе которых — адекватные либо близкие по смыслу образно-речевые замены. Это прежде всего относится к удачной и тонкой передаче имен и географических названий (правда, в сказке «Король Золотой Реки» имена Шварца и Глюка не переведены, и исчезает, таким образом, символика, между тем как перевод географических названий справедливо подчеркивает их смысл). Запоминаются переводы стихотворений, сделанных И. Комаровой и М. Карп.

При всех достоинствах книги есть в ней, с моей точки зрения, и некоторые недостатки. К сожалению, в сборнике не представлены образцы сказочного жанра после 1949 года, а в комментариях не указано, где и когда публиковались в русском переводе те или иные произведения. Книга издана без предисловия (либо послесловия), которое рассматривало бы основные тенденции развития английской литературной сказки, как классической, так и современной. Это тем более существенно, что литературоведческих и критических работ, освещающих данную проблему, очень мало. Хотелось бы пожелать, чтобы дальнейшие издания новой серии Лениздата сопровождались квалифицированными вступительными статьями, рассчитанными на широкие круги читателей.

Итак, знакомство с первой книгой серии зарубежной литературной сказки состоялось. С нетерпением ждем следующей встречи.

Людмила БРАУДЕ



Инна ЧЕЖЕГОВА, Михаил ДОНСКОЙ

ДИАЛОГ О МАСТЕРЕ

Памяти Анатолия Васильевича Эфроса

Трудно примириться с тем, что никогда больше не увидишь его, не увидишь, как он, приветливо улыбаясь, идет навстречу по «аллее классиков» в Переделкине, не увидишь его волнения и открытой детской радости на очередной премьере (радости — в том случае, когда он понастоящему был доволен). 13 января 1986 года безвременно оборвалась эта яркая жизнь.

И. Ч.

Мы — ленинградские жители, и лишь с 1962 года стали регулярно приезжать весной в писательский Дом творчества «Переделкино». Весной 1963, уже будучи наслышаны о замечательном Московском детском театре, где идут розовские пьесы в постановке Анатолия Эфроса, мы увидели там последнюю в то время пьесу В. Розова «Перед ужином». А через двенадцать лет в книге А. Эфроса «Репетиция — любовь моя» прочли: «Последней работой моей с Розовым в ЦДТ был спектакль „Перед ужином“. Как ни странно, я почти не помню его. Даже мне кажется, что не я его ставил. Может быть, потому, что эта пьеса Розова была слабее других его пьес, а может, потому, что делал я этот спектакль как бы на отходах других своих постановок...»

Режиссер остался недоволен этим спектаклем и, возможно, был по-своему прав. Ведь до того он уже поставил розовские пьесы «В добрый час», «В поисках радости», «Неравный бой». Но мы этих спектаклей, увы, не видели, и для нас «Перед ужином» было открытием и театра, и режиссера, и, разумеется, самой пьесы. Она отнюдь не кажется мне слабее предыдущих, напротив, кое в чем оказалась пророческой... С тех пор прошло уже четверть века, и не все детали помнятся, но как живые стоят перед нами юный Иван и зловещий Михаил Полуэктович Серегин. Осталось впечатление театральной молодости, свежести, радости.

И вот 25 апреля 1968 года мы смотрим в Театре на Малой Бронной прошедший сквозь строй мучительных приемок, но уже знаменитый на всю Москву спектакль «Три сестры». Во время войны я видела мхатовскую постановку с незабываемыми Тузенбахом — Хмелевым и Ириной — Гошевой, в 1966 году мы были на превосходном спектакле в ленинградском Большом драматическом театре с Тузенбахом — Юрским, Вершининым — Копеляном и Соленым — Лавровым. Но спектакль Эфроса — пострадавший, далеко не всем исполнителям оказавшийся по плечу, потрясал какой-то особой болью за прекрасных людей, попавшихся в капкан столь далекой от совершенства жизни. Открытием было все, связанное с Вершининым и Чебутыкиным. Это были живые, страдающие люди, я и сегодня убеждена, что Чехов видел их именно такими. Помню, во мхатовском спектакле, при взгляде на эффектного, статного, в белоснежном мундире с эполетами Вершинина — Болдумана никак не верилось, что у него сумасшедшая жена и несчастные девочки. А Вершинин — Николай Волков был для меня абсолютно достоверен. А танец Чебутыкина — Дурова? Это блестящая страница в биографии артиста Дурова и в истории современного театра.

Затем — «Ромео и Джульетта», спектакль, замысел которого вызревал почти пятнадцать лет и где мы впервые увидели не просто историю трагической любви, но и жестокий мир, не позволяющий любить, ибо любовь — смысл жизни, а жестокость потому и жестока, что не может стать осмысленной: она лишена жизненного начала, она может только убивать.

М. Д.

Личное наше знакомство с Анатолием Васильевичем началось в феврале 1971 года. Познакомил нас, а потом и накрепко связал на долгие годы Жан-Батист Мольер.

В 1966 году в Театре имени Ленинского Комсомола Эфрос поставил пьесу Булгакова «Мольер» («Кабала святош»). Мы видели спектакль уже «на излете», когда из него ушел прославившийся в заглавной роли А. Пелевин, но зато познакомились с новым в ту пору для Москвы актером — Арменом Джигарханяном.

Великий человек театра, Мольер, привлек Эфроса прежде всего не своими пьесами (боюсь утверждать, но предполагаю, что они казались ему тогда несколько архаичной хрестоматийной классикой), а своей трагической судьбою, рассказанной драматургом нашего века. Для режиссера автор пьесы и ее герой как бы слились.

Но, расставшись с Мольером — персонажем булгаковской драмы, Эфрос увидел, что он уже прочно вовлечен в круг мольеровских идей.

В феврале 1971 года мы приехали по литературным делам в Москву. И вот утром в номере гостиницы раздался телефонный звонок: женский голос сообщил, что со мною говорит завлит «того самого» Театра на Малой Бронной, Н. М. Скегина. Не возьмусь ли я сделать новый перевод мольеровского «Дон Жуана» для спектакля, задуманного А. В. Эфросом?

Придется в нескольких словах рассказать, каковы были к тому времени мои собственные взаимоотношения с драматургией Мольера. В юности, когда я был ревностным читателем, однако отнюдь не готовился к литературному поприщу, Мольер мне казался почтенным, но скучным классиком. На перечитывание его пьес в зрелые годы просто не было времени (по образованию я — математик, а разработка разнообразных лекционных курсов не оставляла большого досуга). Став профессиональным литератором и обратившись к переводу классической драматургии, я увлекся Шекспиром, Реньяром, Лопе де Вегой. К Мольеру же был по-прежнему холоден. На его великую пьесу "Тартюф" открыл мне глаза театр, а именно — спектакль лионского театра «Де ла Сите», поставленный Роже Планшоном и увиденный нами в Москве в начале 60-х годов. Помню, вернувшись в Ленинград, тут же бросился к книжным полкам и стал перечитывать все, что относилось к «Тартюфу», недоумевая, как запыленная временем пьеса могла породить такой современный спектакль, вызывающий *в наши дни* страх, смех, негодование! Я принялся за перевод и мне повезло: в 1966 году он был опубликован (во втором томе Полного собрания сочинений Мольера, выпускавшегося тогда издательством «Искусство»). Вскоре мой перевод попал и на сцену: впервые — в московском Театре на Таганке, в постановке Ю. П. Любимова 1968 года. С той поры я к Мольеру не обращался.

...Предложение Эфроса! Было от чего прийти в восторг. Но было и от чего прийти в смущение. «Дон Жуан» — пьеса из «забытых» не только в нашей стране, но и на родине автора; считалась она отнюдь не самой удачной из многочисленных разработок легенды о севильском обольстителе. «Дон Жуан» написан прозой, я же имел опыт в переводе лишь стихотворной драматургии. А вдобавок человек свободной профессии, как правило, далеко не свободен, он живет в тисках разных обязательств.

Но — *Сам Эфрос!..*

Я прежде всего попросил личного свидания. Нужен был импульс для работы: хотелось узнать, что так заинтересовало режиссера в этой таинственной пьесе, почти не имевшей сценической судьбы? Чего он ждет от переводчика, которому предстоит вникнуть в отдаленное от нас языком и временем литературное произведение, истолковать его для себя и пересоздать для современной русской сцены?

Встреча наша с Анатолием Васильевичем состоялась, но была до недоумения краткой: никакой «режиссерской концепции» я не узнал, Эфрос явно не хотел раскрываться; я понял только, что от меня ждут *нового текста* — «чтобы все было понятно». Когда ранее меня приглашали к сотрудничеству мастера театра (Акимов, Астангов, Шатрин), то в беседах с ними я получал нечто, наталкивавшее на определенный переводческий подход к пьесе. Здесь же ничего этого не было. Что ж, предстояло решать задачу, не заглядывая в ответ.

Как бы то ни было, осенью того же года перевод был закончен и вручен Анатолию Васильевичу. Дня через два я ему позвонил и спросил, устраивает ли текст, какие у него есть пожелания. В ответ услышал спокойное: «Да нет, никаких, все понятно»... Загадка!

Она разрешилась отчасти через несколько дней, когда в Ленинград пришло письмо Г. Н. Бояджиева, в котором, в частности, я прочел такие строчки: «Был у меня Толя Эфрос. Вы уже знаете, что ему очень нравится Ваш перевод (ей-богу, не знал! — *М. Д.*). Он рассказывал о своем замысле поставить „Притчу о Дон Жуане“ Мольера и Пушкина в один вечер».

Режиссер не посвятил меня в свой замысел и, видимо, умышленно: он хотел получить текст, свободный от предвзятости, без каких-либо попыток «стыковки» его с «Каменным гостем». Тут, видимо, проявилась присущая Эфросу (что я оценил позднее) деликатность: он не стал навязывать мне своей идеи; возможно, и опасался впускать мало знакомого человека в свою творческую лабораторию. Впрочем, работа в ней только еще начиналась. Режиссеру нужен был литературный материал, который бы подстегнул его театральную фантазию. «Я тугодум,— говорил он мне позднее и по другому поводу,— я долго вынашиваю классику». И вот, получив «понятный» ему текст, он начал выстраивать театральный замысел.

Не мне судить о собственной работе, но, по-видимому, одно слово в новом переводе «Дон Жуана» оказалось решающим. Это слово — *«диспут»*, которое потом вошло во многие рецензии на спектакль, поминается и режиссером в книге «Репетиция — любовь моя». Смею полагать, что это слово побудило Анатолия Васильевича отказаться от первоначальной мысли и сосредоточиться только на мольеровской пьесе. Вышедший летом 1973 года спектакль решался Эфросом как философский диспут Дон Жуана и Сганареля — опустошенного безверием скептика-хозяина и наивного, туповатого, но жаждущего веры слуги.

Репетиции «Дон Жуана» начались летом 1972 года, но режиссер не торопился, перемежая раздумья над Мольером другими работами. И лишь весной 1973 артисты вышли репетироаать на сцену. В мае я был на нескольких репетициях и прогонах. Пьеса ставилась Эфросом в двух актерских составах, которые должны были впоследствии строго чередоваться в спектаклях. Главные роли в одном составе репетировали Волков и Дуров, в другом — Козаков и Каневский.

Однажды (репетировали Волков и Дуров) подсел ко мне в зале М. Козаков — я знал его еще с той поры, когда он был студентом в Ленинграде. «Вот,— шепнул он мне во время репетиционной паузы,— Анатолий Васильевич размышляет, мучится, не спит ночей, выкладывается, а потом выйдем на сцену мы — и все ему испортим!» Это самокритичное высказывание актера характеризует и режиссерскую манеру Эфроса: при железной выстроенности всей стратегии спектакля он доверялся актерам в решении тактических задач. У актеров было много «степеней свободы». Тут открывались возможности для вдохновенной импровизации — но и для дешевого наигрыша. Режиссер рассчитывал на умного актера и на умного зрителя. Увы, не всем исполнителям были по плечу «идеальные требования» Мастера; читая его книги, понимаешь, сколько горьких минут пережил он, не находя должного отзвука в сотоварищах по работе.

И. Ч.

Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что совершенно разные актеры в разных театрах сыграли у Эфроса свои лучшие роли: достаточно вспомнить Дмитриеву и Соловьева в пьесе Розова «В день свадьбы», Дурова в ролях Сганареля и Яго, Волкова — в «Дон Жуане», «Женитьбе», «Отелло», Вертинскую — в «Тартюфе», Даля, Добржанскую и Смоктуновского — в кинофильме «В четверг и больше никогда». Не говоря уже об Ольге Яковлевой, истинной актрисе эфросовского театра.

М. Д.

31 мая и 1 июня 1973 года состоялись открытые генеральные репетиции «Дон Жуана»: оба состава исполнителей явились перед публикой. В то время в Москве проходил конгресс Международного Института Театра, и зал Малой Бронной был заполнен особо взыскательными и чуткими зрителями. В наэлектризованной атмосфере актеры играли с редким вдохновением, и оба спектакля вылились в праздник искусства и триумф Режиссера. Овациям не было конца. Помню, как Аспасия Папатанассиу со слезами на глазах бросилась обнимать тех, кто был причастен к спектаклю.

В нашей не всегда отзывчивой критике произошла вспышка энтузиазма: появились глубокие рецензии О. Кучкиной, В. Комиссаржевского, И. Мягковой, С. Юрского и других (без резких выпадов, впрочем, тоже не обошлось: «Театральная жизнь» напечатала заметку Вс. Сахарова под вызывающим заглавием «В противоречии с Мольером»). Позднее, в 1975 году, парижский журнал «Травай театраль» опубликовал обстоятельную статью американского театрального критика Альмы Лоу, посвященную постановке мольеровского «Дон Жуана» в Москве. В тонком эссе Е. Калмановского, посвященном творчеству А. В. Эфроса, «Чем жив режиссер» («Звезда», 1975, № 8) центральное место занял детальный анализ «Дон Жуана».

Спектакль начал победное шествие: после московской премьеры были длительные гастроли в Ленинграде, потом поездка в Югославию на международный театральный фестиваль (где «Дон Жуан» и его постановщик получили высшую награду). Спектаклю было суждено долголетие.

А у нас с Анатолием Васильевичем установились добрые отношения. Теперь мы приходили в Театр на Малой Бронной, как в *свой*.

И. Ч.

19 марта 1975 года — премьера неожиданной, «ошинеленной», по выражению Эфроса, «Женитьбы»! Боже мой! Мы не могли даже представить себе, чтобы из этого странного не то фарса, не то водевиля — так, по крайней мере, выглядела всегда эта пьеса на сцене — вдруг получился спектакль, пронзивший многие сердца, и стало очевидно, что Агафья Тихоновна — родная сестра Акакия Акакиевича с ее наивными мечтами о «перемене состояния», то есть о какой-то иной жизни. «Но не вышло у них ничего, как не вышло у Акакия Акакиевича»...

Затем «Месяц в деревне». В своей книге «Репетиция — любовь моя» Эфрос писал: «Уникальная, только для данного спектакля найденная форма, тончайшая психологическая вибрация и сила смысла — такой спектакль я хотел бы сделать». И «Месяц в деревне» был именно таким спектаклем. Подобие «золотой клетки» — великолепное оформление Дмитрия Крымова,— в которой бьется сердце, жаждущее любви и «перемены состояния». И у них тоже «ничего не вышло»...

Успех сопутствовал Анатолию Васильевичу не только в русской и зарубежной классике, ведь начинал он с розовских понастоящему (а не просто по названию) современных спектаклей, да и такая сверхактуальная пьеса, как «Человек со стороны» Дворецкого, прозвучала с наибольшей силой именно в театре Эфроса. И современную зарубежную драматургию он понимал, как редко ее понимают на нашей сцене. Пронзительнейший спектакль — «Лето и дым» по пьесе Теннесси Уильямса о смешной и гордой Альме, так бесстрашно сыгранной Яковлевой, о мужестве и стойкости перед лицом жизни. Спектакль «Наполеон I» по пьесе Ф. Брукнера!..

И тут хочется сказать о критике. Критика много и заслуженно хвалила режиссера Эфроса, но не всегда его понимала, а подчас даже и не хотела понять. Вот и «Наполеон I» не удостоился пристального и доброжелательного внимания, может быть, потому, что выходил он уже в достаточно сложный период жизни Анатолия Васильевича в Театре на Малой Бронной. А на наш взгляд, спектакль этот — интереснейший и во многом поучительный дуэт двух превосходных артистов: Яковлевой и Ульянова. Сейчас много пишут о забытой практике гастролерства больших артистов и употребляют это слово в уничижительном смысле. Между тем, артист «должен гастролировать,— пишет известный певец Соловьяненко (несущественно, что речь идет о певцах),— он совершенствуется, выступая на разных сценах, с разными партнерами...». И, добавим, с разными режиссерами. Сыграть Наполеона было мечтой М. А. Ульянова, но в своем, Вахтанговском, театре он не смог ее осуществить. В спектакле Эфроса Ульянов играет почти без грима, лишь нависшая надо лбом прядь, характерный жест — и перед вами человек, достигший вершины власти, но... он не в силах остановиться и, понимая мудрость Жозефины, не может следовать ее советам. Деревянная конструкция, почти пустая сцена — прощание в Фонтенбло, и таково воздействие артиста, что перед глазами громадный двор Белого Коня, и ступени дворца, и верная гвардия...

М. Д.

В июне 1981 мы по традиции приехали в Переделкино. Эфросы уже несколько лет снимали дачу в поселке Мичуринец, примыкающем к писательскому городку. В один из первых дней мы отправились их навестить — а они идут по улице Серафимовича (в просторечии — «Аллея классиков») нам навстречу. Весело приветствуем друг друга. Наташа лукаво спрашивает мужа: «Сказать?». «Скажи»,— отвечает с улыбкой он. «А Толя ставит „Тартюфа“ во МХАТе... в вашем переводе».

Анатолий Васильевич был воодушевлен новой встречей с Мольером. Уже чувствуя усталость и разочарование от Театра на Малой Бронной, он с энтузиазмом окунулся в работу с новыми актерами. О радости репетиций «Тартюфа» он написал в книге «Продолжение театрального рассказа»; взаимную радость от встречи с Эфросом (и Мольером) выражали позднее на импровизированном банкете в вечер премьеры и артисты — А. Вертинская, А. Калягин, С. Любшин, Ю. Богатырев и другие.

Первые же репетиции, на которые я был приглашен,— они шли уже на сцене,— показали мне, как глубоко вчитывался режиссер в пьесу, как бережно относился он к классике и в то же время смело вскрывал в ней то, что близко современному зрителю, пряча в тень устарелое, неинтересное.

При постановке «Дон Жуана» я был приятно удивлен тем, что Эфрос почти не притрагивался к тексту: были купированы лишь несколько строк в финале, короткая сцена с появлением призраков. В пьесе немало длинных монологов — Сганареля, Дон Жуана, его отца; но театральное решение было всякий раз столь изобретательным, что скуки от длиннот не возникало. Так, начальный монолог Сганареля разбивался короткими окликами героя в зал, где в это время бродил его собеседник — «Гусман, ты здесь?» — и столь же краткими отзывами Гусмана: «Здесь, здесь». А длинный монолог дона Луиса, полный нестерпимых для его сына поучений (достаточно лобовых, чтобы стоило их в подробностях вкладывать в уши зрителям), заглушался шумным катанием колес, игрой, в которую Дон Жуан вовлекал своего слугу. Эта блистательная находка и веселила зал (ведь комедия же!) и одновременно давала горький урок: как разобщены «отцы» и «дети», как не слышат они друг друга! А смысл дидактического словоизвержения дона Луиса был достаточно ясен по отрывочным фразам, прорывавшимся сквозь колесный грохот. Достойно сожаления, что иные критики не оценили находки и «обиделись» за дона Луиса. К примеру, Вс. Сахаров, вместо того, чтобы вникнуть в мысль режиссера, проявить, наконец, чувство юмора, пустился в наукообразную демагогию о «дискредитируемой режиссером речи» дона Луиса, в которой мы

«узнаем... любимые мысли демократа Мольера»!

Итак, текст «Дон Жуана» шел практически без сокращений. Но эта пьеса была мною переведена специально для эфросовского спектакля, может быть, потому режиссер отнесся к тексту так бережно? Что же до «Тартюфа», то перевод жил уже полтора десятка лет и в печатном виде, и на сцене, при постановках обычно сокращался: ведь там тоже есть длинноты, места тяжеловатые и скучноватые для современного зрителя. К дополнительной работе для сцены переводчик классической драматургии должен быть готов: условия нашего театра значительно разнятся от тех, какими они были в эпоху и в стране, где пьеса была написана. Между тем Анатолий Васильевич и не заикался, чтобы я помог ему сократить текст — а резать рифмованный стих надо умеючи. Интересно: что же он собирается делать, скажем, с несколько архаичными прямолинейно-дидактическими монологами Клеанта? В таганском спектакле роль была значительно урезана, а оба ее исполнителя достойно, но не утомляя зрителей чрезмерным многословием, противостояли обманщику Тартюфу.

И вот я с изумлением убеждаюсь, что Эфрос из роли Клеанта *не вычеркнул ни одного слова.* Длинные, скучные монологи? Да ничуть не бывало! Ю. Богатырев произносит их в стремительном темпе, купаясь в собственном «витийстве». Ну, конечно, сместились акценты, роль приобрела совсем другой характер: вместо «выразителя идей» (ах, как всполошились ревнители классики!) появился человек, полный прекрасных мыслей и чувств, но, увы, недейственный. И зал вместе с Оргоном потешается над его произносимыми взахлеб наивными речами, но при этом отлично понимает, что моральная правота на стороне этого чудака.

Не скрою, вначале меня несколько покоробило, что монолог офицера в финале актер произносил в другом переводе. Анатолий Васильевич объяснил, что артист, мол, уже ранее играл эту роль и привык к заученному тексту. «Он переучит». Ничего он, конечно, не переучил, но потом до меня «дошло», что пресловутый монолог для Эфроса не имел словесной ценности. Ведь, по сути — он лишь отписка Мольера, который, несомненно, имел в виду трагическую развязку пьесы: счастливый конец так искусственно к ней пришит! И Эфрос решает монолог офицера наподобие монолога дона Луиса: хотя он и произносится громко, внятно, его в сущности никто не слышит. Ибо на его *фоне* идет мимическая и страшная сцена схватки Оргона и его родичей с Тартюфом. По логике пьесы Тартюф из этой борьбы выползает живым и невредимым, а Оргон падает под бременем невзгод. Так в спектакле вскрывается мысль автора, триста лет назад упрятанная им под покровом всеподданнейших разглагольствований о мудрости и великодушии монарха.

Как же велик ТЕАТР, который на одном и том же материале может совсем по-разному донести мысль драматурга: ведь на Таганке монолог офицера — блистательный концертный номер, исполняемый Игорем Петровым с едким сарказмом!

Каюсь, не по душе мне было вначале и довольно свободное обращение с текстом Тартюфа — Любшина: тут были словечки «от себя», а иногда чуть ли не прозаический пересказ двустишия... Анатолий Васильевич говорил извиняющимся тоном: «Ну, это временно, он еще не освоился с текстом, ему так удобнее». И тут я тоже в конце концов понял и режиссера, и актера, который смело импровизировал на заданную тему: ведь Тартюф Любшина не верит ни в бога, ни в черта; он завоевал то, что хотел, и даже лицемерить не считает обязательным. Перевирание стихотворных строк (о которых он, впрочем, дает точное представление залу) — перевирание такое же наглое, как и все поведение бывшего «лицемера», оно входит в образ: если уж Тартюф не церемонится с членами оргоновой семьи, то станет ли он церемониться с александрийским стихом?

Повторяю, что эти «индульгенции» я (мысленно) дал актерам не сразу, а после того, как убедился, что, ведя свободную, озорную игру на сцене, они добились необыкновенной раскованности и сделали спектакль именно таким, как я мечтал: смешным, страшным и современным!

Увы, многие знатоки Мольера не оценили неожиданного прочтения знаменитой пьесы. Они слишком привыкли к определенным клише: «выразитель идей», «лицемер»... А Эфрос отстаивал Театр как самостоятельное искусство, где образы, написанные драматургом, не могут не подвергаться трансформации, доказывал, что при всем уважении к классике необходимо прислушиваться и к времени. Сам он к требованиям времени был крайне чуток. Может быть, именно после «Тартюфа» отношения Эфроса с критикой и обострились из-за некоторой ее глухоты.

Летом 1981 года, когда в здании МХАТ на улице Москвина репетировался «Тартюф», мы вчетвером часто гуляли по переделкинско-мичуринским дорожкам, говорили о «Тартюфе». Внезапно Анатолий Васильевич спросил: «А как вы относитесь к „Мизантропу“?» Я на миг лишился дара речи... «Да ведь это моя мечта!.. И тогда у нас с вами получилась бы *трилогия* мольеровских великих комедий! Впервые на русской сцене!»

Действительно, три пьесы-погодки — «Тартюф» (1664), «Дон Жуан» (1665), «Мизантроп» (1666) написаны Мольером не просто друг за другом, они продолжают друг друга: по сути дела это размышления о смысле человеческой жизни в пятнадцати актах. И чем глубже Мольер погружается в размышления, тем ближе комедия подходит к трагедии. «...Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и... нередко подходит к трагедии»,— замечает Пушкин в статье о народной драме и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина.

Идея о завершении мольеровской философской трилогии глубоко запала в душу А. В. Эфроса. Мы не раз возвращались к разговору о «Мизантропе»; я подарил Анатолию Васильевичу нарядную детгизовскую книжечку с «Тартюфом», надписав ее:

В СССР, Америке, Европе
Прославился наш с Вами «Дон Жуан»,
«Тартюфа» ожидают в ряде стран,
А я — уже в мечтах о «Мизантропе».

В скором времени я принялся за перевод «Мизантропа», и на следующее лето Анатолий Васильевич получил текст. Как обычно, было сказано, что «все понятно». Но теперь он делился со мной практическими планами постановки: думал о спектакле в МХАТе с тем же оформлением, что в «Тартюфе», примерял возможности поставить пьесу в театре на Малой Бронной, размышлял о будущих исполнителях главных ролей. Моя работа над переводом, шлифовка текста продолжалась.

Однако к этому времени в театре, где работал Эфрос, обстановка накалилась, ученики отходили от учителя, последние спектакли были полны горечи. «Наполеон I» Брукнера, поставленный с артистом со стороны в заглавной роли, явно не вызвал восторга у многих членов труппы; «Директор театра» по пьесе Дворецкого нес в подтексте собственные огорчения мастера, надорвавшего сердце в борьбе с театральной рутиной. Росло разочарование в прежних учениках и единомышленниках, назревал разрыв с театром на Бронной. «Живой труп», вышедший в МХАТе, вызвал замешательство (не без явной или полускрытой враждебности) среди критиков: одни свысока утверждали, что Эфрос этим спектаклем «преодолевает кризис», другие судили и рядили о новой работе режиссера с откровенно «профессорских» позиций: им нужны были не открытия в классике, а следование литературоведческим прописям и театроведческим штампам.

И. Ч.

Как это было несправедливо! В свое время я видела в роли Феди Протасова теперь уже легендарного ленинградского актера Николая Симонова, видела и Берсенева. Это были замечательные актеры, и спектакли были замечательные... Но вот прошло время и увеличилось — привожу слова Анатолия Васильевича — «пространство, что отделяет нас от автора... пространство, наполненное таким количеством изменений и в жизни и в искусстве... И тогда остается еще и еще раз проверить свою позицию. А проверяя, я понимаю, что ставил спектакль от любви к автору. И от желания сделать его сегодня нужным. И от любви к людям, которых он изобразил» («Репетиция — любовь моя»). На наш взгляд в «Живом трупе», поставленном Эфросом с превосходным актерским ансамблем и Калягиным — Федей, добрым и мягким человеком, который мучает себя и своих близких, тоже милых и благородных людей, только потому, что он видит неправду, несовершенство окружающей жизни и для него они нестерпимы, а близкие люди не видят этого,— в этом спектакле режиссер шел, как всегда, своим собственным, непроторенным путем. Толстой и его мучительные поиски истины были выражены и спектаклем в целом, и главным исполнителем — Калягиным по-настоящему современно: Протасов Калягина лишен романтического ореола, в спектакле нет противопоставления героя и низменной в своем закоснелом аристократизме среды.

Не продолжался ли в толстовском спектакле Эфроса диспут, начавшийся еще в мольеровском «Дон Жуане»: как жить, «по правде или по лжи», диспут, который потом был продолжен в «Мизантропе»?

Не заметила критика и второй редакции «Трех сестер». В книге «Продолжение театрального рассказа» Эфрос приводит высказывание Станиславского о «Трех сестрах»: «Оказывается, они совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости; они хотят жить, а не прозябать». И далее Анатолий Васильевич пишет: «И вот вам возможный, скорее даже необходимый взгляд на „Три сестры“. Поставить весело, молодо, светло. Несмотря ни на что. Противостояние беде». И он поставил спектакль о людях, которым жизнь, взрослая жизнь, не так давно начавшаяся — ведь они еще очень молоды — обещала много светлого счастья, и вдруг все переломилось и нужно жить, просто жить, не ожидая «перемены состояния».

М. Д.

Видимо, единственной отдушиной в это горькое для Эфроса время было преподавание в ГИТИСе, где, в частности, он занимался со студентами и отрывками из «Мизантропа». Тогда возникла мысль о «Мизантропе» в Театре на Таганке: Анатолий Васильевич обсуждал возможность этой постановки с его директором.

Наступил 1984 год. О всех перипетиях разрыва Эфроса с Малой Бронной и прихода его на Таганку мы узнали в очередной весенний приезд в Переделкино. Ситуация была сложной, и Анатолий Васильевич это понимал. Но он думал преодолеть все в совместном труде с актерами, он надеялся помочь театру, оказавшемуся в тяжелом положении, и ждал, что здесь, где он уже работал — радостно — над «Вишневым садом» и встретил тогда если не у всех, то у многих ответную радость понимания, сам найдет новые стимулы для творчества. Так «Мизантроп» оказался в планах Театра на Таганке.

Выпуская первые спектакли в новом для него театре, формируя репертуар, тратя на многосложную организационную деятельность главного режиссера массу сил (не таких уж, как выяснилось, неисчерпаемых), Эфрос неотступно думал о мольеровской пьесе — и она все более пропитывалась для него горечью. В начале 80-х годов его, видимо, привлекал в первую очередь обличительный пафос великой комедии.

Но шло время, копилось личное разочарование от предательства бывших единомышленников, от враждебности некоторых новых коллег по работе,— оказалось, что для многих *работа* (святое для Эфроса слово) далеко не всегда была главным смыслом жизни. Анатолий Васильевич как-то обронил в своем пустынном таганском кабинете, куда мы к нему зашли: «Мне иногда кажется, что я разлюбил театр».

Пьеса «Мизантроп» стала приобретать для Эфроса более личностный смысл, она в какой-то мере легла на биографию художника. Но истинный театральный мыслитель, вложив личные чувства в последнюю свою работу, добился *общечеловеческого* звучания спектакля.

Весной 1986 года состоялся выпускной спектакль «Мизантроп» в ГИТИСе (Эфрос не хотел мне его показать), а 4 июля — премьера на Таганке.

Почти пустая сцена, огромная зеркальная стена, отражающая зрительный зал — и никаких режиссерских ухищрений: аскетический спектакль, из которого постановщик вроде бы самоустранился, положившись на *слово* и доверившись *актерам*. «Вроде бы» — ибо такое самоотречение по плечу лишь Мастеру. И Мастер победил! Может быть, «Мизантропу» суждено было стать поворотным пунктом, началом нового периода эфросовской режиссуры. Недаром еще в книге 1975 года он писал: «Когда входишь во вкус содержания, то начинает казаться, что вообще не нужна „театральность“. При самом сухом аскетизме — сама философия вещи захватит». И вот эта давняя, выношенная мысль осуществилась.

Осуществилась и мечта переводчика: трилогия великих мольеровских комедий поставлена великим режиссером современности вся целиком — впервые в истории нашего театра. Три спектакля идут на трех разных московских сценах, но это вовсе не мешает их единству. Личность Анатолия Васильевича Эфроса объединяет их. Объединяет его эстетика. Все три спектакля глубоки по мысли, безупречны по вкусу, удивительно красивы. Режиссер вдохновил художников (Д. Бродский, Д. Крымов) на работы, которые сами по себе являются шедеврами: острая метафоричность сценографии «Дон Жуана», оформление «Тартюфа» в МХАТе (дом Оргона — парядная шкатулка, оклеенная лоскутами парчи, а над ней нависает гигантская и зловещая люстра), зеркальная стена в «Мизантропе». Если в первом из своих мольеровских спектаклей режиссер — кормчий театра вел свой корабль по строго проложенному курсу, то в «Тартюфе» он дал возможность блестящим мхатовским актерам сыграть поистине бенефисные роли, порою просто порезвиться. Наконец, в «Мизантропе» он поставил на службу своему замыслу традиции поэтического театра, выработанные на Таганке за два десятилетия. Таганские актеры во всем блеске показали, как они владеют стиховой партитурой: в «Мизантропе» они лишний раз убеждают, что строгий александрийский стих не только не стесняет настоящего актера, но напротив — дает ему особую певучую свободу для выражения самых разных чувств, самых разных речевых оттенков — от патетики до сарказма, от высокой лирики до буффонады.

Заканчиваются мытарства мольеровского героя:

> А я, обманутый и преданный, я ныне
> Отсюда ухожу — довольно жить в трясине...

Альцест распускает петлю стягивающего горло галстука и уходит со сцены через зал.

Анатолий Васильевич Эфрос ушел. Пока еще остались его спектакли. Остались кино- и телефильмы. Остались три его книги — дневники театрального мыслителя. «Что такое режиссура? — пишет Эфрос в последней из них.— Это беспрерывная инициатива, беспрерывная энергия...» Он излучал эту энергию, не щадя себя.

Он был Строителем Театра. Именно поэтому вся его жизнь была борьбой с несовершенством существующего театра, несовершенством организационным и творческим. Его боль, боль человека, целиком отдавшего себя любимому труду, мы верим, будет понятна всем, кому театр дорог.

НОВЫЕ РАБОТЫ ЖИВОПИСЦЕВ ЛЕНИНГРАДА



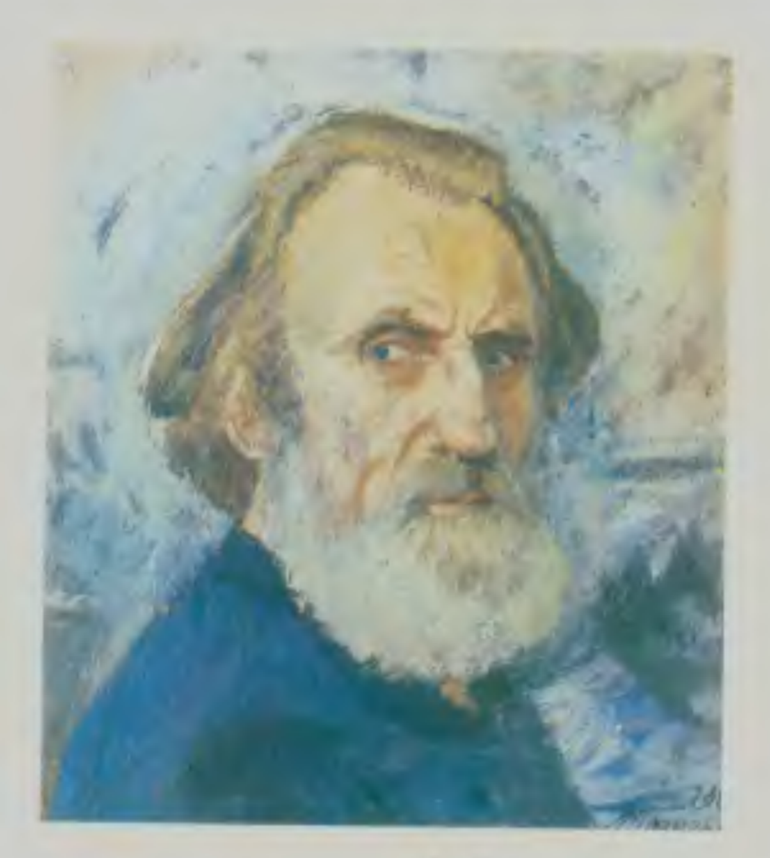
В. КУРДОВ. ЧАПАЕВ



В. ПАКУЛИН. МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК



Н. БАСКАКОВ. ПЕРЕД ШТУРМОМ



Л. ПТИЦЫН. АВТОПОРТРЕТ



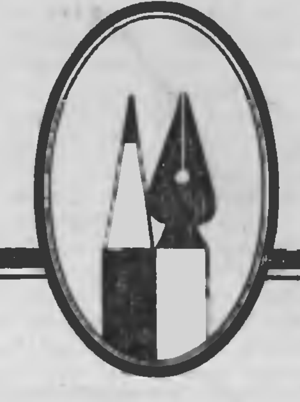
Н. ЛАТЫШЕНКО. ЗИМНИЙ ДЕНЬ В ДЕРЕВНЕ



А. БЫСТРОВ. ИЗ ДЕТСТВА



А. КОЧЕТКОВ. ВЕСНА ЗАПОВЕДНАЯ

Седьмая  тетрадь

Они были первыми

В. КАРП

ОТКРЫВАТЕЛИ ЦМС

Вокруг «королевы полей», провозглашенной когда-то культурой, способной творить чудеса, воцарилось теперь нечто вроде заговора молчания. Из одной крайности — в другую...

Прошлая зима выдалась суровой и для озимей. Агрометеорологи брали из-под снега на пробу всходы пшеницы. Увы, росточки и в тепле оставались безжизненными. Ясно: в ряде регионов большие площади подлежат пересеву яровыми зерновыми. Но какими именно? В Госагропроме возобладало мнение: самое предпочтительное растение в данной ситуации — кукуруза, надежная, урожайная!

И выгодная. Об этом свидетельствует один поучительный случай.

Кубань. Тридцать шесть в тени, а на почве — все шестьдесят, что и нужно кукурузе: вымахала выше всадника... Мы углубились в душные заросли, когда с дороги раздался женский голос:

— Телеграмма академику! Где тут академик?!..

Никто не отзывался, посыльная с велосипедом продолжала кричать.

— Михаил Иванович,— говорю,— не вас ли кличут?

Он подхватился:

— Да, да! Здесь я. Иду!..

— Не привык еще к званию,— улыбнулся местный агроном.

Действительно, Хаджинов, всецело поглощенный селекцией кукурузы, меньше всего думал о научной карьере, не ждал, что по совокупности заслуг перед любимым растением, которому посвятил жизнь, последовательно станет лауреатом Государственной премии, Героем Социалистического Труда и академиком ВАСХНИЛ.

Его «роман» с кукурузой начался задолго до войны, когда он работал в Ленинграде под руководством академика Н. И. Вавилова — звезды первой величины в биологической науке. У Вавилова было чутье на талантливых сотрудников. Он превратил свой институт в классическую школу растениеводства, где трудились такие выдающиеся специалисты, как, например, генетик Г. Д. Карпеченко — автор сенсационных, вошедших в школьные учебники, межродовых скрещиваний. Тогда-то молодой кандидат Хаджинов и сделал свое первое открытие — выявил у некоторых форм кукурузы особи с бесплодной пыльцой, так называемой цитоплазматической мужской стерильностью: цито — по-гречески «клетка», плазма — ее наполнитель с хромосомами, генами, носителями наследственности. Бездействуют стерильные гены — нет и потомства! Но что следует из аномалии? Этого не знал тогда и Карпеченко: «Причуда природы, курьез...».

Хаджинов все же посвятил явлению две-три строки в своем годовом отчете, не подозревая, что застолбил этим приоритет открытия, которому суждено со временем громадное практическое значение.

Позже ради кукурузы Хаджинов перебрался с берегов Невы в Краснодар. Удивительное все же растение — кукуруза! Так и не найдены ее дикие предки. Всякая иная сельскохозяйственная культура стремится уйти из-под влияния земледельца, одичать. Эта же, наоборот, не может существовать самостоятельно и под умными руками обретает новые, нередко ценнейшие свойства.

А ведь кукуруза — это и превосходное растительное масло, и питательные хлопья, и консервированное зерно сахарных сортов, и мука полноценная, и фураж, от которого скот и птица быстро набирают вес, наконец — технологическое сырье, например для получения крахмала. Теперь точно определена граница ее возделывания на зерно. В Нечерноземье владелец личного подворья,

прояровизировав сотню зерен, высадив их у южной стены в огороде, вполне может получить и декоративный эффект, и до двухсот вкусных початков молочной спелости. Севернее она хорошо удается на силос, еще севернее — на зеленый корм. Эта последняя зона захватывает Ленинград, Кострому, Пермь, Томск, Красноярск, Читу, Николаевск-на-Амуре, и для нее предназначены особые гибриды, каких прежде не было.

Изобретение двойных гибридов внесло поворот в селекцию, и Хаджинов взялся за их внедрение по сложной технологии.

— Вот эти растения,— объяснял он,— будут изолированы от внешней среды, чтобы опылялись только собственной пыльцой...

Не странно ли, думаю. Перекрестное опыление вроде бы гораздо полезнее: ведь и люди избегают близкородственных браков, если только допустима такая аналогия...

А мой гид, неутомимо шагая под прямо-таки тропическим солнцем, от которого кое-как спасают белые кепочки, увлеченно говорит. Едва успеваю следить за его мыслями...

Итак, эти самоопыляемые из поколения в поколение растеньица дают, в конце концов, чего и следует ожидать,— довольно незавидные початки, однако похожие друг на друга, как близнецы. А дальше?

Дальше мы выходим на участок, где эти так называемые самоопыленные линии высажены рядками, причем в каждом втором со стеблей сорваны султаны-метелки, суть мужские соцветия. Замысел таков: пусть кастрированные кусты оплодотворятся от своих соседей и произведут на свет простые гибриды, более урожайные.

С двойными гибридами дело посложнее...

Если на что и сетовал Хаджинов, так это на объективную медлительность селекции. Правда, в его распоряжении оранжереи, фитотроны, позволяющие воспроизводить любой климат, но все равно — долго.

— То ли дело микробиология! — воскликнул он.— Там экспериментатор манипулирует с организмами, дающими несколько поколений за час, а тут поставил опыт — и наберись терпения, жди результата.

Опытов же, заложенных в разные годы, у него десятки, так что дел хватает.

Мы приблизились к поистине богатырской кукурузе. Это и есть двойные гибриды — результат скрещивания двух простых — и сочетающие в себе «кровь» уже четырех родителей. При таком методе в растениях пробуждается особая урожайная сила, гетерозис (по-гречески — «превращение»).

Жаль только — импульса этого хватает лишь на одно поколение. Для следующего посева семена надо готовить заново, а значит, снова удалять метелки со всех материнских растений.

Трудоемко! А что делать? По десятидвенадцати пар рабочих рук на каждый гектар в самую страду приходилось отрывать хозяйствам. Приходилось — пока Хаджинова не озарила мысль: генетически использовать ЦМС при выращивании «королевы полей» на зерно означало бы экономию миллионов человеко-дней!

Теперь, читая в газетах о размножении кукурузы «на стерильной основе», представляю творца этого прогрессивного способа. Древнейшие возделыватели сверхзлака — индейцы — поклонялись бы ему, как кукурузному божеству. Его гибридные детища, при всех прочих равных условиях, далеко перешагнули вожделенный стоцентнеровый рубеж урожайности. Трудно измерить, сколько добавочного зерна дал этот неприметный с виду чародей — невысокий, худощавый, с редкими волосами, лицом, навсегда потемневшим от солнца, изборожденным глубокими морщинами, но с неуемной энергией вникающий во все от сложнейших генетических экспериментов до колышков для разметки опытных участков.

В Краснодаре Хаджинов заведовал отделом селекции НИИ сельского хозяйства, а в Ленинград приезжал ради уникальной коллекции живых образцов кукурузы Всесоюзного института растениеводства имени Вавилова.

На Кубанской опытной станции этого учреждения, в нескольких сотнях километров от Краснодара, я встречался и с другим кукурузным божеством — Гайфутдином Салахутдиновичем, или, проще, Гаем Саввичем Галеевым. Он тоже лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, академик ВАСХНИЛ, тоже сухощав, но, в отличие от Михаила Ивановича, высок и внешне нетороплив, что не мешает ему повсюду успевать. Иностранцы приезжают к нему в поселок Ботаника, чтобы познакомиться с селекцией сверхзлака — станция нарочно основана в местности, где даже речки близко нет, а поля защищают от суховеев отличные лесные полосы — там зреют даже абрикосы.

Галеев, независимо от Хаджинова, тоже открыл формы кукурузы с ЦМС. Завожу разговор о его поездке в США к известному специалисту по гибридной кукурузе Расуэллу Гарсту в штате Айова.

— Сегодня,— говорит Гай Саввич,— у нас есть гибриды не менее продуктивные потенциально, однако следует учитывать, что «кукурузный пояс» США лежит в очень благоприятной природной зоне — почвы хороши, тепла вдоволь, осадков выпадает до семисот миллиметров в год. У нас таких благодатных земель чуть больше одного процента...

На фоне таких различий кубанская кукуруза заслуживает всяческих похвал, а ее производители предстают отличными мастерами высоких урожаев.

Но не одна урожайность — цель селекции.

У меня в руках симпатичная молодая белая крыса. Она хорошо упитанна, довольно поводит усиками.

— Еще недавно я бы вам не позволила брать их из клеток, так и перепутать недолго, но теперь их сразу можно отличить по весу и величине,— говорит лаборантка.— Все они одного помета, но были разобщены на две группы, и кормить их стали порознь, хотя вроде бы одинаковым кукурузным зерном, а посмотрите, какая между ними разница!

Это совместный опыт Хаджинова и Галеева. Оба они стали выводить сверхзлак еще и с повышенным содержанием белка, в частности, незаменимой аминокислоты — лизина — в зерне. И уже с этой новой точки зрения приступили к изучению множества образцов кукурузы, а также к поискам мутантов — отдельных початков и зерен, содержащих белка больше обычного. Во власти генетики передать и это свойство гибридам.

По крупицам долгие годы достигался желанный результат. Однако одних лабораторных анализов зерна мало — надо проверить, как усваивают животные белковые корма. Так вот и появились подопытные крысы. Любопытно, что и свиньи скоро научились отличать высоколизиновую кукурузу от обычной: первая вкуснее. Экономически все это крайне важно — белкового зерна идет на откорм меньше, а значит, и трудовые затраты снижаются, а рентабельность животноводства повышается. Теперь к росту урожайности приплюсованы еще и показатели питательности. С тех пор как селекция взяла на вооружение ЦМС, ее источники стали искать, успешно находить и использовать также при выведении гибридных пшеницы, ржи, свеклы, других культур.

Зимние заметки о летних впечатлениях

Валерий НИКИФОРОВ

ДНЕВНЫЕ СТРАХИ

Сказка Севера — глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудры. Зеленые холмы бывалые.

Святослав Рерих

Колокол исчез! — Ахнула Лариса Михайловна Полянская и, как-то сразу потеряв силы, отшатнулась к холодной стене собора, прислонилась к ее леденящей толще, словно хотела найти в ней тепло участия и поддержку.

Но потом, смотрю, ее потемневшие от горя глаза как будто бы ожили:

— Вот напасть-то,— облегченно вздохнула она,— ошиблась ярусом. Здесь-то колокол давно сняли. А тот, знаменитый, выше, выше.

По каменным, деревянным, железным лесенкам поднимаемся мы на самый верх, к световому фонарику Спасо-Преображенского собора, чтобы с высоты его окинуть взором все это чудо — Валаам.

Еще немного, еще усилие — и оно откроется... И ты увидишь святую красоту Земли.

Птицы сегодня летают ниже. Для меня, глядящего сверху, темное оперение их спинок сливается с темным лесом внизу: лишь по стремительным росчеркам темного по темному различаешь рисунок полета ласточек.

Горизонт в неоглядной дали обнимает жидкое зеркало Ладоги. С той точки, где я нахожусь, озеро видится напряженно-выпуклым, серебром его оправлены и самый крупный зеленый камень — Валаам, и камни помельче, рассыпанные вокруг.

...Колокол не исчез. Вот — он, многопудовый. Тяжело молчит он. Впрочем, гул его был бы не ко времени и не к месту. Хотя...

Говорят, что колокол этот пожаловал Валаамской обители Борис Годунов. Сообщаю об этом безо всякой опаски. И не потому, что не боюсь ошибиться в самом факте. Надеюсь, что не воспользуется такой информацией тот, кто польстится на этакую редкость: не под силу снять раритет, затаить в коллекции, пустить в барышный оборот.

Сколько святынь растащено по миру!

У какого валаамского радетеля не захолонет сердце, когда узрит он, почует, узнает о том, что это утрачено, сё украдено, то испоганено. Вот Лариса Михайловна Полянская обомлела, когда (к счастью, ошибкой) натолкнулась на отсутствие того, что ей дорого. Ах, если б всегда так кончалось — ошибкой!

Но, пожалуй, пришла пора и для более близкого знакомства. Поведу его постепенно; пусть будет так, как это случилось и со мной.

У знающих людей разведал, что летом на Валааме станет работать группа ленинградских реставраторов. Кому ж не хочется посмотреть этих кудесников в деле?

Сборы — недолги. Теплоход Ленинградского пассажирского порта Северо-Западного речного пароходства «Н. К. Крупская» доставил в Никоновскую бухту. От нее путь по многажды хоженной дороге к поселку, в самое серёдышко острова, в монастырь, где в Спасо-Преображенском соборе, сказывали, и трудятся ленинградцы.

За последним поворотом неожиданно открывается массив храма. Здесь, на острове, многое нарочно сделано так, чтобы поразить, ошеломить, привести в остолбенение, внести сумятицу в трепетную душу. Как бы сказали ученые люди, планировочная структура всего комплекса монастыря предельно функциональна.

С далеких подступов к Валааму, когда по озеру еще плыть и плыть, открываются купола собора. Они тут, говоря по-ученому, доминанта. Она приковывает взор. Манит. А войдешь в Никоновскую бухту, сойдешь на берег — только лес и скалы. Затаился собор за этим лесом и этими скалами. Поманил — теперь сам ищи встречи с ним, если уж пришел сюда. А Спасо-Преображенский собор словно бы выслал тебе навстречу своего вестника. Но тот намеренно не спешит к урезу воды. Схоронился за виражом крутой каменистой дороги Красный скит.

Великими доками по части зодчества и строительства были те, кто выстроили на высоком месте (считают, что Валаам надо так переводить — «высокое место») соборы, скиты, часовни, колодцы, дороги, сады, фермы, мосты, каналы.

Спасо-Преображенский собор — творение архитектора И. Шелковникова. При споспешестве самоучки Иосифа Шарова, который затем за свое усердие и был определен строителем. А знаменитый А. М. Горностаев поставил на высоком месте Белый, Предтеческий, Ильинский скиты, а также скиты Александра Свирского и Авраамия Ростовского.

И не устаешь радоваться тому, в каком согласии с природой работали эти люди, как умели жить с нею душа в душу. Хотя проблем у них было — пропасть. Своим искусством эти мастера подчеркивали достоинства живой природы, она же — делала неповторимым рукотворное.

Но, едва начав путь по острову, примечаешь, до чего же нищи на выдумку мы, нынешние люди, наследники. Невдалеке от пристани, где швартуются теплоходы, натыкаешься вдруг на какие-то сборнодощатые халупы. Такие и на садово-огородном участке были бы не к месту, а уж тут-то и вовсе. Но, слава богу, век их не долог — упразднили здесь экскурсионно-туристскую базу, для которой предназначались сии хибары. Однако ж, как говорится, было дело. К несчастью, дело есть и дело будет. Известно ведь, что в институте «Ленгипрогор» создан проект реконструкции Валаамского комплекса, предполагается здесь строительство чуть ли не «черемушек» да подвесной канатной дороги, как на каком-то горнолыжном курорте.

Замечу тут, что в 1979 году Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах по сохранению и использованию памятников истории и культуры Валаамских островов в Карельской АССР». А уже с 1980 года существует историко-архитектурный и природный музей-заповедник — как «филиал Карельского краеведческого музея».

Пожара не уймешь, черпая чайной ложкой из блюдца. Впопыхах принимаются меры не самые лучшие. Спасать Валаам принялись тогда, когда начало болеть «высокое место». Кое-что, само собой, изменилось к лучшему. Передислоцировали в Видлицу и еще куда-то дом инвалидов и престарелых, упразднили турбазу, ограничили время стоянки пассажирских теплоходов, тем самым преуменьшив количество туристских табунов, которые весело разбегались по дорожкам, ведущим в глубь острова, предвкушая пикничок. Развернулись тут и реставрационные работы, но...

Но поспешим на обещанную встречу с реставраторами.

Замедлили мы шаг на подходе к Монастырской бухте, откуда открылся массив собора.

По краешку, по краешку бухты, мимо наломанных, брошенных в кучу бревен, мимо скромной часовни Благовещенской, что напротив хилой пристани (почему-то многие годы причал тут не удосужатся починить, хотя, говорят, есть проект нового, современного, а часовню, сохранившуюся, недавно побеленную, почему-то многие годы не могут приспособить для чего-то полезного, хоть для киоска с выкладкой поделок народных умельцев; возле Никоновской бухты нынче построили специальные ряды для этих целей), мимо всего этого — к восходу на скалу, из которой растет собор. Вот они — ступени, ведущие вверх. Их прежде было семьдесят. Сейчас — шестьдесят две.

«Культурный слой нарос»,— думаешь, ступая по продуманно щадящей — пологой — лестнице. «Культурный...» — думаешь, примечая заросшие репьем памятные знаки, поставленные в честь именитых гостей, обомшелые надгробья, возле которых деревянная скамья и цельносварная аккуратная урна для мусора. Это — слева по ходу. А справа — часовня Знаменья Богоматери в довольно сносном состоянии, почти рядом — истоптанная волейбольная площадка, какая-то конструкция — вроде остова зимней ледяной горки.



Валаамский монастырь, 1900-е годы. ЦГАКФФД

Понятно, монастырь упразднен. Остались лишь его строения, которые исполком Валаамского островного Совета народных депутатов сегодня приспосабливает для теперешних мирских нужд. Кстати, исполкомские апартаменты — в бывших монашеских кельях внешнего каре зданий монастыря, в таких же кельях здравпункт, столовая, магазин, в трапезной — клуб, в надвратной церкви вот-вот откроется картинная галерея. В одной из келий и постоянное пристанище местного участкового инспектора, единственного на Валааме милиционера, лейтенанта Ивана Алексеевича Цыкурова.

Он мне так говорил:

— Постоянных жителей на Валааме около пятисот. Летом число увеличивается вдвое.

То есть, волейбольная площадка нужна народу, как и сцена для выступления вокально-инструментального ансамбля «Вечерний звон». Жизнь есть жизнь...

А ленинградские реставраторы разместились в летней монастырской гостинице. Вот и она. Из ее дверей — навстречу женщина. Она экипирована в теплый, зимний, спортивный костюм, под который еще поддет и свитер. На стройных «аэробических» ногах ее «аэробические» же шерстяные гетры. Не по-летнему одета — кто, вы уже догадались, Лариса Михайловна Полянская, реставратор-живописец Ленинградских областных производственных научно-реставрационных мастерских. Не по-летнему собралась она к своему постоянному летнему месту работы, в Спасо-Преображенский собор, где с рассвета трудятся трое ее коллег.

Вот уже несколько сезонов — с ранней весны и до поздней осени — ленинградские реставраторы заняты тут восстановлением памятников истории и культуры. Такой у них отрядик — четверо. Наведываются сюда и специалисты из Москвы, Петрозаводска. Такими же отрядиками.

После уличной жарыни в соборе прямо-таки студено. Не дань, однако, моде «аэробические» гетры на ногах живописца-реставратора. Да и у всей ленинградской бригады вид отнюдь не пляжный: ватники, валяные коты, вязаные шапки.

— За зиму собор так промерзает (а морозы тут знатные, да с ветром),— объясняет спустившийся с подмостей бригадир местных мастеров Владимир Сергеевич Николаев,— что стены отогреваются лишь к концу лета.

Подходят и другие реставраторы — Валерий Николаевич Орлов и Виктор Потапович Лосев.

— А как же прихожане в стародавние времена — зубами стучали?

— Тут все продумано было,— продолжает рассказ Владимир Сергеевич,— в нижней и верхней церкви к службе собиралось до двух тысяч богомольцев одно-

временно. Отапливали собор,— он улыбается,— дыханием.

— Да, это так,— подтверждает Валерий Николаевич и добавляет: — Но существовала тут и система печного отопления. Теплый дым растекался по внутренним каналам стен.

— Что ж, теперь этой системы нет?

— Куда ей деться,— отзывается Виктор Потапович.— Здесь она где-то.

Лосев сосредоточенно молчалив. Из тех, кто, вступив в разговор, лишь краткими репликами поддерживает его. Не сообщает о чем-то, а дает намек, повод собеседнику подумать самому о том, что он хочет знать.

Год-два назад собор кое-как стали обогревать. Сейчас зимой истопничает местный житель Петр Изосимов — как его тут называют, смотритель. Но, судя по всему, пусты его хлопоты.

Тут я остановлюсь, чтоб передохнуть чуток, и затем продолжу. От печки.

Ни время, ни люди, ни войны, ни другие напасти не поаредили основных конструкций Спасо-Преображенского собора. Следовательно, сохранилась и система отопления. Как уверяют знатоки печного дела, хитроумная и остроумная система. С топками, поддувалами, вьюшками, расположенными на разных высотах, отдушинами, которые в разное время суток надо было отворять и притворять. Для прогрева храма требовалась малая толика бревешек: окружающий лес монахи берегли, норовили использовать плавник, выброшенные на остров деревья.

Ушли монахи. Унесли с собой (некоторые и в могилу) многие валаамские тайны. В том числе и тайну печного отопления.

А что ж, нам, современникам, не постичь того, до чего додумались жившие до нас? Да такого быть не может! Но такое — есть!

По первости на сам монастырь, на собор его, в частности, просто махнули рукой: не по нраву-де нам культ и все, что с ним связано, пусть все горит синим пламенем, о другом голова болит.

Примечали ль вы, что живут иные люди так, будто ими все началось, ими все и закончится? Нет бережения оставленного пращурами, не видать особого желания задуматься над тем, похвалят ли за содеянное нами потомки. Какие-то шоры «современности» застили глаза. Современности в самом закавыченном смысле слова. А этому каждый из нас найдет примеров — тьму.

Когда-то Петр I обнаружил на Ладожском озере гиблое место: каменную мель, о которую бились суда. Повелел насыпать тут остров, сказав: «Тут будет сухо». Появился рукотворный остров Сухо. Его маяк и по сей день оберегает судоводителей от опрометчивых курсов.

В прошлом году довелось мне ступить на Сухо и спугнуть с его камней патлатых пикничников. Удрали они на моторке в сторону Новой Ладоги, оставив на гранитной плите долотом выбитую надпись: «Природа для народа — бесплатный магазин».

Потребители...

Бригадир реставраторов Владимир Сергеевич Николаев широко шагает по стылому полу собора. Он заводит меня в какую-то каморку, разворачивает рулончик то ли холста, то ли клеенки, говорит:

— Это — икона. Когда-то ее срезали с иконостаса, да и бросили. А потом этот лоскут использовали уж и как половичок. Вот теперь подобрали — может, спасем,— сокрушенно вздыхает Владимир Сергеевич.

Ведет меня дальше, в бывший алтарь. В «бывший» не потому, что не используется он по назначению, а потому, что мало чего от него осталось.

— Глядите, какая искусная резьба,— показывает он.

Гляжу — искусная.

— Бренные останки,— вздыхает бригадир.— Когда доступ сюда был не закрыт, ходили в собор, как в кладовку: кто дощечку для полочки отпилить, кто камешек мраморный для умывальника выколупнуть. Были охотники и до редкостей.

— Лет пятнадцать назад,— вступает в разговор Валерий Николаевич Орлов,— тут вся живопись была в сносном состоянии. Было что реставрировать. А теперь...

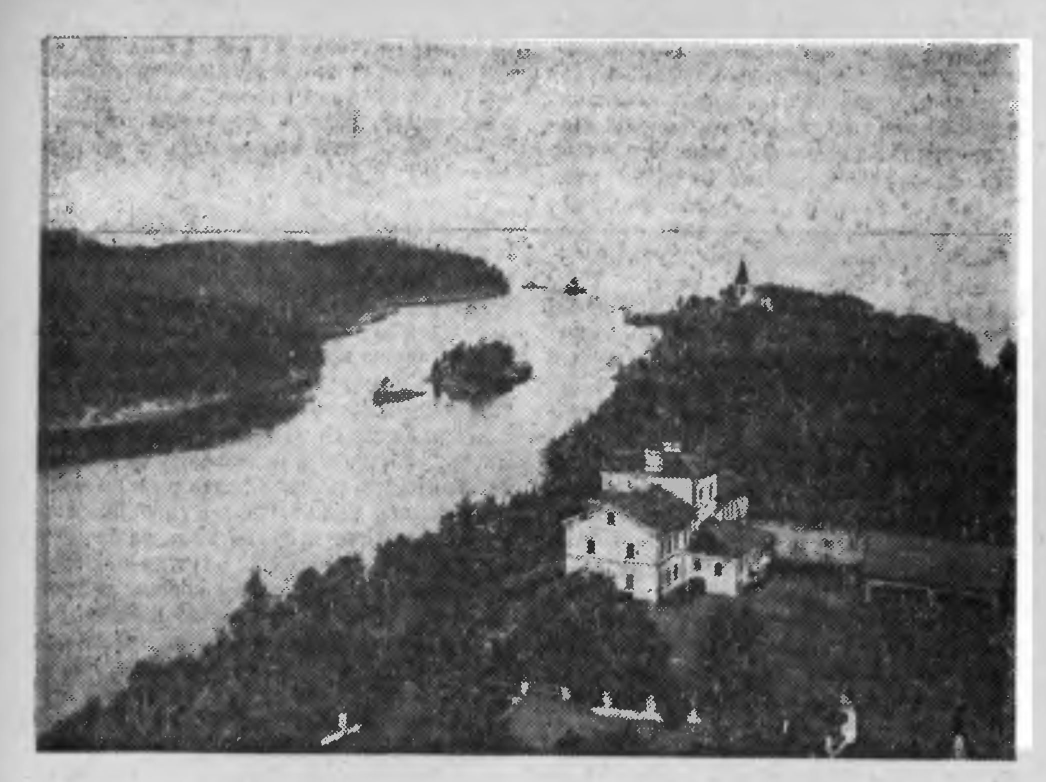
Смотрю я на стены, колонны, пилоны. На них чешуйки краски. Так шелушится пойманная рыба, которую для облегчения чистки сунули в кипяток.

— Собор плохо сохраняется. Не поддерживается нужный температурный режим,— поясняет Лариса Михайловна Полянская.— Весной приезжаем сюда, входим внутрь с опаской и болью. В каждом углу — куча осыпавшейся краски, штукатурки. Пропадает то, что реставрировали в прошлый раз. Пропадает...

Говорят, что к росписям Спасо-Преображенского собора приложили руку и Репин, и Куинджи... только в верхней церкви собора было двести две картины. А сколько еще в нижней церкви... И Шишкин, и Поленов, и Гине, и Васильев, и художники-монахи, прошедшие курс в Академии художеств. А иконостас — работы Пошехонова.

...Теперь спасаем то, что не смогли сберечь.

Долгие беседы вел я с ленинградскими реставраторами. Не собирались, верю, тиранить они мою душу своими рассказвми, но тиранили: и рассказами, и показами.



Вид на окрестности монастыря, 1900-е годы. ЦГАКФФД

Чуть подробнее об этом.

Ленинградские реставраторы особым составом пытаются укрепить на стенах собора крохотные фрагменты росписи.

Собор — огромен. Мастера наши трудятся в разных уголках его. Земляков-умельцев не сразу и обнаружишь. Один — на подмостях, другой — в притворе, третий — в алтаре, где-то у самого свода его. Окликнешь кого из них, отзываются неохотно: работы много, она требует великого тщания, кропотливости, терпения. Попробуйте-ка каждую чешуйку разогрей мощной электролампой, разгладь игрушечным детским электроутюжком да приклей. Адова работа. И, мнится мне, сизифова. Соберут, приклеят, разгладят, укрепят. А через сезон — начинай сначала. Так и мучаются ленинградские реставраторы — из сезона в сезон.

Объяснюсь, почему так написал.

До Валаама путь недалекий, да нелегкий. Добраться можно либо воздухом, либо водным путем. На рейсовый вертолет в Сортавале берут живописцев неохотно. Переполнена машина и грузом, необходимым на острове, да и островитян с материка только-только разместишь в салоне. Сидят в Сортавале реставраторы на своих кутулях, ждут, когда им повезет. Прямее путь — из Ленинграда на теплоходе. Туристские лайнеры в распоряжении Ленинградского пассажирского порта Северо-Западного речного пароходства. Люди, что здесь трудятся, не только доставщики на Валаам экскурсантов, но, знаю я, почитатели островных чудес, страстные сторонники возрождения «жемчужины Ладоги». Но не удается реставраторам выканючить у речников хоть уголочка, где они могли бы притулиться до места своего летнего поприща: покупайте путевки, мест нет,— таков сказ. Но, к примеру, с какой-то оказией прибыли реставраторы на Валаам, ужаснулись новым утратам, ищут, где бы забыться тревожным сном. Нет им пристанища. Гостиница заполонена петрозаводскими экскурсоводами, еще какими-то задумчивыми людьми.

Короткий итог таков: все на словах за то, чтоб сохранить Валаам, восстановить его ансамбли и памятники, вдохнуть душу в холодеющее тело «жемчужины»...

...Тяжко мне было на это решиться, но спросил я окольно у Ларисы Михайловны:

— Может, отступиться вам, специалистам, тщетен, как кажется, этот ваш каторжный труд.

Обиделась на меня живописец-реставратор смертельно. Передала наш разговор другим своим товарищам. Обиделись и те. Замкнулись.

А позже один из них подступил ко мне, как к злоумышленнику:

— Слышали мы такое: чем приклеивать осколки, лучше содрать все да новодел навести. Мастера найдутся.

Не пришлось бы идти по этому легкому и дешевому пути!

К прибытию каждого теплохода в Никоновскую бухту приходят местные экскурсоводы, разбивают группы, ведут их истоптанными маршрутами, рассказывают заученно о том, что сохранилось, о том, чего не вернешь, шутят скорбно: дать монахам на бригадный подряд восстановление Валаама, пошло бы дело.

Такая вот кощунственная шутка.

И я хочу забыть ее, гоню от себя. Ищу хроники и книги о Валааме. В них ли найду успокоение? И нахожу любопытную информацию в наш жадный до нее век.

Не поскуплюсь на выписки, процитирую некоторые из иих.

В житии Авраамия Ростовского найдем, что Валаамская обитель основана еще в 1163 году Сергием и Германом. Над их, кстати, мощами и сооружен Спасо-Преображенский собор. Сначала деревянный. А потом уж на его месте и каменный.

Много событий помнит остров. И моровую язву. И покорение шведское. И освобождение Валаама Петром I в Северной войне, когда остров по Ништадтскому миру отошел к России.

Тогда же Петром был издан указ: «Повелено им, архимандриту з братию на Ладожском озере на Валаамском острове строить вновь монастырь и церковь».

Первыми строителями были инок Рябининский, иеромонахи Савва и Тихон. Назначался строителем сюда в 1782 году и иеромонах Назарий, который не только строения возводил, но заодно и суровый устав для всех обитавших тут. Запрещалось: «употребление курева и хмельных напитков, самовольный уход в лес, вечернее общение».

Суровым настоятелем был и игумен Дамаскин, который укреплял обитель с 1839-го по 1881 год. Потом творил здесь и русский зодчий А. М. Горностаев, о котором В. В. Стасов писал: «Из русских архитекторов обратим внимание на оригинальные узоры русских полотенец и на резную раскрашенную орнаментацию русских изб и всяческих предметов обихода русских крестьян. Раньше всех внес он эти элементы в новую русскую архитектуру. Алексей Максимович, как Федоров в живописи, первый в русском стиле».

Мог бы я еще продолжать и продолжать.

С местным бакенщиком, а вернее, бригадиром обстановочного поста на острове, сотрудником Невско-Ладожского технического участка Волго-Балтийского водного пути имени В. И. Ленина Николаем Арвидовичем Кекманом, валаамским аборигеном, немало мы погоревали о том, что было, что быльем поросло.

Посадил меня Николай Арвидович в моторную шлюпку и доставил на Святой остров. Здесь, гласит предание, и начался Валаамский монастырь. Будто бы еще в незапамятные времена были на острове капища язычников, были тут их пещеры, ритуальные места, как бы возвышающиеся над миром, говорят, около этого острова погиб в кораблекрушении шведский король Магнус Эриксон, похоронен где-то здесь.

Но Кекман повез меня на Святой остров показать, что осталось от старинного скита Александра Свирского, от пробитой в пятидесятиметровом гранитном монолите пещеры, где многие годы пребывал этот старец, который над убогим входом в свое убогое жилище поставил могучий деревянный крест и вырезал на нем буквы: «Поставлена мелница и крест вырезан...». Дальше не ясно.

Скит уже не сохранить: разграблен, разломан, растащен. Крест — того и гляди рухнет. Пещера оплывет.

Ленинградские реставраторы, местный участковый Цыкуров, бакенщик Кекман, еще многие знакомые мне люди — каждый из них внес свою печальную лепту в мой рассказ о былом Валааме, о том — что он сейчас. Да и сам я видел немало такого, что приснись оно ночью, лучше не пробуждаться. Но сегодняшние мои страхи дневные: неужели мы, смотрящие на этот мир, дадим ему сгинуть!

Изыскания

И. Г. КОТЕЛЬНИКОВА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ РАСТРЕЛЛИ

Кому не знакомо имя Франческо Бартоломео Растрелли? Итальянец по происхождению, он шестнадцатилетним приехал в Петербург вместе с отцом, скульптором и архитектором К. Б. Растрелли, приглашенным в Россию из Франции при Петре I. Наследие архитектора уже почти столетие привлекает внимание исследователей, а иконография таит в себе немало загадок.

Вот одна из них — портрет, поступивший в Эрмитаж в 1965 году из Русского музея и считавшийся работой неизвестного художника.

Долгие годы своей эрмитажной жизни портрет «не отпускал» и меня. Много лет вопрос, кто же его автор, оставался без ответа. Живописные особенности произведения, своеобразие созданного художником образа позволяли предположить, что, во-первых, скорее всего, это работа иностранного живописца и, во-вторых, что портретист до тонкостей знал свою модель — по-видимому, достаточно близко с ней общался. Однако длительное время никаких подходов хотя бы к предположительному определению автора, никаких даже приблизительных стилистических аналогий не было. Чтобы обнаружить хотя бы намек на имя автора, нужно было искать литературные и архивные сведения о портретах архитектора, его биографии, чертах характера, профессиональных и дружеских связях с современниками, в том числе с художниками, семейный архив потомков архитектора, живших в Швейцарии.

Портрет, выразительный, запоминающийся, берет в плен и искушенного знатока, и неподготовленного зрителя психологической глубиной и какой-то особой искрящейся характерностью образа знаменитого архитектора.

Напомню, что известный итальянский художник П. Ротари дружески общался с Растрелли и написал его портрет, хранящийся ныне в Государственном Русском музее. Но столь глубокого «внутреннего» сходства, такой яркой достоверности образа, как на эрмитажном полотне, в портрете Ротари нет.

Как выяснилось, судьба нашего портрета Растрелли давно волновала специалистов. Кстати, ленинградский искусствовед Г. Е. Лебедев еще в конце 1930-х годов в своей книге «Русская живопись XVIII века» упомянул в связи с ним имя известного французского портретиста Л. Токке. Однако такое определение автора принято не было, и эта работа еще почти полвека оставалась анонимной. Физиономическое сходство нашего портрета с портретом Растрелли работы Ротари (безусловно, документированным), казалось, подтверждало правильность идентификации личности на эрмитажном полотне.

Однако положение усложнилось, когда стало ясно, что Растрелли изображен не с орденом святой Анны, полученным им только в 1762 году от Петра III за строительство Зимнего дворца, а с каким-то другим вообще неизвестным и нерусским орденом.

Можно, правда, было предположить, что честолюбивый Растрелли, находящийся в зените творческих успехов (таким читается его образ на эрмитажном портрете), еще не имел наград и позировал с папским орденом Иоанна Латеранского: он, как и графский титул, был получен его отцом — скульптором К. Б. Растрелли в Италии в 1711 году и после смерти владельца мог храниться в семье сына. Хотя это предположение и логически, и психологически оправдано, но подтверждения пока не получило: в богатейшем собрании отдела нумизматики Эрмитажа ордена Иоанна Латеранского не оказалось, а в справочной литературе нашлось только одно его воспроизведение, причем в издании конца XIX века — это один из позднейших вариантов ордена, просуществовавшего несколько столетий.



Л. К. Пфандцельт (?).
Портрет Ф. Б. Растрелли. 1750-е годы

Известный советский нумизмат И. Г. Спасский считает, что невозможно учесть все модификации многих орденов, в том числе и упомянутого. Как он выглядел в начале XVIII века, когда им был награжден отец архитектора — К. Б. Растрелли, мы пока не знаем.

В литературе промелькнуло упоминание со ссылкой на Я. Штелина, что отец архитектора был награжден орденом Святителя (Cavaliero del ordine di Salvator), но никаких документальных подтверждений этому нет. Да и форма этого отличия не имеет прямого сходства с изображенным на портрете орденским знаком.

Неудивительно, что личность портретируемого была поставлена под сомнение, поскольку опознать в изображенном ордене награду самого архитектора или его отца не удалось.

Сомнения разрешили ленинградские криминалисты в 1981 году. Экспертиза двух портретов Растрелли (о втором речь пойдет ниже) из собрания Эрмитажа на

основании сравнения с упоминавшимся изображением архитектора работы Ротари привела к выводу о бесспорности изображения архитектора на этом эрмитажном полотне.

Итак, изображен Растрелли. Но кто же все-таки автор?

И вот — случай. В 1976 году в книге Г. К. Козьмян «Ф. Б. Растрелли» я прочла: «...В 1755 императрица (Елизавета Петровна.— *И. К.*) распорядилась в соответствии с проектом Растрелли „компату подле Янтарной повелеть убрать живописными картинами и для сего отправить в село Царское живописного подмастерья Пфанцеля"». Фраза сама по себе обыкновенная, ничего особенного не значащая: десятки имен и русских, и иностранных живописцев упоминаются в любой работе об этом архитекторе. Много имен художников, современников Растрелли, попадалось мне и в архивных фондах. Но именно эта фраза и это имя прозвучали как толчок, как прозрение — вот кто мог написать портрет!

Именно во второй половине 1750-х годов Растрелли строит Екатерининский дворец, проектирует и закладывает Смольный монастырь, перестраивает Зимний дворец, возводит Андреевскую церковь в Киеве. Образ Растрелли на публикуемом портрете отражает состояние высокого творческого взлета, самоосознания архитектором значительности свершенного, полноты и огромного прилива новых творческих сил. Как раз в те годы Растрелли и Пфандцельт общались почти каждодневно и бок о бок работали в Екатерининском дворце. Но мог ли реставратор и копиист, смотритель эрмитажной картинной галереи быть автором такого вдохновенного, такого незабываемого портрета? И кто он вообще такой — этот Пфандцельт?

Изобразительное искусство России XVIII века, несмотря на большой к нему интерес, особенно в последние десятилетия, и выход множества фундаментальных монографий, сборников научных статей, реставрационных исследований, все же остается недостаточно изученным, в особенности «Россика» — наследие иностранных художников, работавших в нашей стране. Живопись Пфандцельта, малоизвестного немца, приехавшего в Россию двадцати трех лет и проработавшего здесь около полувека, до самой смерти, находится в этом ряду. Она совершенно не изучена и не собрана. В ходе длительных поисков удалось выявить более десяти произведений Л. К. Пфандцельта в музеях Ленинграда и пригородов (Ломоносов, Павловск), музее Тропинина и художников его круга (Москва), в Государственном историческом музее Латвийской ССР (Рига) и других. Отметим, что ни одно из этих произведений прямых стилистических ассоциаций с нашим портретом не имеет, хотя, судя по авторским датам — 1741, 1751, 1759, 1763,— дает возможность представить развитие Пфандцельта-портретиста до 1762 года, не позднее которого мог быть исполнен эрмитажный портрет (до получения Растрелли ордена святой Анны).

С биографией художника нам повезло больше, и в ней были обнаружены обнадеживающие сведения. В настоящее время она достаточно известна, на основании, главным образом, труда А. И. Успенского и данных Я. Штелина. Биографы художника с небольшими разночтениями сообщают, что Лукас Конрад Пфандцельт, родившийся в 1716 году в Ульме и умерший в 1786 году в Петербурге,— немец по национальности, сын портретиста Г. Ф. Пфандцельта. Сам он тоже был портретистом и историческим живописцем. В 1739 году вместе с художниками — братьями Гроотами Пфандцельт приехал в Ревель (Таллин), а в 1741 году — в Петербург. С 1 декабря 1743 года состоял помощником Георга Гроота «с тем, чтобы под его смотрением, находящиеся во дворцах в С.-Петербурге, селе Царском и других местах картины, починять и в хорошем состоянии содержать». В литературе и архивах есть много упоминаний о реставрации Пфандцельтом картин и плафонов (живописных потолков), о копировании картин, наряду с самостоятельным выполнением икон, десюдепортов (наддверных украшений). Из этого следует важный для нашей темы вывод, что художник, наряду с постоянной реставрационной практикой, выполнял множество профессиональных живописных работ. В документах, в частности, можно встретить такие упоминания: «...Большие, отчасти вовсе разоренные картины починил, да и сверх того немалое число картин, скопировавши новые картины представил». Первый историк русского искусства Я. Штелин сообщает, что Пфандцельт «пишет портреты и исторические картины с тонким вкусом и имитирует все манеры, какие только пожелает».

Значение этого свидетельства трудно переоценить, поскольку профессиональный уровень эрмитажного портрета превосходит по мастерству все до настоящего времени известные произведения Пфандцельта. Оно логически допускает возможность существования в наследии этого художника разных и отличающихся друг от друга произведений.

Из обнаруженных картин Пфандцельта наиболее близкими к портрету Растрелли оказались два портрета Петра III (1761 и 1763) из Эрмитажа и Павловского дворца-музея, а также портрет Н. Ф. Корфа (1759) и полотно «Марс и Венера» (1751) из тех же собраний. Правда, прямого и безусловного стилистического сходства он ни с одной из найденных картин Пфандцельта не имеет: ни по композиции, ни по колористическим особенностям, ни по психологической глубине характеристики.

Однако наибольшая близость приемов письма обнаружилась при сравнении портрета Растрелли с эрмитажным портретом Петра III: хотя тождества приемов нет, но похожа объемная лепка, подчеркивающая форму, последовательно и точно выявляющая объем головы и черты лица, тот же живой и словно остановившийся взгляд, зафиксированный точкой белил на зрачках, одним и тем же приемом выписана телесная круглящаяся форма фаланг пальцев Растрелли и Петра III, похожа белильная сетка перекрещивающихся под прямым углом мазков на неоконченных кружевных манжетах. Близок и прием цветового сочетания киновари с желтой охрой разных оттенков, использованных в этих двух портретах.

Сравнительные технико-технологические исследования, проведенные в физической лаборатории Государственного Эрмитажа, позволили только условно связать авторство портрета Растрелли с именем Пфандцельта. Физики усомнились в оригинальности портрета и допустили, что это копия, только из-за одного технологического признака — «жесткости подмалевка» (так называется самый нижний невидимый глазом слой живописи). Но эта жесткость, невозможная в любой оригинальной авторской работе, в случае с Пфандцельтом вполне объяснима: художник имитировал манеру какого-то очередного неизвестного нам пока живописца, еще не успев ее достаточно освоить. Рентгенологическое исследование позволило уловить определенное сходство мазка на портрете Растрелли и на картине «Венера и Марс» и сделать технологически обоснованный вывод по датировке портрета: «...Хронологически Растрелли написан несколько позже „Венеры и Марса"». Эта картина имеет авторскую дату «1751 г.», а Растрелли датирован нами по внешним признакам 1755—1756 годами.

Косвенным подтверждением правильности предлагаемой атрибуции является встреченное в литературе упоминание, что в 1788 году портрет Растрелли, написанный Пфандцельтом, поступил в Академию художеств: он был куплен у вдовы художника «за 20 р.» спустя два года после его смерти и почти через двадцать лет после смерти архитектора. Известно, что Академия художеств всегда собирала изображения своих почетных членов. Однако и сегодня еще нельзя утверждать, что в документе идет речь именно об этом портрете.

Известно только, что в 1870 году он был экспонирован на Исторической выставке портретов с пометой в каталоге: «Принадлежит А. Штукенбергу». Эта же надпись — на обороте холста, а еще ниже другим почерком — «графу Строганову // 1872». Очевидно, от А. И. Штукенберга портрет перешел к Строганову, одному из владельцев фамильного особняка, построенного на Невском проспекте в середине XVIII века Растрелли. В Русский музей он поступил вскоре после Октября именно оттуда.



Н. Макаров. Автопортрет Ларжильера. Копия. 1790-е годы. Воспроизводится в зеркальном изображении

В трехтомных рукописных мемуарах Штукенберга нет ни слова о портрете Растрелли или о страсти автора к собирательству произведений искусства, хотя имеются сведения, что в 1830-х годах он часто бывал в Академии художеств. Допустить, что каким-то неофициальным образом полотно могло попасть из Академии к Штукенбергу, имевшему безупречную репутацию, невозможно, если только оно не ушло через факторскую, где продавались работы учеников Академии. Но для этого портрет слишком высокого качества. Откуда и как он попал к Штукенбергу — неясно, как, впрочем, и то, когда и как он исчез из Академии художеств... Эти вопросы, надеемся, решат будущие исследования. Главное, яркий портрет знаменитого архитектора получил, наконец, имя автора.

Но мы упомянули, что на криминалистическую экспертизу были представлены два портрета Растрелли. Что же второй?

Он поступил в Эрмитаж в конце 1940-х — начале 1950-х годов из частного собрания. На обороте старого холста была надпись: «5 ВО: Никита Макаров» и другим почерком — «портрет графа Растрел-

ли». Тогдашний хранитель русской живописи А. В. Помарнацкий, человек ответственный и критически мыслящий, признал портрет подлинным. Его экспонировали в 1950-х годах в Эрмитаже на постоянной выставке «Русская культура XVIII века» и воспроизвели в 1952 году в путеводителе по этой выставке, датировав 1794 годом.

Однако Помарнацкий, по-видимому, стал вполне обоснованно сомневаться в правильности идентификации личности изображенного и в картотеке негативов отдела истории русской культуры своей рукой поставил вопросительные знаки после фамилий портретируемого — Растрелли и портретиста — Ларжильера.

Действительно, здесь бросается в глаза непохожесть модели на того, кто представлен на первом эрмитажном холсте и на «эталонном» изображении Растрелли работы Ротари. Да и экспертиза вполне убедительно доказала, что на этом эрмитажном портрете изображен «не Растрелли, а какое-то другое лицо».

Кто же? По портретному типу — похоже на произведения Ларжильера или Риго, характерных представителей французской портретной школы второй половины XVII—XVIII веков. Среди работ Ларжильера удалось найти два варианта его автопортрета. Один из них с точностью повторен на втором эрмитажном полотне... Автопортрет этот можно было видеть на монреальской выставке Ларжильера в 1979 году. Он поступил из частного собрания этой страны и имеет французское происхождение: в конце XVIII века он еще был в Париже.

Эрмитажная копия выполнена на хорошем профессиональном уровне художником, вдохновенно воплотившем модель оригинала.

Поиски данных о Никите Макарове дали весьма скромные результаты. В рукописных материалах к словарю художников П. Н. Петрова о нем сказано лишь несколько слов: «Макаров Никита Иванович р. 1774. Академии художеств художник-живописец. 1799. Жил около Гл. конюшен». Все. Дополнительные сведения имеются в упомянутом путеводителе: «Портрет этот, до сего времени неизвестный и недавно приобретенный, исполнен воспитанником Академии художеств Никитой Макаровым в 1794 году». По-видимому, при датировке холста автор опирался на какой-то пока нам неведомый источник.

Профессиональный уровень этого повторения автопортрета Ларжильера и ряд деталей, свидетельствующих о строгости вкуса, освобождении от многословия и громоздкости обильных складок одежды в оригинале, а главное, облик изображенного художника — с более широким лицом и носом, с более крупным ртом, создают новый, самостоятельно прочитанный и претворенный образ известного французского портретиста.

Что же касается Макарова, то не был ли он пенсионером Императорской Академии художеств в Париже? И не там ли была сделана хранящаяся теперь в Эрмитаже его единственная доныне сохранившаяся работа? Когда и почему этот портрет получил имя Растрелли? Эти и другие вопросы, связанные с именем еще одного малоизвестного русского художника XVIII века, ждут ответов.

Догадки

Юрий РАКОВ

ПРОФИЛЬ В МЕДАЛЬОНЕ

Каждый раз, проходя мимо этого здания, я невольно любуюсь его незаурядной, яркой внешностью. Строгановский дворец на Невском, 17, на углу Мойки,— одна из старейших построек главного проспекта Ленинграда. Пожалуй, его не назовешь величественным, он не подавляет своими размерами и даже уступает по высоте соседним. И все же дворец поражает изысканной красотой, когда же узнаешь его возраст, диву даешься: как хорошо он сохранился.

В 1752 году Франческо Бартоломео Растрелли (его чаще называли на русский манер Варфоломей Варфоломеевич) по заказу богатейшего вельможи С. Г. Строганова строит для него новые апартаменты на том месте, где и раньше стоял дом Строганова, уничтоженный пожаром. Имя Растрелли к тому времени приобретает громкую известность: за ним — Смольный монастырь, Воронцовский и Большой Петергофский дворцы. Знатные вельможи улыбаются архитектору, расточают комплименты, многие мечтают заказать ему проект усадьбы или дворца. Однако это не так просто. Для этого необходимо заручиться, помимо согласия Растрелли, еще и разрешением императрицы. Барон Строганов получает высочайшее соизволение и уже 19 октября 1754 года, всего через два года, дает роскошный бал в своем новом дворце. Вероятно, на балу присутствовал и Растрелли. «Весь Петербург» толпился на углу Невского и Мойки, с любопытством рассматривал герб на фронтоне: два соболя держат щит, разделенный волнистой перевязью с тремя остриями копий. Вход во дворец вел через арку с решеткой по рисунку самого архитектора.

Шли годы. На исходе XVIII века сын С. Г. Строганова — Александр, известный меценат, решает обновить интерьеры дворца. Он поручает эту работу Андрею Воронихину. Однако апартаменты стали к этому времени тесноваты для нового владельца. Поэтому Воронихин возводит еще и два новых дворцовых флигеля — для картинной галереи и многочисленных служб. При этом зодчий, с пиететом относившийся к своему знаменитому предшественнику, выполняет дворцовые фасады флигелей по образу и подобию существующих.

Новое время диктовало новые вкусы. Пора барокко миновала, господствует классицизм. Александр Сергеевич, желая поспевать в ногу с веком, распорядился снять несколько скульптур. Дворец стал выглядеть строже, хотя растреллиевские фасады оставались в основном теми же. Да и декор был прежним: и на рисунке М. Махаева, выполненном в 1760 году, и на гравюре М. Даман-Демарте 1810 года — те же львиные маски, полукружья сандриков, решетки балконов, медальоны под окнами второго этажа. И в каждом медальоне — чей-то профиль. Чей? К сожалению, детали плохо просматриваются на этих листах...

Создания Растрелли справедливо называют изысканными и праздничными. Пиршество форм, красок, позолоты и лепки восхищает и сегодня, когда по адресу барокко раздаются упреки в перегруженности декоративным убранством. Интересно рассмотреть все это расточительное богатство вблизи, подметить что-то новое, ранее не замеченное.

Вновь и вновь прихожу к стенам Строгановского дворца. Из высоких зашторенных окон второго, парадного, этажа как будто доносятся звуки старинного менуэта. Но нет, за этими занавесками бурлит деловая и вполне современная жизнь нескольких организаций. Вот уж сколько лет их пытаются переселить в другое место, а Строгановский дворец отдать Русскому музею. Но... скоро сказка сказывается... Лишь одна маленькая музейная лаборатория сумела кое-как обосноваться в нескольких помещениях третьего этажа.

В тенистом дворе дворца возлежат сфинксы, охранявшие когда-то дачу Строгановых на Черной речке. И здесь, во дворе, тоже смотрят со стен загадочные мужские профили в медальонах. Они опоясывают все здание и на старой, растреллиевской, части дворца, и на более молодой — воронихинской. Их свыше полусотни, причем это не разные лица, а одно и то же, правый его профиль чередуется с левым. Парик... Такие парадные парики с ниспадающей до плеч косой частенько красуются на портретах вельмож елизаветинской эпохи. Удивляет не он — лицо,



Оно явно индивидуально: характерные заостренные черты, удлиненный с горбинкой нос, высокая бровь, волевой подбородок. Есть что-то южное, даже корсиканское в этом удлиненном овале лица, больших миндалевидных глазах, тонких губах. Да кто же это? Не один ли из первых владельцев дворца? В отделе эстампов Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина листаю толстенные папки. В них — портреты вельмож XVIII и XIX столетий. Барон Сергей Григорьевич Строганов... Круглощекий, курчавый красавец. Типично русские его черты вовсе не напоминают те, в медальоне. Может быть, граф Александр Сергеевич? Но к моменту окончания строительства дворца ему было едва за двадцать, а на медальонах — лик отнюдь не молодого человека. Что гипсовый барельеф появился только после перестройки дворца Воронихиным — маловероятно: фасады не были тогда усложнены дополнительным декором, об этом свидетельствуют старые гравюры. И все же стоило повидать портрет А. С. Строганова 1790-х годов. В Эрмитаже мне сказали, что в 1807-м и в 1808 году были выпущены две медали к семидесятипятилетию президента Академии художеств, сенатора графа Александра Сергеевича Строганова. На какой-то вроде бы есть профиль Александра Сергеевича. В книге Ю. Б. Иверса «Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц», изданной в Санкт-Петербурге в 1883 году, удалось отыскать их изображения. На од-

ном действительно оказался профиль вельможи. Полное лицо с крупными чертами даже отдаленно не напоминало огромный профиль в медальоне! Здесь же, в Эрмитаже, я увидел портрет Григория Дмитриевича Строганова (1656—1715), родоначальника всех трех ветвей знатной фамилии, отца Сергея Григорьевича и деда Александра Сергеевича. Все они оказались в чем-то схожими. Типично русский, славянский облик Строгановых совершенно не вязался с тонким аристократическим профилем в медальоне. И странно было прочесть в одном исследовании об изображениях на стенах дворца: «Утонченные, надменные аристократические лица как бы подчеркивают знатность рода Строгановых». Нельзя забывать, что знатность и графский титул пришли к Строгановым из Сибири — от их огромных капиталов. Значит, не Строгановы... Так кто же? Уж не сам ли Растрелли?

Известны два его портрета: один — в Русском музее, другой — в Эрмитаже. Первый — работы П. Ротари — запечатлел Растрелли 1760-х годов: ему уже за шестьдесят, печать усталости и грусти лежит на лице — пора расцвета и громкой славы позади. В октябре 1763 года зодчий был уволен от всех должностей и отстранен от работ в Зимнем дворце, последнем его детище в Петербурге. Ликующее, пышное итальянское барокко покидало Россию. Вскоре и сам он покинет ее пределы. Нет, не этот портрет должен был находиться в Белой парадной Строгановского дворца, как сообщали некоторые книги о Растрелли. Скорее, там было выставлено изображение более молодого Растрелли, баловня ветреной Фортуны. И вот я стою перед ним в Эрмитаже. Здесь архитектору едва ли больше пятидесяти. Облаченный в камзол, он сидит за столом. Пристально вглядываюсь в лицо. Совсем недавно я видел где-то эти тонкие черты. Эти миндалевидные глаза, эти высокие, плавно изогнутые брови, этот маленький рот и чуть наметившийся второй подбородок. И такой же, с легкой горбинкой, нос... Все, все походит на тот загадочный профиль! Сопоставить пропорции отдельных частей лица на этом портрете неизвестного художника и на профиле в медальоне вовсе не трудно: достаточно вооружиться измерителем, подобным тому, какой держит в руке Растрелли. И тогда становится ясным — почти все части лица на портрете и в медальоне имеют одинаковые соотношения. При этом надо сделать еще поправку на технологию изготовления гипсового барельефа, когда сам материал диктует некоторую подчеркнутую выпуклость. Так что же это? Автопортрет Растрелли? Или черты знаменитого зодчего пожелал увековечить для потомства неизвестный нам ваятель, явно хорошо с ним знакомый?

Историк знает немало случаев появления автопортрета в произведении писателя, живописца, архитектора, скульптора. На барельефе памятника Минину и Пожарскому в Москве, например, Мартос вылепил самого себя — благословляющего детей на ратные подвиги во имя Отечества. Монферран пожелал оставить свое изображение на одном из фронтонов Исаакиевского собора, Ринальди — в вестибюле Мраморного дворца.

Традиция идет из эпохи Возрождения. Франческо Растрелли, конечно, понимал, сколь велика роль его личности в градостроительной судьбе Петербурга. Он и по характеру своему был человеком гордым. Да ему и было чем гордиться. Но как правило, такие автопортреты занимают скромное, незаметное место — как подпись в конце рукописи, как росчерк кистью в нижнем углу картины. А здесь — многократно повторенный правый и левый профиль под окнами второго, парадного, этажа. Не слишком ли нескромно, не слишком ли броско? Да нет. Во-первых, медальоны эти сами по себе небольшие, расположены, к тому же, на высоте почти четырех метров от тротуара. А во-вторых, издали они воспринимаются как единый декоративный пояс. Их одинаковость и повторяемость как раз и обеспечивают ту скрытность, на которую, возможно, рассчитывал автор проекта.

...Из-под полуопущенных век смотрят на меня чуточку насмешливые и проницательно-загадочные глаза. В уголках губ таится улыбка. Он и в жизни был тонко ироничен, красив и горд, Франческо Бартоломео Растрелли. Он приглашает, кажется, прислушаться к музыке, излучаемой его праздничной архитектурой.

Библиофил

А. А. НИКОЛАЕВ

ЗАГАДКА «К. Б.»

Стихотворению Тютчева «Я встретил вас — и все былое...» посвящены сотни страниц. Считается, что эти стихи — обращение к известной красавице Амалии Максимилиановне Крюденер (1808—1888). Ее портреты украшают научные и множество массовых изданий стихотворений Тютчева. Амалию считают вдохновительницей и другого шедевра любовной лирики поэта — «Я помню время золотое...», датируемого теперь 1834—1836 годами. С Тютчевым ее действительно связывали многолетние дружеские отношения. Поэт писал родителям 2 (14) июля 1840 года из Тегернзее: «Вы знаете мою привязанность к госпоже Крюденер и можете легко себе представить, какую радость доставило мне свидание с нею. После России это моя самая давняя любовь. Ей было четырнадцать лет, когда я увидел ее впервые. А сегодня, 2 (14) июля, четырнадцать лет исполнилось ее старшему сыну. Она все еще очень хороша собой, и наша дружба, к счастью, изменилась не более, чем ее внешность».

Известно, что Амалия не раз помогала Тютчеву в трудные для него времена. В 1844 году она через посредничество А. Х. Бенкендорфа хлопотала о восстановлении Тютчева на службе в Министерстве иностранных дел и в звании камергера, которого он был лишен «за долговременным неприбытием из отпуска» в 1842 году. Известно также, что в последний раз они встретились за три месяца до кончины поэта. В одной из последних записок (дочери Дарье, 1 апреля 1873 года) поэт сообщал: «Вчера я испытал минуту жгучего волненья вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй».

И все-таки стихи посвящены не ей. Хотя бы потому, что летом 1870 года Амалия Крюденер не была в Карлсбаде или поблизости от него: как сообщила заведующая Карловарским окрестным архивом Ярмила Валахова, в полицейских протоколах и бюллетенях курортных гостей за летние месяцы 1870 года имя Амалии Адлерберг (в первом браке — Крюденер, в девичестве — Лерхенфельд) не значится. А стихи написаны именно там. Амалия же, судя по семейной переписке, находилась в это время или в Петербурге, или в его окрестностях, или в своих русских имениях. Учитывая импульсивный характер творческого процесса Тютчева, трудно представить, что это стихотворение родилось много времени спустя после вызвавшего его события.

Как же возникла и закрепилась версия об Амалии как адресате стихотворения «Я встретил вас...»?

Началось все с книги зятя поэта, известного славянофила И. С. Аксакова «Биография Федора Ивановича Тютчева» (первое, запрещенное и уничтоженное издание — 1874-го, второе — 1886 года). В ней имеется упоминание о некой «16-летней великосветской красавице», встречам с которой, по семейному преданию, посвящено стихотворение «Я помню время золотое...» (Аксаков не ведал, когда оно было написано).

«По поводу этой красавицы,— писал Аксаков,— Хлопов (дядька Тютчева.— *А. Н.*) сердито докладывал в своем письме из Мюнхена матери влюбленного автора, что Федор Иванович изволил обменяться с нею часовыми шейными цепочками и вместо своей золотой получил в обмен только шелковую...». Имени красавицы не называли ни Хлопов, ни Аксаков. Но оба они имели в виду Амалию Крюденер. Причем, Аксаков внушил это мнение, идущее от родителей, и вдове поэта, которой Тютчев не открыл адресата стихотворения.

О существовании стихотворения «Я встретил вас...» Аксаков не подозревал. А между тем, оно уже было опубликовано, только без полной подписи, в журнале В. В. Кашпирева «Заря» (1870, № 12, декабрь). Именно в этой, вскоре затерявшейся, публикации оно было озаглавлено «К. Б.». Под текстом стояла помета «Карлсбад» и инициал «Т.». На эту-то публикацию и наткнулся в 1882—1885 годах (судя по его записной книжке с росписью «Зари») библиограф П. В. Быков, десятилетиями собиравший материалы для словарей русских писателей, русских женщин-писательниц и псевдонимов и с этой целью обследовавший содержание периодических изданий. То, что «Т.» — Тютчев, Быков тогда не знал. Не знали этого и исполнители и слушатели замечательного романса Малашкина, опубликованного в 1881 году и сразу ставшего популярным. Слова романса перестали быть «народными» только в 1892 году, когда в «Русском архиве» стихотворение было напечатано вторично. С первой публикацией издатель «Русского архива» не был знаком, в «Сочинения» Тютчева, изданные в 1886 году вдовой поэта под редакцией А. Н. Майкова, эти стихи не вошли, поэтому П. И. Бартенев преподнес их как новые — вместе с двумя действительно ранее не печатавшимися — «Не знаю я, коснется ль благодать...» и «Des premiers ans de votre vie...» (оба обращены к Эрнестине Федоровне, второй жене поэта).

Текст стихотворения «Я встретил вас...» в «Русском архиве» восходил к списку дочери Тютчева от первого брака — Дарьи Федоровны. В этом тексте отсутствовало заглавие-посвящение, но была помета с датой: «Карлсбад, 26 июня 1870». В дате —

бесспорная опечатка — «июня» вместо «июля»: 26 июня Тютчев был еще в Петербурге. Отсутствие в списке Дарьи Федоровны инициалов, обозначающих адресата, объясняется, по-видимому, тем, что он был ей известен: отец делился с дочерью сокровеннейшими мыслями, чувствами и воспоминаниями. И дочь, знакомая с историей отцовских увлечений, с его «частной жизнью, не бедной личными романтическими драмами», как выразился Аксаков, видимо, имела особое основание сохранить тайну этих инициалов...

В 1890-е годы В. Я. Брюсов заложил своей «Летописью жизни Ф. И. Тютчева» (фрагменты печатал «Русский архив» в 1903 и 1906 годах) и многочисленными статьями основы тютчевоведения. В одной статье 1898 года он отождествил шестнадцатилетнюю красавицу, о которой писал Аксаков, с упоминаемой в письмах поэта Амалией Крюденер-Адлерберг (часть писем была опубликована). Вопрос об адресате стихотворения «Я помню время золотое...», таким образом, был решен. Приходила в голову Брюсову мысль, что и «Я встретил вас...» может относиться к ней же, но тот факт, что до 1870 года они не были в долгой разлуке, заставил Брюсова высказать сомнение. И действительно: Амалию Тютчев в 1860-е годы видел довольно часто — и в Петербурге, и в Петергофе, и в Царском. Они были людьми одного круга. В стихах же: «С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты». И еще: «Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне...». Однако все последующие исследователи не придали значения замечанию Брюсова.

Решающий шаг сделал филолог Р. Ф. Брандт, напечатавший в 1911 году в «Известиях Академии наук» «Материалы для исследования „Ф. И. Тютчев и его поэзия"». Субъективность и бездоказательность доводов Брандта совершенно очевидны: «Трудно допустить,— писал он по поводу „Я встретил вас...",— чтобы эти стихи относились к кому-нибудь иной, а не к госпоже Лерхенфельд-Крюденер-Адлерберг, воспеваемой в № IX (т. е. в стихотворении «Я помню время золотое...».— *А. Н.*). Сравним особенно 3-ий стих настоящей пьесы „Я вспомнил время золотое" с тамошним началом „Я помню время золотое". Смущаться вместе с Брюсовым тем, что с этой особой Тютчев вовсе не находился в многолетней разлуке — мне кажется, нечего». Что бы, интересно, сказал Брандт, если бы знал посвящение «К. Б.»? Но перед ним, как и перед Брюсовым, этой проблемы не было. Она возникла перед Быковым.

Как комментатору стихотворений Тютчева и мемуаристу, Петру Васильевичу Быкову давно уже нет доверия. Уж очень много неточностей, прямого вымысла и разного рода несуразностей обнаружено в его примечаниях к Полному собранию сочинений Тютчева, вышедшему в 1912 году в издательстве А. Ф. Маркса, и в его сборнике воспоминаний. Исследователи не верят в подлинность стихов, якобы подаренных ему поэтом («Я не ценю красот природы...»), и острот, приписываемых Тютчеву, и даже ставят под сомнение сам факт их знакомства. И только одно примечание Быкова — к стихотворению «Я встретил вас...» — дожило до наших дней и без какой-либо критической проверки повторяется во всех тютчевских изданиях. Примечание это таково: «Буквы К. Б., по сообщению, сделанному нам Я. П. Полонским (утверждавшим это), обозначает сокращение переставленных слов „Баронессе Крюденер"».

По-видимому, на исследователей возымела действие ссылка на Полонского. Они действительно были знакомы. В Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина хранится экземпляр сборника «Вечерний звон» (1890) с дарственной надписью на титульном листе: «Петру Васильевичу Быкову — в память приятных встреч — уважающий его Я. Полонский».

Нет, однако, сомнения, что Быков сам расшифровал «К. Б.» как «Крюденер Баронессе». Ссылка же на Полонского (одного из самых близких друзей Тютчева), уже четырнадцать лет как умершего, понадобилась, во-первых, для того, чтобы не ссылаться на чужой приоритет (Брандта), а во-вторых — чтобы придать версии убедительность документального свидетельства. Не смутило Быкова не только отсутствие долгой разлуки Тютчева и Амалии, но и то, что с 1853 года она была уже не баронессой Крюденер, а графиней Адлерберг. Конечно, для Тютчева она могла до последних дней оставаться Амалией Крюденер (вспомним записку 1873 года), но, называя ее так, он не именовал ее баронессой. И зачем перестановка? Подобных сверхухищрений никогда не было в рукописях и публикациях Тютчева.

Кстати, о рукописях... Многие домыслы и ошибки Быкова были вызваны именно его незнакомством с ними. К основному рукописному фонду, хранившемуся у потомков поэта, Быков был допущен, но не воспользовался им, желая выпустить издание побыстрее и совсем не желая утруждать себя скрупулезной сверкой источников.

Черновик договора на редактирование этого издания датирован июнем 1909 года, а в августе Быков обратился к Брюсову с просьбой написать критико-биографический очерк. Вот в эти-то годы (1909—1912) и встала перед Быковым проблема «К. Б.», тогда-то родились и «сообщение Полонского» и другие его примечания-домыслы.

В отличие от Быкова, комментаторы последующих собраний стихотворений Тютчева Г. И. Чулков и К. В. Пигарев хорошо знали рукописи поэта. Но они не обратили внимания на то, что сокращения у Тютчева поразительно единообразны: баронесса (барон) — «бар.», графиня (граф) — «гр.», княгиня (князь) — «кн.», два инициала — имя и фамилия. То же с датами, порядковыми числительными, названиями городов. Следовательно, «К.» — имя, «Б.» — фамилия.

Так кто же она, эта К. Б.?

«Знаете ли вы дочерей графа Ботмера?..— писал 1 апреля 1828 года Генрих Гейне К. А. Фарнгагену фон Энзе.— Одна уже не очень молодая, но бесконечно очаровательная, состоящая в тайном браке с молодым русским дипломатом и моим лучшим другом Тютчевым, и ее очень юная красавица-сестра (Клотильда.— *А. Н.*) — вот две дамы, с которыми я нахожусь в самых приятных и лучших отношениях. Они обе, мой друг Тютчев и я, мы часто обедаем partie carée (вчетвером.— *А. Н.*), а по вечерам, когда я встречаю у них еще несколько красавиц, я болтаю сколько душе угодно, особенно про истории с привидениями. Да, в великой пустыне жизни я повсюду умею найти какой-нибудь прекрасный оазис».

Тогда, в начале 1828 года, Гейне написал большой стихотворный цикл «Новая весна», где заметное место занимали стихи любовного содержания, посвященные Клотильде Ботмер.

Гейне называет брак Тютчева и Элеоноры Ботмер тайным. По семейному преданию, он заключен 5 марта 1826 года, то есть приблизительно через месяц после возвращения поэта из отпуска на службу к миссии. Между тем, он был освящен летом 1827 года во время негласного пребывания Тютчева в Париже. Видимо, желание Тютчева и Э. Ботмер соединить свои судьбы натолкнулось на сопротивление немецких родственников-аристократов. Вряд ли Тютчев, с их точки зрения, был пара графине Ботмер (по матери — из рода Ганштейн!). Пусть даже она была старше его четырьмя годами, пусть даже вдова с тремя детьми. К тому же он иноверец, а Ботмеры — лютеране. Могли быть и другие причины не предавать этот брак широкой огласке. Например, не вышел еще срок траура по Александру Петерсону, первому мужу Элеоноры, умершему в октябре 1825 года...

Первые годы совместной жизни Тютчева и Элеоноры были довольно счастливыми и омрачались только материальными затруднениями. Но со временем этот брак стал мучителен для обоих. Поэт отличался безволием, меланхолией, даже ипохондрией, нетерпимостью, полным равнодушием к практической жизни и склонностью к увлечениям. «Его болезненное воображение,— жаловалась Элеонора брату Тютчева Николаю,— сделало из всей его жизни припадок горячки». Но сама она отнюдь не была полной противоположностью мужу. Хорошо знавший Ботмеров П. Х. Граббе писал в своих воспоминаниях, что членам этого семейства были свойственны постоянная жажда приключений, беспокойное стремление к перемене мест, какая-то неустойчивость всего душевного склада. Все это не могло способствовать укреплению семейного очага Тютчевых, хотя Элеонора была натура нежная, впечатлительная и чуткая и самоотверженно любила вечно тоскующего мужа. В 1833 году Тютчев сблизился с молодой вдовой Эрнестиной Дернберг (урожденной Пфеффель), женщиной необычайного ума, редкой красоты и силы характера. В начале 1836 года (а к этому времени роман получил в Мюнхене широкую огласку) несколько пошатнулось психическое здоровье Элеоноры. К несчастью, это совпало по времени с отнятием от груди дочери Екатерины. И во время одного из приступов послеродовой горячки Элеонора, как писал Тютчев, пыталась покончить жизнь самоубийством, нанеся себе несколько ударов небольшим маскарадным кинжалом в грудь.

В такой ситуации вырваться из Мюнхена означало спасти и ее и его жизнь. Это понимали они сами. Понимало и тютчевское начальство. Русский посланник в Мюнхене Г. И. Гагарин называл брак Тютчева «роковым» и просил в апреле 1836 года вице-канцлера К. В. Нессельроде перевести поэта в другое государство. В 1837 году, после отпуска, проведенного с женой и детьми в Петербурге, Тютчев отправился к новому месту службы — в столицу Сардинского королевства Турин. В Генуе он встретился с Эрнестиной Дернберг — чтобы после этого расстаться навсегда. В стихотворении «1-ое декабря 1837» он писал:

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости...
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее истлило
В твоей измученной груди!..

Тогда же Элеонора писала Николаю Тютчеву (единственному человеку, имевшему влияние на Федора): «Вы понимаете, что такое моя жизнь; я бы охотно пожертвовала половиной ее для того, чтобы другая стала спокойна и безмятежна, но этого ничем нельзя купить».

И в том же декабре, когда раскаявшийся Тютчев решил во что бы то ни стало помочь супруге восстановить утраченное душевное равновесие, задумался он и над судьбой почти тридцатилетней, но все еще незамужней свояченицы. Об этом свидетельствует его письмо к другу, барону Аполлонию Мальтицу, служившему в Мюнхене (он сменил Тютчева на посту первого секретаря русской миссии). Вместе со своим братом Фридрихом Мальтицем, известным немецким поэтом, Аполлоний Петрович часто бывал в мюнхенском доме Тютчевых, был неравнодушен к Клотильде. Однако Клотильда, с одной стороны, не очень симпатизировала барону, с другой — вообще была привязана к сестре и ее семье. В конце 1837 года она в очередной раз отказала Мальтицу и уехала с теткой Ганштейн в Фарнбах. Получив от Мальтица жалобное послание, Тютчев написал ему, чтобы тот не отступал от своей цели.

В начале 1838 года, самовольно отлучившись из миссии в Турине, Тютчев прибыл в Мюнхен, где встретился с Мальтицем. Долго задерживаться он не мог. Остановившись на обратном пути 4 апреля в Линдау, красивом курортном местечке на берегу Боденского озера, Тютчев написал и отослал Мальтицу в Мюнхен посвященное ему стихотворение «Nous avons pu tous deux. Fatigués du voyage...». Примечательна первая строфа (перевод М. Кудинова):

Устали мы в пути,
и оба на мгновенье
Присели отдохнуть,
и ощутить смогли,
Как прикоснулись к нам
одни и те же тени,
И тот же горизонт мы видели
вдали.

Приписка гласила: «Прощайте! Какой я ребенок! Какой я слабый человек! Сегодня я только и делал, что читал вас (в 1838 году вышел сборник стихотворений Мальтица.— *А. Н.*) и думал о вас. Мой дружеский привет Клотильде. Будьте счастливы — она и вы».

Печальный, одинокий вернулся Тютчев в Турин. Вскоре его постигло тяжелейшее испытание. В августе 1838 года, после сильного нервного потрясения, пережитого Элеонорой во время пожара на море и окончательно подорвавшего ее и без того слабое здоровье, она «в жестоких страданиях» скончалась. Смерть жены потрясла Тютчева, в одну ночь он поседел у ее гроба.

В октябре в Комо с Тютчевым встретился В. А. Жуковский. «Горе и воображение» — так охарактеризовал он состояние Тютчева в своем дневнике. Но есть там и такая запись: «Глядя на север озера, он (Тютчев.— *А. Н.*) сказал: „За этими горами Германия“. Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене». Эту запись относили до сих пор к Эрнестине Дернберг, будущей второй жене поэта. Однако это вовсе не обязательно. Эрнестина стала женой Тютчева прежде всего потому, что это *она* его любила, потому что именно *она* была человеком, способным понять его и в сильных и в слабых его проявлениях, быть для него надежной опорой в жизни. Ради него она расстанется с родиной, ради него и его стихов выучит русский язык, а овдовев, много лет будет заниматься подготовкой издания его сочинений. Эрнестина, писал Тютчев, «соединяет в себе все, что есть лучшего и достойного быть любимым». Но владела ли она безраздельно его сердцем? Дальнейшая история жизни Тютчева покажет, что нет...

Чтобы поддержать несчастного, к нему из Варшавы направился брат Николай, испросивший трехмесячный отпуск. Он нашел поэта в таком удручающем состоянии, что взял на себя все его дела. Тютчев не мог даже отвечать на письма, это делал за него Николай. Родители предложили взять дочерей Федора к себе в Россию. Но Клотильда очень любила их и упросила оставить у нее. Они оставались в Мюнхене до осени 1839 года. С Мальтицем Клотильда так и не была помолвлена.

Клотильде следовало принять решение достаточно быстро, Тютчев же, из соображений приличия, не торопился. Между тем судьбы их решались одновременно — в декабре 1838 года. Но если помолвка Тютчева с Эрнестиной Дернберг была негласной (кстати, произошло это в той же Генуе, где за год до этого они сказали друг другу «последнее прости»), то о предстоящей свадьбе Клотильды и Мальтица необходимо было объявить. Клотильда просила только, чтобы состоялась она не ранее весны следующего года. Обвенчались они 19 марта.

Мальтиц окружил Клотильду атмосферой любви и обожания, и это вызывало у Тютчева чувства недовольства собой и откровенной зависти: «Я себе не очень нравлюсь в их обществе,— жаловался поэт жене в одном из писем этого времени,— чтобы согласиться из любви к ним скучать. Милая Клотильда остается столь же язвительной натурой по отношению ко всему миру, сколь она обожаема собственным мужем. Но если



Клотильда Мальтиц (до замужества Ботмер). Дагерротип, 1840-е годы

обожание приводит меня в смущение, когда я являюсь его объектом, то оно уж совсем наводит на меня глубокую скуку, когда я являюсь его свидетелем».

В 1841 году Мальтицы переехали в Веймар, где Аполлоний Петрович получил место посланника. Девочки Тютчева с конца 1839 года жили с отцом и его новой женой. В 1840 году у Эрнестины Федоровны родилась дочь Мария (Клотильда была ее крестной матерью), а годом позже появился сын Дмитрий. Клотильда предложила взять на время к себе двух младших дочерей Тютчева (от первого брака), однако Эрнестина не захотела их отпустить. В ноябре 1841 года в Веймар переехала Анна, у которой поначалу не складывались отношения с мачехой. Впоследствии Анна не раз подолгу гостила у Мальтицев.

В петербургский период жизни Тютчев неоднократно бывал в Германии, заезжая обычно и в Веймар. И каждый раз — отсутствие Клотильды. Последняя их встреча состоялась в Берлине 7 июля 1847 года. Они должны были встретиться несколькими днями раньше в Свинемюнде, где Тютчев договорился передать ей Анну, однако свидание расстроилось из-за какого-то недоразумения, и Клотильде пришлось нагонять Тютчева в столице. Обедали они в этот день у госпожи Мейендорф в обществе мюнхенского посланника в Берлине Макса Лерхенфельда, брата Амалии Крюденер. В этом обществе, писал Тютчев жене, я «тотчас погрузился в целый мир знакомых впечатлений. Я не против — отнюдь не против таких воскрешений, они связывают порвавшуюся цепь».

К 1870 году, ко времени написания стихотворения, Тютчев и Клотильда не виделись двадцать три года. Вот уж действительно — «Как после вековой разлуки...».

Аполлония же Мальтица Тютчев встречал в Веймаре в 1847, 1853 и 1859 годах. Отзывы его о Мальтице в эти годы не



Федор Иванович Тютчев. Фотография, 1860-е годы

очень лестны. Тютчев называет эгоизм основной чертой его характера, подтрунивает над его творческим бесплодием. Вместе с тем он все еще завидует ему.

18 февраля 1870 года Мальтиц умер. Тютчев узнал об этом от дочери Анны, постоянно переписывавшейся с теткой. 28 февраля он делится с дочерью, что огорчен смертью Мальтица, но думает, что несколько лет назад он был бы более этим поражен. Теперь близость собственной смерти побуждает его спокойнее относиться к утратам.



Клотильда Мальтиц. Фотография, 1860-е годы

В том возрасте, в каком находился Тютчев, подобного рода волнения не могли пройти без последствий. Усилились и без того часто мучившие его приступы подагры. До начала апреля поэт вообще не мог ходить. В мае Эрнестина Федоровна уговаривала его ехать за границу лечиться, но получила решительный отказ. Эрнестина Федоровна вскоре уехала в Овстуг, родовое имение Тютчевых в Орловской губернии. В июне она была вызвана в Петербург в связи с болезнью Дмитрия. 2 июля, возвращаясь в Овстуг, Эрнестина Федоровна, по ее выражению, «увлекла» с собою Тютчева до Динабурга, надеясь, что поедет дальше до Вильны и затем в Карлсбад или на другой курорт. Никакой уверенности в том, что Тютчев не повернет назад в Петербург, у нее не было, поэтому она была изумлена, получив его письмо из Варшавы (от 6 июля) с сообщением о начале франко-прусской войны. Объявление войны, писал он,

заставило его забыть «все отвращение к путешествию, весь ужас, который внушало ему отдаленное, чуждое, неизвестное». 7 июля Тютчев был уже в Берлине: там — самые свежие новости. Оттуда он писал в Эмс А. В. Плетневой (вдове П. А. Плетнева; ей посвящено стихотворение «Чему бы жизнь нас ни учила...»): «Где вы, и если вы еще в Эмсе, что вы делаете среди этой ужасной сумятицы, которая начинается? Если бы я знал наверное, что вы в Эмсе, я не мог бы устоять против искушения разыскивать вас там». Не только к петербургским знакомым тянуло его в Эмс: там, недалеко от границы с Францией, ощутимее дыхание войны. С ужасом и неудержимостью влекли к себе Тютчева исторические бури, особенно те, которые он предсказывал. Но по зрелом размышлении поэт понял, что ехать в Эмс опасно. «Если бы случайно эти строки имели удачу дойти до вас, подайте мне знак жизни, адресовав мне его в Карлсбад, куда я еду завтра,— писал он в том же письме Плетневой.— Еще несколько дней, и мы будем в полном катаклизме».

Дорога в Карлсбад вела через Лейпциг. В тридцати километрах от Лейпцига в сторону Веймара — Наумбург. Еще через пять километров по той же ветке — курортный городок Кёзен. В этом-то городке со 2 июля по 1 октября и находилась Клотильда Мальтиц. О том, что Клотильда в Кёзене, Тютчев узнал уже в Карлсбаде из писем дочерей. От Кёзена до Карлсбада — всего сто двадцать километров...

Тютчев приехал туда 9 июля. В полицейском протоколе приезд зарегистрирован днем позже. Первое его письмо из Карлсбада, адресованное Э. Ф. Тютчевой, но посланное О. А. Тютчевой (урожденной Мельниковой), вдове сына Дмитрия, датировано 13 (25) июля. В тот день Тютчев узнал, что 11 июля скончался его сын. Послав телеграмму невестке, он отправил вдогонку письмо ей же, приложив письмо для своей жены (оно пришло в Овстуг только 27 июля). «Это письмо,— сообщала Мария Федоровна Ивану Федоровичу из Овстуга в Мураново,— писано под влиянием первого порыва горя, он говорит, что немедленно покидает Карлсбад и едет сюда, но от 13-го до 27-го можно успеть доехать до края света, а о нем даже ни слуху ни весточки».

21 июля Тютчев сообщил жене, что по совету врача С. П. Боткина он в этот же день покидает Карлсбад, ибо ванны ему не помогли, и едет в Теплиц. Однако намерения его неожиданно изменились. Судя по помете в списке стихотворения «Я встретил вас...», 26 июля он опять оказался в Карлсбаде, а на следующий день в полицейском протоколе зарегистрировано его прибытие в Теплиц (от Карлсбада — семьдесят километров). Этим же числом датировано и его первое письмо из Теплица жене. Где же находился Тютчев с 21 по 26 июля? По-видимому, в Кёзене или Лейпциге. Не исключено, что Клотильда проводила Тютчева до Карлсбада и вернулась в Кёзен.

Так или иначе, она — наиболее вероятный адресат стихотворения «Я встретил вас...». Только к ней Тютчев мог обратить строки:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь.

Им было что вспомнить. «Великий праздник молодости чудной» у Тютчева был украшен и ее постоянным присутствием. В 1846 году, сидя у камина в Красной гостиной петербургской квартиры, он поведал дочери Анне о том «золотом времени»: «Если бы ты видела меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения (то есть в январе 1828 года.— *А. Н.*)... Мы совершили тогда путешествие в Тироль — твоя мать, Клотильда, мой брат и я. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это лишь сон... Первые годы твоей жизни, дочь моя, годы, которые ты едва припоминаешь, были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей. Я их провел с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы!».

Клотильда Мальтиц прожила долгую жизнь, оставаясь такой же, какой была в молодости: красивой, остроумной, заботливой, любящей литературу. Такой предстает она в письмах и воспоминаниях современников, а также на дошедших до нас портретах. По-немецки суховатая, она была человеком возвышенной, благородной души. Получив известие о смерти Клотильды, Эрнестина Федоровна написала в ответном письме Дарье Тютчевой: «Какая прекрасная и кроткая смерть — какое достойное завершение долгой жизни, исполненной чистоты и горячей веры! Кто бы не хотел иметь подобный конец... Да, кто бы не хотел, но чтобы удостоиться умереть, как твоя тетушка, нужно прожить так же, а это удел немногих».

Ясно, что теперь стихотворение «Я встретил вас...» потребует нового прочтения и в контексте с другими, иногда не менее загадочными стихотворениями Тютчева. Но это уже совсем иная тема.

Э. ЛЕБЕДЕВА, Т. МИШИНА,
Л. СОЛДАТОВА, О. ЯЦЕНКО

ПРАВО НА ЭКСПЕРИМЕНТ

Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта...

А. Ахматова

Зачем идут к Пушкину? И почему к нему — больше, чем ко многим другим русским писателям? Чего ждут от посещения Лицея, последней квартиры поэта или дома на Арбате? Что знает посетитель до прихода в музей? Что хочет и должен здесь узнать? Как быть с известными расхожими представлениями о браке Пушкина и о дуэльной истории? Говорить ли «всю правду» (особенно школьникам)? Сколь подробно освещать жизнь семьи Гончаровых? (А эта тема, как и другая — потомков Пушкина,— заявляет сейчас свои права в пушкиноведении и в массовом сознании.)

Такие вопросы задает себе любой мыслящий человек.

И еще: какой будет последняя квартира поэта? Этот вопрос звучал в течение пяти лет ее реставрации. Состоится ли совпадение нового образа музея с памятным, в подсознании каждого существующим зримым символом пушкинской трагедии?

Уже в первые дни после открытия многие, хорошо знавшие и любившие этот музей, с грустью констатировали: что-то ушло из него, нет здесь больше Пушкина. Один из ученых-пушкинистов иронически заметил: «Была одна мемориальность, теперь мемориальность другая».

Несмотря на постоянную информацию в печати и по телевидению о ходе работ, мало кто ожидал, что реконструкция окажется столь смелой. Восстановлена парадная лестница, появился паркет (согласно планам дома и сохранившимся сметам), но... повышен уровень пола (случайная техническая ошибка?), стены получили своеобразную филенчатую роспись (во время археологических разысканий фрагмент ее обнаружен в буфетной комнате, и эти данные перенесены на всю квартиру и даже на вестибюль). Долгожданное новоселье на Мойке чем-то напоминало получение квартиры в новом районе.

Прежде строгие, благородные и обобщенные формы ампира ассоциировались с гармоническим художественным миром Пушкина. Теперь пространство сплющено, искривлено, перекрыто ширмами, перегородками, образует тупики и лабиринты. Квартира буквально герметизирована глухими занавесками и «фанерными» ламбрекенами, закрыта от набережной Мойки, от ее знаменитой решетки. А между тем человек, живший там, был открыт миру, Петербургу, человечеству и истории, а не замкнут в скорлупе семейной жизни.

Все в интерьерах ярко, заметно, красиво. Некоторые комнаты после реставрации трудно узнать. Стали больше столовая и детская и меньше — буфетная; изменились обстановка и экспозиция в спальне и детской; исчезли камины в гостиной и кабинете, но зато появились сверкающие лаком книжные стеллажи в кабинете, открылась «половина» сестер Гончаровых...

Как много новой информации! Посетитель узнает, что жена Пушкина была помощницей в его литературных делах, что брат ее Дмитрий красив и на портрете немного «дантесообразен» в красном расшитом придворном мундире, что нераспроданные экземпляры «Истории Пугачевского бунта» и журнала «Современник» хранились совсем как у нас в малогабаритных квартирах — в коридоре рядом с детской на сбитых наскоро дощатых полках (а это весьма сомнительно), что ставшее почти хрестоматийным изображение села Михайловского, литографированное во Пскове в память о поэте, висит зачем-то в детской, словно бы Пушкин хотел поехать с детьми в свое любимое имение.

Так центральное событие затмевается неожиданными сюжетами и ассоциациями. Побочные впечатления уводят от главной темы — темы скорби.

А между тем мемориальная доска, установленная в конце XIX века и подновленная сейчас, гласит: «В этом доме 29 января 1837 года скончался А. С. Пушкин». Прежде казалось, что лицо существующего здесь Музея определено раз и навсегда: ведь полтора века спустя мы переживаем утрату так же остро. Трагедия жизни и смерти поэта стала великим обобщающим символом и культурным мифом, и он делает последнюю квартиру Пушкина — на века — уникальным памятником и событием русского национального сознания.

Приход в этот дом всегда был священнодействием, независимо от того, сущест-



вовал ли там музей или его еще не было и каков он был. Действовал и действует гипноз этого памятного места. Дом на Мойке имеет другую судьбу, нежели Ясная Поляна или дом Гёте в Веймаре, еще при жизни писателей фактически ставшие их музеями. На Мойке мы всегда имели дело с реконструкцией квартиры поэта, всецело зависевшей как от состояния музейного дела, так и от понимания образа Александра Сергеевича, жизни его и гибели.

Мемориализация дома Пушкина начинается с первых лет Советской власти.

1925 год. Определено местоположение кабинета. Экспозиция условно-символическая. Отмечены места, где поэт умирал и где потом стоял гроб.

1937 год. Мемориализован кабинет. В остальных комнатах — историко-литературная экспозиция. Осторожность, историзм, научная точность работы Б. В. Томашевского, Д. Н. Якубовича, Б. В. Шапошникова — признанных пушкинистов.

1965 год. Мемориализация всей квартиры в объеме плана Жуковского (семь комнат). Работа велась под руководством доктора исторических наук С. С. Ланды, при консультациях научных сотрудников Эрмитажа В. М. Глинки и Т. М. Соколовой. Не вдаваясь в бытовой буквализм, экспозиция создавала точный, эстетически выверенный образ.

1987 год. Восстановление вестибюля, парадной лестницы и квартиры в ее полном объеме «от ворот до ворот дома», включая «гончаровскую половину». Архитектурно восстановлены все одиннадцать комнат, отмеченные в контракте по найму, но посетителям открыты девять. Над экспозицией работал авторский коллектив под руководством Н. И. Поповой, художник Т. Н. Воронихина, архитектор К. А. Кочергин. Две новые мемориальные комнаты «гончаровской половины» за неимением исторических свидетельств решены условно: в одной экспонируются портреты сестер Гончаровых, их родственницы Е. И. Загряжской и брата Д. Н. Гончарова, другая демонстрирует так называемый «линевский портрет» Пушкина и стеклянную ширму, несущую тему обличения «светского Петербурга» (жанровые сцены, изображения манекенов в придворных мундирах, образцы парижской моды).[1]

Два документа, имеющиеся в распоряжении потомков, вступили в полемику в экспозициях 1965-го и 1987 годов: контракт о найме Пушкиным в доме Волконских квартиры из одиннадцати комнат и план В. А. Жуковского в письме к отцу погибшего, охватывающий лишь семь комнат, без «гончаровских».

[1] По требованию научного коллектива музея эта ширма была исключена из экспозиции в мае 1987 года.

Эти документы существуют на разных уровнях. Один — бытовой, житейский, хозяйственный — комментирует прозаические обстоятельства обыденной жизни пушкинского семейства. Другой — свидетельство друга-поэта — фиксирует пространство, где разворачивалась трагедия. Прежний объем и жанр музея были продиктованы планом Жуковского. Музейное освоение «гончаровской половины» неизбежно перевело высокую трагедию в житейский план.

Вопрос о предпочтении одного документа другому отнюдь не праздный. Это та степень бытового уточнения, что способна погубить историко-культурный смысл дома на Мойке, вытеснить житейским бытом духовное бытие. Характерно, что замечания государственной комиссии, ученого совета, еще раньше — возражения и рекомендации коллектива, а теперь и недоумение посетителей обращены именно к этой части музея. Она оказалась самой уязвимой (впрочем, и все рабочие варианты наполнения этих комнат были произвольны, немотивированы). Не потому ли, что включение дополнительных помещений сразу создает ложные пропорции в музее поэта? Получается перекос сюжета, невольно сбивающийся на жизнь двух семейств под одной крышей.

Исходя из анализа плана Жуковского, в 1965 году условная экспозиция размещалась только в детской, на чертеже не отмеченной номером и не обремененной бытовыми пометами. Пустая комната с «линевским» портретом Пушкина, его окровавленным жилетом и портретами его друзей была символической прелюдией к кабинету.

В новом варианте вообще изъяты портреты К. К. Данзаса — лицейского приятеля и секунданта, В. И. Даля, писателя и врача, побратавшегося с Пушкиным перед его смертью, Е. А. Карамзиной, которую (единственную) он просил прийти попрощаться с ним, Е. М. Хитрово, П. А. Плетнева, доктора Арендта.

Жилет Пушкина, пропитанный его кровью, не нашел еще себе достойного места: соседствуя в прихожей с посмертной маской, он давал излишнее, почти физическое представление о покойнике, удваивая сюжет здесь же висящей картины «Пушкин в гробу». Нынешнее местонахождение этой важнейшей реликвии на «гончаровской половине» двусмысленно.

В 1921 году на заседании в Доме литераторов была принята «Декларация деятелей культуры», определившая смысл увековечивания памяти Пушкина как писателя, «с которого начинается новая русская литература». Мемориализация по плану Жуковского явилась выражением традиции сохранения русской интеллигенцией памяти о поэте: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

Цифрой «один» Жуковский обозначил кабинет («Настоящее место писателя есть его ученый кабинет» — слова Пушкина). Комната, где он работал и потом умирал, прорисована тщательнее всего: это была цель устремлений экспозиционеров, создающих контекст квартиры вокруг кабинета. Теперь путь к кабинету удлинился за счет «гончаровской половины»...

В январе 1837 года, когда Жуковский увековечивал память и сюжет гибели Пушкина, план его отсекал четыре «гончаровские» комнаты и учитывал только пушкинские семь, словно вторя пожеланию поэта: «Семья одна должна быть под одной крышей: дети покамест малы и родители, когда уж престарелы, а то хлопот не наберешься и семейственного спокойствия не будет...». Он инстинктивно убирал подробности, способные снять накал высокой трагедии. Позднее о том же была мысль Марины Цветаевой: «Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обрела величие мифа».

Поэты Жуковский, Кольцов, Тютчев, Лермонтов, а позже Цветаева и Ахматова изначально рассматривали это событие в особых, поэтических измерениях.

Поэтическими символами была полна и прежняя квартира на Мойке. Бронзовый Аполлон в гостиной, например, перекликался с фигурой Музы на портрете Пушкина работы Кипренского. Отсутствие же его снизило образ гостиной до уровня бытового интерьера[1], документу поэтического ряда предпочтен был документ житейски-обыденного плана. Как мог состояться столь рискованный музейный эксперимент? Вероятно, тут целый комплекс причин, субъективных и объективных. Некоторые аргументы и стимулы можно обнаружить в области современного массового восприятия Пушкина, в характерных особенностях и даже некоторых странностях этого процесса.

Типовые, постоянно повторяющиеся на экскурсиях вопросы заставляют увидеть это:

— Расскажите подробнее о его детях, потомках (редко — предках), о семье Гончаровых.

— Сколько его потомков сейчас живет у нас в стране и за рубежом?

— Сколько детей было у Натальи Николаевны от второго брака?

— Вы не родственница Пушкина: Вы так волновались? — спрашивают экскурсовода, черноволосую, кудрявую женщину.

Часто интересуются: «Работают ли потомки Пушкина в вашем музее?». Некоторые хотят узнать, нет ли среди его потомков такого же гениального поэта, как он сам. Круг интересов родственно-семейственного плана ширится. Еще недавно сравнительно редко можно было услышать: «Кто был вторым мужем Натальи Николаевны?». Теперь часто спрашивают о П. П. Ланском.

[1] В мае 1987 года возвращен в экспозицию.

Тенденция расширения числа родственников видна в монтаже, созданном фотографом-любителем и распространяемом за умеренную плату в Михайловском: в тематическую подборку «Пушкины-Ганнибалы» вошли А. П. Керн и няня — по-видимому, в качестве родственниц. Сейчас в поле зрения поклонников Пушкина включается и ребенок Ольги Калашниковой (особенно в Болдинском и Михайловском регионах) и «смуглая дочь Воронцовой».

Естественно, что Дантес отторгается в сознании многих от родственных связей (изумленный вопрос посетителей: «Как, Дантес — муж сестры жены поэта?»). Сейчас только начинается осознание того, что образ этой сестры материально упрочен в «гончаровской половине» дома, покинутого ею ради убийцы поэта. Из потомков ее и Дантеса общественное сознание допускает в себя только тех, кто любит поэзию Пушкина, например, их дочь Леони, недавно ставшую известной благодаря пьесе Н. Доризо «Третья дуэль». Именно она осуществила фатальное возмездие и назвала своего отца убийцей.

Можно говорить о совершенно особенном отношении к Пушкину — писателю и человеку — глубоко личностном, как результате того, что творчество поэта было в высокой степени автобиографично.

Интересно, что сам Пушкин в 1830 году очертил круг вопросов, связанных с личностью и биографией писателя: «Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь; играю ли я в карты и тому подобное.— Будущий мой биограф, коли Бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику и читателю дело до моей книги и только. Суждение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод,— суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц, к одному из главных условий высокообразованных обществ...».

Это размышления зрелых лет. В более ранние годы он призывал ограничивать любопытство читателей к личной жизни автора: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава Богу, что потеряны... Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением... Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому, что

в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего».

Теперь, в эпоху его всенародной славы, никакие ограничения и табу для него уже невозможны. Как показала жизнь, Пушкин — для всех и для каждого. Он — «мой», «свой», «наш».

Первым слово «мой» произнес, как известно, в 1826 году император Николай. В исторический спор с ним вступила поэзия, и от имени поэтов Марина Цветаева назвала его «Мой Пушкин». Давно начался процесс присвоения его себе всеми читателями.

Реальный Пушкин при жизни казался многоликим, в воспоминаниях современников его образ неоднозначен. «Своего Пушкина» дает сегодня каждый музей, образы его не всегда совмещаются, а главное — не всегда бывает угадан масштаб прообраза. В жизни амплитуда восприятия личности Пушкина была огромной: от захватывающего дух ощущения величия гения до... умиления по поводу оторвавшейся штрипки панталон. А сегодня его музеи вступают между собой в сложные, подчас полемические отношения.

Высокий уровень музейного искусства был задан в 1967 году экспозицией во флигеле Екатерининского дворца «Пушкин. Личность. Жизнь и творчество» (город Пушкин). Международный съезд музейных работников оценил ее как экспозицию мирового класса. Она создана научным коллективом Всесоюзного музея А. С. Пушкина под руководством доктора исторических наук С. С. Ланды. Художник-оформитель — Т. Н. Воронихина.

Когда-то пушкинисты говорили, что Пушкин как никто способен переводить нас из обыденно-прозаического, будничного состояния в возвышенно-поэтическое. В экспозиции «Пушкин. Личность. Жизнь и творчество» это достигается органичным для поэта приемом рассмотрения его житейской биографии через призму его же стихов. Символичен в финале монолог того, кому посвящен музей:

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя...
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный
И, долго слушая, скажите: Это он.
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь...

Этот текст из элегии «Андрей Шенье» обретает новый смысл: он бросает ответ на ситуацию в музейном зале и оставляет сюжет открытым, дает возможность каждому осознать свой приход в музей как приобщение к миру поэзии, а не посещение храма, кладбища или памятника. Новаторство этой экспозиции ощущается и ныне, как никакой другой литературный музей она обнаруживает величайшее уважение к посетителю. Впервые из тайников и недр музейных хранилищ были извлечены и с такой щедростью отданы людям подлинники пушкинской поры. Впервые был осуществлен принцип прижизненного широкого историко-культурного контекста в литературном музее. Несмотря на все трудности, связанные с хранением музейных экспонатов, широким массам была дана возможность прикоснуться к первоисточникам пушкинской и декабристской эпохи.

В экспозицию вошла лучшая часть коллекции Всесоюзного музея, соединившая собрание Лицейского музея и сокровища Пушкинского Дома, Онегинские и Остафьевские реликвии — все, что было объединено на грандиозной юбилейной выставке полвека назад.

Эти же принципы осуществляла прежняя экспозиция в доме на Мойке. Тактично и достойно были поданы реликвии, а их не так много сохранило беспощадное время. Они звучали, их не надо было искать, их все видели. Теперь спрашивают: где перо? где окровавленный жилет? У посетителя возникла тревога в этом сдвинувшемся, неубедительном мире, переполненном муляжами и копиями. В новой экспозиции уникальные реликвии задавлены вторичными материалами, в том числе непушкинскими автографами.

Есть впечатление, что острота ощущения подлинника теряется, что этот вопрос уже не считается важным. Напомним, что понятие подлинника не сводится только к предметам, вещам,— оно шире. Это и архитектурное пространство, и первозданный вход в квартиру или дом, и вид из окон.

Первое, что видел пришедший поклониться Пушкину, была та дверь, через которую в последний раз вышел поэт морозным январским утром и потом, раненый, был внесен на руках верным дядькой. «Грустно тебе нести меня?» — эти слова звучали в вестибюле, на лестнице, и в воображении вставали потрясающие сцены и образы. Сегодня это почти потеряно — посетители входят в дом через яму-бункер с противоположной стороны... Музей открылся после ремонта 10 февраля 1987 года, но еще девять месяцев решался вопрос — открывать ли ворота, ведущие к дверям в квартиру Пушкина. Только в сентябре ворота наконец открылись.

Еще вопрос — о подлинном, равновеликом, неискаженном, исторически достоверном образе Пушкина в его музее. К Пушкину приходят с определенной системой ожиданий. Равнодушие к поэту, полемика с ним, неприятие его творчества — в наше время явления редкие и даже странные — как вопрос, единственный раз за тринадцать лет прозвучавший в Музее-Лицее: «Скажите, как сложилась его жизнь потом, был ли он женат, были ли у него дети?..». Идя в музей, люди стремятся пережить заново, вспомнить, увидеть и воссоздать для себя знакомые и любимые страницы национальной поэзии и истории.

Так что же такое «мемориальность»? Телевидение и кино не однажды рассказывали о том, как делаются музеи. Эти интересные сведения, однако, не снимают мучительных вопросов теперь, когда претерпел коренную ломку музейный образ, всем памятный, вошедший за два десятилетия в сознание миллионов и запечатленный в книгах, путеводителях, телефильмах и кинолентах. Впрочем, последние два вида искусства имеют свою специфику и достаточно безразличны к тонкостям музейного дела: декорацией и павильоном для съемок может стать музей любого уровня.

Мы говорим «мемориальная квартира поэта» — и надеемся увидеть пространство, хранящее память о его голосе и движениях, и вещи, окружавшие гения, надеемся усилием воли, памяти и воображения пережить эффект присутствия в том времени, истаявшем полтора века назад. Можно ходить по новой квартире, спорить о раскраске стен и качестве занавесей, слушать о замужестве Екатерины Гончаровой и доброте ее брата Дмитрия, можно, выглянув из окна кабинета, увидеть новый якобы «мемориальный дворик» то ли пушкинского, то ли бироновского времени с памятником работы советского скульптора Дыдыкина в центре. Но музей, переполненный новоделами, муляжами, мебелью, предметами быта, ширмами, жесткими перегородками, потерял свою прежнюю силу, и великое множество людей лишилось доверия к нему.

Мини-мемуары со стихами

В 1942 году в оккупированной фашистами Чехословакии шла, и с большим успехом, пьеса *советских авторов*. В это трудно поверить, но таков факт. Это была кукольная пьеса-игра для самых маленьких, написанная в 1935 году Ниной Гернет и Татьяной Гуревич. На афише, правда, в целях конспирации стояло только имя переводчика-режиссера, да и название было слегка «замаскировано»: «Качатко», то есть «Утенок», тогда как пьеса Гернет и Гуревич называлась «Гусенок». Дети с удовольствием участвовали в спасении гусенка от злой лисы, а старшим пьеса давала понять, что если объединиться всем вместе, то можно прогнать даже сильного захватчика.

Думаю, что многие читатели любого возраста вспомнили сейчас свои детские театральные впечатления, а среди них — наверняка и «Гусенка». Настолько популярна эта пьеса в малышовой детсадовской среде, что и сегодня, уже более полувека, идет практически во всем мире.

В те же трудные, страшные годы войны знаменитейший кукольник Сергей Владимирович Образцов писал Нине Владимировне Гернет (Татьяна Евсеевна Гуревич погибла от бомбы в блокадном Ленинграде), теперь уже как автору кукольной пьесы для взрослых: «Наш театр пока живет и работает. Ваша „Лампа" — та ось, на которой он держится. Не было б „Лампы", может, и театра не было бы. В каждом городе она делает не только битковые сборы, но завоевывает нам любовь, уважение, признание, право на работу. Все, от номеров в гостинице до получения вагонов, хлебных карточек, брони для актеров — все это делает „Волшебная лампа Алладина"... Вчера звонили из Красноярска. „Лампа" верна себе: чудеса продолжаются. Актеров прямо-таки чествовали за „Лампу"... А зрители — и взрослые, и дети, и красноармейцы и раненые — так замечательно радовались нашим спектаклям, что это и украшало нашу жизнь, и наполняло сознанием, что мы приносим пользу».

Это, так сказать, военная биография тех двух пьес известного кукольного драматурга, ленинградской писательницы Нины Гернет — «Гусенок» и «Волшебная лампа Алладина»,— которые позднее тот же Сергей Владимирович Образцов назовет классикой театра кукол. Но все это — известность, популярность — пришло потом. А тогда, когда она с Т. Гуревич писала свою первую кукольную пьесу, не было известного драматурга, известного писателя. Были две молодые веселые женщины, работавшие в редакции одного из ленинградских детских журналов.

Когда вы проходите по Невскому проспекту мимо Дома книги, поднимите глаза и посмотрите на громадные окна самого верхнего этажа под башенкой. За ними (теперь уже не помню, за какими именно) находилась редакция двух детских журналов — «Еж» и «Чиж». Уже в самих этих названиях крылось для ребят волшебство. Знакомый колючий ежик превращался в «Ежемесячный Журнал», а певучий звонкий чижик призывал: «Читайте Интересный Журнал». «Еж» был журналом для школьников, «Чиж» —



для дошколят. Но «читать интересный журнал» было интересно не только дошкольникам. Младшие, средние и даже старшие школьники, не говоря уже о взрослых читателях, с удовольствием листали каждый свежий номер «Чижа» с рассказами Бориса Житкова, Михаила Зощенко, Евгения Шварца, стихами Маршака, Введенского, Хармса...

Нина Владимировна Гернет заведовала редакцией «Чижа». В своих воспоминаниях о Данииле Хармсе, которые вы сейчас прочтете, она рассказывает немного о той замечательной атмосфере творчества, какая сложилась в этой редакции. Но при этом скромно умалчивает о собственной роли в создании такой атмосферы. «Зав. редакцией» — как будто бы звучит очень официально и скучно. Но в «Чиже» не было официальности. Нина Гернет как раз и была той заводящей всю эту машину ручкой, от которой исходила неуемная энергия. Самые невероятные задумки, самые фантастические планы! Об этом говорят и вспоминают все. «Конечно, выдумывали все,— говорит Эстер Паперная,— Хармс, Олейников, Евгений Шварц, но все-таки всегда какие-то затейные вещи заводила Нина Владимировна. Всегда. Она расшевелила всех, всю редакцию».

Нина была родом из Одессы. Нужно ли удивляться ее неиссякаемому чувству юмора? Она родилась в 1899 году и в 20-х годах стала участницей одесского «Коллектива поэтов»,— вместе с Багрицким, Олешей, Ильфом,— где, кстати сказать, были одобрены и ее стихи.

Она училась сначала на математическом, потом историческом, литературном отделениях разных вузов, а окончила режиссерский факультет уже в Ленинграде. Став детским писателем и драматургом с мировым именем, почетным членом международного союза кукольников («УНИМА»), она, однако, никогда не забывала людей, с которыми ей довелось работать в начале своей творческой деятельности. С большим уважением, теплотой и любовью рассказывает она о своих товарищах по «Чижу». Одни ее воспоминания опубликованы, другие еще дожидаются публикации. Иногда это просто выступление на вечере памяти тех, кого уже нет с нами.

Нет с нами, уже пять лет, и Нины Владимировны. Ее записи к вечеру памяти Даниила Ивановича Хармса в Москве (найденные в архиве писательницы и расшифрованные ее сыном) позволили восстановить текст выступления. С ним мы и хотим познакомить читателей «Невы».

Н. ГЕРНЕТ

О ХАРМСЕ

(Заметки к вечеру памяти Д. И. Хармса, Москва, 1976 год)

Уважаемые товарищи! Вы должны будете простить мне случайность и беглость моих воспоминаний. С Даниилом Хармсом я встречалась с 1933 по 1941 год. Почти сорок лет прошло, память многое растеряла.

Очень жалко, но в молодости, даже встречая человека такого яркого и неповторимого, как Даниил Иванович, даже понимая, что это — явление необычайное, все же как-то не задумываешься над тем, что надо сохранить, записывать его мысли, слова, что потом все это будет драгоценно...

А к тому же, в редакции дошкольного журнала «Чиж», где в эти годы я работала заведующей редакцией, ежедневно бывали вместе с Хармсом Шварц, Олейников (он одно время был ответственным редактором «Чижа»), Заболоцкий, Введенский, Бианки, Житков, Чарушин, Зощенко. И я не совсем понимала, что это — счастье исключительное и редкое. Я только с восторгом слушала чтение, разговоры, выдумки, розыгрыши — и считала потерянным день, проведенный вне редакции.

И все-таки среди этой литературной элиты самым удивительным и неповторимым был Даниил Иванович. Внешне он лучше всего характеризовался одним словом — джентльмен. Высокий, красивый, прекрасно воспитанный, неизменно корректный, чистый, глубоко порядочный, он обладал совершенным чувством юмора и не менее совершенным чувством слова — и литературным слухом.

Был в редакции большой черный диван. Даниил Иванович усаживался на него в угол с неизменной трубкой. Молчал. Потом вытаскивал листок бумаги и начинал без предисловий что-нибудь вроде: «Однажды пришел Пушкин к Гоголю...».

Через минуту вся редакция и посетители хохотали. А Даниил Иванович, кончив, так же хладнокровно прятал листок и умолкал.

Редакция была веселая. Писатели и художники приходили, как домой, сидели весь день, рассказывали, читали, придумывали, устраивали литературные розыгрыши и мистификации. Нам, сотрудникам редакции, заниматься непосредственно журналом было почти невозможно. Но мы ловили стихи, темы, мысли, которые могли пригодиться журналу; работали, когда проголодавшиеся писатели уходили обедать, или, как говорил Борис Житков, «выпить рюмку пива».

Даниил Иванович приносил стихи часто. Гораздо чаще делал чудесные подписи к картинкам. Как-то, когда до зарезу нужна была подпись, я заперла Даниила Ивановича в одной из комнат издательства и сказала, что не выпущу, пока не будет текста. Минут через пятнадцать-двадцать он постучал и дал мне несколько превосходных строк (жаль, сейчас не помню, каких именно).

В «Чиже» был такой постоянный персонаж — «Умная Маша», чрезвычайно любимая детьми; ей постоянно писали письма, звонили по телефону. Мало кто знает, что Машу выдумал Даниил Иванович в одно из наших редакционных собраний у Олейникова. Это была история о том, как Маша перехитрила упрямого осла и заставила его везти себя в город. Потом-то ее приключения выдумывали многие, и я в том числе, но первая Маша — Даниила Ивановича.

Говорят об его чудачествах, странностях. Самое странное было то, что он во всем этом был естественен и искренен. По внешнему виду нельзя было сказать, что вот этот корректный джентльмен с трубкой — в душе озорной мальчишка, всегда готовый на розыгрыш, на мистификацию.

Помню, в Петергофе, где только тогда было что-то вроде дома творчества писателей, он оказался моим соседом. Не помню, кому из нас пришло в голову сделать пародийный номер «Чижа». Мы начали с вечера — и не могли остановиться, писали, зачеркивали, веселились всю ночь.

Помню, было спародировано увлечение «Чижа» фольклором; Хармс написал «Северную сказку»: «Старик, не зная зачем, пошел в лес. Потом вернулся и говорит: — Старуха, а старуха! — Старуха так и повалилась. С тех пор все зайцы зимой белые».

Помню его пародию на самоделки, тоже излюбленные «Чижом»: «Как самому себе сделать аппарат». Шло долгое сумбурное перечисление: «Возьми консервную банку, в нужных местах пробей дырочки, продень проволоку, загни концы...», и потом следовало заключение: «Теперь приделай к этому ручку, и аппарат готов!»

Или такая «задача»: на снимке — большой двугривенный и подпись: «Что это такое?». Ответ: фотография копейки, увеличенная в двадцать раз. И тому подобное.

Мы переслали этот номер (единственный, увы, копии не сняли) в редакцию. Он долго ходил по рукам и в конце концов пропал. Но долго еще приходилось слышать, как обсуждение какой-нибудь темы заканчивалось фразой: «Теперь осталось только приделать к этому ручку», или: «С тех пор зайцы зимой белые...».

Помнится еще одна мистификация, которую мы с ним устроили. В «Чиж» приходило очень много самотека: сочинений читательских. Некоторые нас очень забавляли. Как-то Даниил Иванович был у меня, мы дурачились и решили написать в «Чиж» письмо и стихи от лица воспитательницы детского сада. Я сочинила идиотское письмо, а Хармс — стихи для игры-хоровода, якобы выдуманной этой воспитательницей. Они назывались «Молодец-испечец» и начинались так:

Намешу в бадье муку
Да лепешку испеку...

и кончались:

Вот какой я молодец!
Вот какой я испечец!

Это было здорово — талантливому поэту непросто сочинить бездарные стихи. Клочок бумаги с этими стихами, написанными рукой Хармса, сохранился у меня до сих пор.

Мы с Даниилом Ивановичем были вполне удовлетворены, когда секретарь редакции, Эстер Паперная, разбирая почту, вдруг закричала: «Послушайте!», и стала вслух читать это письмо и стихи, а когда кончила, кто-то из слушавших сказал: «Ну, знаете, такого нарочно не выдумаешь!».

Был у нас в издательстве буфет, а в буфете — книжка для пожеланий. Конечно, вскоре она превратилась в юмористический альманах с талантливыми записями, рисунками и стихами посетителей. Не помню, кто и почему записал там стихи Козьмы Пруткова:

Когда в толпе ты встретишь человека,
Который наг
(вариант: «На коем фрак»);
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы подъяты в беспорядке;
Кто, вопия,
Всегда дрожит в нервическом припадке,—
Знай: это я!

Даниил Иванович сказал:

— Это же не отредактировано!

Взял карандаш, махом вычеркнул все, кроме первой и последней строки, и вышло:

Когда в толпе ты встретишь человека,
Знай: это я!

— Вот! — сказал он.

А когда человек уходит в лес — это опасно. Даниил Иванович этого не учел. Есть у него чудесное стихотворение «Из дома вышел человек...», и есть там строчка:

И с той поры исчез.

Понятно, «Чиж» принял их с радостью и напечатал. Детям стихи при-

несли много радости, а автору (и редакции) — большие неприятности. Кто-то из начальственных особ прочел и возмутился: «Как это — исчез? В советской стране человек исчезнуть не может!». Что там было — не знаю, но издательство перестраховалось, и нам долго нельзя было печатать стихов, написанных Д. И. Хармсом...

Какое в нем было человеческое обаяние! Несмотря на неприступную внешность, было в нем много нежности, деликатности, доброты. Он очень любил и понимал музыку, любимым его композитором был Бах. Был очень музыкален сам. Иногда у меня собиралось несколько человек, и когда среди них были Эстер Паперная и Даниил Хармс, непременно пели песни Бельмана, старинные солдатские, народные английские и т. п. До сих пор я слышу голос Даниила Ивановича, как он с Эстер поет английскую песню о моряках, которые рассказывают, как они все утонули из-за русалки.

Детей не обманывала суровая внешность Даниила Ивановича. Дети не только обожали его — он их просто завораживал. Я смотрела и слушала много выступлений Даниила Ивановича. И всегда одно и то же. Зал шумит. Выходит Даниил Иванович и что-то тихо бормочет. Понемногу дети затихают. Даниил Иванович по-прежнему тихо и мрачно говорил что-то. Дети посмеивались, фыркали. Потом умолкали — что же он говорит? Тогда Хармс громко и четко объявлял: «Как папа застрелил мне хорька». Этим стихотворением он обычно начинал свои выступления. А потом он мог делать с детьми, что хотел — они смотрели ему в рот, не дыша, совершенно плененные игрой слов, волшебством его стиха, им самим.

Как-то в пионерском лагере, где довольно долго нужно было идти к станции, после его выступления все его слушатели встали и пошли за ним, как за гаммельнским крысоловом, — до самого поезда, и стояли и смотрели вслед, как он уезжал...

Последний раз я видела Даниила Ивановича в 1941 году, за два-три дня до войны. Мы сидели на крыше у окна моей мансарды. Он был как никогда серьезен и углублен в себя. «Уезжайте скорее. Уезжайте! — говорил он.— Война будет. Ленинград ждет судьба Ковентри». О том, чтобы уехать самому, он не помышлял. Я тогда, как многие, до последнего дня надеялась, что войны не будет, несмотря на грозные признаки. Но ему поверила. Мне всегда казалось, что Даниил Иванович знает и предвидит многое, чего еще не знаем мы...

И через день-два война обрушилась на нас. Больше мы не видались...

Публикация и вступительная статья **Г. Я. ЛЕВАШОВОЙ**

Д. ХАРМС

МОЛОДЕЦ-ИСПЕЧЕЦ

Намешу в бадье муку
Да лепешку испеку.
Положу туда изюм,
Чтобы вкусно стало всем.
Гости к вечеру пришли
Им лепешку подали.
Вот вам, гости, ешьте, жуйте,
В рот лепешку живо суйте.
И скорей скажите нам:
Наша лепешка вкусна вам?
Гости хором мне в ответ:
«Второй лепешки такой нет,
Потому лепешка та
Не плоха, а вкуснота!».
— Вот какой я молодец!
Вот какой я испечец!

Сочинено для розыгрыша редакции «Чижа», устроенного Д. И. Хармсом и Н. В. Гернет. Публикуется впервые по оригиналу-автографу, хранящемуся в архиве Н. В. Гернет.

Пробирная  ***палатка***

Александр ШКЛЯРИНСКИЙ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый тов. редактор!

В связи с перестройкой и гласностью считаю долгом сообщить следующее.

Дело касается работы торговых работников, особенно тех, которые посылают услуги почтой.

Обратился и я.

Сперва отправил запрос в торг: «Так, мол, и так, у нас жара, прошу срочно прислать два...», ну и так далее, все как положено.

Прождал месяц, ответа не получил.

Хорошо — пишу в главк: «Так, мол, и так, налицо недоработка, писал в торг, ответа не получил. В связи с перестройкой прошу прислать два...», ну и так далее, как положено.

Прождал три месяца — ответа не получил, поднимаюсь выше.

Пишу в отраслевое управление: «Так и так, в ответ на мой запрос ответа не последовало, в чем вижу неуважение к просьбам трудящихся, так как прислать два в такую жару...», ну и так далее, «при современной технике ничего не стоит».

Ответа не получаю полгода.

Иду на риск — пишу министру: «так и так, у нас жара невыносимая, просил прислать два...», ну и так далее, «тем более, что перестройка. Не прислали, прошу взять на контроль. Прошу два эскимо, но лучше в стаканчиках, желательно крем-брюле».

И вот, тов. редактор, на мой запрос ответа опять не последовало, зато утром почтальон принес мне один сливочный брикет и попросил расписаться в получении. А брикет был растаявши...

На что я послал запрос в ЦК профсоюза: «Правильно ли некоторые товарищи понимают перестройку, в том смысле, что не два, а один, и под расписку, я растаявши... При современной технике могли бы прислать и с холодильником».

Ответа нет...

Поскольку сейчас гласность и человеческий фактор, прошу опубликовать это мое письмо, хотя вы его все равно не напечатаете. Побоитесь.

С уважением (*подпись*)

НАДПИСИ

Я очень люблю читать надписи. Всякие разные: длинные и короткие, трогательные и деловые, смешные и со слезой.

Главное, что в них нравится: яркость выражения при огромной плотности содержания.

До сих пор вспоминается, например (как образец), на дверях нашей школьной уборной надпись: «ВОВКА — ДУРАК».

И надпись точная, и место для нее выбрано удачное...

А помните оглушающую своей простотой и убойной силой надпись: «КОЛЯ+ОЛЯ=ЛЮБОВЬ»?! Помните? Сами писали?

Да, всего три слова, а сколько в них вложено: и классика, и современность, и великое будущее... Всего три слова!

Но это надписи развернутые. А есть и попроще. Я их тоже люблю. Их задача — обозначать. Место действия или направление.

Как волнуют обозначения, например, в классических пьесах: «спальня королевы», «трактир», «кладбище»...

Или вот в Одессе — сам видел, на стене — стрелка, а под нею надпись: «К Жоре». Просто и ясно — попробуй ошибись!

Жизнь летит, укорачивая фразы, сокращая слова, пропуская буквы. Надписи сжимаются, превращаясь в набор звуков и цифр: мы говорим: цена «два рэ», вместо «два рубля», «пять километров» у нас «пять кэ-мэ», вес — «один кэ-гэ». Появились бесчисленные КП, ЧП, РЖУ, ПТУ...

Вроде бы это делается, чтобы экономить время. Даже на чтении. Хотя на чтении грех экономить. Это все равно, что экономить собственные мозги: чем меньше мозгов, тем больше экономия.

Но странная вещь: над одной надписью (сокращенной) я ломал голову вместо секунды минут десять.

Как вы думаете, что это такое — ВНИВИП?

Я сначала думал, что это болезнь такая, знаете — полип, грипп, анивип...

Ничего подобного, оказалось это — Всесоюзный научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства — ВНИВИП.

Иду по улице. Трактор счищает снег. На боку крупными буквами надпись: «УМ ЛЖУ»...

Что это за «УМ ЛЖУ»? Лживый ум или ложный ум? Ни за что не догадаетесь. Даже тракторист не знал. Одна посторонняя бабуся подсказала: «Это, говорит, Управление механизации Ленжилуправления. Я там уборщицей работаю...».

В общем, два управления на одного тракториста. Действительно, ложный ум придумал такое!

По возрасту я человек еще сравнительно молодой. Но и меня по ночам иногда «прихватывает»: ноет сердце от встреченной днем глупости, хамского равнодушия, да мало ли от чего еще...

Каких только надписей не увидишь!

В телефонном узле — «Окно справок не дает».

В бане над лавкой для мытья — «Шаечно-помоечное место для инвалидов».

В столовой в меню — «первые блюда, вторые блюда, *щадящие* блюда»... Какой дурак будет есть после этого первые и вторые?

Но при всей нелепости этих словесных монстров, они не вызывают большого гнева. Что-то вроде динозавров: сами вымрут.

Но я видел надпись, которая все во мне перевернула...

Сосед мой по лестнице, человек пожилой, получил к празднику Победы хрустальную вазу и, гордясь, принес нам ее показать.

Кто сочинял текст, какая рука наносила гравировку, я не знаю, но надпись на вазе гласила: «Участнику ВОВ такому-то в ознаменование Дня Победы»...

Участнику ВОВ... Какого ВОВ? Каких ВОВ?

Одним росчерком резца участник Великой Отечественной войны превратился в придурковатого школьника из компании таких же, как он Вов.

Кто пожалел труда на моего старого соседа, вашего соседа, наших с вами соседей-ветеранов? Кто забыл, что Великая Отечественная война — понятие не сокращаемое ни во времени, ни в сердце нашем: сколько была, столько ее и останется — день в день, секунда в секунду!

...Мы ко многому уже привыкли. К надписям в том числе. Идем и не замечаем...

Это и хорошо, и плохо.

Хорошо, что не замечаем: ненужных, обессмысленных... не стоит на них время терять — отжили.

Плохо, что перестали над ними смеяться, считая чуть ли не нормой.

Я стараюсь себя не усыплять — пусть лезут, раздражают, смешат.

Пусть глаза слезятся от смеха: это ничего, это нужно для живой жизни.

Ха-ха-ха! Что такое РСУ? Ремонтно-строительный участок... А это — РЖУ? Райжилуправление... РЖУ — ну потеха! Как увижу, так прямо не могу удержаться — ржу! СМУ на эти надписи и РЖУ! СМУ и РЖУ! СМУ и снова РЖУ!



ГЛАЗАМИ ГЕНРИХА БЕЛЛЯ

С. Белов

филолог

В 1966 году мне довелось присутствовать в Ленинграде на съемках западногерманского телевизионного фильма «Достоевский и Петербург». Этот фильм снимался по сценарию известного немецкого писателя Генриха Белля, написанному совместно с Эрихом Коком. Белль — автор цикла телевизионных фильмов под общим заглавием «Писатель и его город». Сюда вошли «Бальзак и Париж», «Диккенс и Лондон», «Достоевский и Петербург»...

Писатель специально приезжал в Ленинград, чтобы почувствовать «Петербург Достоевского», вжиться в его образ, подышать воздухом этого неповторимого города. Подолгу бродил он вместе с Даниилом Граниным и внуком писателя А. Ф. Достоевским по местам Достоевского, поднимался по лестнице Раскольникова, заходил во двор старухи-процентщицы, стоял на Сенной площади, хотел все увидеть, запомнить, понять...

В 1971 году, собирая ответы зарубежных писателей на анкету по Достоевскому, я обратился к Беллю с просьбой ответить на несколько вопросов. Писатель любезно выслал мне сценарий своего фильма «Достоевский и Петербург», где, как он сообщал, я смогу найти ответы на все интересующие меня вопросы о жизни и творчестве Достоевского, о теме Петербурга в его произведениях.

Генрих Бёлль считает, что Достоевский не замечал петербургские архитектурные ансамбли, а использовал их только лишь как «знаки препинания» внутри своего материала; не замечал он также «общественные достопримечательности», как называет Бёлль генералов, министров,— им также отводилась роль «знаков препинания». Его занимали страдания. Эпиграфом к его творчеству могли бы быть слова: только страдание является реальным.

Размышления о Петербурге Достоевского чередуются в сценарии с общей оценкой его творчества и религиозных устремлений. Бёлль отмечает, что религиозность Достоевского так же часто ставилась ему в упрек, как и отрицалась. Никому не придет в голову сомневаться в «личном признании Достоевским Христа». Все, что он выражает в своих романах, может колебаться между «абсолютным нигилизмом и глубочайшей верой». Как писатель XIX века, он проложил путь к большим темам нашего времени, открыл дорогу литературе экзистенциализма, абсурда, страха, и «он сделал это, как Христос».

Знакомство с Петербургом позволило Бёллю сделать вывод, что как писатель Достоевский никогда не обращался к заданным схемам, а черпал свои образы из действительности. Он вечно в поисках и все воспринимает как путешественник: мгновение и вечность, жизнь и смерть, горечь преходящего. Ничто не было ему столь подозрительно, как здоровье, которому противостоит не болезнь, а страдание. Достоевский не установил, не вольется ли «это страдание со временем, с концом абсурдной временности — в вечность»; он не давал решений, способных быть использованными катехизисом, он излагал только мысли, размышления, ассоциации и реальность созданных им образов, «страдающих между небом и землей».

Бёлль хорошо знает и историю Петербурга и его восприятие русской классической литературой. Петербург в его понимании — это город, построенный по приказу, абстрактный, загнанный кнутом в пучто финских болот. Никому не известно, стоило ли его возведение сто или двести тысяч человеческих жизней. Русские писатели — Пушкин, Гоголь, Белый и Блок — были твердо убеждены в том, что однажды вода опять поглотит Санкт-Петербург. Достоевский хорошо ощущал «кровь и нищету жертв» — громадное, «необозримое кладбище рабов», на котором возведены были эта роскошь и это великолепие, породившие «интеллектуально обоснованные насилие и смирение». Попытка открыть для России окно на Запад так далеко на Севере была осуществлена вопреки климату, вопреки геологическим условиям болот. «Идея и мечта» — оба эти слова чаще всего встречаются в петербургских романах и рассказах Достоевского. Такая «инородность» Петербурга преследовала Достоевского и за границей, во всех больших городах он вновь и вновь узнавал ее, и она во много раз усиливала его «ненависть и тоску по Родине».

Кажется, что Бёлль тщательно изучил весь этот район Сенной площади, где происходит действие «Преступления и наказания». Как и все романисты, Достоевский был неутомимым ходоком, продолжает размышлять над темой Петербурга немецкий писатель. Во время своих прогулок в церковь, в частные ломбарды, для подачи прошений, к издателям, к книготорговцам, чтобы получить аванс, Достоевский воспринимал их всех именно в свете «инородности» Петербурга и изобразил в своем творчестве во «второй действительности»: незаметные личности общества, торговцы и ратье, маленькие чиновники и канцеляристы, проститутки и полицейские, студенты и торговки, солдаты и офицеры, бездельники и гении, молодые крестьяне, пришедшие в большой город как рекруты или лакеи,— он наблюдал их всех на нескольких улицах вокруг Сенной и из этой «инородности» перенес в действительность своего творчества.

В сценарии сравниваются такие диаметрально противоположные петербургские образы, как Раскольников и Соня Мармеладова. Возможность приблизиться к личности и духу писателя ранга Достоевского, указывает Белль, была бы следующая: «упорядочить его населенный бесчисленными образами космос», оценить и проанализировать разговоры, мысли, поступки. Этот космос имеет высокое напряжение между «абсолютным высокомерием» и «полным смирением», между Раскольниковым и Соней. Расстояние между этой «высокого напряжения интеллектуальностью» Раскольникова, целующего в конце землю, и такими смиренными фигурами, как Идиот, князь Мышкин, едва ли можно измерить человеческими масштабами. Раскольников является только одним из тех образов Достоевского, что «в высочайшем интеллектуальном сознании смотрят на общество и историю и ставят себя высокомерно над ними» и все же в итоге открывают ту силу, какой обладает Соня,— смирение, о котором Достоевский говорит, что это «самая страшная сила, какая есть на земле».

Появление таких героев в творчестве писателя, как Раскольников, Бёлль связывает непосредственно с Петербургом. Этот город заставляет людей в романах Достоевского сомневаться в собственной реальности, он делает их «дневными мечтателями», одиночками-прохожими, почти все они разговаривают сами с собой, они принимают свои идеи за поступки и свои поступки за идеи, как Раскольников — свое убийство ростовщицы. Но их мечты — это не романтические мечтания, это «абстрактные, интеллектуальные мечты», утопии, какими их могла соблазнить «эта фата моргана, лежащая на воде». Чем выше их интеллектуальное сознание, тем легче они разгадывают «случайный блеск дворцов», тем сильнее становится их «интеллектуальная мечта», пока, наконец, они больше уже не знают, делают ли они то, что думают, или думают о том, что делают.

В беседе с внуком писателя Бёлль высказал ряд интересных мыслей об образе князя Мышкина, нашедших также отражение и в его сценарии. Самый смиренный из всех образов Достоевского в в то же время образ «высокой чувствительности и интеллектуальности» — князь Мышкин, Идиот; он не то чтобы «разумный, а ясновидящий»; эпилепсия, которой страдал и сам Достоевский, делает Мышкина способным проникнуть «экстатическим путем в тайники психологии преступления как сострадания, греха как невиновности». Бёлль пишет, что Мышкин является «самой смелой попыткой воплотить в литературе Христа как сострадающего. Он потерял время, но все же он во времени, полный смысла действительности и все же чуждый миру...». В 1987 году Генриху Бёллю исполнилось бы семьдесят лет.

ИСТИНА О БЕЗЫМЯННОЙ

Г. Рогачев,

майор в отставке

Подготовка заняла около недели. 10 августа, когда появилась долгожданная облачность, было решено провести операцию следующей же ночью. Вечером 11 августа саперы приступили к своей работе. В это же время 7-я (командир — лейтенант В. И. Максименко) и 8-я (командир — гвардии лейтенант С. Е. Шепотков) роты 3-го стрелкового батальона (комбат — капитан Добровольский, замполит — старший лейтенант Ковалев) в сопровождении пулеметчиков и автоматчиков стали спускаться по северному склону высоты 43,3 и сосредоточиваться в первых траншеях нашей обороны у подножия Безымянной. Когда проходы были очищены от мин и колючей проволоки и обозначены флажками, *а саперы покинули позиции,* мы начали выводить роты на исходные рубежи для атаки — на скат Безымянной, метрах в сорока от первой немецкой траншеи. В три сорок пополуночи я дал сигнал. В первую траншею немецкой обороны мы ворвались без выстрелов и в рукопашном бою уничтожили всех находившихся там гитлеровцев. Вторую траншею с ходу взять не удалось. Бой затянулся. Контратаки следовали одна за другой, но все же к середине дня 12 августа, получив подкрепление, враг был выбит и из этой траншеи. К исходу дня 13 августа все траншеи на Безымянной стали нашими.

Воспоминания мои относятся к Синявинским высотам, точнее, к самой восточной из них — Безымянной (45,1), где ныне стоит памятник советским воинам, погибшим в 1941—1943 годах. Воспоминания, возможно, так и остались бы в моем сердце нетронутыми, если бы события, происшедшие на Безымянной в середине августа 1943 года, нашли истинное отражение в литературе («Маршал Говоров» Бычевского) и печати («Ленинградская правда» от 12 августа 1983 года). И не только в литературе и печати: на Безымянной стоит еще один памятник, и на нем можно прочесть, что в ночь с 11-го на 12 августа 1943 года эта высота была *взята штурмом воина-*

ми 106-го отдельного саперного батальона...

А дело было так. После прорыва блокады города Ленина отступавшие немецкие войска заняли сильно укрепленные Синявинские высоты, представлявшие исключительно важное оперативно-тактическое значение: они господствовали над местностью, с них хорошо просматривались боевые позиции наших войск и их тылы, расположенные в торфяном болоте, постоянно велся снайперский огонь. Наиболее опасной была Безымянная, с которой прямой наводкой обстреливались железнодорожные составы и автоколонны, следовавшие в Ленинград. Ударом с Безымянной в сторону Ладожского озера ленинградцам грозила опасность повторной блокады.

В первых числах августа 1943 года от командира 128-й стрелковой дивизии полковника Потапова поступил приказ командиру 741-го стрелкового полка полковнику Виноградову взять Безымянную. Для проделывания проходов в минных полях и проволочных заграждениях ему придавался 106-й отдельный саперный батальон. Командир полка отдал приказ о штурме Безымянной силами 7 и 8-й рот 3-го стрелкового батальона, усиленного взводом пулеметной и автоматной рот. Операцию намечалось проводить облачной ночью без предварительной артподготовки. Руководство операцией возлагалось на меня — заместителя командира полка.

НАШИ АВТОРЫ

● ЖУРАВЛЕВА Зоя Евгеньевна. Родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет ЛГУ. Работала в редакциях газет, участвовала в геологических и зоологических экспедициях АН СССР. Автор многих книг прозы и нескольких пьес. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ЧУКОВСКАЯ Лидия Корнеевна — дочь известного писателя и литературоведа Корнея Ивановича Чуковского — родилась в Петербурге. Автор книг: «Декабристы — исследователи Сибири», «Борис Житков», «В лаборатории редактора» и других произведений. Живет в Москве.

● АНДРЕЕВ Юрий Андреевич. Родился в 1930 году в городе Днепропетровске. Окончил Ленинградский университет. Доктор филологических наук. В настоящее время работает главным редактором «Библиотеки поэта». Критик, прозаик, публицист. Автор нескольких книг, регулярно печатается в журналах, в том числе — в «Неве». Член СП. Живет в Ленинграде.

● АМУСИН Марк Фомич. Родился в 1948 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича. Литературно-критические статьи публикует с 1979 года. Живет в Ленинграде.

● ЧЕЖЕГОВА Инна Михайловна. Родилась в Ленинграде. В 1954 году окончила филологический факультет ЛГУ. Поэт-переводчик с английского, французского, испанского и португальского языков, автор исследований в области латиноамериканской литературы. Член СП. Живет в Ленинграде.

● ДОНСКОЙ Михаил Александрович. Родился в 1913 году в Петербурге. Окончил математико-механический факультет ЛГУ в 1937 году. Кандидат физико-математических наук. Переводчик поэзии и драматургии с английского, французского, испанского языков, автор работ по теории художественного перевода. Член СП. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 27.10.87. Подписано к печати 28.12.87. М-42423. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 + 4 вкл. = 18,9 усл. печ. л. 21,0 усл. кр. отт. 23,64 + 4 вкл. = 24,26 уч.-изд. л.

Тираж 550 000 экз. Заказ 775. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии и «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-65-85, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15